
ВИДАННЯ ЮВІЛЕЙНЕ
1814
1939

ДО 125-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ



ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ В П'ЯТИ ТОМАХ

ПІД РЕДАКЦІЄЮ
О. Є. КОРНІЙЧУКА, П. Г. ТИЧИНИ, М. Т. РИЛЬСЬКОГО,
Ф. А. РЕДЬКА, Д. Д. КОПИЦІ



ДЕРЖАВНЕ ЛІТЕРАТУРНЕ ВИДАВНИЦТВО

АКАДЕМІЯ НАУК УРСР

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

ТОМ ЧЕТВЕРТИЙ

ПОВІСТІ
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ



КИЇВ ★ 1939



БЛИЗНЕЦЫ

I

Всему просвещенному миру известно и переизвестно, что понедельник — день критический или просто тяжелый день и что в понедельник всякий более или менее образованный человек не предпримет ничего важного. Он лучше пролежит целый день; хотя бы там, как говорится, само дело просилось в руки, он перстом не пошевелит. Да и в самом деле, если хорошенько рассудить, если мы из-за презренного серебренника надругаемся над священными преданиями старины, что же тогда из нас будет? И выйдет какой-нибудь француз или, чего боже сохрани, куцый немец, а о типе или, так сказать, о физиономии национальной и помину не будет. А по-моему, нация без своей собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа просто на кисель, и самый безвкусный кисель.

Но увы! не так думают прочие. Например, наше военное сословие далеко отстало от современников на пути просвещения. Они, например, не веруют вовсе в понедельник и легкомысленно называют этот священный завет отцов и дедов наших бабьими бреднями. Боже мой, боже, вот до чего мы дожили. А попросил бы я это усатое сословие заглянуть, например, хотя бы в „Письмовник“ знаменитого Курганова: там именно сказано, что еще древние халдейские маги и звездочеты, а за ними и последователи учения Зороастрова неукосненно веровали в критичность понедельника. Так вот поди, толкуй ты с беспардонною военщиною. Военный, вполне военный человек, — он лучше загнет лишний угол или возьмет у еврея лишнюю бутылку самодельного рому, так

называемого клоповика, чем выпишет мудрую книгу какую-нибудь, хоть, например, „Ключ к таинствам природы“ Эккартсгаузена с прекрасными рисунками знаменитого нашего Егорова; так где тебе, и слушать не хотят.

Я всё это речь веду к тому, терпеливый читатель, что, поругавши освященные многими и премногими годами верования предков наших, именно в понедельник рано утром из уездного города П., и губернии тоже П., выступил в поход не то гусарский, не то уланский полк, не помню хорошенько. Помню только, что сбор в трубу трубили; поэтому и надо думать, что полк был кавалерийский, а если б был пехотный, то сбор били бы в барабан.

Входит и выходит из села или городка полк,— это два великие события, а особенно если полк, чего боже сохрани, простоит на квартирах хоть несколько дней; тогда выход его сопровождается слезами и очень часто — самыми искренними слезами. Я это говорю только в отношении прекрасного пола. А насчет мужей и женихов я не говорю ни слова. И ни слова также не скажу о выходе реченного кавалерийского полка из реченного города П., разве только, что многие мирные гражданки провожали полк, хотя погода не совсем благоприятствовала, потому что шел затяжной дождь или, как назвал его покойный Гребенка, ехидный, сиречь мелкий и продолжительный. Но, не взирая на этот ехидный дождь, многие из гражданок провожали усачей своих до села N., другие до местечка Борисполя, а остальные, и самые бескорыстные, провожали даже до пределов киевских, т. е. до переправы на Днепре. А когда полк благополучно переправился, то и они, поплакавши немного, тоже переправились через Днепр и разбрелися по великому городу Киеву и скрыли свои преступления и стыд в глухих притонах всякого разврата.

Таковы результаты продолжительной стоянки самого благовоспитанного полка.

В тот же понедельник, поздно вечером, молодая

10. іюнь

Близнецы

Вашему просвѣщенному лицу извѣстно и преизвѣстно
что понедѣльникъ день критическій или просто тя-
желый день, и что въ понедѣльникъ всякій болѣе или
менѣе образованный человѣкъ не предприметъ ничего
важного онъ лучше пролежитъ цѣлый день въ постелѣ
такъ какъ говорится само дѣло просилось въ руки
онъ перстомъ не пошевелитъ, да и въ самомъ дѣлѣ если
хорошенько разсудить если мы изъ за презрѣнного
серебренника ~~нару~~ нарушимъ наши священныя
преданія старины, что же тогда изъ насъ будетъ
выйдетъ какой нибудь французъ или чего Боже

Автограф повісті „Близнецы“.

женщина возвращалась в город П. по киевской дороге и, не доходя до города версты четыре, как раз против Трехбратних могил, свернула с дороги и скрылася в зеленом жите. Перед рассветом уже она вышла из жита на дорогу, неся на руках что-то завернутое в серую свитку. Пройдя немного по большой дороге, она остановилась у поворота и, подумавши немного, кивнула выразительно головою, как бы решаясь на что-то важное, и пошла быстро по маленькой, поросшей шпорышом дорожке, ведущей к хутору старого сотника Сокиры.

На другой день поутру рано, т. е. во вторник, вышла пани Прасковья Тарасовна Сокириха покормить собственноручно всякую живность, как-то: цесарок, гусей, кур и т. д., а голубей будет довольствовать уже сам пан сотник Никифор Федорович Сокира. Представьте же ее ужас, когда она, выходя на ганок, т. е. на крыльцо, из покоев, увидела около ганку серую свитку, шевелящуюся, как будто бы живую. И в испуге ей показалося, что свитка будто бы плачет, как дитя. Долго она смотрела на серую свитку, слушала, как она плачет, и сама не знала, что делать. Наконец, решилась пригласить Никифора Федоровича.

Никифор Федорович вышел, что называется, неглиже, однако все-таки в широких китайчатых красных шароварах.

— Посмотри, посмотри, мой голубе, что это у нас делается,— говорит испуганная Прасковья Тарасовна.

— Что же тут у нас делается? Я ничего не вижу,— говорит Никифор Федорович.

— А свитка, разве не видишь?

— Вижу свитку.

— А разве не видишь, что она шевелится, как будто живая?

— Вижу, так что ж, пускай себе шевелится; бог с нею.

— Каменный ты человек, разве не надо посмотреть, отчего она шевелится, а?

— Ну, так посмотри, коли тебе хочется.

— А тебе не хочется?

— Нет.

— Так вот же посмотри ты прежде, а потом и я посмотрю.

— Хорошо.

И с этим словом он подошел к свитке, развернул ее осторожно и — о ужас! он не мог выговорить ни слова, только указал выразительно пальцем на развернутую свитку и стоял в этом положении с минуту, а очнувшися от изумления, вскрикнул:

— Параско!

Старушка бросилась к нему и также в изумлении остановилась перед развернутой свиткой с поднятыми руками. Немного простояв в этом комитрагическом положении,— она воскликнула:

— Святый великомучениче Иване Воине, что ты с нами делаешь?

И, обратясь к Никифору Федоровичу, сказала:

— Вот видишь, я недаром видела во сне двух маленьких телят. Я тебе говорила, что что-нибудь, а непременно да случится.

— Ну, благодарим тебя, господи наш милосердый,— проговорила она, крестясь и бережно подымая вместе со свиткой двух красненьких малюток,— наградил таки ты нас, господи, на старости лет.

— Неси ж их, Парасковие, в дом наш, а я тым часом пошлю в город за Притулыхою, пускай она их по-своему в травах искупает, да, может быть, и еще что нужно им сделать.

— Ах! и в самом деле! Посмотри, у них, сердечных, и пупки зеленою соломинкою перевязаны.

— Ну, так отнеси ж их, а я пошлю Клыма за Притулыхою,— сказал не совсем спокойно Никифор Федорович и пошел отдавать приказание.

Надо вам сказать, что эта старая добрая чета, проживши много лет в мире и благополучии, не имела ни единого детища, как говорится в сказке о Еруслане Лазаревиче, „смолоду на потеху, под старость на помогу, а по смерти на вспомин души“. Они, бедные, долго и усердно молились богу и на-

деялись, наконец и надеяться перестали. Они всё думали, сердечные, хоть бы чужое дитя воспитать за свое,— так что же будешь делать? Хоть и есть бедные сироты, так добрые люди разбирают, а им не дают, потому что они, видите, паны, а с паныча, говорят они, добра не будет. Еще прошлою весною ездил Никифор Федорович в местечко Березань, прослышавши, что там после бедной вдовы осталося двое сирот, мальчик и девочка. Так что ж, и тех взял барышевский тытарь, человек вдовый и бездетный, а богач темный, так и вернулся ни с чем домой Никифор Федорович. И вдруг великой своей благодатью господь посетил их праведную и добродетельную старость.

Радостно, неизреченно радостно встретили они и проводили вторник, а в середу, перед вечером, приехал к ним искренний друг их Карл Осипович Гарт, аптекарь переяславский, и, по обыкновению приложившись к руке Прасковьи Тарасовны и поздоровавшись с Никифором Федоровичем, понюхал из раковинной табакерки, которую прислал в знак памяти ему друг его и товарищ, тоже аптекарь в Аккермане или в Дубосарах, Осип Карлович Шварц; понюхал табаку и, садясь на скамейку перед ганком, сказал почти по-русски:

— В нашем городе новость новость догоняет. Сегодня Андрея Ивановича приглашали свидетельствовать женское тело, случайно найденное в Альте около вашего хутора, а вы, верно, ничего этого не знаете?—Сделавши такой вопрос, он снова открыл раковинную табакерку и воткнул в нее два пальца. Хозяева значительно переглянулись между собою и молчали, а Карл Осипович продолжал:

— Да, когда я был еще студентом в Дорпате, там тоже тогда стояла кавалерия, а когда вышла из Дорпата, так тоже три или четыре трупа женских принесли из полиции к нам в анатомический театр. Полиции все равно, они не знают, что для нашей науки удобнее мужское тело, а женское не так удобно: много жиру, до мускулов не доберешься.

— Вот что,—прервала его Прасковья Тарасовна,— у меня к вам просьба, Карл Осипович, чи не пожалуете вы к нам кумом? Нам господь деточек даровал.

— Как так?—вскрикнул изумленный Карл Осипович.

— Так, просто, около ганку нашли вчера двух ангелов божиих.

— Удивительно!—воскликнул снова Карл Осипович и опустил руку в карман за табакеркою.

— А я попрошу еще и Кулину Ефремовну, она— тоже немка, вот вы и породнитесь.

— Нет, она совсем не немка, она только из Митавы; но это ничего. Я очень, очень рад такому случаю.

Карл Осипович, обрадованный таким приятным предложением, не мог по обыкновению провести вечер со своими искренними друзьями, вскоре распрощался и уехал в город, чтобы известить Кулину Ефремовну о предстоящем событии. Расставшися с Карлом Осиповичем, старики несколько времени смотрели друг на друга и молчали. Первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Как ты думаешь, Никифоре, не отслужить ли нам в следующую субботу панихиду по утопленнице? Ведь она, должно быть, их настоящая мать.

— И я так думаю, что настоящая. Только нужно будет подождать до клечальной субботы, а то бог ее знает, быть может она самоубийца, то как бы еще греха не наделать.

— Хорошо, подождем, теперь уж недалеко зеленое воскресенье. Да посмотри, пожалуйста, какого завтра святого, как мы назовем своих детей,—ведь они обое мальчики.

Никифор Федорович достал киевский „Каноник“ и, вооружась очками, начал перелистывать книгу, ища июня месяца. Найдя месяц и число, он в восторге перекрестился и воскликнул:

— Парасковие! Завтра святых соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия!

— А нет ли еще других каких?

— Да зачем же тебе других еще? Ведь это святые заступники и покровители пчеловодства.

Он еще раз перекрестился, закрыл книгу и положил ее под образа.

Нужно вам сказать, что Никифор Федорович был страстный пасичник, и вдобавок искусный пасичник. Поэтому Прасковья Тарасовна и не смела сказать, что имена были не совсем в ее вкусе.

Вскоре после этого старики молча повечеряли и, помоляся богу, разошлися спать — Никифор Федорович в комору, а Прасковья Тарасовна в свою светлицу, где, разумеется, были помещены и маленькие близнецы.

Таким-то важным для добрых стариков [событием] был ознаменован выход кавалерийского полка из города П.

Для краткости этой истории не нужно было б описывать со всеми подробностями ни хутора, ниже его мирных обитателей, тем более, что история сия весьма мало, так сказать, мимоходом их касается. Настоящие же мои герои вчера только увидели свет божий. Так что же, спрашиваю вас, можно сказать интересного про них сегодня? А потому-то я, подумавши хорошенько, и решился описать и хутор, и его мирных обитателей, для того только, чтобы терпеливый мой читатель или читательница могли ясно видеть, чем и кем было окружено детство и отрочество моих будущих героев. Пословица справедливо гласит: „Каков из колыбельки, таков в могилку“. А вот мы и увидим, в какой степени эта пословица справедлива. Еще говорят, что живые детские впечатления так живучи, что умирают только вместе с нами, и что воспитанием ничего не сделаешь из юноши, если его детство было окружено грубою декорацией и такими же актерами, и что детство, проведенное на лоне божественной природы и на лоне любящей прекрасной матери и христианина отца,— что такие прекрасные впечатления необоримой стеною станут вокруг человека

и защитят его на дороге жизни от всех мерзостей коловратного света.

Посмотрим, в какой степени можно верить сей непреложной истине.

Чтобы избежать оригинальности, которою так любят щегольнуть юные повествователи наших дней, которые возлюбили всем сердцем и всем помышлением французские уродливые повествования, наперерыв подражают им и в простоте юного и уже отчасти растерзанного сердца верят, что они оригинальнее самого полубога А. Дюма (блаженны верующие!), я, неверующий Фома, начну старыми словесы повествование мое тако.

Сначала опишу со тщанием место, т. е. пейзаж; потом опишу действующих лиц, их домашний быт, характеры, привычки, недостатки и добродетели, а потом уже по мере сил приступлю к драме, т. е. к самому действию. Метода или манера эта не новая, но зато хорошая манера, а хорошее, как говорят, не стареет,— исключая хорошенькую кокетку, которая, увы! увядает преждевременно.

Начнем же так.

На правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех от города П., словом, против того самого места, где бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного праведного брата своего Глеба. И на этом же месте, по сказанию Конисского, совершилась кровавая или Тарасова ночь в 1547 году. Так против этого святого места расположен хутор сотника Сокиры, сам по себе не очень живописный, по причине опрятности, доведенной до педантизма, но зато окрестности окупались чистым Рюисдалевским пейзажем. Берега Альты устланы зеленым высоким камышом так, что самую реку и не видно, разве только против Сокириного хутора. Густые зеленые камыши разрезываются на широком пространстве группами широковетвистых верб и старых осокоров. На левом бе-

регу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан города П. над тем самым каменным столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградою церкви, до самого города, расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского вала издали совсем не видно и весь город кажется на могилах построен. Сам же город П., как и вообще города, издали кажется в тумане, но над городом из тумана выходила белая осьмиугольная башня, увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры, воздвигнутый знаменитым анафемой Иваном Мазепою в 1690 году; другая же темная деревянная башня с плоской осьмиугольной крышей полуотделяется от серенького фона. Это успенская церковь, прославленная в 1645 году принятием присяги на верность московскому царю Алексею Михайловичу гетманом Зиновием Богданом Хмельницким со старшинами и с депутатами всех сословий народа украинского. Далеко за городом синеют высокие днепровские горы.

Геральдический дуб дома Сокиры не восходит до баснословной вышины и насажден в темной дворянской дуброве дедом Никифора Федоровича Карпом Сокирою, голштинцем, возвратившимся из Петербурга после кончины императора Петра III,— не по примеру прочих голштинцев наг и гладен,— а с порядочным мешком голландских червонцев, с чином гвардейского ротмистра и с правом потомственного дворянина. Возвратясь в свой родной П., он, к его великой радости, беспрепятственно женился на дочери тогдашнего полковника Переяславского, цыгана Иваненка, и получил за женою в приданое хутор со всеми угодьями и несколькими сотнями пахотной и луговой земли на берегах речки Альты.

Через год же или через два оставил свою молодую жену и годовалого сына, записался портупей-майором в себулдинцы и ушел с полком за пределы Малороссии. Вскоре начали себулдинцев обращать в регулярные войска, чему не мало сопротивлялся и майор Сокира, за что с прочими супротивниками и был казнен в четырех городах, на четырех площадях в один день; право же дворянства было оставлено его малолетнему сыну. Так трагически кончил свою карьеру насадитель родословного дуба дома Сокиры — Карпо Сокира, голштинец.

Юный Федор Сокира, оставшися единственным наследником прав и состояния отца и единственным сыном чадолюбивой матери, оказался порядочным мальчиком, несмотря на заботливость нежной матери. Он изрядно выучился читать печать церковную и гражданскую, письму и благозвучному церковному пению, и всему этому выучил его добронравный соборный дьяк Степан Перепелыця, невзирая на все увещевания нежнейшей матери.

В то счастливое время, хотя дворяне и не находили надобности в просвещении или, лучше, им не приказывали просвещаться, однако ж юный Федор бессознательно чувствовал благо просвещения и неотступно просил маменьку, чтобы она отвезла его в Киев и отдала учиться в бурсу.

После долгих настоятельных просьб сына маменька, наконец, решилась отвезти его в киевскую бурсу. Определивши его в бурсу, отдала под надзор тогдашнему инспектору бурсы, или академии, отцу Дионисию Кушке, старцу суровому и богобоязненному; а отдала она его для того под надзор, чтобы дитя малое не выучилося иногда воровству и разбойничеству. На бурсацкой скамье или на подольском базаре подружился он с знаменитым впоследствии Иваном Левандою, Григорием Гречкою и тогда уже философом Григорием Сковородою, а больше ничем не ознаменовалась его бурсацкая жизнь. Учился он хорошо, а кончил тем, что, [когда] однажды славные запорожцы, при-

ехавши на подворье свое в Киев провожать товарища своего Ермолу Кичку в Межигорский монастырь, устроили брату [своему] приличное прощание со светом, то-есть закупили на Подоле горилку, разлили ее в ушаты и с цеховою музыкою пошли торжественно в Межигорье, потчуя встречного и поперечного братскою горилкою из мыхайлыка, а прощавшийся со светом брат, знай себе, танцует впереди музыкантов,— прельстился такою прекрасною картиною уже не совсем юный Федор Сокира и, не долго думавши, спрыгнул с высокой стены Братского монастыря (ворота для такого случая были заперты) и присоединился к запорожской братии. После этого происшествия след его оказался на великом Запорожском Лугу, и в числе запорожских депутатов, вместе с Головатым, он является Екатерине Великой; потом является на нецеремонном обеде у генерала Текелия и, по уничтожении низового запорожского войска, возвращается благополучно в город Переяслав с чином капитана и правами потомственного дворянина.

Отслуживши панихиду по своей матери, он зажил добрым селянином на своем родовом хуторе и в непродолжительном времени женился.

В это-то счастливое время возобновил он свое школьное знакомство с соборным протоиереем Григорием Гречкою, а через него и с знаменитым уже витиею Иваном Левандою и уже с настоящим философом Григорием Сковородою. А между тем сын его первородный, Никифор, вырастал, а отец, заболтавшись с мистиком-философом, думал, думал, как бы просветить сына, да, не додумавши, взял да и умер, а юный сын, что называется, и остался в дураках.

Но благому провидению угодно было заступить прекрасного и безродного юношу от мрака невежества, а быть может, и вынести из пучины разврата, и оно послало ему благочестивого и премудрого просветителя и заступника в лице отца Григория Гречки, протоиерея переяславского.

Если не можешь ты говорить о ближнем доброго, то о худом его не говори,— евангельское правило, но, увы! не всегда удобоприменимо в жизни нашей, исполненной греха и клеветы. Мне же, как ретивому поклоннику святой правды, необходимо сказать несколько слов о матери юного Сокиры, таких, что хоть бы и не говорить. Добрая слава для нас свята, но для женщины и тем паче; она же, к несчастию, не пользовалась доброю славою на всю область переяславскую, а быть может и потому, [что] была похищена из дому родительского Ф. Сокирою и тайно обвенчалась за границею, т. е. за Днепром, в Трахтемирове. Следовательно, они сочетались по увлечению, а брак по увлечению, всем известно, редко бывает счастлив. Так, может быть, кумушки-голубушки отчасти и не совсем клеветали. Как бы то ни было, но только отец Григорий рассудил, что лучше будет взять *дытыну* на свои руки. И, по-моему, он поступил благоразумно и великодушно, потому что я плохо верую в воспитание самых добродетельных матерей, тем более, если у них одно единственное дитя.

Так как юному Сокире подходило к седьмому году, то отец Григорий в одно пасмурное утро продиктовал мальчику молитву перед началом учения и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку.— Добрый знак,— подумал отец Григорий и показал ему *буки аз — ба* и т. д. Заметя вскоре понятливость и добронравие в мальчике, он начал его учить, кроме славянского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и римскому. Он, вероятно, предполагал из него сделать доктора, по крайней мере, любомудрия, сиречь философии. Но юноша, не подозревая великих планов своего великого учителя, подвизался себе втихомолку и на десятом году возраста бегло читал Давида, Гомера и Горация, а на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с новым годом на всех четырех языках, прочитавши ему вирши,

написанные в киевской духовной академии в честь митрополита киевского Серапиона на четырех языках. Наставник, в восторге обнявши ученика, проговорил: — Зерно упало на добрую землю. — Но все-таки предположение сделать из Сокиры философа всех наук не сбылось.

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться у своего учителя музыке. Отец Григорий знал, что для вящего облагорожения сердца человеческого необходима музыка, и для того просил письмом друга своего философа Сковороду показать своему любимцу начальные основания музыки. Философ не медлил явиться в Переяслав со своими неразлучными друзьями, с флейтою и собакою, и с успехом начал преподавать сладкозвучие, и с таким успехом, что с небольшим через год они уже вдвоем с учеником [распевали] разные канты и дуэты, а в день ангела отца Григория, после ужина, к великому восторгу гостей, спели они, с аккомпанементом на гуслях, сатирическую песню Сковороды, которая начинается так:

Всякому городу нрав и права,
Всяка имеет свой ум голова.

Сокира молодой, действительно, делал большие успехи в познании музыки, если принять в соображение истинно философскую небрежность преподавателя. Мистик-философ, бывало, наденет на себя серую свитку, накроет голову соломенным брилем, флейту в руку и марш куда глаза глядят, а верный спутник его за ним. Бывало, пойдет в Березань, в 30 верстах от Переяслава, по дороге зайдет на древнюю высокую могилу, называемую Выбла, и зайдет на могилу единственно за вдохновением, и, почерпнувши из недр ее малую толику сего, богам единым свойственного дара, спешит делиться сиею благодатию с другом своим Якимом Лукашевичем в Березани. Проживя неделю у друга, идет навестить другого, а там третьего, а через месяц, смотришь, он уже в Киеве: сидит с другом своим Иваном Левандою

на скамеечке у ворот и читает импровизированную диссертацию о связи души человеческой с светилами небесными, а вития наш знаменитый, независимо от дружней диссертации, готовит к следующему воскресенью проповедь. Проживя немало в Киеве, он очутится в Стайках, а оттуда в Трахтемирове, а там через день и в Переяславе. Преподавши урок музыки, снова пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Полтавы и далее.

Гречка намерен был уже писать к Бортнянскому (также своему товарищу по бурсе), потому что видел в молодом Сокире решительный гений музыки и голос архангельский, но судьбе угодно было совершенно иначе распорядиться.

Быстро приближался событиями чреватый 1812 год, а юному Сокире кончился 19-ый со дня рождения.

Наконец, разрешился от бремени своими чудовищными чадами страшный 12-ый год. Как жертва всесожжения, вспыхнула святая белокаменная, и из конца в конец по всему царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад заливать вражескою кровью великий пожар московский.

Достиг этот судорожный клич и до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилась она, моя родная маты; зашевелилось охочекомонное и охочепешее ополчение малороссийское. Не выдержал мой юноша, разбил псалтырь и гусли, бежал и в городе Пирятине записался в полк под начало пирятинского полковника Николая Свички.

Узнавши всё и вся, Гречка просил письмом друга своего Николая Свичку не покидать его питомца на кровавом военном поприще, что друг исполнил, как заботливый отец. Назначив юноше первый уряд, полковник Свичка с полком своим выступил из славного города Пирятина на супротивного галла и на двадесят язык.

Когда полк проходил через город П., то отец Григорий во главе духовенства встретил воинство у стен града, осенил его крестным знамением и оросил святою водою. Когда же подошел к чаду

души своей, то, возведя горѐ полные слез очи, проговорил: — Господи заступи тебя и сохрани тебя.

Когда кровавые события пришли к желанному концу и зубастого французского зверя заперли в аглицкую конуру, то и наше славное воинство разбрелося по хуторам и селам и, сложив доспехи бранные, взялося за плуги и рала.

В половине 15 года возвратился Сокира в родной свой Переяслав с чином сотника и, к великой своей скорби, не нашел в живых своего благодетеля отца Григория. Он нашел только в городской ратуше духовное завещание покойника на свое имя, в котором незабвенный благодетель отказал ему часть своей библиотеки, состоящей из дорогих изданий древних классиков, еврейскую библию, французскую энциклопедию и рукописный экземпляр летописи Конисского, на первом листке которого было написано собственной рукой преосвященного тако: „Юному моему другу и собрату Григорию Гречке, доктору богословия и других наук, на память посылает смиренный Г. Конисский“.

Кроме библиотеки, отказал он ему еще дорогую скрипку и свои любимые гусли с изображением на внутренней части двух пляшущих пастушек с посошками и пастуха, под липою у ручья играющего на флейте.

С самого начала он отслужил панихиду по праведной душе своего благодетеля и, перенесши на опустелый свой хутор драгоценное наследство (мать его тоже скончалась), он начал приводить свою дедовщину в порядок и, уладивши на скорую руку что мог, он пригласил духовенство и сначала освятил собором возобновленную о с е л ю, а потом собором отслужил и панихиду об успокоении душ отца, матери и всех ближних родственников и ближайшего искреннейшего своего друга и благодетеля отца Григория. По совершении богослужения, по примеру предков своих, он накормил разного чина людей около 1000 душ, исключая всё городское духовенство и шляхетный класс.

Когда он остался на своем хуторе один, скучно ему стало. Долго, несколько месяцев, скучал он и не знал, что с собой делать. Только однажды вечером и вспомнил он святое изречение: „неудобно человеку жити едину“.

На другой день рано, оседлавши коня, поехал он в Сулимовку. Там у него, когда он еще не ходил на войну, росла на примете маленькая девочка у небогатого панка. Презря обычаи отцов, он без посредства сватов переговорил с отцом, с матерью, а тут же с невестою, да, не говоря худого слова, после рождества христова и перевенчались.

После такой скоропостижной свадьбы невозможно было рассчитывать на семейные радости, а вышла благодать, да и благодать-то еще какая! Во-первых, молодая жена Сокиры — красавица, да еще и красавица какая! — дай бог другому хоть во сне увидеть такую красавицу, а во-вторых, самого чистого, непорочного сердца и нрава тихого и покорного, одним словом, над нею и внутри ее было божие благословение. Одно, что можно было сказать про нее не то чтобы худое, но немного смешное. Ей, бедной, удалося прошедшее лето погостить месяц у своих богатых родственниц в местечке Оглаве, а родственницы эти только что возвратилися из Киева или, лучше сказать, из какого-то киевского пансиона и были чрезвычайно образованы. Тут-то она, бедная, и пошатнулась: от них-то она узнала, что грамоте их учат не для одного молитвенника, а еще кое для чего, и что высшее блаженство благовоспитанной барышни — это носить лиф как можно выше и обворожать кавалеров. А песен-то, песен каких восхитительных она у них позаняла! — и как „стонет голубок“, и как „дуб той при долине, как рекрут на часах“, и как „пастушка купается в прозрачных струях“, и как „закричала ах!, увидевши нескромного пастуха“, и даже „о Фалилей, о Фалилей!“ и ту выучила. Да и как же было не выучиться от таких образованных барышень! Они же, волшебницы, еще и на гитаре играли. Это броси-

лось в глаза молодому мужу, но он рассудил, что самое лучшее не обращать на ее песни внимания: попоет, попоет, да и перестанет, если некому будет [слушать] ее модных песен. А иногда так даже и подтрунивал, особенно когда проходил день втихомолку, без песен.

— Что же это ты, Параско,—скажет, бывало,— сегодня целый день молчишь? Хоть бы спела какую-нибудь иностранную песенку.

— Какую там выдумал еще иностранную?

— Ну, хоть как та „пастушка полоскалася в струях".

— Не хочу. Сам, коли хочешь, пой.

— Хорошо, и я спою.

И он медленно раскрывал гусли и, тихо аккомпанируя на них, пел своим чарующим тенором с самым глубоким чувством —

Не ходи, Грицю, на ті вечерниці ...

И когда кончал песню, то жена падала в его объятия и заливалася горчайшими слезами, а он тогда говорил ей, целуя: — Вот это настоящая модная песня.—Так он ее мало-помалу и совсем отстранил от современного просвещения, а о богатых образованных родственницах и о их модных песнях с тех пор и помину не было.

Ласками и насмешками он довел ее до того, что она сама начала смеяться над стрекозиными талиями переяславских панночек и по долгом размышлении оделась в национальный свой костюм, к величайшей радости своего мужа. И, боже мой, как она хороша была в родном своем наряде! Так хороша, так хороша, что, если бы я был банкиром, по крайней мере таким, как Ротшильд, то я иначе не одевал бы свою баронессу.

Но, увы! не всем нам судьба судила вкусить в жизни нашей таких великих радостей, какими упивался Сокира. И он вполне ценил эту благодать божию.

Любуясь своей красавицею Параскою, он не за-

бывал и физических своих потребностей, или, лучше сказать, они сами о себе напоминали. Осмотревши сначала свою дедовщину, он по долгом размышлении решил, что пахотную землю [надо] отдать с половины сулиминским козакам. При хуторе крестьян не имелось. Он, правда, и рад был, что их не имелось. Он смотрел на этот класс нашего народонаселения истинным филантропом. Побережье реки Альты оставил он за собою ради домашней скотины и выкашивал тучные луга *толокою*, в липовой же роще и *леваде*, прилегавшей к самому хутору, он решился возобновить отцовскую пасику. И это сделалось его любимою мечтою. Да и правду сказать, что может быть невиннее пасики из всех промыслов наших? Он не медля написал в Стародуб, чтобы к весне прислали ему пасичника. Тогда еще не было Прокоповича, теперь славного пчеловода, и, следовательно, нужда заставляла обращаться к самоучкам пасичникам.

Учрежденная им в липовой роще пасика, с помощью еленского старообрядца, год от году множилася и в продолжение пяти счастливых лет умножилась до 5000 пней. Господь благословил его начинание, теперь он был паном на всю губу. Пасикой своею он отстранил от себя всякое корыстное и необходимое соприкосновение с людьми, а с тем вместе и всё пошлое и низкое.

Счастливый, стократ счастливый человек, умевший отстранить от себя всё недостойное человека и довольствоваться только благом, приобретенным собственными трудами.

Такой счастливец был Н. Сокира.

В бытность свою в немецких землях он немимоходом замечал немецкий сельский быт и теперь приноровил его к своему хутору. Та же немецкая чистота и порядок во всем. Правда, что нашего брата художника не поражал хутор Сокиры своею наружностию, зато нехудожника поражал порядком.

Из всех славянок землячки мои чернобровые пользуются вполне заслуженною славою опрятных хозяек.

Но у мадам Сокиры эта статья была доведена до крайней степени. Ей обыкновенно, бывало, и во сне снится, что у нее в доме пол не вымыт или в кухне не смазан; так чтоб эта дрянь не возмущала ее невинного сна, то она заставляла Марину каждый божий день пол вымыть да еще и выскоблить. И достаточно, кажись, так нет, а еще и киевским песком посыпать,— таким песком, какой вы найдете не у всякого губернатора и в канцелярии. Она сама его привозила каждый год из Киева, когда ездила туда к 16 августа.

Карл Осипович говаривал всегда и всякому, что если он видел рай на земле, так это именно в доме Прасковьи Тарасовны, а больше нигде.

В пасике отражалась та же чистота и порядок, что и в доме. И как были кстати тут Виргилиевы „Георгики", которые любил прочитывать Никифор Федорович, лежа под соломенным навесом. Ни одна душа во всем Переяславе не знала, что старый пасичник (его так прозвали за его тихий нрав и медленную походку), что старый пасичник читал в подлиннике Виргилия, Гомера и Давида. Примерная, удивительная скромность! Я сам, будучи его хорошим приятелем, часто гостил у него по нескольку дней и, кроме летописи Конисского, не видал даже бердичевского календаря в доме. Видел только дубовый шкаф в комнате, и больше ничего. Летопись же Конисского, в роскошном переплете, постоянно лежала на столе, и всегда я заставал ее раскрытую. Никифор Федорович несколько раз прочитывал ее, но до самого конца ни разу. Всё, все мерзости, все бесчеловечия польские, шведскую войну, Биронового брата, который у стародубских матерей отнимал детей грудных и давал им щенят кормить грудью для своей псарни,— и это прочитывал, но как дойдет до голштинского полковника Крыжановского, плюнет и закроет книгу, и еще раз плюнет.

Раз как-то я приезжаю к нему с книжкою „Украинского Вестника", в которой были напечатаны Гулаком-Артемовским две оды Горация (гениальная

пародия!), и, прочитавши оды до Пархома, мы от чистого сердца смеялися с Прасковьей Тарасовной; а он отворил дубовый шкаф, вынул оттуда книгу в собачьем переплете и, раскрывая ее, проговорил:— А ну, посмотрим, верно ли оно будет с подлинником.— И тут-то я только увидел перед собою латиниста, эллиниста и гебраиста и полнешенек шкаф книг, вмещающих в себе словесность всего древнего мира.

А он, прочитавши вслух подлинник, закрыл книгу, поставил ее на свое место и, ходя тихо по комнате, читал про себя:

Пархоме, в счастьи не брыкай...

— Превосходно! И в точности верно! — проговорил он вслух.

Я и прежде глубоко уважал его за его во всех отношениях возвышенный характер, а теперь я, благоговея, исчезал перед его чисто рыцарскою скромностью.

— Что же это мы все как воды в рот набрали? — проговорила Прасковья Тарасовна.— Хоть бы повечерять, пока засветло.

— А что ж, когда вечерять, так и вечерять, я и на то готов.

Ужин был подан на ганку, и к концу его показалася из темного Переяслава полная красавица луна. Мы все трое замолкли и только переглянулись между собою. Картина была так хороша, что только в немом благоговении можно было созерцать ее.

Меня пригласил с собою Никифор Федорович в пасику ночевать, на что я, разумеется, и согласился охотно.

Не было другой такой ночи в моей жизни, да, верно, и не будет. Долго беседовали мы с ним о разных предметах и случайно коснулись моей слабой струны, народных наших песен. Ни один профессор словесности в мире не прочитывал [так] своей лекции о значении, влиянии и достоинстве народных песен. И с какой глубокой любовью изучил

он слова и мотивы наших прекрасных задушевных песен.

— Да,— говорил он,— после этой трогательно простой прелести наших песен что значат уродливые создания современных нам романсов. Кроме безнравственности, ничего более.— И чрезвычайно деликатно коснулся песен покойного своего учителя музыки Сковороды. Он сказал: — Это был Диоген наших дней, и если б не сочинял он своих винегретных песен, то было бы лучше. А то, видите ли, нашлись и подражатели, хоть бы и князь Шаховской, или Котляревский в своей оде — в честь князя Куракина — сколок Сковороды. Только та разница, что учитель мой, как истинный философ, никому не льстил.— „Энеида“ Котляревского в то время еще не была напечатана.

Я, как собиратель народных песен, много записал у него вариантов и самых песен, нигде мною прежде не слыханных.

Ко всем его прекраснейшим качествам принадлежит его найпрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. Любимейшим его чтением был Новый завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские. Каждое воскресенье и каждый праздник он ездил к обедне с женою в соборный храм благовещения. Вместе с прекрасной, гармонической архитектурой храма на него действовало и пение семинаристов. Но когда поставили в храме новый иконостас, гармония архитектуры исчезла, и он стал ездить к обедне в успенскую церковь, в ту самую, в которой в 1645 г. дал присягу Зиновий Богдан Хмельницкий со всякого чина народом на верность московскому царю Алексею Михайловичу. Но когда возобновлялся исторический памятник этот и из шести куполов уничтожили пять, экономии ради, то он стал ездить к Покрову. Церковь во имя покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнута, в знамение взятия Азова Петром Первым, полковником

переяславским Мировичем, другом и соучастником проклинаемого Ивана Мазепы. В этой церкви хранится замечательная историческая картина, кисти, можно думать, Матвеева, если не иностранца какого. Картина разделена на две части: вверху — покров пресвятыя богородицы, а внизу — Петр Первый с императрицей Екатериной I, а вокруг них все знаменитые сподвижники его, в том числе и гетман Мазепа и ктитор храма во всех своих регалиях.

Прослушавши литургию, Никифор Федорович подходил к образу покрова и долго любовался им и рассказывал своей любопытной Прасковье, кто такие были за люди, под кровом божия матери изображенные.

Иногда он рассказывал с такими подробностями про Даниловича и разрушенный им Батурин, что Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: — За что она его покрывает?

Как ни переполнена чаша счастия, а всегда найдется место для капли яду. Для полного счастия Сокиры чего бы недоставало? А ему недоставало самого высшего блаженства в жизни — детей.

Лет шесть уже минуло, когда на хуторе у старого сотника Сокиры, невзирая на отца протоиерея и прочий чин духовный, Никифор Федорович вынул свою скрипку (потому что гусли не соответствовали песне) и заиграл, припевая:

Ой хто до кого, а я до Параски...

при чем Прасковья Тарасовна плюнула и вышла из покоя, а Карл Осипович и Кулина Ефремовна, не говоря ни слова и также невзирая на чин духовный, схватилися за руки, да и пошли выплясывать:

O mein lieber Augustin...

И в тот же вечер другая пара — кум с кумою, едучи в город от Сокиры, пели тихонько в два голоса:

Одна гора високая,
А другая близька...

А отца протоиерея и братию на ту ночь положили спать в новой коморе, потому что ночь была бурная, так чтоб чего, боже сохрани, не случилось. Карл Осипович и Кулина Ефремовна, поплясавши в свое удовольствие и сказавши хозяевам „gute Nacht“, сели в свою беду и поехали в город, разговаривая себе тихонько и всё по-немецки.

То был великий и радостный день для бездетного Никифора Федоровича и Прасковьи Тарасовны. Они в тот день окрестили и усыновили двух близнецов-подкидышей и так бучно отпраздновали крестины, что повивальная бабка долго после того говорила,— что родилась, окрестилась и умру — не увижу таких хороших крестин, как были у старого сотника.

Минуло шесть лет после такого великого события в доме Сокиры, когда перед вечером сидели они, т. е. хозяева, на ганку с нерушимым другом своим Карлом Осиповичем, а перед ними на темнозеленом лужку, примыкающем к самой Альте, резвилося двое детей в красных рубашках, точно два красные мотылька мелькали на темной зелени. С крылечка все трое молча любовалися ими, и казалось, что у всех трех собеседников вместе с зрением и мысли были устремлены на детей. После продолжительного созерцания первая нарушила молчание Прасковья Тарасовна.

— Рассудите вы нас, голубчик Карл Осипович, что нам делать? Я говорю, что дети еще малые, а Никифор Федорович говорит: — Это ничего, что малые, а учить надо.— Где же тут, скажите таки христа ради, правда? Ну, еще хоть бы годочек подождать, а то думает после покрова уже и начинать.

— Да, да, начинать, давно пора начинать,— сказал Карл Осипович.— Я давно думаю об этом.

— Святая Варваро великомученица! Боитесь ли вы бога, Карл Осипович!

— Боюсь, очень боюсь, Прасковья Тарасовна, и скажу вам, что когда мне было только пять лет,

то я уже читал наизусть кой-что из Шиллера. Покойный Коцебу сказал раз, когда я ему прочитал его стихи наизусть, что из меня будет великий поэт, а на деле вышел маленький фармацевт. Вот что, Прасковья Тарасовна, и великие люди иногда ошибаются.

— Да это ничего, пускай себе ошибаются, только рассудите сами: после покрòвы!

— Да, да! Чем скорее, тем лучше.

— Ну, догадалась же я, у кого защиты просить,— подумала Прасковья Тарасовна, но не проговорила, а Карл Осипович, нюхая табак, приговаривал:

— Да, да, надобно учить. Ваша пословица говорит, что за ученого двух неученых дают, да не берут.

— Так вот что: мы вас, Карл Осипович, слушаем, как самого бога. Подождите, мои голубчики, хоть до филипповки; там даст бог пост — время такое тихое, им, моим рыбочкам, все-таки легче будет.

— До филипповки... как вы думаете, Карл Осипович, можно подождать? — проговорил Никифор Федорович.

— Нельзя. „Жизнь коротка, а наука вечна“— говорит великий Гете.

— Господи, что я наделала? — подумала Прасковья Тарасовна.— Зачем я ему говорила о детях? Теперь уж, я знаю, добра не будет.— Ну, уж вы там себе как хотите, — проговорила она вслух,— а я вам до филипповки не дам детей мучить.

— Хоть кол на голове теши, а она свое,— проговорил Никифор Федорович.— И скажи, откуда ты такой натуры набралась?

— Да от вас же и набралась: вы по моему ничего не хотите сделать, то я и по вашему тоже не хочу.

В это время дети подбежали к крыльцу, и Карл Осипович, лаская их, спросил:

— Ну, что ты, Зося, хочешь грамоте учиться?

Зося бойко сказал:

— Хочу.

— А ты, Ватя, тоже учиться хочешь грамоте?

— Тоже хочу,— отвечал запинаясь Ватя.

— Вот видите, Прасковья Тарасовна,— сказал Карл Осипович,— а вы останавливаете их стремление!

— Та ну вас с богом, Карл Осипович! Я уже не останавливаю. Только надо придумать,— говорила она, целуя и обнимая детей,— как это всё устроить.

— Это правда,— сказал Никифор Федорович.— Вот что, Карл Осипович! Вы живете в городе и по профессии своей встречаетесь с разного класса людьми. Не встретится ли вам иногда семинарист, хоть и не очень ученый, только бы не бойкий, договорите его для наших детей.

— С большою радостью буду искать такого человека. У меня есть один знакомый семинарист, большой охотник химические опыты делать. Ну, такой не годится, а я у него буду выспрашивать.

— Сделайте милость, Карл Осипович! Вот мы их и засадим за тму-мну, моих голубчиков,— говорил Никифор Федорович, лаская детей.

Об этих детях, как о будущих героях моего сказания,— я должен бы попространнее о них распространиться, но я не знаю, что можно сказать особенного о пятилетних детях. Дети, как и вообще дети: хорошенькие, полненькие, румяные, как недоспелая черешня, и больше ничего. Разве только, что они похожи друг на друга, как две черешневые едва зарумянившиеся ягоды. А больше ничего.

После взаимных пожеланий покойной ночи Карл Осипович сел в свою беду и уехал в город, а Никифор Федорович, благословивши на сон грядущий детей, пошел в свою пасику. А Прасковья Тарасовна, уложивши детей и прочитавши молитвы на сон грядущий, зажгла ночник и тоже отошла ко сну.

По обыкновению своему Прасковья Тарасовна к 16 августа отправилася в Киев и, возвратясь из Киева, между прочими игрушками и святыми вещами, как-то: шапочкой Ивана многострадального, колечками Варвары великомученицы и многим

множеством разной величины кипарисных образков, отделанных искусно фольгою, и между прочими редкостями — она показала детям никогда прежде не привозимые для них игрушки. Да с виду они и не похожи на игрушки, а просто две дощечки, обернутые кожею. Каково же было их удивление, когда они развернули дощечки и там они увидели зеленые толстые листы бумаги, испещренные красными и черными чернилами. Радости и удивлению их не было конца. Невинные создания! Не знаете вы, какое зло затаено в этих разноцветных каракулях! Это источник ваших слез, величайший враг вашей детской и сладкой свободы, словом — это букварь.

В ожидании 1 октября Прасковья Тарасовна сама исподволь стала учить разуметь таинственные изображения и за каждую выученную букву платила им сладким киевским бубличком. И, к немалому ее удивлению, дети через несколько дней читали наизусть всю азбуку. Правда, что и наволочка с бубличками почти опустела, что и заставило Прасковью Тарасовну приостановить преподавание. Да притом же,— думала она,— уже близко и покрòва — так пускай же они, мои голубята, хоть это малое время на воле погуляют.

Светлый горизонт юной свободы моих героев покрывался тучами. Гроза быстро близилась и, наконец, как раз на покровы, часу в 9-м утра, разразилася громом Карла Осиповича беды и явлением самого Карла Осиповича, а за ним — о ужас! — и явлением чего-то длинного, в затрапезном халате и старой и короткой фризовой шинели (вероятно, шитой навырост). Это был не кто другой, как сам светоч или, проще, учитель, вырытый Карлом Осиповичем из грязных семинарских аудиторий.

Степан Мартынович Левицкий — лицо соприкосновенное сему повествованию, то не мешает и о его персоне сказать слов несколько.

Он был один из многих сыновей беднейшего из всех на свете диаконов — отца диакона Мартына

Левицкого, не помню хорошенько, из Глемязова или из Ирклиева, только помню, что Золотоношского повета.

Странные и непонятные распоряжения судьбы людской! Хоть такое, например, можно сказать, дикое распоряжение: Никифору Федоровичу, человеку достаточному, не послать за все его молитвы ни единого, что называется, чада, а бедно-беднейшему диакону завалить ими и без них тесную хату. И как на смех, одно другого глупее и уродливее. Хоть бы, например, и предстоящий теперь пред лицом Никифора Федоровича научитель: безобразно длинная и тощая фигура, с такими же неуклюжими костлявыми руками, лицо опойкового цвета с огромнейшим носом, выдавшимся вперед длинным, заостренным подбородком и с немалыми висячими ушами и, вдобавок, с распухшей нижней губой, так что очертаний рта нельзя было определить; очертания глаз тоже определить трудно, потому что они были заплывшими от сновидений. Внутренние достоинства Степана Мартыновича были в совершенной гармонии с наружными. Так, например, спросил его однажды профессор на экзамене: — А ты, Степа, скажи, что помнишь; я и тем буду доволен.— И Степа, подумавши немало, сказал: — Я помню, как был пожар за Трубежем, да еще потом в Андрушах.— Ну, хорошо, Степа, с тебя и этого достаточно.— Он никогда не просился на праздники домой, зная хорошо, что праздники обходят их полуразрушенную хату, а проводил праздник в тех же холодных грязных классах, где провожал и великую четыредесятницу. Случилось как-то, что еще несколько товарищей осталися на праздник в семинарии и, как добрые дети, послали своим родителям по письменному поздравлению с праздником, прося, в заключение витиеватого послания, прислать им к празднику того-сего по мелочи. По примеру братии и Степа вздумал рукосотворить послание своим нищим родителям словесы такими:

По титуле.

„Дражайшие родители!

При отпуске сего листа из северного города, богоспасаемого Переяслава, я остаюся ваш сын“.— И, подумавши, прибавил: „Я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю, чтобы вы мне ради рождества христова прислали хоть ворочок пшена да кусок сала, а из лакомства хоть шкаповые сапоги и...“

Тут он опять задумался, а коварный друг его, Лука Нестеровский, подкрался да и выхватил недоконченное письмо, показал его всей братии,— и пошла потеха. С тех пор его иначе и не звали, как „пожар в шкаповых сапогах“. А он себе хоть бы кому слово сказал, так молчком и отделался.

Пока рекомендовал Карл Осипович своего protégé Никифору Федоровичу, наймичка Марина внимательно смотрела на новое лицо и, рассмотревши его хорошенько, толкнула тихонько Прасковью Тарасовну и шопотом спросила, показывая глазами на Степана Мартыновича:

— Чи воно живе?

— Живе,— отвечала Прасковья Тарасовна и вышла из покоя, а за нею и Марина последовала.

— Вы мою просьбу переборщили, Карл Осипович. Я просил вас рекомендовать для детей наших учителя, только не бойкого, а вы привезли какого-то дида.

— Ничего лучше быть не может для обучения алфавиту малых детей, Никифор Федорович,— говорил Карл Осипович.— Для этого нужен только говорящий автомат, больше ничего. А где вы найдете, позвольте вам сказать, лучше этого экземпляр? Это просто золото для ваших малюток.

— Быть по вашему. Так мы сегодня только уговоримся, а с завтрашнего дня и начнем с богом.

— А почему же не сегодня?—спросил Карл Осипович.

— Потому,—не во гнев вам будь сказано,—что горбатого только могила исправит. Вы, что с вами

не делай, как родились немцем, так и в могилу сойдете тем же немцем.

— А вы, небось, пойдете в могилу турком или французом?

— Я — дело другое. Я, слава богу, живу дома, а вы, Карл Осипович, на чужой стороне, следовательно, и не должны забывать, что у нас сегодня большой праздник, а в нашем приходе еще и храмовой.

— Так вы, значит, едете помолиться богу? Хорошее дело, а я привезу вам его завтра рано. Насчет же условий мы уже с ним условились: карбованец в месяц и два гарнца пшена, а по окончании азбучки — халат, хоть какой-нибудь, да пару сапогов. Согласны?

— С удовольствием.— И они расстались.

На другой день, т. е. 2 октября, явился Степа один на хуторе и, прочитав обычную молитву, принялся за дело. И с той поры каждый божий день, какая бы погода ни стояла, дождь ли, снег ли, ни на что несмотря, шагал наш педагог из хутора и на хутор, поутру и ввечеру, не прибавляя и не убавляя шагу, как заведенная машина. Учение букваря, благодаря понятливости детей, быстро двигалось вперед. И Никифор Федорович, к великому удовольствию своему, на деле увидел справедливость замечаний Карла Осиповича и многажды благодарил его за машину. И странная вещь. Дети до того резвые, что не токмо Прасковья Тарасовна,— сам Никифор Федорович не мог их успокоить, а только являлся учитель на двор, они делались такими же безмолвными и недвижимыми, как и он сам. И в продолжение урока сидели как заколдованные, не смея даже согнать муху с носу. А между тем от учителя в продолжение урока они слова не слыхали постороннего, и это-то, я полагаю, и была причина их околдования.

К 1-му декабря, т. е. в продолжение двух месяцев, был выучен букварь, до последней буквы, даже и „иже хощет спастися“. Прослушавши учеников своих последний урок, Степа торжественно встал,

взял детей за руки и, подведя к Никифору Федоровичу, сказал:

— Букварь пришел к концу; хоть экзаменуйте.

— Без всякого экзамена верю. Но что мы будем делать дальше, добрейший наш Степан Мартынович? Не возьмете ли вы до праздника показать им гражданскую грамоту?

— Могу показать; даже можно начать хоть сегодня, только бы азбучка была.

— Нет, сегодня и завтра пускай они погуляют, а начнем послезавтра.

— Хорошо,—сказал Степа, взял картуз и поковылял в город. На лице его было заметно что-то вроде самодовольствия. Придя в город, он явился в аптеку и, увидя Карла Осиповича, сказал с расстановкою:

— Совершил!

Карл Осипович дружески пожал его костлявую руку, благодаря за услугу, и попросил его остаться обедать, забывая, что Степан Мартынович никогда ни с кем вместе не обедал. Даже в общей столовой брал себе обыкновенно галушек в миску и отходил в угол. Простившись с Карлом Осиповичем, вышел он на площадь, держа в руке полученные за труды два карбованца (халат, сапоги и прочее он прежде получил). Ходя по базару, он останавливался, смотрел вокруг себя и снова продолжал шагать по базару. Пройдя через базар, он машинально пошагал за Трубеж, осмотрелся вокруг, своротил на Золотоношскую дорогу и, передвигая медленно ноги, скрылся за Богдановой могилой.

Немало изумилися на хуторе, когда в назначенный день не явился учитель, и не могли придумать, что бы это значило. Ввечеру приехал на хутор Карл Осипович. К нему обратились с вопросом, но и он не мог дать удовлетворительного ответа. Он только удивился такой неаккуратности. Карл Осипович справился в семинарии, но там забыли, как и зовут, только школьник какой-то закричал: — Это, должно быть, „пожар в шкаповых сапогах“. — Вся аудито-

рия громко засмеялась. Карл Осипович с тем, разумеется, и вышел.

Наконец, 6 декабря рано утром [Степан Мартынович] явился на хутор, прося извинения за отлучку.

— Где же вы были? — спросил его Никифор Федорович.

— Носил родителям деньги в Глемязов.

— Какие деньги?

— А что от вас получил. Мои родители вас благодарят за покровительство.

Никифор Федорович с умилением посмотрел на его неуклюжую фигуру. Он никогда не позволял себе никаких над ним шуток, но после путешествия его в Глемязов смотрел на него с уважением. Занятия его пошли обыкновенным порядком. К праздникам дети довольно бегло читали гражданскую печать и даже выучили наизусть виршу поздравительную (это уже были затеи Прасковьи Тарасовны). Пришел, наконец, и свят-вечер. Его [учителя] пригласили вместе с ними святую вечерю есть. Тут уже он не мог отказаться; а перед тем, как садиться за стол, позвал его Никифор Федорович в свою комнату и возложил на рамена его новый демикотоновый сюртук и вручил ему три карбованца. У Степы слезы показались на глазах, но он вскоре оправился и сел за вечерю.

Ночь перед рождеством христовым — это детский праздник у всех христианских народов, и только празднуется разными обрядами; у немцев, например, елкой, у великороссиян — тоже, а у нас после торжественного ужина посылают детей с хлебом, рыбой и узваром к ближайшим родственникам; и дети, придя в хату, говорят: — Святый вечир! Прислалы батько и маты до вас, дядьку, и до вас, дядыно, святую вечерю, — после чего с церемонией сажают их за стол, уставленный разными постными лакомствами, и потчуют их, как взрослых; потом переменят им хлеб, рыбу и узвар и церемонно провожают. Дети отправляются к другому дяде, и когда родня большая, то возвращаются домой перед заутреней,

разумеется, с гостинцами и с завязанными, вроде пуговиц, в рубашку шагами.

Мне очень нравился этот прекрасный обычай. У нас была родня большая. Бывало, посадят нас в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.

Я помню трогательный один „святый вечир“ в моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать, а в „святый вечир“ понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: — Святый вечир! Прислалы до вас, диду, батько и... — и все трое зарыдали; нам нельзя было сказать: — и маты.

После ужина просили Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна Степана Мартыновича отвезти с детьми вечерю к Карлу Осиповичу. Он, разумеется, не отказался, тем более, что он чувствовал на себе новый демикотоновый сюртук. Возвратясь благополучно из города с детьми, пригласили его ехать вместе к заутрене. Прослушав заутреню у Покрова, к обедне он пошел в собор, где, разумеется, были и оставшиеся на праздники семинаристы. Чтобы торжественнее блеснуть своим сюртуком, он выпросил у пономаря позволение снимать со свечей во время обедни. И в Степе пошевельнулися страстишки!

Когда после праздников явился на хутор Степа, его не узнавали: он переродился, — он начал говорить, чего прежде за ним и не подозревали. Спросили его, как он во время праздников веселился. — Весело, — говорит. — У кого бывал? — Родителей, — говорит, — посетил. — Он опять спутешествовал в Глемязов, чтобы оставить там подаренные к празднику три карбованца, а вместе с тем и блеснуть своим новым сюртуком.

Мало-помалу в нем начали (кроме букваря) [обнаруживаться] и другие познания. Оказалось, что он четыре правила арифметики знает как свои пять пальцев, только бессознательно; русскую грамматику знает не хуже самого профессора, только бесприложительно, да для хорошего учителя это и лишнее.

Великое дело поощрение! Одни только гениальные натуры могут собственными силами пробить

грубую кору холодного эгоизма людского и заставить обратить на себя изумленные глаза толпы. Для натуры обыкновенной поощрение — как дождь для пажити. Для натуры слабой, уснувшей, как Степа, одно простое внимание, слово ласковое освещает ее, как огонь угасшую лампаду. Демикотоновый сюртук, а более — ласковое обращение Никифора Федоровича разбудили слабые, спавшие силы души в неоконченной организации Степана Мартыновича. В нем оказались не только способности простого учителя, но он оказался еще и латинист немалый. Хотя тоже вроде автомата, но довольно внятно в пасике, под липою лежа, читал Тита Ливия.

По ходатайству Никифора Федоровича, преосвященный Гедеон выдал ему стихарь дьячка и место при церкви св. Бориса и Глеба, что против хутора. С тех пор Степан Мартынович зажил паном и до того дошел, что кроме юфтовых сапогов никаких не носил; в доме же Никифора Федоровича он сделался необходимым членом, так что без него в доме как будто чего недоставало. Правда, что в нем остроты и бойкости мало прибыло, но выражение лица совершенно изменилось: как будто освежело, успокоилось и сделалось невыразимо добрым, так что, глядя на его лицо, не замечаешь дисгармонии линий, а любуешься только выражением. Великое дело сделал ты, Никифор Федорович, своим сюртуком и тремя карбованцами! Ты из идиота сделал существо если не высокомыслящее, то глубокочувствующее существо.

Зося и Ватя между тем учились и росли. А росли они, как сказочные богатыри, не по дням, а по часам, а учились они тоже по-богатырски. Но тут нужно принять в соображение учителя. Степан Мартынович показывал им не по своему разумению, а как напечатано, и сам себе говорил иногда: — Не я буду виноват, не я его печатал. — На тринадцатом году это были взрослые мальчики, которым можно было дать, по крайней мере, лет пятнадцать, и так между собой похожи друг на друга, что только одна

Прасковья Тарасовна могла различить их. И это сходство не ограничивалось одною наружностию: они походили друг на друга всем существом своим. Например, Ватя хотел учиться, и Зося тоже; Зося хотел гулять, и Ватя тоже. Все, кто посещал хутор сотника Сокиры, не говоря уже о Карле Осиповиче, все были в восторге от детей, а о Никифоре Федоровиче и Прасковье Тарасовне и говорить нечего.

Однажды вечером нечаянно приехал на хутор Карл Осипович и застал хозяев чуть не в драке.

— Ну, та нехай, нехай уже буде по твоему,— говорил скороговоркою Никифор Федорович: — выбирай, какого сама знаешь.

— Нет, вы выбирайте: я ничего не знаю, я им просто чужая.

В это время вошел в комнату Карл Осипович, и Прасковья Тарасовна обратилась к нему:

— Вот, вот пускай хоть они нас разделят.

— Вы до сих пор не делились, чем же вы вздумали теперь делиться, скажите? — проговорил Карл Осипович, ставя в угол свою палку и шляпу.

— А вот чем, Карл Осипович! Мы уже порешили,— говорила Прасковья Тарасовна,— чтобы одного нашего сына определить в военную службу, а другого по штатской, так теперь не разделим их, кого куда.

— Обоих по штатской, но сначала нужно их чему-нибудь научить.

— И я так говорю,— проговорил спокойно Никифор Федорович.

— Господи! Вырастут, так научатся. Отец Лука и теперь не надивуется их познаниям. Да теперь же им скоро по четырнадцатому году пойдет, нужно думать что-нибудь.

— Я думаю сделать из них пока хороших семинаристов.

— А я офицеров.

— Быть по твоему, делай себе офицера, а я пока семинариста. Теперь, значит, дело стало за тем, кому быть семинаристом, кому офицером. Пускай же ре-

шит судьба: кинем жребий, а вы будьте свидетелем, Карл Осипович.

Кинули жребий, и по жребию выпало: Зосиму быть офицером, а Савватию — семинаристом.

С того вечера Прасковья Тарасовна как будто бы начала предпочитать Зосю Вате, разумеется, в мелочах. Однако ж эти мелочи заметил, наконец, и Степан Мартынович и говорил однажды в пасике после чтения Тита Ливия, что это нехорошо, что одной матери дети, что должно быть всё равно. Он говорил это про себя, а Никифор Федорович слышал про себя и горько улыбнулся.

Через год после этого происшествия решено было общим советом везти Зосю в Полтаву в кадетский корпус, а Ватю определить в гимназию в той же Полтаве. Сказано и сделано.

В одно прекрасное утро, то - есть часу около десятого, из хутора выехала туго нагруженная бричка, так туго, что четверка здоровых лошадей едва ее двигала. За бричкою ехала простая телега одноконь, тоже нагруженная и покрытая воловьей шкурой по - чумацки. Это были запасные харчи. Вперед же на своей беде рысцою поехал в город Карл Осипович, чтобы прилично встретить дорогих гостей на пороге своего дома. Сзади же транспорта шагал, как бы конвоируя его, Степан Мартынович и говорил про себя: — Напрасно, напрасно, ей - богу. Лучше бы в семинарию. И я мог бы быть еще полезен, а для их пользы я готов снова поступить в семинарию. — Так рассуждая, Степан Мартынович наткнулся на телегу с харчами и тогда только ясно увидел, что не одна телега, но и бричка тоже остановилась перед домом Карла Осиповича. У старого холостяка еще раз закусили на дорогу, чем бог послал у старца в келии, а для аппетиту Никифор Федорович должен был выпить рюмку водки с гофманскими каплями. После закуски простились и начали грузиться в бричку, причем Карл Осипович не забыл Зосе и Вате сунуть в карман по коробочке мятных лепешек. Транспорт тронулся и скрылся за углом. Карл Осипович

и Степан Мартынович тоже расстались. Карл Осипович остался дома, потому что нужно было рецепты отпустить, а Степан Мартынович пошел на хутор, потому что он теперь на хуторе полновластный владыка. Но владычество свое, кроме ключей от коморы, он готов передать Марине и, как во дни оны феодальный дукат какой-нибудь, готов был пешком путешествовать не в Палестину, разумеется, а только в Полтаву, того ради, чтобы, если нельзя будет лично присутствовать при приемном экзамене, то хоть стороною нельзя ли будет сделать какое-нибудь влияние на это дело, так близко касающееся его благородного сердца. Придя на хутор, он сказал Марине: — Благодушная Марино, я пойду в Андруши: преосвященный приехал и присылал за мною, есть дела; так ты не отлучайся из дому, и если я там заночую, так это ничего, ты не тревожься. Все будет благополучно.— И, не давши времени сделать какое-либо возражение благодушной Марине, он сказал: — Прощайте,— и вышел за ворота. Проходя через город, он вспомнил, что с ним не было ни копейки денег. Для этого он снова воротился на хутор, взял карбованец денег, повторил наставления Марине, с прибавлением, что если он и другую ночь заночует в Андрушах, так чтобы она не беспокоилась. Сказал и ушел.

Если Никифор Федорович воображает, что его верный Степа лежит теперь под липою в пасике и читает вслух Тита Ливия, то он сильно ошибается. Степан Мартынович, забыв всё на свете, кроме вступительного экзамена своих питомцев, удвоенным шагом мерял пирятинскую дорогу. В Яготине он подночевал и, вставши на заре, к поздней обедне был уже в Пирятине. Пообедавши куском хлеба и таранью и отдохнувши немного под церковною оградой, он бодро пустился в путь и слушал всенощное бдение в лубенском монастыре перед ракою святого Афанасия, патриарха александрийского. Переночевал в странноприимной и тут выслушал от какого-то переходящего богомольца легенду об успении свя-

того Афанасия в сидячем положении и о том, что дочери лютого Иеремии Вишневецкого Корибута снился сон, что она была в раю и ее оттуда вывели ангелы, говоря, что если она своим коштом выстроит храм божий в добрах своих близ города Лубен, то поселится уже на веки вечные в раю. Она и соорудила храм сей. Тут только рассказчик заметил, что слушатель его давно играет на волторне, и рассказчик не замедлил слушателю вторить, взявши октавою ниже, из чего и вышел преизрядный дуэт. Рано поутру мой пилигрим вышел за Сулу и пустился через знаменитое урочище N. прямо в Богачку, только воды напился около корчмы, что на Ромодановском шляху. Отдохнувши в Богачке у страннолриимной старушки Марии Ивановны Ячной, он ввечеру уже отдыхал под горою у переправы через Псел, что в местечке Белоцерковке. Тут еще на пароме какой-то остряк паромщик спросил его:— А что, я думаю, в Ерусалим правуете, странниче? Зайшлы б до нашои пани Базилевскои, та попросылы б на ладан: вона богобоязненна пани, може ще й нагодуе вас хоч борщем та рыбою из Псла.— Степан Мартынович как бы не слышал сарказма перевозчика и, отдохнувши во время переправы, он, помолясь богу, пустился в путь и в полночь очутился близ Решетиловки; но чтоб не приняли его за вора, рассудил отдохнуть под вербою. Купивши бубликов на базаре за три шага и искупавшись в речке N., пустился в путь, пожевывая бублички, и не отдыхал уже до самой Полтавы.

А Никифор Федорович, путешествуя, что называется, по-хозяйски, не в ущерб себе и коням, на другой день оставивши Яготин или, лучше, Гришковскую корчму, не доезжая Яготина, оставил пирятинскую дорогу влево и поехал гетманским шляхом, через Ковалевку, в Свичкино городище, навестить при таком удобном случае друга своего и сына своего благодетеля, полковника Свички, Льва Николаевича Свичку, или, как он называл себя, огарок, потому что свичка сгорела на киевских контрактах.

Об этих знаменитых контрактах я слышал от самого Льва Николаевича вот что: покойному отцу его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую штуку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл. Вот он, начинивши *ва л и з ы* ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на контракты скупил в Киеве всё шампанское вино, так что, когда началися балы во время контрактов, хвать!— ни одной бутылки шампанского в погребах.— Где девалось?— спрашивают.— У полковника Свички,— говорят. К Свичке,— а он не продает.— Пыйте,— говорит,— так, хоч купайтеся в ёму, а продажи нема.— Нашлися люди добрые и так выпили. После этой штуки Свичкино городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо называл себя огарком.

Прогостивши денька два в Городище, они на третий день двинулись в путь и к вечеру благополучно прибыли в Лубны. Так как в Лубнах знакомых близких не было, то они, отслуживши в монастыре молебен угоднику Афанасию, отправились далее. Хотелось было Никифору Федоровичу проехать на Миргород, чтобы поклониться праху славного козака-вельможи Трощинского, но Прасковья Тарасовна воспротивилась, а он не охотник был переспаривать. Так они, уже не заезжая никуда, через неделю прибыли благополучно в Полтаву.

А тем временем наш дьячок-педагог обделал все критические дела в пользу своих питомцев, сам того не подозревая.

В самый день прибытия своего в Полтаву он отправился в гимназию (к кадетскому корпусу он боялся и близко подойти, говоря:— Все москали, може, ще й застрелять) и узнал от швейцара, где жительствует их главный начальник. Швейцар и показал ему маленький домик на горе против собора.— Там,— говорит,— живет наш попечитель.— Степан Мартынович, сказав:— Благодарю за наставление,— отправился к показанному домику. У ворот встретил

его высокий худощавый старичок в белом полотняном халате и в соломенной простой крестьянской шляпе и спросил его:

— Кого вы шукаете?

— Я шукаю попечителя.

— Нащо вам ёго?

— Я хочу ёго просыть, що, як буде Савватий Сокира держать экзамен в гимназии, то чтоб попечитель не оставил его.

— А Савватий Сокира хиба ридня вам? — спросил старичок, улыбаясь.

— Не родня, а только мой ученик. Я для того и в Полтаву пришел из Переяслава, чтобы помочь ему сдать экзамен.

Такая заботливость о своем ученике понравилась автору перелицованной „Энеиды“, ибо это был не кто другой, как Иван Петрович Котляревский. Любящему все благородное, в каком бы образе оно ни являлось, автору знаменитой пародии сильно понравился мой добрый оригинал. Он попросил к себе в хату Степана Мартыновича и, чтоб не показать ему, что он самый попечитель и есть, то привел его в кухню, посадил на лаву, а на другой, в конце стола, сам сел и молча любовался профилью Степана Мартыновича. А Степан Мартынович читал между тем церковными буквами вырезанную на сволоке надпись: „Дом сей сооружен рабом божиим N. року божого 1710“. Иван Петрович велел своей леде (старой и единственной прислужнице) подавать обед здесь же, в кухне. Обед был подан. Он попросил Степана Мартыновича разделить его убогую трапезу, на что бесцеремонно он и согласился, тем более, что после решетиловских бубликов со вчерашнего дня он ничего не ел.

После борща с сушеными карасями Степан Мартынович сказал: — Хороший борщик!

— Насып, Гапко, ще борщу! — сказал Иван Петрович. Гапка исполнила. После борща и продолжительнейшей тишины Степан Мартынович проговорил:

— Я думаю еще просить попечителя о другом моем ученике, тоже Сокире, только Зосиме.

— Просите, и дастся вам,— сказал Иван Петрович.

— Зосим Сокира будет держать экзамен в корпуси кадетскому, так чи не поможет он ему, бедному?

— Я хорошо знаю, что поможет.

— Так попросите его, будьте ласкави.

— Попрошу, попрошу. Се дило таке, що зробыть можна, а вин хоч не дуже мудрый, та дуже нелукавый.

Степан Мартынович в это время вывязал из клетчатого платочка и выбрал из мелочи гривенник и сунул в руку Ивану Петровичу, говоря шопотом:

— Здасться на бублычки.

— Спасыби вам, не турбу́йтесь!

Степан Мартынович, видя, что гривенника его не хотят принять, завязал его снова в платочек, повторил еще два раза свою просьбу и, получа в десятый раз уверение в исполнении ее, он взял свой посох и бриль, простился с Иваном Петровичем и с Гапкою и вышел из хаты. Иван Петрович, провожая его за ворота, сказал:

— Чи не доведеться ще раз буты в наших местах, то не цурайтеся нас!

— Добре, спасыби вам,— сказал Степан Мартынович и пошел через площадь к дому Лукьяновича, чтобы оттуда лучше посмотреть на монастырь та, помолясь богу, и в путь. Долго смотрел он на монастырь и его чудные окрестности; потом посмотрел на солнце и, махнув рукою, пошел по тропинке в яр с намерением побывать в святой обители; но как тропинок много было, ведущих к монастырю, то он, спустясь с горы, призадумался, которую бы из них выбрать самую близкую, и выбрал, разумеется, самую дальнюю, но широкую. Своротя вправо на избранный путь, он вскоре очутился на убитой колесами неширокой дороге, вьющейся по зеленому лугу между старыми вербами и ведущей тоже к монастырю. Пройдя шагов несколько, он увидел сквозь

темные ветви осокора тихий, блестящий залив Ворсклы. Дорожка, обогнувши залив, вилася под гору и терялась в зелени. Вокруг него было так тихо, так тихо, что герой мой начинал потрухивать. И вдруг среди мертвой тишины раздался звучный живой голос, и звуки его, полные, мягкие, как бы расстилалися по широкому заливу. Степан Мартынович остановился в изумлении, а невидимый человек [продолжал] петь. Степан Мартынович прошел еще несколько шагов, и уже можно было расслышать слова волшебной песни:

Та яром, яром
За товаром.
Манівцями
За вівцями.

Вслушиваясь в песню, он незаметно обогнул залив и, обойдя группу старых верб, очутился перед белою хаткою, полускрытой вербами. На одной из верб была прибита дощечка, а на дощечке намалеваны белой краской пляшка и чарка. Под тою же вербою лежал в тени человек и продолжал петь.

Та до порога головами,
Вставай рано за волами!

А около певца стояла осьмиугольная фляга, похожая на русский штоф, с водкою на донышке, и в траве валялися зеленые огурцы. Певец кончил песню и, приподымаясь, проговорил:

— Тепер, Овраме, выпый по трудах.

И взявши флягу в руку, он посмотрел на свет, много ли еще в ней осталось духа света и духа разума.

— Эге-ге, лыха годыно! Що ж мы будемо робыть, Овраме? — неповна, анафема! — и при этом вопросе он кисло посмотрел на хатку, и лицо его мгновенно изменилось. Он бросил штоф и вскрикнул:

— Пожар в сапогах!

Степан Мартынович вздрогнул при этом воскли-

цании и встал с призьбы, где он расположился было отдохнуть.

— Пожар в сапогах! Пожар в сапогах! — повторял певец, обнимая изумленного Степана Мартыновича. Потом отошел от него шага на три, посмотрел на него и сказал решительно:

— Не кто же иный, как он. Он, — пожар в сапогах, — и, пожимая его руки, спросил:

— Куда ж тебе оце несе? Чи не до владыки часом? Як що так, то я тоби скажу, що ты без мене ничого не зробыш, а купыш кварту горилки, гору переверну, не тилько владыку.

И действительно, говоривший был похож на древнего Горыню: молодой, огромного роста, а на широких плечах вместо головы сидел черный еж; а из пазухи выглядывал тоже черный полугодовалый поросенок.

— Так? Кажи!

— Я не до владыки, я так соби, — отвечал смущенный Степан Мартынович.

— Дурень, дурень: за кварту смердячои горилки не хоче рукоположиться во диакона. Ей-богу, рукоположу, — вот и честная виночерпия скаже, что рукоположу, я великою сылою орудую у владыки.

— Так как же я без харчи до Переяслава дойду?

— Дойду, дойду, дурню! Та я тебе в одын день по пошти домчу.

Степан Мартынович начал развязывать платок, а певчий (это действительно был архиерейский певчий) радостно воскликнул:

— Анафема! Шинкарко, задрипо, горилки! Кварту, дви, три, видро! проклята утробо!

Степан Мартынович, смиренно подавая гривенник, который возвратил ему Иван Петрович, сказал, что деньги все тут.

— Тссс! я так тилько, щоб налякать ии, анафему.

Водка явилась под вербою, и приятели расположились около малёваной пляшки. Певчий выпил стакан и налил моему герою. Тот начал было отказываться, но богатырь-бас так на него посмотрел, что

он протянул дрожащую руку к стакану. А певчий проговорил:

— А еще и дьяк!

И он принял пустой стакан от Степана Мартыновича, налил снова и посекундачил, т. е. повторил, обтер рукавом толстые свои губы и проговорил усиленным [голосом] протяжно:

— Благословы, владыко!..

Степан Мартынович изумился огромности его чистого прекрасного голоса, а он, заметя это, взял еще ниже:

— Миром господу помолимся!

— Тепер можна для гласу...

И он выпил третий стакан и, сморщась, молча показал пальцем на флягу. Степан Мартынович не без изумления заметил, что фляга была почти пуста, и отрицательно помавал головою.

— Робы, як сам знаешь, а мы тым часом... — и, крякнувши, он запел:

Ой, ішов чумак з Дону...

И когда запел:

Ой доле, моя доле,
Чом ти не такая,
Як інша, чужая? —

из маленьких очей Степана Мартыновича покатились крупные слезы. Певец, заметя это и чтобы утешить растроганного слушателя, запел, прищелкивая пальцем:

У неділю вранці
Ішли наші новобранці,
А шинкарка на їх морг,
Іду, братики, на торг!

Кончив куплет, он выпил остальную водку, взглянул на собеседника и выразительно показал на шинок. Безмолвно взял флягу Степан Мартынович и пошел еще за квартою, а входя в шинок, проговорил:

— Пошлет же господь такой ангельский глас недостойному рабу своему.

И пока шинкарка делала свое дело, он спросил ее:

— Кто сей, с которым возлежу?

— Се — бас из монастыря,— отвечала она.

— Божеский бас,— говорил про себя Степан Мартынович.

— Якбы не бас, то б свыней пас,— заметила шинкарка.— Пьяныця непросыпуща.

— Оно так; но, жено, басы такии и повинны быть.

— И вы тоже бас? — спросила шинкарка.

— Нет, я не владею ни единым гласом.

— И добре робыте, що не владиете.

Через полчаса явился опять в шинок с пустой флягой Степан Мартынович, и шинкарка, наполня ее, про себя сказала: — От пьють, так пьють! — Возвратясь под вербу, он поставил флягу около баса и сам лег на траве вверх брюхом, подражая боговдохновенному басу. Бас же, не говоря ни слова, налил стакан водки и вылил ее в свою разверстую пасть, пощупал траву около половинки огурца и, поднеся пустые пальцы ко рту, пробормотал: — Да воскреснет бог! — и, обратясь к Степану Мартыновичу, сказал почти повелительно:

— Дерзай! — и Степан Мартынович дерзнул. Бас и себе дерзнул и уже не искал закуски, а только щелкнул языком и проговорил:

— Эх! Якбы тепер отець Мефодий. От бас — так бас! А все - таки мене не перепье! — И он выпил еще стакан.

Фляга опять была пуста. Он посмотрел на Степана Мартыновича и показал на шинок, но Степан Мартынович побожился, что у него ни полпенязя в кишени. Тогда бас бросился на него и, схватя его за руку, вскрикнул:

— Брешешь, душегубец, бродяга! Ты паству свою покинул без спросу владыки и блукаешь тепер по дебрях та добрых людей грабишь. Давай кварту, а то тут тоби и аминь!

— Поставлю, поставлю, отпусти только душу на покаяние,— говорил запинаясь Степан Мартынович.

Бас, выпуская его из рук, лаконически сказал:

— Иды и несы!

Степан Мартынович, схватя флягу, бросился в шинок и почти с плачем обратился к шинкарке:

— Благолепная и благодушная жено! — (он сильно рассчитывал на комплимент и на текст тоже) — изми мя от уст львовых и избави мя от руки грешничи — поборгуй хотя малую полкварту горилки.

— А дзусь вам, пьяныци! — сказала лаконически шинкарка и затворила дверь.

— Вот тебе и „поборгувала“! Выходит, что комплименты не одинаково действуют на прекрасный пол.— Ошеломленный такою выходкою благолепной жены, он долго не мог опомниться и, придя в себя, он долго еще стоял и думал о том, как ему теперь спастися от руки грешничи. Самое лучшее, что он придумал, упасть к ногам баса и возложить упование на его милосердие. С этой мыслию он подошел к вербе, и — о радость неизреченная!— бас раскинулся во всю свою высоту и широту под вербою и храпел так, что листья сыпались с дерева, как от посвиста славного могучего богатыря Соловья - разбойника.

Видя такой благой конец сей драматургии, герой мой не медля „яхся бегу“, глаголя: „стопы моя направи по словеси твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие“.

Пройдя недалеко под гору, он свернул с дорожки и прилег отдохнуть под густолиственной липою — и вскоре захрапел не хуже всякого баса.

Благовест к вечерне разбудил моего героя. Проснувшись, он долго не мог понять, где он. И начиная перебирать происшествия целого дня, начиная со старичка в белом халате и бриле, он постепенно дошел до трагической сцены под вербою и благополучного ее конца. Тогда, осенив себя знамением крестным, он встал, вышел на дорожку, и дорожка привела его к самым стенам монастыря. Вечерня уже началась, уже читал чтец посередине церкви первую кафизму, а клир пел: „работайте господеви со страхом и радуйтеся ему с трепетом“. Немалое же

его было изумление, когда он в числе клира, именно на правом клиросе, увидел своего богатыря-баса. Как ни в чем не бывало, ревел себе, спрятавши небритый подбородок в нетуго повязанный галстук.

При выходе из церкви, бас заметил своего protégé и дал знак рукою, чтобы он последовал за ним.

— Ну, что если, боже чего сохрани, опять туда? Погиб я,— подумал он и следовал за басом, как агнец на заклание.

Однако же этого не случилось вопреки опасениям его. Они вошли в огромную трапезу, где уже братия садилася трапезовать, а певчие садилися за особенный стол. Бас молча указал место и своему protégé. В трапезе было почти темно, и когда зажгли светочи, то, увидя среди себя моего героя, весь хор воскликнул: — Пожар в сапогах! — Они все его знали еще в семинарии. После трапезы повели его в свою общую келию и, узнавши, что он завтра намерен принять обратный путь в Переяслав, все единогласно предложили ему место в своем фургоне, объяснив ему, что завтра после литургии владыка отъезжает в Переяслав, т. е. в Андруши, и что они, его певчие, туда же едут по почте. Тут раздумывать было не к чему, тем более, что в кармане у моего бедного героя гуло!

На другой день, часу в четвертом пополудни, фургон, начиненный певчими, несся, вздымая пыль, по переяславской дороге и, подъехав к корчме близ хутора Абазы, остановился. Дисканты просили пить, а басы просили выпить. Герою моему тоже хотелось было вылезть из фургона вместе с басами, и о ужас! — из корчмы в окно выглядывала, как бы вы думали, сама Прасковья Тарасовна! Он повалился на дно фургона и молил дискантов накрыть его собою. Мальчуганы все разом повалились на него и так накрыли, что он чуть было не задохся. Слава богу, что басы недолго в корчме проклажались. Басы, учиняя порядок и тишину в фургоне, велели почтарю рушать, а сами громогласно запели: „О всепетая маты, а все пивныки в хате". К ним присоеди-

нили и свои ангельские голоса дисканты, и вышла песня хоть куда.

Так весело и быстро продолжали они путь свой без всяких трагических приключений, кроме разве что в яготинском трактире басы общими силами поколотили первого баса, покровителя Степана Мартыновича, за буйные поступки, а потузивши, связали ему руки и ноги туго, положили его в фургон и в таком плачевном положении привезли его в Переяслав.

По прибытии в Переяслав Степан Мартынович благодарил хор за одолжение и, простившись с ним, зашел к Карлу Осиповичу, попросил у него полкарбованца для необходимого дела. Получа желаемое, зашел он в русскую лавку, купил зеленую хустку с красными бортами и пошел на хутор, размышляя о своем странствовании, исполненном таких, можно сказать, драматических и поучительных приключений.

Подойдя к самым воротам хутора, он не без изумления услыхал женский голос, поющий:

За три шаги півника продала,
За копійку дудника найняла,
Заграй мені, дуднику, на дуду,
Нехай свого лишенька забуду.

— Это Марина, это она,— подумал Степан Мартынович и вошел на двор. Войдя тихонько в кухню, он остолбенел от соблазна и ужаса. Марина, пьяная Марина, обнимала и целовала почтенного седоусого пасичника Корнея. Он не мог выговорить ни слова, только ахнул. Марина, отскочивши от пасичника, схватила его за полы и принялась плясать, припевая:

Ой мій чоловік
На Волощину втік,
А я цит продала
Та музики найняла.

— Марыно! Марыно! богомерзкая блудница растленная, что ты робышь? Схаменыся!—говорил Сте-

пан Мартынович. Но Марина не схаменулась и продолжала:

Ой заграйте мені,
Музиканти мої,
А я вам того дам,
Що ви зроду не бачили — і гу!

и запела снова:

Упилася я,
Не за ваші я;
В мене курка неслася,
Я за яйця впилася.

— Цур тоби, отыди, сатано! — вскрикнул он и, вырвавши полы из рук веселой Марины, побежал в пасику. Найдя всё в хорошем порядке, он лег под липою вздохнуть от треволнений.

— А может быть, они во время моего странствия уже и законным браком сочетались, а я поносил ее блудницею непотребною! — и в раскаянии своем он уснул и видел во сне бракосочетание Марины с Корнеем пасичником и что он был у сего последнего старшим боярином.

Солнце уже зашло, когда он проснулся. Придя на хутор, он нашел ворота затворенными, а кухню растворенную и на полу спящую Марину, а пасичник Корней под лавою тоже храпел. Он посмотрел на них, сострадательно покачал головою и, выходя в сени, сказал:

— А хустку все-таки треба ий отдать: она женщина богобоязненная.

На другой день отдал он ей хустку и просил, чтобы она никому ни слова не проговорила об его отсутствии, а она просила его, чтобы он тоже молчал о вчерашнем ее поведении. И они поклялися друг другу хранить тайну.

По истечении пяти с половиною седмиц возвратилися после долгого отсутствия благополучно на свой хутор и Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна. Радостно отворял им ворота Степан Мар-

тынович, высаживал из брички и вводил в покои. Когда суматоха немного утихомирилась, а к тому времени подъехал на своей беде и Карл Осипович, то уже перед вечером собралися все четверо на ганку, и началося повествование о столь продолжительном странствовании. Сначала взяла верх Прасковья Тарасовна, а потом уже Никифор Федорович. Прасковья Тарасовна начала так:

— Попрощавшися с вами, Карл Осипович, в середу, а в четверг рано мы были уже в Яготине. Пока Никифор Федорович закусывали, я с детьми вышла из брички та и хожу себе по базару; только смотрю, на базаре стоит какой-то круглый будынок, и столбы кругом, кругом. Меня ди́ты и спрашивают: — Маменька, что это такое? — Я и говорю: — Ей-богу, деточки, не знаю, надо будет спросить кого-нибудь. — Смотрю, на наше счастье, идет какая-то молодыця. Я и кричу ей: — Молодыце! а йды, — говорю, — сюда! — Она подошла. — Скажи, голубко, что это у вас там на базаре стоит? — Вона и говорыть: — Церковь. — Церковь, — думаю соби, — чи не дурыть вона нас? — Только смотрю, — и крест наверху, на круглой крыше. — Господи, — думаю соби, — уж я ли церко̀в у Киеве не видала, а такой, хоть побожиться, так, я думаю, и в Ерусалиме нет. — Из Яготина заехали мы в Городище. Прекрасный человек — Лев Николаевич! А какие у него деточки, просто ангелы божии, особенно Наташа, особенно когда запоет, просто прелесть, да еще и пальчиками прищелкнет. И так полюбила моего Зосю, что заплакала, когда прощалися. Были в монастыре в Лубнах, заказывали молебен святому Афанасию. Точно живой сидит за стеклом, мой голубчик. Вот церковь — так церковь, хоть с нашим Благовещением рядом поставить.

— Только не ставь рядом нашего нового иконостаса, — перебил ее Никифор Федорович.

— Ну, та я уж там этого не знаю. В Хороле тоже ночевали. Только я, признаться, его и не видала, какой он там той Хорол: проспала себе всю станцию, проснулась уже в Вишняках за Хоролом.

Там-то мы и ночевали, а не в самом Хороле. Село огромное, только такое убогое, что страх посмотреть. Помещик, говорят, пьяныця непросыпуща, живет десь, бог его знает, в Москве, говорили, или в Петербурге, а управитель что хочет, то и делает. Как бо его зовут, того помещика, кат его возьми? Никифор Федорович, вы чи не припомните?

— N.,— сказал Никифор Федорович,— Оболонский.

— Да, да: N., так и есть N. А церковь какая прекрасная вымурована за селом, как раз против господского дома! Говорят, какая-то генеральша Пламенчиха вымуровала над гробом своего мужа,—праведная душа! Еще в Белоцерковке тоже ночевали и переправлялись на пароме через реку. Я страх боялася: паром маленький, а бричка наша — слава богу! Белоцерковская пани, говорят, страшно богата, а ест только одну тарань, и то по скоромным дням, а с железного сундука с червонцами никогда и не встает,— так и спит на нем. Говорят, когда загорелся у нее магазин с разными домашними добрами,— говорят, полотна одного десятки возов на сто было, и можно было б хоть половину спасти. Что ж вы думаете? — не велела: раскрадут,— говорит; лучше пускай горит.— Тьфу, какая скверная! В Решетиловке церков с десять, я думаю, будет, и живут всё козаки. Перед самою Полтавою обедали в корчме, и только что лег отдохнуть Никифор Федорович, приезжают архирейские певчие.

Степан Мартынович завертелся на стуле.

— Входят в корчму, и один как заревел: — Шинкарко, горилки! — Я так и умерла со страху; отроду не слыхала такого страшного голоса. А собою здоровый, высокий, а на голове волосы, как щетина, так и торчат.

А про самую Полтаву я и рассказать не умею. Рассказывайте уже вы, Никифор Федорович.

Тоже явление необыкновенное: жена отказывается говорить — в пользу мужа.

— Хорошо, я уже все до конца доскажу, а вы б тым часом похлопотали коло вареников. Карл Оси-

пович и Степан Мартынович, я думаю, что не откажутся повечерять с нами.

Оба слушателя в знак согласия кивнули головами, а Прасковья Тарасовна встала и ушла в комнаты.

— Да,— начал Никифор Федорович,— благословение господне не оставило таки наших деточек. Я, правду сказать, никогда в Полтаве не бывал и не имею там никого знакомых. Только по слуху знал, что попечителем гимназии наш знаменитый поэт Котляревский. Я, узнавши его квартиру, отправился прямо к нему. Представьте себе, что он живет в домике в сто раз хуже нашего. Просто хата. А прислуги только и есть, что одна наймичка Гапка да наймит Кирик. Сам он меня встретил, ввел в хату, посадил с собою рядом и начал меня спрашивать, какое мое до него есть дело. Я ему сказал и прошу его помощи. Только он усмехнулся и спрашивает: — Как ваша фамилия? — Я сказал: Сокира.—Сокира, Сокира,— повторил он.— У вас двое детей — Зосим и Савватий.

Степан Мартынович сидел как на иголках.

— Котляревский продолжал: — Одного вы хотите определить в гимназию, а другого в кадетский корпус.— Так точно,— говорю я,— но спросить его не посмел, откуда он всё это знает.— Вы, кажется, удивляетесь,— говорит он,— что я знаю, как ваших детей зовут.— Немало,— говорю,— удивляюсь.— Слушайте,— говорит,— я расскажу вам историю.

Степан Мартынович задрожал от страха.

— Однажды я гуляю себе около своих ворот,— начал было он рассказывать; только в это время вошел высокий лакей и говорит, что княгиня Р. просит к себе на чай. Он сказал, что будет, а я, взявши шапку, хотел проститься и уйти, а он и говорит мне: — Не гневайтесь на меня, зайдите завтра поутру, да приведите и козаков своих.—Степан Мартынович вздохнул свободнее.— Да что же я тороплюсь? Время терпит,— говорит,— а история в трех словах. Да, так гуляю около ворот, смотрю, подходит ко мне...

При этом слове Степан Мартынович повалился в ноги Никифору Федоровичу и возопил:

— Пощадите меня, раба недостойного, я преступил вашу святую заповедь: я оставил ваш дом и бежал во след ваш в самую Полтаву.

Никифор Федорович понял, в чем дело, и, целуя Степана Мартыновича, поднял на ноги и усадил на стул, и, когда тот успокоился, он рассказал всю историю, как ему рассказывал сам попечитель.

— Господи, прости меня окаянного! А я, недостойный отрешить ремень сапога его, я... я дерзнул мало того, что сесть с ним рядом, но даже и трапезу разделять и, паче еще, гривенник давал ему за протекцию моих любезных учеников. О, просты, просты мене, господы! С таким великим мужем, с попечителем и рядом сидеть, как с своим братом! Ох, аж страшно! Завтра же, завтра иду в Полтаву и упаду ему в ноги. Скажу...

— Не ходите завтра,— сказал Никифор Федорович,— а на то лето поедем вместе.

— Нет, не дождусь, умру до того лета, умру без покаяния. О, что я наделал!

— А вы наделали то, что через вас теперь дети наши приняты на казенный счет: один в гимназию, другой в корпус. Вы так полюбилися Ивану Петровичу, что он мало того, что через вас определил наших детей, а еще посылает вам в подарок свою „Энеиду“ с собственноручным надписанием. И мне тоже, дай бог ему здоровья, тоже подарил свою „Энеиду“ и тоже с собственноручной надписью. Пойдемте лучше в хату: тут уже темно, а в хате я вам и книгу вручу, и свою покажу.

Не описываю вам восторга Степана Мартыновича, когда он собственными глазами увидел книгу и прочитал: „Уважения достойному С. М. Левицкому на память. И. Котляревский“.

— И фамилию мою знает, о, муж великий! — и, рыдая, он целовал надпись.

После ужина Карл Осипович уехал в город, и на хуторе всё уснуло, кроме Степана Мартыновича. Он,

взявши свою книгу, на човне переправился через Альту, пришел в свою нетопленную школу и, засветя каганець, принялся читать „Энеиду“ и прочитал ее до конца. Солнце уже высоко было, когда взошел к нему в школу Никифор Федорович, а каганець горел и Степан Мартынович сидел за книгою.

— Добрый день, друже мой! — сказал он, входя в школу.

Степан Мартынович поднял голову и тогда только увидел, что каганець напрасно горит.

— Добрый день! добрый день, Никифор Федорович! А я все прочитывал книгу. Неоцененная книга! Когда-нибудь в пасике я вам ее вслух прочту. Чудная книга!

— Именно чудная! Вот в чем моя речь: что мы теперь, друже мой, будем делать? Ведь мы теперь с вами одинокие! Учить вам теперь некого, а мне некого экзаменовать. Что мы будем теперь делать? а?

— Я и сам не знаю, — сказал с расстановкою Степан Мартынович.

— Я думаю вот что. Возьмите у меня наборг десять или два десятка пней пчел и заведите себе пасику хоть тут же, около своей школы, да и пасичникуйте, а я тоже буду пасичниковать. А когда господь многомилостивый благословит ваше начинание, тогда возвратите вы мне мои пчелы. А тым часом мы будем в гости ходыть один к другому. Согласны?

— Паче всякого согласия.

— А коли так, то примите от меня и моей жены сей недостойный подарок за ваше бескорыстие и истинно христианскую любовь к нашим бедным детям.

И он вручил ему кусок гранатового сукна, примолвя:

— Я за кравцем Беркою послал уже в город, сшейте себе к покрову добрый сюртук и прочее.

Степан Мартынович держал сукно в руках, смотрел на него и не мог выговорить слова.

— На покров как раз будет шесть лет, как вы в первый раз явилися у меня в доме.

Со слезами благодарности принял дорогой подарок Степан Мартынович, и они вышли из школы. На хуторе встретил их Берко кравець с треугольным аршином в руках. Снял он мерку с Степана Мартыновича, причем ему не раз приходилося становиться на цыпочки, потому что он был непомерно невелик ростом, а Степан Мартынович непомерно велик. Снявши мерку, он тут же принялся кроить. На дом кравцям небезопасно давать целиком такой дорогой материал: как раз будешь без полы или без рукава. Прасковья Тарасовна тоже вышла посмотреть, как будут сюртук кроить, и тоже вынесла подарок недешевый, якобы от детей из Полтавы, и, подавая его Степану Мартыновичу, говорила:

— Вот этот черный шовковый платок для шии Зося прислал вам, а это — Ватя: тоже шелковая дорогая материя на жилет вам к покрове.

Принимая столь неоцененные подарки, Степан Мартынович говорил, рыдая от полноты сердечной:

— Что ти принесу или что ти воздам?

Надо заметить, что Степан Мартынович говорил на трех диалектах: чисто по-русски и, когда обстоятельства требовали, а иногда и без всяких обстоятельств, чисто по-малороссийски; в положениях же патетических — церковным языком и почти всегда текстами из священного писания.

Пока он проливал слезы благодарности, Прасковья Тарасовна вынесла из комнаты два куска холста, говоря:

— А это вам будет на рубашки. Это уже от меня принять не откажитесь. Сошьет же вам хоть и наша Марина, а мы ей дамо годовалую свинку за работу.

Степан Мартынович был выше всякого счастия. Закрыв лицо руками, он безмолвно вышел на крыльцо, сел на ступеньку и рыдал, как малое дитя. Вскоре вышел и Никифор Федорович и, взявши его за руку, сказал:

— Мы вам думали сделать доброе, а вы плачете.

Не обижайте же нас, сирых стариков, Степан Мартынович!

— Я в радости постёлю мою слезами моими омочу.

— Ну, так пойдемте в пасику. Ляжте там хоть на моей постели, та и мочить ее сколько угодно.

Степан Мартынович встал и молча последовал за Никифором Федоровичем. Придя в пасику, Никифор Федорович вынул из кармана мелок и отметил буквою Л десять ульев, говоря: — Боже благослови ваше начинание,— и прибавил, показывая на ульи:

— Примите в свою собственность, Степан Мартынович!

— Дайте мне хоть дух перевести. Вы меня умертвите вашими благодеяниями.

Они сели под липою, и при сем случае Никифор Федорович прочитал изрядную лекцию о пчеловодстве, а в заключение сказал:

— Трудолюбивейшая, богу и человеку угоднейшая из всех земнородных тварей — это пчела, а заниматься ею и полезно, и богу не противно. Этот смиренный труд ограждает вас от всякого нечистого соприкосновения с корыстными людьми, а между тем ограждает вас и от гнетущей и унижающей человека нищеты. По моим долгим опытам и наблюдениям, я дознал, что пчела требует не только искусного человека, но еще кроткого и праведного мужа. Вы же в себе вмещаете все сии добродетели, и с упованием на бога и святых его угодников Зосиму и Савватия будет благословенно и преумножено ваше начинание!

Степан Мартынович в благоговейном молчании слушал. Никифор Федорович продолжал:

— Нынешнее лето на исходе, уже, слава богу, сентябрь на дворе. Следовательно, вам теперь нечего и думать пасику заводить, а вы уже начните с будущей весны, а теперь только выберите для пасики место и обсадите его какими-нибудь деревьями, хоть липами, например, а я, даст бог, положивши пчелы зимовать в погреб, съезжу недели на две, на три в Батурин. Там, около Батурина где-то,

живет наш великий пасичник Прокопович. Послушаю его разумных наставлений, потому что я теперь думаю исключительно заняться пасикою.

На другой или на третий день после этой разумной беседы, поутру рано, ходил около своей школы Степан Мартынович в глубокой задумчивости, с „Энеидою“ в руках. Он с нею никогда не разлучался. После долгой думы он отправился на хутор и, увидя Никифора Федоровича также в созерцании гуляющего и тоже с „Энеидою“ в руках, он после пожелания доброго дня сказал:

— Знаете, что я придумал?

— Не знаю, что вы придумали.

— Я придумал, по примеру прочих дьячков, завести школу, т. е. набрать детей и учить их грамоте.

— Благословляю ваше намерение и буду споспешествовать оному по мере сил моих,— а помолчавши, он прибавил: — а пасики все-таки не оставляйте.

— Зачем же?.. Пасика пасикою, а школа школою.

Получив такое лестное одобрение своему предположению, он с того же дня принялся хлопотать около своей школы, укрыл ее новыми снопками, позвал двух молодиц и велел вымазать внутри и снаружи белою глиною, а сам между тем недалеко от школы рыл всё небольшие ямки для деревьев без всякой симметрии. Соседки, глядя на все эти затеи Степана Мартыновича, не знали, что и думать про своего дьяка, и, наконец, общим голосом решили, что дьяк их, решительно, женится; но когда увидели его на покров в суконном гранатовом сюртуке, тогда в одно слово сказали: — На протопоповне.— Каково же было их удивление, когда после покрова их дьяк пропал и пропадал недели с три, а когда нашелся, то не один уже, а с четырьмя мальчиками — так, лет от семи до десяти. Всё это было для соседок непроницаемою тайною, между тем как дело само по себе было очень просто. Степан Мартынович побывал дома в Глемязове и привел с собою двух маленьких братьев и двух племянников — обучать их гра-

моте на собственный к о ш т. Фундамент школы был положен. Слава о его педагогическом великом даровании (разумеется, не без участия Карла Осиповича) давно уже гремела и в Переяславе и за пределами его и окончательно была упрочена принятием близнят Сокиры в гимназию и корпус. При таких добрых обстоятельствах к филипповке школа его была полна учениками и в изобилии снабжена всем для существования необходимым, а близлежащий хутор (не Сокиры, а другого какого - то полупанка) с десятью хатами был наполнен маленькими постояльцами разных званий.

Деятельности Степана Мартыновича раскрылося широкое поле, и он был совершенно счастлив.

Вскоре после Николы возвратился Никифор Федорович из Батурина от Прокоповича и, к немалому удивлению своему, увидел он недалеко около школы порядочный кусок земли, усаженный фруктовыми деревьями, и в нескольких местах кучи хворосту и кольев. То было приношение тароватых отцов учеников его, по большей части наумовских и березанских козаков.

Наступила зима. Занесло снегом и хутор Никифора Федоровича и школу Степана Мартыновича, но между заметами снегу, между школою и хутором, видны были сначала только формы огромных ступней Степана Мартыновича, а потом образовалась и утоптанная дорожка. После дневных трудов Степан Мартынович каждый вечер приходил на хутор, как говорил — почить от треволнения дневного. Приходу его всегда были рады, особенно Прасковья Тарасовна. И действительно было чему радоваться; в подлунной не было другого человека, который бы с таким, если не вниманием, то, по крайней мере, терпением выслушивал в сотый раз повесть, с одними и теми же вариантами, о странствовании Прасковьи Тарасовны в Полтаву и обратно. Прибавляла она иногда к своему повествованию эпизод почти шопотом, иногда и погромче, если видела, что Никифор Федорович занят чем - нибудь или просто читал

летопись Конисского. Тогда она почти одушевлялась, рассказывая о том, как они, возвращаясь из Полтавы, приехали к успению в Лубны в самый развал ярмонки и ввечеру ходили в театр и видели там, как представляли „Козака-стихотворца". (Тут она брала тоном ниже).

— Прелесть! просто прелесть! Настоящий офицер той Козак-стихотворец, а Маруся — барышня та й годи. Не налюбуюся, бывало; да к тому еще [как] запоет:

Нуте, готовьте пляски, забавы!..

Ну, барышня, да и только, как будто вчера из Москвы приехала, а как дойдет до слов:

Ему Маруся навстречу бежит,

да и пробежит немножко и ручки протянет, как будто до офицера... чи до Козака-стихотворца, я не вытерплю, бывало, просто зарыдаю, так чувствительно.

— Что это там так чувствительно? — спросит, бывало, Никифор Федорович, когда расслышит.

— Я розказую, как мы в Лубнах...

— Знаю, знаю. Козака или офицера стихотворца видели. Плюньте на эти рассказы, Степан Мартынович, да садитесь поближе, я вам прочитаю, как ходили наши козаки на Ладожский канал та на Орель линию высыпать. А вы бы лучше сделали, Прасковья Тарасовна, если б велели нам чего-нибудь сварить повечерять.

Заметить надо, что Никифору Федоровичу страшно не понравился знаменитый Козак-стихотворец. Он обыкновенно говорил, что это чепуха на двух языках, и я вполне согласен с мнением Никифора Федоровича. Любопытно бы знать, что бы он сказал, если бы прочитал „Малороссийскую Сафо". Я думаю, что он выдумал бы какое-нибудь новое слово, потому что слово „чепуха" для нее слишком слабо. Мне кажется, никто так внимательно не изучил бестолковых произведений философа Сковороды, как

князь Шаховской. В малороссийских произведениях почтеннейшего князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода, а почтеннейшая публика видит в этих калеках настоящих малороссиян. Бедные земляки мои!.. Положим, публика — человек темный. Ей простительно, но великий грамматик наш Н. И. Греч в своей „Истории русской словесности“ находит [в них], кроме высоких эстетических достоинств, еще и исторический смысл. Он без всяких обиняков относит существование козака Климовского ко времени Петра I. Глубокое познание нашей истории!

По прочтении эпизода из летописи Конисского друзья повечеряли и разошлись.

Так или почти так проходили длинные зимние вечера на хуторе. Иногда приезжал и Карл Осипович нанюхаться табаку из своей раковинной табакерки и уезжал не вечерявши, разве только иногда выпьет рюмочку трохимовки и закусит кусочком бубличка, а иногда так и совсем не закусит.

Время близилось к праздникам. Степан Мартынович уже начал распускать своих школяров по домам. Уже и кабана, и другого закололи на хуторе. Прасковья Тарасовна собственноручно принялася за колбасы и прочие начинки к празднику. Везде и по всему видно было, что праздник на улице ходит, а в хату еще боится зайти.

В такой-то критический вечер приехал на хутор Карл Осипович и привез письмо с почты, и письмо то было из Полтавы от детей и — как бы вы думали от кого еще? От И. П. Котляревского. Прасковья Тарасовна, когда услышала, что письмо из Полтавы, вбежала в комнату и колбасу забыла оставить в ваганах.

— Где же это письмо? Голубчик, Карл Осипович, где же письмо? Прочитайте мне, дайте мне его, я хоть поцелую.

— Отнесите сначала колбасу на место, а потом уже приходите письмо слушать, — сказал Никифор Федорович, развертывая письмо.

— Ах я божёвильная, и не схаменуся! — вскрикнула она и выбежала за двери.

Вскоре все уселися вокруг стола, и началося торжественное чтение писем.

Сначала были прочитаны письма детей, с повторением каждого слова по нескольку раз, собственно для Прасковьи Тарасовны, причем, разумеется, не обошлось без слез и восхищений, как, например:

— Ах вы, мои богословы - философы! Соколы - орлы мои сизые, хоть бы мне одним оком посмотреть теперь на вас!

Так как уже начинало смеркаться, то догадливая Марина, без всякого со стороны хозяйки распоряжения, внесла в комнату свечу и поставила на стол. Никифор Федорович развернул письмо Ивана Петровича, сначала посмотрел на подпись и [потом] уже начал читать.

„Ласкавии мои други, Никифор Федорович, Прасковия Тарасовна и Степан Мартынович!"

Все молча между собою переглянулись.

Но так как письмо было писано по - малороссийски, что не всякий поймет, а другой и понял бы, так уст своих марать не захочет мужицкими словами, то потому я расскажу только содержание письма, от чего повесть моя мизерная много потеряет.

После обыкновенных поздравлений с наступающими праздниками Иван Петрович описывает добрые качества детей их и удивляется их необыкновенному сходству, как физическому, так и нравственному, и говорит, что он по мундирам их только и узнает. „Я за ними, — говорит, — посылаю каждую субботу. Воскресенье они проводят со мною, и я не налюбуюсь ими. Не желал бы я у себя иметь лучших детей, как ваши дети. Моя „Муха" наполняется еженедельно описанием их детских прекрасных качеств". Далее он пишет, что лучше бы было повести их по одной какой - нибудь дороге: по военной или по гражданской. А далее пишет, что нет худа без добра, что от различного их воспитания выйдет психический опыт, который и покажет, какая произойти

может разница от воспитания между двумя субъектами, совершенно одинаково организованными. А дальше пишет, что он немало удивился, когда узнал, что они хорошо читают по-немецки и еще лучше по-латыни, и спрашивает, кто их учил (тут молча переглянулись Карл Осипович и Степан Мартынович). Потом пишет, что Гапка их тоже полюбила и снабжает их каждое воскресенье пирожками и бубликами на целую неделю. „Раз у меня Зося попросил гривенник на какую-то кадетскую требу, но я ему не дал: по опыту знаю, что нехорошо давать детям деньги".

— А может, оно, бедненькое, учителю хотело дать, чтобы лучше показывал,—проговорила Прасковья Тарасовна, но Никифор Федорович взглянул на нее по-своему, и она умолкла.

И говорит: „чтоб вы об них не беспокоились: праздники они у меня проведут, а на свят-вечер с вечерею пошлю их к моему другу N. У него тоже есть дети, и они там весело встретят праздник рождества христова". Дальше пишет, чтобы они не забывали его, старого, и чтобы на время каникул приезжали в Полтаву, и что в Полтаве квартиры очень дешевы, а что Гапка его варит отличный борщ из карасей сушеных. „Уж как это она делает,—говорит,—бог ее знает".

„Оставайтеся здоровы, не забувайте одинокого И. Котляревского.

P. S. Поклонитесь, як побачитесь, доброму моему Степану Мартыновичу Левицькому".

По окончании письма Карл Осипович встал, понюхал табаку и сказал:—Ecce homo!—Степан Мартынович тоже встал и заплакал от умиления. Да и как не заплакать? Ему, ничтожному дьячку, пишет поклон, и кто же? Попечитель гимназии. Прасковья Тарасовна тоже встала и, обратяся к образам и крестяся, со слезами на глазах говорила:—Благодарю тебя, милосердый господи, за твое милосердие, за твою благодать святую! Послал ты ангела-хранителя моим малым сиротам на чужине.—И она молча

продолжала молиться, а Никифор Федорович сидел, облокотяся над письмом, и хранил глубокое молчание. Потом свернул письмо, поцеловал его, глубоко вздохнул, встал из-за стола и молча вышел в другую комнату. Через полчаса он вышел, и глаза его как будто покраснели. Прасковья Тарасовна обратилась к нему с вопросом:

— Есть ли у него пасика? Я тогда, как была в Полтаве, и забыла спросить у Гапки. А то послать бы ему хоть бочку меду. К празднику уже не успеем, то хоть к великому посту.

— Пошлем две,— сказал Никифор Федорович и начал ходить молча по комнате.

Гости простились и пошли во-свояси с миром, дивяся бывшему.

Прошли и праздники, и зима проходит, а весна наступает, вот уже и велыкдень через неделю. Степан Мартынович распускает своих учеников в домы родительские и наказывает, чтобы прибывали в школу не раньше вознесения христова. По примеру семинарскому, он тоже сделал вакацию своим школярам. После праздника, распорядившись хорошенько домом, т. е. препоруча смотрение за школою и за меньшими братьями старшим братьям — двум богословам, а третьему философу, и наказав, чтобы в часы досуга рыли ров не весьма глубокий, около древ насажденных, приведя всё в порядок,— он позычил у знакомого ему мещанина беду, разумеется, не такую франтовскую, как у Карла Осиповича, а так себе, простенькую, а у другого, тоже знакомого, мещанина нанял коня с хомутом на двадцать дней и нощей, запряг коня в беду и в одно прекрасное утро, простившись с хутором и со школою, сел и поехал легенькою рысцою в Полтаву.

Прасковья Тарасовна послала [детям] свое, хотя заочное, родительское благословение и мешок бубличков, как-то особенно испеченных, а Зосе своему и полкарбованца денег, которые он должен был ему передать тихонько от Ивана. Петровича. Степан Мартынович обещался всё это исполнить, но

не исполнил. Он за полкарбованца отслужил молебен угоднику Афанасию о здравии отроков Зосима и Савватия, а Зосе крепко-накрепко наказал, чтобы он не осмеливался просить гривенничков у Ивана Петровича.

В Полтаве с ним не случилось ничего необыкновенного, кроме разве что он присутствовал в соборе при рукоположении во диакона его старого знакомого баса и что новый диакон зазвал его к себе, напоил пьяным и вдобавок поколотил слегка, из чего и заключил Степан Мартынович, что его приятеля никакой сан не исправит, что он как был басом, так и останется им даже до могилы.

По возвращении во-свояси из далекого и неисполненного приключений странствия, школу свою нашел он благополучною, а благодарные братья обрыли кругом новый вертоград его, да еще и лозою огородили. Поблагодарив их прилично, т. е. купив им по паре юфтовых сапог и демикотону на жилеты, и их же просил пособить ему перенести из хутора пчелы в свою пасику, что на другой же день и было исполнено. Теперь он, кроме того, что стихарный дьяк, учитель душ до тридцати учеников, да еще и пасичник немалый.

Проходили невидимо дни, месяцы и годы. Зося и Ватя росли духом и телом в Полтаве, а Никифор Федорович и Прасковья Тарасовна старилися себе безмятежно на хуторе и получали исправно каждый праздник поздравительные письма от детей. Потом стали получать ежемесячно, потом и чаще, и уже не наивные детские письма, а письма такие, в которых начал определяться характер пишущих. Так, например, Зося писал всегда довольно лаконически, что он почти нищий между воспитанниками и что по фронту он из числа первых, а Ватя писал пространнее. Он скромно писал о своих успехах, о нищете своей он не упоминал, а о добром и благородном своем покровителе он исписывал целые страницы. Из его писем можно было узнать костюм, привычки, занятия, словом, ежедневный быт автора „Наталки-

Полтавки", „Москаля-чаривника" и перелицованной „Энеиды".

В конце четвертого года получены были от детей письма такого содержания:

„Дражайшие родители!

Выпускной экзамен я сдал прекрасно: получил хорошие баллы во всех науках, а по фронту вышел первым. Меня посылают в дворянский полк в Петербург, а потому и прошу прислать мне, сколько можете на первый раз, денег на непредвиденные расходы.

Ваш покорный сын З. Сокирин".

— Сокирин, Сокирин,— худой знак,— говорил тихо Никифор Федорович и развертывал другое письмо.

„Мои нежные, мои милые родители!

Бог благословил ваше обо мне попечение и мои посильные труды: я сдал свой экзамен почти удовлетворительно, к великой моей радости и радости нашего всеми любимого и уважаемого благодетеля, который кланяется вам и достойному Степану Мартыновичу. По экзамену я удостоился драгоценной для меня награды: мне публично вручил сам ректор в изящном переплете Виргилиеву „Энеиду" на латинском языке и тут же публично объявил, что я удостоился быть посланным в университет, который я сам изберу, на казенный счет, по медицинскому факультету. И я теперь прошу вашего родительского благословения и совета, какой именно избрать мне университет: харьковский или ближайший — киевский. Я желал бы последний, потому что там профессора хорошие, особенно по медицинскому факультету. А более желал бы потому, чтобы быть ближе к вам, мои бесценные, мои милые родители! Жду вашего благословения и совета и целую ваши родительские руки. Остаюсь любящий и благодарный ваш сын С. Сокира.

P. S. Поцелуйте за меня незабвенного моего Степана Мартыновича. Вчера и сегодня благодетель

наш жалуется на боль в ногах и пояснице и третий день уже из дому не выходит. Помолитесь вместе со мною о его драгоценном здравии".

По прочтении письма Никифор Федорович сказал:

— Ну, слава тебе, господи, хоть один походит на человека.

— Да еще на какого человека! — прибавил Карл Осипович. — Я вам предсказываю, что из него выйдет доктор, магистр, профессор, и знаменитый профессор медицины и хирургии, а вдобавок член многих ученых обществ. Уверяю вас, что так будет. Ай да юный эскулап! — воскликнул он, щелкая по табакерке.

— А из Зоси, вы думаете, ничего не выйдет путнего? — с таким вопросом обратилась Прасковья Тарасовна к Карлу Осиповичу.

— Боже меня сохрани так думать! Из него может выйти хороший офицер, полковник, генерал и даже фельдмаршал. Это будет зависеть от него самого.

— Толците и отверзется, просите и дастся вам, — проговорил вполголоса Степан Мартынович.

— Что было, то видели, а что будет, то увидим, — сказал сухо Никифор Федорович и ушел к себе в пасику.

Долго ходил он около пасики, волнуемый каким-то смешанным, неопределенным чувством между радостию и грустью; и, успокоив себя надеждою на всеблагое провидение, он возвратился в хату, повторяя изречение Богдана Хмельницкого: „Що буде, то те й буде, а буде те, що бог нам дасть".

На другой день написал он самое искреннее и благодарное письмо Ивану Петровичу, послал детям по 25 рублей, всепокорнейше прося Ивана Петровича вручить их детям, и чтобы он величайшую милость для него сделал — известил его, какое дети сделают употребление из денег. Потому, — говорит, — что деньги в молодых руках — вещь весьма опасная, и ему, как отцу, извинительна подобная просьба. Савватию он советовал избрать универси-

тет киевский, а Зосиму просил Ивана Петровича сделать наставление, какое господь внушит его добродетельному сердцу.

Через месяц они имели великое счастие обнимать Ватю у себя на хуторе. Он проездом в Киев уговорил товарищей своих пробыть сутки в Переяславе, чтобы повидаться ему с родными, на что товарищи охотно согласились, тем более, что он и их пригласил на хутор. Зося тоже отправился с товарищами из Полтавы, но только по харьковской дороге, а потому и не мог заехать на хутор.

После первых привитаний Ватя побежал в школу с заветною „Энеидою" в руках и, найдя своего наставника в школе между жужжащими школярами, как матку между пчелами, бросился к нему на высокую шею. После первого, и второго, и третьего поцелуя он подал ему драгоценную книгу, говоря:

— Вы первый раскрыли мне завесу латинской мудрости, вам и принадлежит сия мудрейшая и драгоценнейшая для меня латинская книга.

С умилением принял и облобызал книгу Степан Мартынович. И, любуясь переплетом, он развернул ее и увидел между страницами красную бумагу. Это были 10 карбованцев благодарного Вати.

— Вы в книге забыли деньги. Вот они.

— Нет, это вам Иван Петрович посылает через меня, чтобы вы потрудились передать их вашим бедным родителям (а в самом деле это были оставшиеся от 25 рублей, присланных ему в Полтаву).

На радости Степан Мартынович распустил учеников гулять, а сам с Ватей пошел на хутор, держа в руках развернутую книгу и декламируя стихи знаменитого поэта. И если бы Ватя так же внимательно слушал, как Степан Мартынович читал, то очутились бы оба по колена в луже, а то только один педагог.

Погостивши суток двое-трое на хуторе, Ватя начал собираться в дорогу. А товарищи так были довольны угощением гостеприимной Прасковьи Та-

расовны, что и не думали о продолжении пути, а потому немало удивились, когда он стал прощаться со своими так называемыми родителями. Делать было нечего, и они простились. И через несколько дней, прогуливаяся в Шулявщине, готовились держать экзамен для поступления в университет.

Во время пребывания своего в университете Савватий каждые каникулы приезжал на хутор и превращался в пасичника. Тогда начали уже показываться статьи в журналах Прокоповича о пчеловодстве; он их внимательно прочитывал и не без успеха применял к делу, к величайшей радости Никифора Федоровича. Иногда вместе с Карлом Осиповичем делали химические и физические опыты и даже лягушку по методе Мажанди. А по вечерам собирались все на крылечке, и он читал вслух „Энеиду" Котляревского или настоящую Виргилиеву „Энеиду". А так как он любил страстно музыку, особенно свои родимые заунывные напевы, то с большим успехом брал у Никифора Федоровича уроки на гуслях и после десятка уроков пел уже, сам себе аккомпанируя:

Стала хмара наступати,
Став дощик iти.

В Киев он всегда возвращался с порядочно набитой портфелью местной флоры и несколькими ящиками мотыльков и разных букашек.

В продолжение пребывания своего в дворянском полку Зося писал ежемесячно аккуратно письма содержания почти однообразного. Некоторые или, лучше сказать, большую часть своих писем он варьировал фразой: „Я скоро божиею милостию прапорщик, а у меня денег ни копейки нет", на что обыкновенно говорил Никифор Федорович: — А будешь офицером, и гроши будут.

Однажды писал ему Ватя, чтобы он прислал ему литографированный эстамп с картины „Последний день Помпеи" и для сей требы послал ему три рубля денег. Но Зося благоразумно рассудил, что три

рубля — деньги, а эстамп что такое? — листок испачканной бумаги, больше ничего. И без обиняков написал брату, что об этакой картине в Петербурге он и не слышал, а что деньги он ему после вышлет; а если хочет, то на Невском проспекте много разных картин продается, то можно будет купить одну и переслать. Ватя написал ему, чтобы он купил какой-нибудь эстамп, если уж нельзя достать „Последний день Помпеи". Он и купил ему московское литографированное грошовое произведение „Тень Наполеона на острове св. Елены". Ватя, получив сие произведение, не мог надивиться эстетическому чутью родимого братца, и знаменитый куншт полетел в пещ огненную.

Вскоре после всесожжения „Тени Наполеона" с шумом явилися на свет „Мертвые души". „Библиотека для чтения", в том числе и солидные благомыслящие люди разругали книгу и автора, называя книгу грязною и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благорожденного юношества. Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, „Мертвые души" разлетелися быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете. Инспектор с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал: — Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль (что весьма вероятно). — Но, заметивши, что студенты читают печатную книгу, у него от сердца отлегло. И, как человек, мало следивший за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, узнавши, что книга титулуется „Мертвые души" и, „должно быть, страшная", махнувши рукою, сказал: — Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили.

Савватий сначала со вниманием прослушал „Мерт-

вые души“, потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе. Собравшись с последними крохами и призанявши рубля с полтора, отправился он в контору застрахования жизни, она же и книжный магазин. Спрашивает „Мертвые души“, а книгопродавец и глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе, и, обратясь к посетителю, сказал, что есть только две.

— Пожалуйте мне один экземпляр.

Книгопродавец снова стал втупик.

— Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под названием „Мертвые души“, сочинение Н. Гоголя?

— Никак нет-с, еще и объявления не читали.

— Значит, нет надежды и иметь от вас ее когда-нибудь,— сказал Савватий и вышел на улицу. Хотел было сходить к Глюзбергу, да вспомнил, что там не продают русских книг, зашел на минутку домой, написал брату письмо, вложил в него деньги и отнес на почту. Бедняк! Ему и в голову не пришла „Тень великого Наполеона“.

Через месяц получает он повестку из почтовой конторы, что получена на его имя посылка на 6 рублей серебром. В восторге бежит он к инспектору, а от него прямо в почтовую контору, спрашивает посылку. Ему подают. Пощупал — мягкое.— Они,— проговорил он и вышел из конторы. На улице разрезал он веревочку перочинным ножиком, распорол клеенку, развернул обертку и с ужасом прочитал: „Никлас — Медвежья Лапа“. Потемнело в глазах у бедняка, и полураскрытая посылка вывалилась из рук. Простояв с минуту, пошел он, грустный, сам не зная куда, а посылка так и осталась на улице, пока ее не поднял какой-то нищий и, осмотревши внимательно, пошел прямо в кабак. Целовальник имел счастье за шкалик приобрести бессмертное творение и, как человек грамотный и лю-

бознательный, теперь коротает счастливые досуги, а иногда и вслух читает своим запоздалым посетителям. При посылке письма не было, а была всунута лаконическая записка пренаивного содержания: „Мертвые души“ запрещены. И цензор и автор сидят в крепости. А посылаю тебе дивную книгу „Медвежью Лапу“.Твой брат такой-то“.

Несмотря, однако ж, на то, что и цензор и автор сидели в крепости, „Мертвые души“ вскоре явилися в конторе застрахования жизни и продавались публично. И Ватя, проходя однажды мимо конторы, увидел экземпляр, выставленный в окне. Хорошо, что он не читал братней записки, а то, пожалуй, брата назвал бы бессовестным лгунишкой. Прочитавши несколько раз обертку и полюбовавшись ею же, он решился во что бы то ни стало приобрести великую книгу, тем более, что каникулы близились. После акта в тот же день снес он мундир свой, как вещь теперь совершенно ненужную, к одолжателю презренного металла за умеренные проценты и, приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел неизъяснимое наслаждение читать ее вслух на хуторе, вечером — на крыльце, а днем — под липою в пасике.

В сотый раз уже прочитывал он почти наизусть внимательно слушавшей его Прасковье Тарасовне „Повесть о капитане Копейкине“, когда въехал на двор на своей беде Карл Осипович и издали показал письмо. Чтение о Копейкине, разумеется, было прервано, а чтение письма было начато самим Никифором Федоровичем и, разумеется, про себя. Прочитавши письмо, он бросил его на пол и в досаде сказал: — Только и знает, что денег просит. Шутка сказать, триста рублей! — И он ушел в покои, а за ним и Карл Осипович. Прасковья Тарасовна, поднявши осторожно письмо, передала его Вате и просила прочитать (сама она скорописи не читала, а только печать), только не так громко, как про того капитана. И он прочел вполголоса следующее:

„Драгоценные мои родители!

Божиею милостию я теперь прапор лейб-гвардии гренадерского полка, а вы должны сами знать, как должен себя держать гвардейский офицер. Здесь не Полтава и не тщедушный Переяслав, а, люди добрые говорят, столица. А потому-то мне и нужно на первое обзаведение по крайней мере 300 рублей серебром. Затем остаюсь ваш сын З. Сокирин".

Ватя, прочитавши письмо, сложил его и подал Прасковье Тарасовне.

— Да ты все прочитай и тогда его отдай уже мне,— я его спрячу.

— Да я все и прочитал.

Она, бедная, не поверила. Развернула письмо, пересчитала строчки и, убедившись в горькой истине, бросила письмо под стол и, закрыв лицо руками, горько-горько зарыдала.

Бедная ты, бедная! Это только цветы, а ядовитый плод еще и не завязывался.

Через несколько дней со слезами вымолила она 300 рублей у Никифора Федоровича, и так как он отказался писать письмо, а Ватя уехал, то она сама церковными буквами написала письмо такое:

„Зосю мой, орле мой! Выплакала, вымолила я и посылаю тебе деньги, а Никифор Федорович на тебя гневается".

Завернула в письмо деньги и сама повезла на почту. Почтмейстер немало удивился, принявши письмо с деньгами и без адреса на конверте. Поехала она к Карлу Осиповичу, тот написал адрес, и письмо было отправлено.

Получивши деньги, гвардейский прапорщик не обратил внимания на письмо или, лучше сказать, на обертку, а другой, тоже гвардейский прапорщик, поднял эту обертку и, прочитавши, спрятал в карман, а на другой день в экзерцис-гаузе показал ее полковой братии,— и пошла потеха. Сначала не понимал Зося, в чем дело, а когда понял, то в одно прекраснейшее утро после ученья пригласил чест-

ную компанию к Сен-Жоржу, задал великолепный завтрак и, полупьяный, рассказал братии вот что насчет лаконического письма: что у него в Полтаве осталася амика, т. е. любовница,— богатая и безграмотная купчиха, которая крадет у мужа деньги и снабжает ими вашего покорнейшего слугу.— Ура!— заревела компания.— За здоровье всех безграмотных любовниц!—Тосты повторялись до самого вечера. Ввечеру вся компания отправилась смотреть Тальони, разумеется, на счет счастливого любовника. Не прошло и полгода, как от счастливого любовника было получено на хуторе письмо такого содержания:

„Через вас, нежные, попечительные родители, должен я оставить гвардию и просить перевода в армию, потому что я нищий, а у вас сундуки трещат от золота. Ваш благодарный сын Сокирин!"

А причина перевода его в армию была вот какая. Однажды у Марцинкевича в танцклассе (который он посещал каждую пятницу неукоснительно),— так однажды в этом знаменитом танцклассе за какую-то изменницу завязал он, пьяный, и тоже с пьяными черкесами драку. В дело вмешалась полиция, и кончилось тем, что черкесам, как азиатцам, извинили, а его, как европейца, перевели в армию тем же чином. После этого перевода не замедлил последовать другой, только без всякого сочинения со стороны моего забубенного героя, потому что он прекратил всякую корреспонденцию со скаредами, как он выражался, т. е. со своими благодетелями.

Для писателя более плодовитого, нежели аз грешный, и более знакомого с военным бытом нашей многочисленнейшей благородной молодежи,— для такого писателя здесь открывается обширнейшее поле, усеянное такими горькими семенами, что когда плод их созреет, то потомкам нашим не нужно будет покупать сабура. А талантливый писатель, как хороший огородник, мог бы понемногу вырывать плевелы из пшеницы, и было бы благо. Но талантливые писатели, ведающие этот быт, обращают более свое

наблюдательное внимание на солдатские поговорки и их безотрадные, хотя и кажущиеся удалыми, песни.

Волей-неволей, а я должен объяснить причину перевода моего героя из армии во внутреннюю стражу, т. е. в астраханский гарнизонный баталион.

В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN. В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища. В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица на самой заре жизни и одно единственное добро беднейшего вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести вам известен, терпеливые читатели, и я не намерен утруждать вас повторением тысячи и одной, к несчастью, невымышленной повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с „Эды" Баратынского и кончая „Катериной" Ш[евченка] и „Сердечной Оксаной" Основьяненка. Продолжение и конец решительно один и тот же, с тою только разницею, что приятеля моего чуть было не заставили жениться на мещанке Якилыне, дочери Макухи. Спасибо доброму старику, полковому командиру: он вступился за своего офицера. А то бы как раз перевенчали офицера с мещанкою. Но и добрый старик, полковой командир, лучше ничего не мог придумать, как подать ему немедленно в перевод, и концы в воду. Он на завтра же подал в перевод. Он навещал Якилыну, едва движущуюся, и уверял старика, что он с каждой почтой ожидает родительского благословения. Пришел перевод, и он для такой радости зашел в так называемую кондитерскую Неминая, и порядком кутнул перед выездом, и начал рассказывать какому-то тоже нетрезвому, но богатому Попандупуло свое рыцарское похождение с Якилыною, и так увлекательно рассказывал, что богатый эллин не вытерпел и заехал ему всей пятерней в благородный портрет, а он эллина, а эллин опять его, и пошла потеха. Но как эллин был постарее летами

и силами послабее, то он и изнемог, а к тому времени подоспел блюститель мира в виде городничего и повелел борющихся взять под арест. Завязалось дело. Богатого торгаша эллина оправдали, а благородного неимущего офицера оженили на мещанке Якилыне и перевели в астраханский баталион.

О, моя бедная Якилыно! Если бы ты могла провидеть свое бесталанье, свою горькую будущую долю, ты убежала бы в лес или утопилась бы в гнилом Остре, но не венчалась бы с благородным офицером. Но ты, простодушная мещанка, в глубине непорочной души своей верила пустой фразе, что любовь нежная укрощает и зверя лютого. Это только фраза, больше ничего. А ты, дурочка, думала, что в самом деле так. Бедная, как же ты страшно поплатилась за свое простодушие! Ты погибла, и не спасла тебя от горькой участи ни нежная любовь твоя к пьяному чудовищу, ни даже единая твоя золотая надежда — твой первенец, твое прекрасное дитя. Вы оба валялись на грязной астраханской улице, пока вас не прибрала и не похоронила великодушная полиция.

Но, несмотря на все проказы, приятель мой близился уже к чину капитана, а брат его только что кончил курс в университете св. Владимира. По экзамену удостоился он скромного звания лекаря с чином 12 класса, а после акта объявлено ему, что он, по воле правительства, как казеннокоштный воспитанник, назначается в оренбургский третьеклассный госпиталь. В канцелярии ему выдали треть жалованья вперед, прогоны и подорожную, и он, как бедняк, простился наскоро с товарищами и на другой день без особенной грусти оставил древний Киев, быть может, навсегда. Товарищи хотели было проводить его, по крайней мере до Рязанова, но, вероятно, проспали, потому что он переправился через Днепр до восхода солнца, а в Бровари приехал к тому самому часу, как туркеня-смотрительша раздувала в сенях на очаге огонь для кофейника. Выпивши за умеренную цену стакан кофе и взявши, тоже за умеренную

цену, бутылочку броварского ликеру (изобретение той же туркени-смотрительши), он ввечеру уже весело рассказывал о своем экзамене благосклонным слушателям на ганку уединенного хутора.

Савватий решился провести недели две на хуторе, быть может, последние, проведенные им в кругу самых милых, самых дорогих его сердцу людей. Несмотря на однообразие сельской, а тем более хуторянской жизни, дни мелькали как секунды. Так они, вообще, быстры в радости и так же медленны в печали. Если бы на хуторе все, не исключая и Марины, желали скорого конца двум роковым неделям, то они продлились бы, по крайней мере, месяц, но так как общее желание было отдалить роковой день расставания, то он, к досаде каждого, и близился так быстро.

Накануне отъезда после обеда Никифор Федорович взял под руку Савватия и, по обыкновению, повел его в пасику. Не доходя шагов несколько, он остановился и показал на две роскошные липы перед самым входом в пасику и сказал:

— Эти два дерева привез я из архиерейского гаю, что в Андрушах, в тот самый год, как вы были найдены на моем хуторе, и посадил на память той великой радости. Смотри, какие они теперь широкие и высокие и какой роскошный цвет дают. Вас же с братом не судил мне господь на старости лет видеть такими же одинаково прекрасными, как эти липы. Брат твой оскорбил благородную природу человека. Он поругал все на земле святое в лице вашей нежнейшей, хотя и не родной, матери, а моей доброй жены. Меня он мог забыть: я — человек суровый и не люблю излишних нежностей с детьми, но она, она, моя бедная великомученица, она глаз с него не спускала. И теперь что же!.. пятый год хоть бы какую-нибудь весточку о себе подал, как в воду канул. А она, бедная, день и ночь за него молится и плачет. Правда, я сам виноват... Но это было ее желание, чтобы видеть его офицером, а не благородным человеком: жни, что посеяла.

И они тихо вошли в пасику, сели под липою, и Никифор Федорович продолжал:

— Да, тяжело, Ватя, очень тяжело кончать дни свои и не видеть своих надежд осуществившихся. Ты, Ватя, едешь теперь в такую далекую страну, которой у нас и по слухам не знают. Пиши нам со старухою. Не ленись: описывай всё, что увидишь и что с тобою ни случится. Пиши всё. Это для нас, почти отчужденных стариков, будет и ново, и поучительно. А если встретятся тебе нужды какие в чужой далекой стороне, пиши ко мне, как в ломбард, из которого выслали бы тебе твои собственные деньги. У меня для тебя всегда найдется четверик — другой карбованцев. А пока вот тебе 300 их, таких самых, как и Зосе послала моя старуха. Дорога далека, а дорога любит грóши. — И он подал пачку ассигнаций.

Савватий отказался от денег, говоря, что для дороги у него есть прогоны и треть жалованья, а на месте если нужны ему будут деньги, то он напишет; что в дороге лишние деньги — лишняя тяжесть.

— Ну, как знаешь. Тебя учить нечего. Кто не нуждается в деньгах, тот богаче богатого. Теперь я тебе, Ватя, все сказал, что у меня было на сердце. И еще раз прошу, не забывай нас, стариков, особенно ее: она, бедная, совершенно убита молчанием Зоси.

После этого старик отправился отдохнуть, по обыкновению, под навес, а Савватий взял „Энеиду“ Котляревского и прочитал несколько страниц вполголоса, как бы убаюкивая старика. Увидя, что это монотонное чтение произвело желаемое действие, он закрыл книгу, встал и тихо вышел из пасики и до самого вечера бродил вокруг хутора, туманно размышляя о своей одинокой будущности.

Ввечеру, когда собралися все на ганку, пришел и он, и после нескольких слов, сказанных почти наобум, он как бы вспомнил что - то важное и, обратясь к Никифору Федоровичу, сказал:

— Мне давно хотелося посмотреть на вашу скрипку,

да всё забываю, а вы как-то говорили, что это скрипка дорогая.

— Да таки и очень дорогая, и тем более дорогая, что на ней играл благодетель мой, покойный отец Григорий, и мне завещал ее по смерти.

— Позвольте мне хоть взглянуть на нее.

— Взгляни, пожалуй, да что ты в ней увидишь?

— А может быть и увижу.

И с этим словом он пошел в комнату Никифора Федоровича, вынул из ящика скрипку, попробовал струны и, выйдя в большую светлицу, заиграл сначала мелодию, а потом вариации Лепинского на известную червонорусскую песню:

Чи я така уродилась,
Чи без долі охрестилась.

Эффект был совершенный. Минуты две сидели слушатели молча, как бы очарованные. Первый вскочил со скамьи Никифор Федорович, вбежал в светлицу, со слезами обнял виртуоза и проговорил:

— Сыну мой, радость моя! надеждо моя золотая! Когда ты, где ты выучился на скрипке играть эту божественную песню?

Савватий рассказал ему, что он случайно встретил в Киеве, по правде сказать, на Крестах, нищего старика-скрипача, — и так играющего, что у меня волосы дыбом становились. Я познакомился с ним, просил его заходить ко мне, и он выучил меня не только играть на скрипке, но чувствовать и понимать музыку!

— Напиши в Киев, чтобы приехал ко мне этот божий человек. Я всё ему отдам и даже мою пасику.

— Его уже нет между живыми. Я сам его на своих плечах вынес на Щекавицу.

— Благодарю тебя, чадо мое единое, что покрыл ты землею прах великого человека. Вот что, — продолжал он с расстановкою: — долго я думал, кому я оставлю, кому я завещаю мое дорогое наследие, мою скрипку, гусли и книги. Думал было, грешный, в гроб положить с собою, потому что не видел

вокруг себя человека, достойного владеть таким добром. А теперь я человека вижу такого, и человек этот — ты, моя золотая надеждо! Возьми же скрипку себе теперь, а книги и гусли наследуй мне вместе со всем добром моим, а пока пускай они услаждают нашу одинокую старость.

И он подошел к гуслям, раскрыл их, попробовал струны и, расправив обеими руками свою густую, широкую, серебряную бороду (он уже три года ее носит), как некий Оссиан, ударил по струнам —

И вещие зарокотали.

После прелюдии запел он своим старческим, дребезжащим вдохновенным голосом. К нему присоединил свой свежий тенор Савватий, и они пели:

У степу могила
З вітром говорила:
Повій, вітре буйнесенький,
Щоб я не чорніла.

Карл Осипович, уже на что тугой на слезы, и тот не вытерпел, вышел из светлицы, вынимая из кармана платок. А когда запели они:

Летить орел через море:
Ой, дай, море, пити!
Тяжко, важко сиротині
На чужині жити...—

так Карл Осипович уже и в светлицу не мог войти, — так и остался на ганку до того часу, пока не сел в свою беду и не уехал в город.

На другой день к обеду было приглашено покровское и благовещенское духовенство. Сначала сам протоиерей прочитал акафист пресвятой богородице, причем Степан Мартынович со своими школярами хором пели „О всепетая мати“. Потом соборне служили молебен, а Степан Мартынович, облачась в стихарь, читал апостола. По окончании молебна пропето хором было многолетие — трижды.

Духовенство трапезовало в светлице, а школярам

подан был обед на досках на дворе, а после обеда сама Прасковья Тарасовна выдала им по кнышу, по стильныку меду и по пятаку деньгами.

А к вечеру Савватий Никифорович переменял лошадей на первой станции, и, к немалому его удивлению, увидел он при перекладке вещей кадушку с медом и мешок яблок.

В Полтаве зашел он поклониться домику покойного Ивана Петровича. Его встретил молодой, довольно неуклюжий человек и слепая Гапка. Отслужил панихиду в домике за упокой души своего благодетеля — и, грустный, выехал он из Полтавы, благословляя память доброго человека.

Объехавши собор, спустился он с горы и как раз против темной треглавой деревянной церкви, Мартыном Пушкарем построенной, остановил почтаря и долго смотрел не на памятник XVII века, а на противоположную сторону улицы, на беленькую, осененную зеленым садиком хатку. Прохожие думали, что он просил напиться, [а] ему долго не выносят. Хатка ему показалась пусткою, и он хотел уже сказать почтарю „пошел", как вдруг в разбитом окне хатки показалась молодица с ребенком на руках. Он вздрогнул и едва проговорил, глядя на молодицу: — Можна зайты? — Можна,—ответила молодица, и он соскочил с телеги, перешагнул перелаз и очутился в хатке.

— Здравствуй, Насте! Узнала ты меня?

— Ни,— и сама вспыхнула и вздрогнула.

Долго и грустно смотрел он на ее прекрасную и грациозно опущенную на грудь голову. Она тоже молчала. Если бы не шевелившиеся на груди складки белой сорочки, то ее можно [было] бы принять за окаменелую. Мгновенный румянец сменился бледностию, и белокурый ребенок казался играющим на плечах мраморной Пенелопы. Савватий взял ее за руку и проговорил:

— Так ты мене и не узнала, Насте?

— Узнала... я на дворе еще узнала, да только так... стыдно було сказать,— говорила она, и из карих

прекрасных ее очей выкатывались медленно крупные слезы. Ребенок протягивал ручку к Савватию и лепетал: — Тату! тату!

— Я еду далеко, Насте, и заехал к тебе проститься.

— Спасыби вам! — проговорила она шопотом.

— Прощай же, моя Настусю! — и он поцеловал ее в щеку и быстро вышел на улицу, сел в телегу и уехал.

Настя долго стояла на одном месте и только шептала: — Прощайте, прощайте! — И, взглянувши на ребенка, горько-горько заплакала.

Переехавши мост на Ворскле, Савватий обернулся лицом к Полтаве и, казалося, искал глазами беленькой хатки, давно уже спрятавшейся в зелени.— Уже и не видно ее,— проговорил он тихо и стал смотреть на окунувшуюся в зелени Полтаву. Долго смотрел на домик, лепившийся на горе, около собора, и на каменную башенку, бог знает для чего поставленную против заветного домика на другой стороне оврага. Многое напомнила эта полуразрушенная башенка моему грустному герою. Он, глядя на нее, вспоминал то время, когда он по воскресеньям приходил из гимназии и часто прятался в ней, играя в жмурки с резвою белокурою внучкой Гапки, Настусею, теперь матерью такого прекрасного белокурого ребенка, как сама была когда-то.

Хороша была тринадцатилетняя Настуся, очень хороша, особенно по воскресеньям, когда приходила она к своей бабушке на целый день гостить. Повяжет, бывало, на головку красную ленту, натыкает за ленту разных цветов, а коли черешни поспели, то и черешен, и чуть свет бежит к бабушке, сядет себе, как взрослая, под хатою и задумается. О чем же могло бы задумываться тринадцатилетнее дитя? А оно задумывалось о том, что скоро ли панычи встанут и пойдут и она пойдет с ними.

— А как выйдут из церкви та пообедают, и начнем играть в жмурки; я спрячуся у той коморке, что на горе, а Ватя прибежит да и найдет меня,—

при этом она краснела краснее своей ленты, цветов и черешен и, забывшися, вскрикивала: — Ах!

— Чого ты там ахаешь? — спрашивала Гапка, высунувши голову в окно.

— Жаба, бабо!

— Вона не кусае, тилько як на ногу скочить, то бородавка буде. Иды в хату: ты змерзла!

— Ни, бабо, я не змерзла, — и она оставалась под хатою и снова задумывалась.

Вате минуло уже шестнадцать, а Настусе пятнадцать лет, когда, бывало, спрячутся они от Зоси куда-нибудь в бурьян или убегут аж за Ворсклу, насобирают разных-разных цветов и сядут под дубом. Ватя сплетет венок из цветов, положит его на головку Настуси и смотрит на нее целый день до самого вечера. Потом возьмутся себе за руки и придут домой, и никто их не спросит, где были и что делали, Зося разве иногда скажет: — Ишь, убежали, а меня не взяли с собою!

Прошел еще год, и детская любовь приняла уже характер не детский. Уже Настуся была стройная, прекрасная шестнадцатилетняя девушка, а Ватя семнадцатилетний красавец-юноша. Он долго уже по ночам не мог заснуть. Настуся тоже. Она под горою у себя в садике до полуночи пела:

Зійшла зоря із вечора,
Не назорілася ...

А он, стоя на горе, до полуночи слушал, как пела Настуся.

Вскоре началося трепетное пожимание рук, поцелуи на лету и продолжительное вечернее стояние под вербою. Правда, что эти свидания оканчивались только продолжительным поцелуем. Ватя в этом отношении был настоящий рыцарь ... Но сатана силен, и бог знает, чем бы могли кончиться ночные стояния под вербою, если бы Ватя не сдал отлично своего экзамена и скоропостижно не уехал в Киев.

То была его первая и, можно сказать, последняя любовь.

В Киеве, бывало, гуляя перед вечером в саду по большой аллее, встретит он красавицу,— так холодом и обдаст его, и он, ошеломленный, долго стоял на одном месте и смотрел на мелькавшую в толпе красавицу и, придя в себя, шептал: „не пара“ и отводил глаза на освещенную заходящим солнцем панораму старого Киева. Потом спускался вниз по террасе и выходил на Крещатик. Приходил домой, зажигал свечу и садился за какую-нибудь энциклопедию и окунал в чернила вместе с пером и светлый пламенник своей одинокой юности.

У Зоси точно так же рано проснулася эта страстишка к Олимпиаде Карловне, уже взрослой дочери инспектора, и точно так же была прервана внезапным его отъездом в дворянский полк. Но когда он — стройный, прекрасный юноша — надел гвардейский мундир, он вдруг почувствовал в себе таинственную силу магнита для прекрасных очей, и он не останавливался в священном трепете при виде женской красоты, а прекрасные его глаза покрывались мутною влагою или горели огнем бешеного тигренка, и он, была ли то девушка или замужняя женщина, не задавал себе вопроса, с какой целью, а просто начинал ухаживать, и почти всегда с успехом. Он настоящий был Дон-Жуан с зародышами еще кое-каких мерзящих человека страстишек.

По прибытии в Астрахань он в скором времени между морскими и гарнизонными офицерами прослыл хватом на все руки, т. е. плутом на все руки, но в военном словаре это тривиальное слово заменено словом „хват“.

Прибывши в Астрахань, он спрятал свою Якилыну вместе с сыном в грязном переулке на Свистуне, а себе нанял квартиру в городе и уверил ее, что этого служба требует, а она, простосердечная, и поверила. Один только баталионный командир да его адъютант знали из формуляра, что он женатый, да еще,— и то только догадывался,— квартальный, потому что во вверенном ему квартале жила штабс-капитанша Сокирина. Прочая же астра-

ханская публика и не догадывалась, а маменьки так даже смотрели на него как на приличную партию своим уже позеленевшим Катенькам и Сашенькам. Но он смотрел на всё это сквозь пальцы и неистово гнул на пе, еще неистовее пил голяком ром, а на чихирь и смотреть не хотел, называя его армянским квасом. Ко всему этому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги,— за что нередко его величали — не Ноздревым (астраханской просвещенной публики еще не касались „Мертвые души“), а называли его просто шерамыжником, за что он нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу порядочных людей!

По воскресеньям и по праздникам начал он прилежно посещать армянскую церковь и загородные армянские гульбища, где не замедлил приобрести себе не одно матаха, особенно между молодыми сынами богатых и старых отцов, и где после бесчисленных якшиолов являлися картишки и начиналась потеха, кончавшаяся почти всегда дракой, так что нередко он возвращался в город с поврежденным портретом. И после этой только неудавшейся спекуляции навещал он свою бедную Якилыну, уверяя ее, что он хотел купить для нее туркменского аргамака, привезенного из Новопетровского укрепления, сел попробовать, и вот что сделалось. Та, разумеется, верила, а он себе рапортовался больным и в ожидании, пока портрет примет настоящий вид, подрезывал на досуге карты, чему Якилына также дивилася немало. С окончанием портрета и с подрезанными картами он исчезал, и в скором времени являлся опять портрет чинить. И на сей раз уверял Якилыну, что он хотел для нее купить у купца N. вятскую тройку, и вот что наделала проклятая тройка. История с портретом повторялася довольно часто, так что и простодушная Якилына начала подозревать что-то нехорошее.

Зимою 1847 г. не являлся он месяца три к Якилыне с поврежденным портретом. Она прождала еще месяц — нет, еще месяц — нет, нет и нет. Она уже думала, что, может быть, его кони убили, боже сохрани, как в одно прекрасное утро явился к ней вестовой с главной гауптвахты и сказал ей, что — его благородие приказали вам, чтобы ваше благородие пожаловали им двугривенный или вещами что-нибудь.

— Какое благородие? — воскликнула она в ужасе.

— Его благородие, штабс-капитан Зосим Никифорович.

— Де ж вин?

Вестовой сначала улыбнулся, но как сам был малороссиянин, то она без большого труда поняла, в чем дело, и наскоро причепурылась, взяла за руку Грыця и сказала вестовому: — Ходимо.

Бедная, ты положила конец и следствию, и суду, сама того не подозревая. Он содержался на гауптвахте и судился за разные преступления, следствием почти недоказанные, а ты своим явлением всё кончила: ты при всем карауле назвала его своим мужем, тогда как всему городу известно, что он зять армянина N.N., и всему городу также известно, что прекрасная армяночка позволила себя похитить и обвенчаться на ней тайно в Черном Яру, что он, как истинный герой романа, и совершил беспрекословно, воспламеняясь не столько прекрасными глазками своей возлюбленной, сколько червончиками ее почтенного родителя. Честолюбивый армянин охотно простил, но насчет прилагательного лаконически сказал: — Чека. — Нехорошо! — подумал мой рыцарь: — маненько дал маху, надо будет зайти с другого боку, — и, придя домой, принялся сначала ругать, а потом уговаривать и просить свою армяночку, чтобы она обокрала отца, [уверяя], что для ее же счастия это необходимо сделать, что он, старый скряга, умрет с голоду, а деньги кухарка украдет. Но, несмотря на все доводы о необходимости обокрасть отца, армяночка решительно сказала: — Чека.

— А, чека, так чека! Я приму свои меры,— и он выгнал свою армяночку из квартиры, снявши с нее салоп и дорогие бусы за протори и убытки, как сам он выразился.

После этой катастрофы он начал умножать свои мерзости паче всякого описания и дошел, наконец, до того, что его на сохранение в гауптвахту [посадили].

Пока доказано было законным порядком, что он хват на все руки и вдобавок двоеженец, и пока он находился на сохранении, бедная Якилына ходила в поденщицы облу чистить и ввечеру приносила своему заключенному мужу заработанный гривенничек.

Пока определяется достойное возмездие моему рыцарю, я перенесу мой нехитростный рассказ в неисходимые киргизские степи.

Отчего же это так премудро, господи боже мой милосердый, ты устроил всё на свете? Не придумаю, не пригадаю! В один день и даже, может быть, и час они узрели свет божий животворящий, а теперь Зося уже капитанского рангу, а Ватю только вчера из школы выпустили. И не придумаю и не пригадаю, как это воно так всё на свете божием творится?

В тот самый день, как проводили Ватю из Переяслава, в тот самый день Прасковья Тарасовна задала себе такой вопрос, и много дней спустя его себе задавала, но, не находя в себе самой ответа на свой хитрый вопрос, подумала было сначала обратиться к Никифору Федоровичу. Но, подумавши, отдумала. — К Карлу Осиповичу разве? — и тоже отдумала.— Он немец,— думала она,— так что-нибудь непутное и скажет по своей немецкой натуре. Степан Мартынович разве? Да нет! Он не вразумит меня. А может, и вразумит? Ведь я просто дура, а он, по крайней мере, книги читал, то может, что и вычитал. Не знаю, придет ли он ввечеру к нам или нет? Или самой сходить к нему — так, будто бы пасику посмотреть?

И, повязавши хорошую хустку на голову, а в другую завязавши десяток бубличков, отправилась за Альту.

Проходя мимо школы, она остановилась и послушала, как школяры учатся, а уходя, шопотом говорила:

— Бедные дети! Им бы надо хоть обед когда-нибудь сделать.

Степан Мартынович, увидя в окно свою дорогую посетительницу, выбежал из школы с непокровенною главою, только в белом полотняном халате, и в два прыжка нагнал ее у входа в сад и пасику, сказавши:

— Приветствую вас в нашей палестине...

— Ах, как вы меня перепугали!

— Смиренно прошу [прощения] прегрешений моих,— говорил Степан Мартынович, отворяя калитку в сад.

— А я сегодня сижу себе дома одна, как палец: Никифор Федорович в пасике, а Марина огородину полет. Так я сижу себе да й думаю: пойду-ка я посмотрю, что там за сад и за пасика у Степана Мартыновича, да и его таки проведаю. Он что-то нас цурается.

— И подумать про меня, боже сохрани, такое грешное! Да ведь я и вчера, и позавчера, и всякой вечер у вас сижу, ну и сегодня зайду, даст бог управлюсь.

— А я как не вижу вас целый день, то мне кажется, что целый год.

С этими словами они вошли в курень или под навес из древесных ветвей и соломы. В курене, на земле сверх соломы, раскинуто белое рядно и подушка,— то было смиренное ложе Степана Мартыновича. Около ложа стоял глиняный глечик с водою и такой же кухоль, а из-под подушки выглядывал угол неизменной „Энеиды". Прасковья Тарасовна с минуту посмотрела на всё это и с участием сказала:

— Прекрасно, всё прекрасно; нечего больше и

сказать. Только вот что,— сказала она, садясь на лежавший пустой улей: — зачем вы книгу бросаете в пасике? Ну, боже сохрани, худого человека: придет да и украдет, а книга-то, сами знаете, дорогая!

— Дорогая, дорогая книга, Прасковья Тарасовна. Она мое единственное назидание,— пошли, господи, царствие твое незлобивой душе нашего благодетеля Ивана Петровича.

— Мы думаем с Никифором Федоровичем, даст бог дождать, после Семена служить панихиду по Иване Петровиче и обед тоже для нищей братии. Так нельзя ли вам будет с вашими школярами „Со святыми упокой“ петь при панихиде?

— Можно, и паче можно.

— Как это у вас всё скоро выросло! Смотрите, какая липа, просто прекрасная!

— Да, эта липа будет высокая. Но все-таки не будет такая, как я видел за Днепром около самых ворот Мошнинского монастыря. Так на той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться.

— Да, я думаю, там за Днепром все такие липы?

— Нет, не все,— есть и меньшей меры.

— А не читали ли вы в какой-нибудь книге о такой притче, какая теперь случилась с нашими Зосей и Ватей? — И Прасковья Тарасовна рассказала ему свои недоумения насчет карьеры Зоси и Вати и прибавила:

— Я думаю, что Зося генералом будет, а бедный Ватя и капитанского рангу не опануе. Отчего это, не знаете? Не читали?

— Не знаю, не читал,— с минуту подумавши, ответил Степан Мартынович и, еще минуту спустя, прибавил:

— Думаю, об этом пространно есть писано у Ефрема Сирина или же у Юстина Философа, но у Тита Ливия нет.

— Оставайтеся здоровы,— сказала Прасковья Тарасовна, быстро поднявшись с улья.— Вот я вам гостинчика принесла, да заговорилася с вами и за-

была.—Говоря это, она торопливо вывязывала бублички из хустки.

— Минуточку б подождали, я достал бы вам своего медку стильнычок.

— Благодарствую, другим разом,—уже за калиткою проговорила Прасковья Тарасовна, а Степан Мартынович намеревался еще только приподымать правую ногу, чтобы проводить ее хоть до Альты.

В продолжение свидания в пасике школа как будто опустела и стояла себе как самая обыкновенная хата. В это непродолжительное время школяры переговаривались между собою шопотом о собственных интересах, но когда часовой школяр проговорил:—„Двери ада разверзаются",—значит, в пасике калитка отворяется, то при этом возгласе все разом загудели, как будто испуганный рой пчел. Прасковья Тарасовна, проходя мимо школы, уже не останавливалась, а на ходу проговорила:

— Бедные дети! Как они прекрасно читают, а он, я думаю, их, бедных, еще бьет,—настоящий вовкулака!

— Если не удалося проводить до Альты, то хоть човен придержу, пока она сядет в него, и перепихну на другой берег,—так говорил про себя Степан Мартынович, выходя из пасики. Но, увы! его кавалерскому намерению не суждено было исполниться: Прасковья Тарасовна не рассчитывала на такую неслыханную вежливость, прыгнула в челн как приднепровский рыбак, махнула веслом, и челн уперся уже в другой берег речки. Степан Мартынович только успел ахнуть, и больше ничего.

Подходя к дому, Прасковья Тарасовна заметила беду Карла Осиповича и лошадь почти в мыле, а когда у такого хорошего хозяина, каков Карл Осипович, лошадь в поту, то это значит, что что-нибудь да не так. Только что она успела подумать это, как увидела из пасики скоро идущего Никифора Федоровича,—только борода белая ветром развевается, а Карл Осипович за ним в своем синем фраке с металлическими и без всякого изображения

пуговицами. Завидя свою Парасковию, Никифор Федорович вскрикнул обрадованно:

— Параско! — и при этом поднял правую руку, и она ясно увидела письмо в руке и тоже вскрикнула.

— От которого?

— От Вати, из самого Оренбурга.

Прасковья Тарасовна на минуту как бы онемела, а Карл Осипович, поздоровавшись, спросил, ни к кому собственно с вопросом не обращаясь:

— Что, месяца два будет, как выехал?

— На пречисту буде сим недиль,— ответила Прасковья Тарасовна.

— Скоренько, право, скоренько,— говорил он скороговоркою.— Я не думал так скоро. Хорошо, очень хорошо!

И все они взошли на крыльцо.

Никифор Федорович пошел к себе в комнату за окулярами и тут же послал Марину за Степаном Мартыновичем: — Чтобы шел,— скажи,— скорее письмо читать: от Вати, скажи, получили.— Не успел он протереть в очках стекла и выйти на ганок, как Степан Мартынович уже переправлялся через Альту. Удивительная быстрота!

Когда все уселися по своим местам, Никифор Федорович вооружил свои старые очи окулярами, вскрыл письмо, развернул его и, легонько прокашлявшись, начал читать:

„Мои незабвенные, мои дражайшие родители!“

Голос Никифора Федоровича задрожал, и он стал жаловаться, что очки его совершенно ослабели или просто запылились так, что и письмо читать нельзя, почему он и передал его Карлу Осиповичу, прося прочитать неторопко. Карл Осипович в свою очередь вооружился очками и вместо того, чтобы кашлянуть, он понюхал табаку и начал:

„Мои незабвенные, мои дражайшие родители!“

Никифор Федорович затаил дыхание, а Прасковья Тарасовна превратилась вся в слух и даже слез не утирала. Карл Осипович продолжал:

„Целую заочно ваши добродетельные руки и молю бога жизнедавца, да продлит он вашу драгоценную для меня жизнь. В продолжение дороги и здесь на месте я постоянно, слава богу, пользуюся хорошим здоровьем, только всё еще как-то чудно, ни к кому и ни к чему еще не присмотрелся. Еще и недели не прошло со дня пребывания моего здесь. Простите мне великодушно, мои незабвенные родители, я хотел было писать вам на другой день, но за хлопотами никак не успел: нужно было явиться по начальству, то то, то сё, так неделя и пролетела. Теперь же я, слава богу, поуспокоился, нанял себе маленькую, о двух комнатах, квартиру, как раз против госпиталя в Старой Слободке. Вчера я был дежурным, а сегодня совершенно свободный день, и, чтоб не потратить его всуе, я взялся за перо и думал описать вам мимолетное мое путешествие, но как подумал хорошенько, то оказалось, что и писать нечего, что всё пространство, промелькнувшее перед моими глазами, теперь так же само и в памяти моей мелькает. Ни одной черты не могу схватить хорошенько. Смутно только припоминаю то неприятное впечатление, которое произвели на меня заволжские степи.

Переправясь через Волгу, я в Самаре только пообедал и сейчас же выехал, и после волжских прекрасных берегов передо мною раскрылася степь, настоящая калмыцкая степь. Первая станция от Самары была для меня тяжела, вторая легче, и глаза мои начали осваиваться с бесконечными равнинами.

В первые три переезда показывались еще кой-где вдали неправильными рядами темные кустарники в степи по берегам речки Самары. Наконец, и те исчезли. Пусто, хоть шаром покати. Только — и то местах в трех — я видел: над большой дорогой строятся новые переселенцы, а около их багажа шляются в четырехугольных красных шапках, наподобие кучерских, безобразные калмычки с грудными детьми на плечах, совершенно цыганки, только что не ворожат. Проехавши город Бузулук, начинают на горизонте в тумане показываться плоские

возвышенности Общего Сырта, и, любуясь этим величественным горизонтом, я незаметно въехал в Татищеву крепость. Я отдал подорожную смотрителю, а сам остался на улице, и пока переменяли лошадей, я припоминал „Капитанскую дочку“, и мне как живой представился грозный Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне — совершенно наш старинный палач. Солнце только что закатилось, когда я переправился через Сакмару, и первое, что я увидел вдали, это было еще розового цвета огромное здание с мечетью и прекраснейшим минаретом. Это здание, недавно воздвигнутое по рисунку А. Брюллова, называется здесь Караван - сарай. Проехавши Караван - сарай, мне открылся город, то - есть земляной высокий вал, одетый красноватым камнем, и неуклюжие сакмарские ворота, в которые я и въехал в Оренбург.

На мой взгляд, в физиономии Оренбурга есть что - то антипатичное, но наружность иногда обманчива бывает, и я лучше сделаю, если не буду вам писать о нем, пока к нему не присмотрюся. Я намерен вести здесь дневник и посылать к вам по листочку каждую неделю, вы и будете видеть меня как бы перед собою, прочитывая мои листочки. А пока простите меня, что я не пишу вам о себе подробнее. Поклонитеся Карлу Осиповичу и скажите Степану Мартыновичу, что я люблю его великую душу всем сердцем моим и всем помышлением моим. Целую ваши благодатные руки, мои незабвенные, мои бесценные родители. Не забывайте вечно любящего вас сына Ватю“.

Прочитавши письмо, Карл Осипович бережно сложил его и, подавая его Никифору Федоровичу, проговорил: — Прекрасный молодый человек. — А тот принял молча письмо, поцеловал его, положил в лежащую на столе летопись Конисского и молча сошел с крылечка. Прасковья Тарасовна молилась богу и плакала, а Степан Мартынович, глубоко вздохнувши, призадумался и, надумавшися досыта, встал

со скамьи и мигнул глазом Карлу Осиповичу, давая знать, что он что-то важное выдумал, а, отведши его в сторону, говорил ему шопотом:

— Я по себе знаю, как я странствовал в Полтаву, как трудно на чужой стороне без грошей, а он теперь, я добре знаю, что нуждается. А что он не просит, то это ничего. Я прошлого года продал немного воску и меду московским купцам, школа меня кормит и одевает, а деньги гниют, как талант в землю зарытый. Пошлю я ему мое достояние. Как вы скажете, послать?

— Нет, подождите,— говорил тоже шопотом Карл Осипович.— Если у вас есть лежачие деньги, то на них можно найти лучшую дырочку.

Они расстались.

Переправившись через Альту, Степан Мартынович не пошел в школу, чтобы школяры не помешали ему думать, какую дырочку нашел Карл Осипович его деньгам? Думал он лежа, и сидя, и стоя в своей пасике до самого вечера, и все-таки не мог придумать, что бы это за дырочка могла быть? Дело в том, что Карл Осипович получил из Астрахани два письма в одном конверте, одно на свое имя, а другое на имя сотника Сокиры, если он жив еще, или же на имя Прасковьи Тарасовны.

Зося в письме своем Карлу Осиповичу описывал в общих выражениях свое горестное положение и просил, если старики здравствуют, то чтобы он улучил добрый час, вручил бы им письмо и сам ходатайствовал о добром их к нему расположении, т. е. просил бы о присылке денег. В случае же отказа он просто в петлю полезет.

Карл Осипович хорошо знал, что письмо Зоси не понравится Никифору Федоровичу, и потому раздумал его даже и показывать ему, а [решил] прочитать его одной Прасковье Тарасовне и Степану Мартыновичу и общими силами сложиться и послать на выручку бедному Зосе. На эту-то дырочку и намекал он недогадливому Степану Мартыновичу.

Случай не замедлил представиться прочитать письмо Зоси наедине, именно когда Никифор Федорович, по обыкновению, отдыхал в пасике после обеда. Письмо было такого нехитрого содержания:

„Великодушные мои родители!

Четыре года я находился в плену у немилосердых горцев и, наконец, щедротами великодушных людей освобожден из оного и теперь нахожусь в г. Астрахани в крайнем положении. По случаю расстроенного на службе здоровья, я хлопочу теперь себе отставку, хоть с третью жалованья. А пока не оставьте вашего покорного сына — пришлите мне хоть сто рублей пока, за что буду вам вечно благодарен. Остаюся ваш несчастный сын Зосим Сокирин. Карл Осипович знает мой адрес“.

Прасковья Тарасовна не дослушала письма, ахнула и грохнулась на пол. Карл Осипович засуетился около нее, а педагог мой тоже ахнул при виде сей трагедии, да так и остался с разинутым ртом до тех пор, пока не очнулась Прасковья Тарасовна. Простак! Он совершенно незнаком был с сими женскими слабостями. Придя в себя, Прасковья Тарасовна вскрикнула:

— Зосю мой, дитя мое! — и снова упала без чувств. Педагог начал было делать проект на улыбку, но не успел и остался при прежнем выражении. Прасковья Тарасовна снова пришла в себя и попросила воды, прошептала что-то и зарыдала, бедная, как малое дитя. К этому времени Никифор Федорович, отдохнувши в пасике, пришел в светлицу, чтобы попросить напиться у Прасковьи Тарасовны яблочного кваску, который они на прошлой неделе только почали, но, увидя сидящую на полу и неутешно рыдающую свою Параскокию, спросил у предстоящих о причине такого горького рыдания. Карл Осипович рассказал ему несколькими словами содержание всей трагедии и подал ему роковое письмо, а тот, вооружившись очками, медленно и внимательно прочитал его и так же медленно сло-

жил и, подавая Карлу Осиповичу, сказал:— Бреше! — но так тихо, что Прасковья Тарасовна не могла слышать. Карл Осипович был почти такого же мнения, тем более, что Зося в письме своем к нему ни слова не говорит о своем плене у бесчеловечных горцев, но на сей раз не высказал своего мнения, а только почесал нос и понюхал табаку.— Неужли он,— доннер - веттер!— вздумал употребить его, почтенного старца, орудием своей гнусной лжи? — так или почти так думал простодушный добряк.

Между тем Прасковья Тарасовна начала понемногу утихать и уже не плакала, а только всхлипывала. Окружающие как могли утешали ее. А чтоб совершенно ее успокоить, Никифор Федорович вынул из своей шкатулы стокарбованную ассигнацию и вручил ее неутешной своей Парасковии, сказавши:

— На, пошли ему!

— Мой голубе сизый,— говорила Прасковья Тарасовна, принимая деньги,— напиши ты ему хоть одно слово, обрадуй ты его, бесталанного.

— Пиши сама.

— Да как же я буду писать, коли я и писать не умею?

— Как хочешь, а я писать не буду.

— Разве вы, Карл Осипович, напишете?

— Попросите вот Степана Мартыновича, пускай они напишут: у меня нехороший почерк.

— Вы его учитель, Степан Мартынович; напиши, голубчику, хоть единое словечко, я за тебя денно и нощно буду богу молиться и пистри на халат возьму, а то вы всё в полотняном ходите.

Степан Мартынович изъявил согласие писать, а Никифор Федорович достал из той же шкатулы перо, чернилицу и бумагу и, положа всё это на стол, вышел из светлицы вместе с Карлом Осиповичем.

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял перо в руку и принял такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изо-

бражают их бессмертные лики, осененные сапфирными крылами гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так,— сквозь слезы проговорила она :— Зосю мой, дитя мое единое!

Степан Мартынович долго, долго думал и, наконец, написал:

„Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!"

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Далее пишите так:— Орле мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцив.

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать — краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист кругом, а другого листа боялася просить Прасковья Тарасовна у Никифора Федоровича.

Когда громогласно и не борзяся было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала:— А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить.— И она посмотрела на писателя с благоговением.

К вечеру было всё кончено, письмо и деньги были вручены Карлу Осиповичу с просьбою подать на завтра же на почту. Карл Осипович, принявши комиссию сию, простился с хозяевами и, садяся в свою беду, подозвал к себе Степана Мартыновича и сказал ему на ухо:

— Ваши рубли свободны: дырочка заткнута.

Хлестнул своего буланого и был таков. А Степан Мартынович побрел в свою школу, недоумевая, что это за дырочка проклятая,— а хитрый немец не хочет объясниться просто.

Деньги были получены в Астрахани как нельзя более кстати, потому что бедная Якилына занемогла

лихорадкою и лежала в городской больнице, следовательно, дневное пропивание для моего героя прекратилось. И вдруг как манна с неба упала! Ему выдавали, как арестанту, понемногу, но и за этим немногим стали втихомолку наведываться товарищи и прорицали ему, не как прежде — хламиду поругания, но совершенную свободу и полное удовлетворение. Этого уж он и сам не понимал. Под словом „совершенная свобода" он разумел волчий паспорт, но „полное удовлетворение" как ни бился, а не мог разжевать.

Через месяц после этого происшествия хуторяне мои были обрадованы первым недельным листком, полученным из Оренбурга. Ватя назвал свой недельный дневник, в подражание своему благодетелю Ивану Петровичу Котляревскому, „Оренбургская Муха". Хуторяне мои его так же называли, например: „К нам прилетела оренбургская муха", или „Мы ожидаем оренбургскую муху" и т. д.

Покойного Котляревского „Полтавская Муха" была настоящая пчела, а это было только невинное подражание в одном названии. Эта муха ни на какую пошлость или низость людскую не нападала, подобно полтавской. Это было просто описание вседневной прозаической жизни честного и скромного молодого человека, а для хуторян моих это было выше всякой поэзии. Прочитывая недельный отчет своего милого Вати, они с любовию следили каждое его движение. Они видят его, как он идет по большой улице и ему встречаются эполеты да каски, каски да эполеты, козаки да солдаты, солдаты да козаки, даже бабы ходят по улице в солдатских шинелях, чего он не видал даже на красныце в Киеве. Или видят его, как он сидит на горе и смотрит на Урал и на рощу за Уралом, и за рощей на меновой двор, а за двором степь и степь, хоть и не смотри, далее ничего не увидишь, а он всё смотрит, да о чем-то думает. И видят его, как он, скучный, возвращается к себе на квартиру, молится богу и ложится спать, а завтра рано встает, надевает мундир, идет дежурить в гос-

питаль. Всё, совершенно всё видят, даже и то, как ему делает словесный выговор главный доктор за то, что у него на мундире одна пуговица расстегнулась, причем Прасковья Тарасовна говорила, что у этих главных хоть ангелом будь, а все-таки без выговора не обойдется.

„Оренбургская Муха“ исправно являлась на хутор каждую неделю, и чем далее, тем однообразнее. Наконец, до того дошло, что все дни недели были похожи точь-в-точь на понедельник. Воскресенье только и отличалося от понедельника тем (если не был дежурным), что он бывал у обедни. Старики с наслаждением читали „Муху“, никак не подозревая ее убийственно однообразного содержания.

Наконец, дошло до того, что он открыто начал жаловаться на скуку и однообразие.— Хоть бы на гауптвахту хоть раз посадили для разнообразия,— писал он,— а то и того нет.— На оренбургское общество смотрел он как-то неприязненно, а дам высшего полета называл просто безграмотными кокетками, словом, он начинал хандрить. Отправляясь в Оренбургский край, он думал было на досуге приготовиться защищать диссертацию на степень доктора медицины и хирургии, но вскоре им овладела такая тоска, что он готов был забыть и то, что знал, а об обширнейших знаниях и думать было нечего.

Более полутора года длился для него этот нравственный застой. Один вид Оренбурга наводил на него сон. Думал было он просить перевода, ссылаясь на климат, но от основания Оренбурга не было еще человека, который бы жаловался на его климат. Климат отличнейший, хотя лук и прочие огородные овощи и не родятся. Но это, я думаю, больше от того, что всё это добро из Уфы получают, для кого оно необходимо, а до Уфы, заметьте, не более, не менее, как 500 верст. Однажды он, скуки ради, посетил Каргалу.—Все же таки,— думал он,— село, следовательно, не без зелени.— И представьте его разочарование: дома, ворота да мечети, а зелени только и есть, что крапивы кусточки под забором, а вонь

такая, что он не мог и чаю напиться.— Вот тебе и село! Ну, это не диво. Сказано — татарин: ему был бы кумыс да кусок дохлой кобылятины,— он и счастлив. Поедем в другую сторону.— Поехал он в Неженку,— это будет по орской дороге. Что же? И там дома да ворота, только мечетей не видно, зато не видно и церкви. Но как день был июльский, жаркий, то он поневоле должен был изменить проект, плюнуть и возвратиться вспять, дивяся бывшему. Постучал он в тесовые ворота, ему отворила их довольно недурная собою молодка, но удивительно заспанная и грязная, несмотря на день воскресный.

— Можно у вас остановиться отдохнуть на полчаса? — спросил он.

— Мозно, для ца не мозно! — сказала она протяжно.

Он взошел на двор и хотел было в избу зайти, но на него из дверей пахнуло такой тухлятиной, что он только нос заткнул. На дворе расположиться совершенно было негде. Велел он своему вознице раскинуть кошомку под телегою на улице и прилег помечтать о блаженстве сельской жизни, пока лошади вздохнут. А между тем вышла к нему на улицу та самая заспанная грязная молодка и, щелкая арбузные семечки, смотрела... или, лучше сказать, ни на что не смотрела. Он повел к ней такую речь:

— А как бы ты мне, моя красавица, состряпала чего-нибудь перекусить!

— Да рази я стряпка какая?

— Ну, хоть уху, например. Ведь у вас Урал под носом: чай, рыбы пропасть?

— Нетути. Мы эфтим не занимаемся.

— Чем же вы занимаетеся?

— Бакци сеем.

— Ну, так сорви мне пару огурчиков.

— Нетути, мы только арбузы сеем.

— Ну, а еще что сеете? Лук, например?

— Нетути. Мы лук из городу покупаем!

— Вот на! — подумал он: — деревня из города зеленью довольствуется.

— Что же вы еще делаете?

— Калаци стряпаем и квас творим.

— А едите что?

— Калаци с квасом, покамест бакца поспеет.

— А потом бахчу?

— Бакцу.

— Умеренны, нечего сказать, — и он замолчал, размышляя о том, как немного нужно, чтобы сделать человека похожим на скота. А какая благодатная земля! Какие роскошные луга и затоны уральские! И что же? Поселяне из города лук получают. И он не додумал этой тирады: извозчик прервал ее, сказавши:

— Лошади, барин, отдохнули.

— А, хорошо! Закладывай, — поедем.

И пока извозчик затягивал супони, он уже сидел на телеге. Через минуту только пыль взвилася и, расстилаясь по улице, заслонила и ворота, и стоящую у ворот молодку.

С тех пор он не выезжал уже из Оренбурга аж до тех пор, пока ему в одно прекрасное апрельское утро не объявили, что он командируется с транспортом на Раим.

О, как живописно описал он это апрельское утро в своем дневнике! Он живо изобразил в нем и не виданную им киргизскую степь, уподобляя ее Сахаре, и патриархальную жизнь ее обитателей, и баранту, и похищения, — словом, всё, что было им прочитано — от „П. И. Выжигина", даже до „Четырех стран света", — решительно всё припомнил.

Отправивши субботний учетверенный листок на почту, [Ватя] явился куда следует по службе, и на другой день поутру у Орских ворот ефрейтор скороговоркою спрашивал:

— Позвольте узнать чин и фамилию и куда изволите следовать?

Из воротника шинели довольно грубо вылетели слова:

— Лекарь Сокира, в Орскую крепость. Подвысь! — Пошел!

И тройка понеслася через форштат мимо той церкви и колокольни, на которую Пугачев встащил две пушки, осаждая Оренбург.

До станицы Островной он только любовался окрестностями Урала и заходил только в почтовые станции, и то когда хотелося пить, но, подъезжая к Островной, он вместо серой обнаженной станицы увидел село, покрытое зеленью, и машинально спросил ямщика:

— Здесь тоже оренбургские козаки живут?

— Тоже, ваше благородие, только что хохлы.

Он легонько вздрогнул.

— А почтовая станция здесь?

— Дальше, в Озерной.

— Там тоже хохлы живут?

— Нет-с, наши русские.

Подъезжая ближе к селу, ему, действительно, представилась малороссийская слобода: те же вербы зеленые, и те же беленькие в зелени хаты, и та же девочка в плахте и полевых цветах гонит корову. Он заплакал при взгляде на картину, так живо напоминавшую ему его прекрасную родину.

У первой хаты он велел остановиться и спросил у сидящего на призьбе усача, можно ли будет ему переночевать у них?

— Можна, чому не можна, мы добрым людям рады.

Он отпустил ямщика и остался ночевать.

Здесь он впервые в Оренбургском крае отвел свою душу родною беседою, а чтобы больше оживить несловоохотного (как и вообще земляки мои) хозяина, он спросил, чи есть у них шинок?

— Шинку-то у нас, признаться, нема, а так люды добри держать про случай.

Он послал за водкою, попотчевал хозяина и хозяйку, а маленькому Ивасеви дал кусочек сахару. Хозяин стал говорливее, хозяйка проворнее заходила около печки с чаплиею. Только один Ивась стоял, воткнувши в рот пальцы вместе с сахаром, и исподлобья посматривал на гостя.

Не замедлили цыплята закричать за хатою и также

не замедлили явиться на столе с парою свежепросольных огурцов к услугам гостя.

— Закушуйте, будьте ласкави,— говорила хозяйка, ставя на стол цыплят,— а я тым часом побижу до Домахи, чи не позычу з десятъ яєць, а то в нас, признаться, вси выйшлы.

И она проворно вышла из хаты.

На другой день поутру хозяин нанял ему пару лошадей до станции, а догадливая хозяйка поднесла ему в складне на дорогу пару цыплят жареных, 10 яиц и столько же свежепросольных огурцов. Принимая всё это, он спросил, что он им должен за всё.

— Та, признаться, нам бы ничого не треба, та думка та, що треба б дытыни чобитки купыть.

Он подал ей полтинник.

— Господь з вамы, та ёму и за грывеннычок Вакула пошие.

— Ну, там соби як знаешь,— сказал он и простился со своими гостеприимными земляками.

Переночевал он еще в Губерле (предпоследняя станция перед Орской крепостью), собственно для того, чтобы полюбоваться на другой день губерлинскими горами. На другой день перед вечером он был уже в виду Орской крепости.

Вот как он рассказывает в своей „Мухе" впечатление, произведенное видом этой крепости.

„29 апреля. До 12 часов я гулял в губерлинской роще и любовался окружающими ее горами, чистой речечкой Губерлей, прорезывающей рощу и извивающейся около самых козачьих хат. Пообедавши остатками подарка моей догадливой землячки, я оставил живописную Губерлю. Несколько часов подымался я извилистой дорогою на губерлинские горы. У памятника, поставленного в горах, на дороге, на память какого-то трагического происшествия, я напился прекраснейшей родниковой воды. Поднявшись на горы, открылась плоская однообразная пустыня, а среди пустыни торчит одинокая

будочка и около нее высокий шест, обернутый соломою. Это козачий пикет. Проехавши пикет, я начал спускаться по плоской наклонности к станции Подгорной. Переменивши лошадей, я подымался часа два на плоскую возвышенность. С этой возвышенности открылась мне душу леденящая пустыня. Спустя минуту после тягостного впечатления я стал всматриваться в грустную панораму и заметил посредине ее беленькое пятнышко, обведенное краснобурою лентою.

— А вот и Орская белеет,— сказал ямщик, как бы про себя.

— Так вот она, знаменитая Орская крепость! — почти проговорил я, и мне сделалося грустно, невыносимо грустно, как будто меня бог знает какое несчастье ожидало в этой крепости, а страшная пустыня, ее окружающая, казалася мне разверстою могилой, готовою похоронить меня заживо. В Губерле я был совершенно счастлив, вспоминал вас, мои незабвенные, воображал себе, как Степан Мартынович читает Тита Ливия под липою, а батюшка, слушая его, делает иногда свои замечания на римского витию-историка, и вдруг такая перемена! Неужели так сильно действует декорация на воображение наше? Выходит, что так. Подъезжая ближе к крепости, я думал (странная дума), поют ли песни в этой крепости, и готов был бог знает что прозакладывать, что не поют. При такой декорации возможно только мертвое молчание, прерываемое тяжелыми вздохами, а не звучными песнями. Подвигаясь ближе и ближе по широкому, едва зеленью подернутому лугу, я ясно уже мог различать крепость: белое пятнышко — это была небольшая каменная церковь на горе, а краснобурая лента — это были крыши казенных зданий, как-то: казарм, цейхгаузов и прочая.

Переехавши по деревянному, на весьма жидких сваях, мостику, мы очутились в крепости. Это обширная площадь, окруженная с трех сторон каналом аршина в три шириною да валом с соразмерною выши-

ною, а с четвертой стороны — Уралом. Вот вам и крепость. Недаром ее киргизы называют Яман - кала. По-моему, это самое приличное ее название. И на месте этой Яман - калы предполагалося когда - то основать областной город! Хорош был бы город! Хотя, правду сказать, и Оренбург малым чем выигрывает в отношении местности. Вот что оживляло первый план этой сонной картины: толпа клейменых колодников, исправлявших дорогу для приезда корпусного командира, а ближе к казармам на площади маршировали солдаты. Проезжая тихо мимо марширующих солдат, мне резко бросился в глаза один из них: высокий, стройный, и — странная игра природы! — чрезвычайно похож на брата Зосю. Меня так поразило это сходство, что я целую ночь не мог заснуть, создавая разные самые несбыточные истории насчет брата; да еще вонючая татарская лачуга, отведенная мне в виде квартиры, окончательно разогнала мой сон.

30 апреля. С больною головою явился я сегодня к коменданту, а от него пошел познакомиться к собрату по науке. Собрат по науке показался мне чем - то вроде жердели спелой и после обоюдных приветствий сказал мне, в виде комплимента, что я чрезвычайно похож на одного несчастного, недавно сюда присланного из Астрахани. Я спросил его, что значит слово „несчастный". Он пояснил мне, и я, простившись с ним, пошел искать баталионную канцелярию. В канцелярии у писаря спросил я, нет ли в их баталионе недавно присланного рядового Зосима Сокирина. Писарь отвечал: — Есть, — и, взглянувши мне в лицо, прибавил: — Зосим Никифирович.

— Можно ли мне прочитать его конфирмацию?

— Можно - с.

И я прочитал вот что: „По конфирмации военного суда, за разные противозаконные и безнравственные поступки, написывается в Отдельный Оренбургский корпус рядовым Зосим Сокирин, с выслугою".

— Нельзя ли мне видеть этого рядового?— спросил я писаря.

— Можно-с. Извольте следовать за мною.

И услужливый писарь привел меня в казармы.

Я не описываю вам нечистоты и смрада, возмущающих душу и вечно сущих во всех казармах. Не читайте маменьке, ради бога, этого письма. Она, бедная, не перенесет этого тяжкого удара. На нарах в толстой грязной рубахе сидел Зося и, положа голову на колени, как титан Флаксмана, пел какую-то солдатскую нескромную песню. Увидя меня, он сконфузился, но сейчас же оправился и заговорил.

— Это ты, брат Ватя?

— Я.

— А это я,— сказал он, вытягиваясь передо мною во фронт.

Меня в трепет привело его непритворное равнодушие. Я был ошеломлен его ответом и движением и долго не мог сказать ему ни слова, а он всё стоял передо мною навытяжку, как бы издеваясь надо мною. Наконец, я собрался с духом, спросил его, не нужно ли ему чего-нибудь.

— Нужно,— отвечал он, не переменяя позиции.

— Что же тебе нужно?

— Деньги!

— Но я много не могу тебе предложить.

— Сколько можешь.

Я дал ему 10-тирублевый билет.

— Спасибо, брат,— сказал он, принимая деньги, и потом прибавил:— мы ей протрем глаза.

Я, уходя из казармы, просил его, чтобы он заходил ко мне в свободное время, пока я уйду в степь.

Бывало мне иногда грустно, тяжело грустно, но такой гнетущей грусти я никогда еще не испытывал. Мне казалося, что я видел Зосю во сне, что на самом деле такое превращение невозможно в человеке, такое помертвение всего человеческого. Придя на квартиру, я посмотрел свой бумажник и, не находя 10 рублей, убедился, что это, действи-

тельно, Зося. Боже мой! Что же тебя так страшно превратило? Неужели воспитание? Нет, воспитание скорее ничего не сделает из человека, или только опошлит его, но превратить его в грубое животное никакое воспитание не в силах.

— Что же, наконец, довело тебя до этого жалкого состояния, мой бедный Зосю?—И я не мог в себе найти ответа".

Во все остальные дни пребывания своего в Орской крепости в дневнике Вати ничего интересного не было записано. Транспорт собирался в крепость и готовился к 12 мая выступить в степь, следовательно, кроме башкирцев, телег, верблюдов, козаков, солдат, он ничего больше не видел, а виденное им в эти дни весьма неинтересно, особенно на бумаге. Брат навестил его только один раз с каким-то пьяным офицером, с которым тот был на ты. Просил у него денег — сначала 100 рублей, потом 50, потом 25 и, наконец, 10. Десять тот обещал ему дать завтра, когда он отрезвится. Он божился ему, что он совершенно трезвый. Товарищ его честью даже ручался, что у Зосима росинки во рту не было, а не то, чтобы... Видя недействительность ручательства благороднейшего малого, он попросил у него целковый на выпивку, в чем ему Ватя благоразумно не отказал, а иначе он мог бы довести пьяного зверя до неистовства, а там недалеко и до полиции. Одним словом, заключение визита могло выйти самое сценическое.

Взявши целковый, он ловко щелкнул пальцем, проговоря: „живем!" — и, сделав налево кругом, вышел из комнаты.

— Чудак, а благороднейший малый! — говорил его товарищ, раскланиваясь с Ватей.

Это было последнее свидание его с братом в Орской крепости.

Спустя дня два после этого грустного свидания Ватя слушал за Орью напутственный молебен, а через полчаса огромной темною массою транспорт дви-

нулся в степь, подымая серые облака пыли. Спустя еще полчаса из-за Ори начали возвращаться в крепость провожавшие транспорт, но между ними не видно было чудака, но благороднейшего малого. Ватя, бесприветный, исчезал в облаках пыли.

В последнем письме из Орской крепости Ватя писал своим хуторянам, чтоб они долго не ждали от него „Мухи", что он выходит в степь, а в походе, и при таком огромном транспорте, ему, может быть, некогда будет и подумать о письме. „А когда возвращуся из Раима, тогда, даст бог, опишу вам все, мною виденное, с возможными подробностями". Но случилося так, что он должен был в раимском укреплении сменить лекаря N. и остаться вместо него в степи в продолжение четырех лет.

„Мои милые, мои незабвенные хуторяне!

Я обещался вам описать подробно свой поход по возвращении в Оренбург. Но мне суждено туда возвратиться не скоро: я сменил здесь товарища и останусь в укреплении, пока суждено будет кому-нибудь сменить или заменить меня, а пока это случится, я обещаю вам попрежнему посылать мою, уже „Раимскую Муху" с каждою почтою. Но так как почта приходит и от нас отходит не в определенное время, то вы и не беспокойтесь о неаккуратном появлении моей „Мухи" на вашем благодатном хуторе.

12 мая транспорт, в числе 3000 телег и 1000 верблюдов, выступил из Орской крепости. Первый переход (с непривычки, может быть) я ничего не мог видеть и слышать, кроме облака пыли, телег, башкирцев, верблюдов и полуобнаженных верблюдовожатых киргизов,— словом, первый переход пройден был быстро и незаметно. На другой день мы тронулись с восходом солнца. Утро было тихое, светлое, прекрасное. Я ехал с передовыми уральскими козаками впереди транспорта за полверсты и вполне мог предаваться своей тихой грусти и созерцанию окружающей меня природы. Это была ровная, без малейшей со всех сторон возвышенности степь, и,

как белой скатертью, ковылем покрытая необозримая степь. Чу́дная, но вместе и грустная картина! Ни кусточка, ни балки, совершенно ничего, кроме ковыля, да и тот стоит — не пошевелится, как окаменелый; ни шелесту кузнечика, ни чиликанья птички, ни даже ящерица не сверкнет перед тобою своим пестреньким грациозным хребтом: всё, кроме ковыля, умерщвлено, немо всё и бездыханно, только сзади тебя глухо стонет какое-то исполинское чудовище, это — двигающийся транспорт. Солнце подымалося выше и выше, степь как будто начала вздрагивать, шевелиться. Еще несколько минут — и на горизонте показалися белые серебристые волны, и степь превратилася в океан-море, а боковые аванпосты начали расти, расти и мгновенно превратилися в корабли под парусами. Очарование длилося недолго. Через полчаса степь приняла опять свой безотрадный монотонный вид, только боковые козаки попарно двигалися, как два огромные темные дерева. Из-за горизонта начала показываться белая тучка. Я ужасно обрадовался этому явлению. Все-таки разнообразие. Начинаю любоваться ею, а она, лукавая, вдруг расплывется в воздухе, то снова вдруг покажется из-за горизонта.

— Вишь ты, собаки, что выдумали! — проговорил один козак.

— А что такое, Дий Степаныч? — спросил у него другой.

— Рази ослеп, не видишь? — степь горит!

— И всамделе горит. Вишь, собаки!

Я стал внимательнее всматриваться в горизонт и, действительно, вместо тучки увидел белые клубы дыма, быстро исчезающие в раскаленном воздухе. К полдню пахнул навстречу нам тихий ветерок, и я почувствовал уже легкий запах дыма. Вскоре открылася серебряная лента Ори, и далеко выдавшийся к нам навстречу залив освежил воздух. Я вздохнул свободнее, и пока транспорт раскидывался своим исполинским каре вокруг залива, я уже купался в нем. Пожар был всё еще впереди нас, и мы

могли видеть только один дым, а пламя еще не показывалось из-за горизонта. С закатом солнца начал освещаться горизонт бледным заревом. С приближением ночи зарево краснело и к нам близилось. Из-за темной горизонтальной, чуть-чуть кое-где изогнутой линии начали показываться красные струи и язычки. В транспорте всё затихло, как бы ожидая чего-то необыкновенного. И, действительно, невиданная картина представилася моим изумленным очам: всё пространство, виденное днем, как бы расширилось и облилось огненными струями почти в параллельных направлениях. Чудная, неописанная картина! Я всю ночь просидел под своею джеломейкою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говаривал: — Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает. — И правда, как бы теперь было кстати это прекрасное искусство!

Вблизи транспорта, на темной, едва погнутой линии, на огненном фоне показался длинный ряд движущихся верблюжьих силуэтов. Тут мне не на шутку стало досадно, что я не умею рисовать. Верблюды двигались один за другим по косогору и исчезали в красноватом мраке, точно китайские тени. На одном из них, между горбов, сидел обнаженный киргиз и импровизировал свою однотонную, как и степь его, песню. Картина была полная, и я в изнеможении тут же, под джеломейкою, уснул. Во сне повторилася та же огненная картина с прибавлением „Содома и Гоморры“ Мартена. Меня разбудил вестовой, — транспорт готов был двинуться; я успел еще кое-как выпить стакан чаю, пока убирали мою джеломейку, сел на коня и поехал с передовыми козаками.

Мы долго ехали по обгорелой степи, и теперь-то, глядя на эти черные бесконечные равнины, я убедился, что не во сне, а я вчера видел настоящий пожар. К полдню мы подошли опять к берегам Ори и расположилися на ночлег. Следующий переход мы шли в виду Ори, и степь казалась разнообразнее, кой-где выдавались косогоры, местами даже

белели обрывы берегов Ори, кой-где показывался камыш и даже кусты саксаула. Переправившись на другой берег Ори, транспорт опять раскинул свое гигантское каре.

По обыкновению, транспорт снялся с восходом солнца, только я, не по обыкновению, остался в арьергарде. Орь осталася вправо, степь принимала попрежнему свой однообразный, скучный вид. В половине перехода, я заметил, люди начали отделяться от транспорта, кто на коне, а кто пешком, и все в одном направлении. Спросил о причине у ехавшего около меня башкирского тюря, и он сказал мне, указывая нагайкою на темную точку: — Мана аулья агич (здесь святое дерево).— Это слово меня изумило. Как? В этой мертвой пустыне дерево? И уж конечно, коли оно существует, так должно быть святое. За толпою любопытных и я пустил своего Воронка. Действительно, верстах в двух от дороги, в ложбине, зеленело тополевое старое дерево. Я застал уже вокруг него порядочную [толпу], с удивлением и даже (так мне казалося) с благоговением смотревшую на зеленую гостью пустыни. Вокруг дерева и на ветках его навешаны набожными киргизами кусочки разноцветных материй, ленточки, пасма крашеных лошадиных волос, и самая богатая жертва — это шкура дикой кошки, крепко привязанная к ветке. Глядя на всё это, я почувствовал уважение к дикарям за их невинные жертвоприношения. Я последний уехал от дерева и долго еще оглядывался, как бы не веря виданному мною чуду. Я оглянулся еще раз и остановил коня, чтобы в последний раз полюбоваться на обоготворенного зеленого великана пустыни. Подул легонький ветерок, и великан приветливо кивнул мне своей кудрявой головою, а я, в забытьи, как бы живому существу, проговорил „прощай“ и тихо поехал за скрывавшимся в пыли транспортом.

Мы остановились на речке Карабутаке, вблизи возвышавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка, и как с нами следовал священник, то

на другой день был пет молебен и освящено место для форта. Меня, в числе других, пригласил строитель форта разделить его походный обед в кибитке, и здесь-то я познакомился с ним, с единственным человеком во всем безлюдном Оренбургском крае. После долгой, самой задушевной беседы мы с ним расстались уже ночью. На дорогу подарил он мне бутылку астрогону и пару лимонов, драгоценный дар в такой пустыне, каковы Каракумы, где я и оценил эту драгоценность по достоинству.

От Карабутака до Иргиза перешли мы еще две небольшие речки — Ямин-Кайроклы и Якши-Кайроклы. Физиономия степи одна и та же, безотрадная, с тою только разницею, что кой-где на плоских возвышенностях чернеют, как маяки, киргизские, из камней или просто из камыша и глины сложенные, „мазарки“, как их называют уральские козаки, да еще замечательно, что все это пространство усыпано кварцем. Отчего никому в голову не придет на берегах этих речек поискать золота? Может быть, и в киргизской степи возник бы новый Санто-Франциско. Почем знать?

Пройдя усеянное кварцем пространство, мы перешли вброд реку Иргиз и пошли по левому плоскому ее берегу. Вдали, на самом горизонте, синела гора, увенчанная могилами батырей и киргизских аулья, называемая мана аулья, т. е. здесь святой. Оставив гору в правой руке, мы остановились на берегу Иргиза вблизи могилы батыря Дустана. Этот грубо из глины слепленный памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков.

Мы остановились на том самом месте, где вчера на предшествовавший нам транспорт напала шайка хивинцев и несколько человек захватила с собою, а несколько оставила убитыми, и здесь я в первый раз видел обезглавленные и обезображенные трупы, валяющиеся в степи как какая-нибудь падаль. Начальник транспорта приказал зарыть их, а священник отпел панихиду по убиенным. Еще переход — и мы в уральском укреплении.

Никогда не забуду того грустного впечатления, какое произвел на меня вид этого укрепления.

Верст за пятнадцать мы увидели на возвышенности кучку чего-то неопределенного, и на спрос наш у вожака, что это такое, он нам ответил: — Иргиз-кала.

Мы подошли на такое расстояние, что можно было ясно различать предметы. Представьте себе на сером фоне кучку серых мазанок с камышевыми кровлями, обнесенную земляным валом. Это было первое мною виденное степное укрепление, поразившее меня так неприятно своею грустною наружностию. И действительно, оно издали больше похоже на загоны или кошары, чем на жилище людей.

Пройдя 4-ое укрепление, мы два раза останавливались на озерах, а третий ночлег и дневку провели на речке Амаловлы; за этой гнилой речкой начинаются страшные Кара-Кумы (чёрные пески). День был тихий и жаркий. Целый день у нас только и разговору было, что про Каракумы. Бывалые в Каракумах рассказывали ужасы, а мы, разумеется, как небывалые, слушали и ужасались.

Задолго до рассвета начали вьючить плачущих верблюдов и мазать телеги. Начальник транспорта [торопил], чтобы как можно раньше сняться и до жаров пройти переход. Но представьте наше удивление: когда мы вошли в песчаные бугры, солнышко уже было довольно высоко, а ожидаемого жару и знаку не было, и чем выше солнце подымалось, нордовый ветер свистел и делалось холоднее, так что к полдню мы принуждены были вооружиться шинелями.

Трое суток мы не снимали шинелей, и над рассказчиками про ужасы Каракумов начали было уже подтрунивать, как вдруг ветер начал быстро стихать и к полдню совершенно стих. До колодцев оставалось еще верст десять, и эти десять верст показались мне десятью десять. Жара была нестерпимая. Никогда в жизни я не чувствовал такой страшной

жажды, и никогда в жизни я не пил такой гнусной воды, как сегодня. Отряд, посылаемый вперед для расчистки колодцев, почему-то не нашел их, и мы пришли на гнилую солено-горько-кислую воду, а вдобавок ее в рот нельзя было взять не процедивши: она пенилась вшами и микроскопическими пьявками. Тут-то я вспомнил подарок моего карабутацкого друга, и, благодаря его догадливости, я с помощию лимона выпил стакан чаю. Ничем так быстро не утолишь жажды, как горячим чаем вприкуску. Тот только почувствует всю цену сему китайскому продукту, кому пришлося хоть раз пройти эту киргизскую Сахару.

Транспорт снялся часа за два до рассвета. Ночью, по-моему, самое лучшее проходить Каракумы. Ночью не замечаешь однообразия песчаных бугров и не нуждаешься в отдаленном горизонте. Но лошади и верблюды иначе об этом думают: они днем — и под тяжестию, и на свободе — должны сражаться со своим злейшим врагом — оводом, а ночью враг умолкает, и они наслаждаются миром.

С восходом солнца открылася перед нами огромная бледнорозовая равнина. Это — высохшее озеро, дно которого покрылося тонким слоем белой, как рафинад, соли. Такие равнины и прежде встречалися в Каракумах между песчаными буграми, но не так обширны, как эта, и не были освещены восходящим солнцем. Я долго не мог отвести глаз от этой гигантской белой скатерти, слёгка подернутой розовою тенью.

Один из козаков заметил, что я пристально смотрю на белую равнину, и сказал: — Не смотрите, ваше благородие,— ослепнете! — Действительно, я почувствовал легонькое дрожание света и, зажмуривши глаза, пустился догонять вожака, далеко выехавшего вперед. Так я перебежал всю ослепляющую равнину. На противоположной стороне с высокого бугра я любовался невиданною мною картиной, будучи сам атомом этой громадной картины: через всю белую равнину черной полосою растянулся наш транспорт,

т. е. половина его, а другая половина, как хвост черной змеи, извивалася, переваливаясь через песчаные бугры. Чудная, страшная картина! Блестящий белый фон картины опять начал действовать на мое зрение, и я скрылся в песчаных буграх.

Ввечеру многие явились ко мне за медицинским пособием. Они ничего, кроме серого тумана, не видели, на глазах не было никакого знака их слепоты, и я им на другой день закрыл глаза волосяными черными сетками, тем дело и кончилось.

Бугры начали сглаживаться, начали показываться довольно широкие равнины. Вправо от дороги мы уже третий день видим синюю гору, и она, кажется, как будто от нас уходит.

По мере того, как сглаживались песчаные бугры, уже становилась широкая белая лента лошадиных и верблюжьих остовов, протянутая через Каракумы.

Еще переход, и мы увидели на горизонте, к югу, едва заметную синюю горизонтальную линию. То было Аральское море. Унылый транспорт мгновенно оживился, как бы почувствовал свежесть в воздухе, отрадное дуновение моря.

На другой день мы уже купались в Сирычеганике (залив Аральского моря). Еще один день следовали мы по берегам гнилых соленых озер того же залива и вышли опять на равнину, покрытую кустарниками саксаула. Этот и следующий переход, до озера Камышлы-баша (залив Сыр-Дарьи), мы проходили ночью, потому что не было возможности пройти днем: жару было в тени 40°, а в раскаленном песке в продолжение 5 минут яйцо пеклося всмятку. Последний переход мы прошли ночью. С восходом солнца мы близко уже подошли к раимскому укреплению. Вид со степи на укрепление грустнее еще, нежели на Калу-иргиз.

На ровной горизонтальной линии едва-едва возвышается над валом длинная, камышом крытая казарма,— вот и весь [пейзаж]. Навстречу нам вышел почти весь гарнизон. Бледные, безотрадные, точно у арестантов лица. Мне сделалось страшно.

— Не свирепствует ли у вас какая-нибудь эпидемия? — спросил я у одного офицера.

— Слава богу, благополучно, — отвечал он мне.

Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и кое-где из темной зелени выглядывает серебристая Сыр-Дарья.

Итак, я на Раиме.

Между двумя широкими озерами высовывается высокий мыс, на котором построено укрепление, называемое Раим, от абы, воздвигнутой здесь за сто лет над прахом батыря Раима, остатки которой вошли в черту укрепления.

Подробнейшее описание моего теперешнего местопребывания опишу вам в следующем листке, а теперь молюся богу о вашем здравии, мои милые, мои незабвенные хуторяне, и прошу вас, не забывайте меня в сей безотрадной пустыне.

P. S. Степан Мартынович пускай подробно опишет мне, какова его школа и пасика, а Карлу Осиповичу просто кланяюсь, ему, я знаю, писать некогда".

Года два спустя по получении этого письма на хуторе я, по обязанностям службы, должен был прожить несколько месяцев в Золотоноше и в Переяславе. Во время пребывания моего в Переяславе я почти ежедневно посещал хуторян, как старых и близких моих друзей, и, разумеется, всегда участвовал почти в публичном чтении „Раимской Мухи", я говорю „почти публичном чтении" потому, что Никифор Федорович читал ее всем, кто посещал его хутор. Следя в продолжение зимы за „Мухой", я заметил в ней какое-то унылое, монотонное жужжание, чего, разумеется, хуторяне и не подозревали. Первые листки свои из степи он еще кое-как разнообразил, например, описывая быт кочующих полунагих киргизов, сравнивая их с библейскими евреями, а аксакалов их — с патриархом Авраамом. Иногда касается он слегка обитателей самого укрепления, сравнивая их с разнохарактерной толпой, выброшенной на необитаемый остров, а помеще-

ния юмористически сравнивает с хижиной, которая не защищает ни от солнца, ни от дождя, ни от холода и рождает в несметном количестве блох и клопов; а от скорпионов и тарантулов расстилают на земляном полу хижины войлок, которого они, по сказаниям киргизов, страшно боятся, потому что от войлока пахнет бараном, а баран, как известно, лакомится ими, как мы (не в осуд будь сказано) устрицами.

В одном из листков своих описывает он (тоже в юмористическом тоне) земляка своего, находившегося при описанной экспедиции на Аральском море и возвратившегося в укрепление с широченной бородою, где уральские козаки (не исключая и офицеров) приняли его за своего расстригу-попа, за веру пострадавшего (земляк-то, видите, был из числа несчастных),— и он, знай, благословляет их большим крестом да собирает посильное подаяние натурою, т. е. спиртом.

И эта комедия продолжалась до тех пор, пока ротный командир не приказал ему сбрить бороду. С бородой, разумеется, и поклонения, и приношения прекратились. Впрочем, он пишет, что это человек неглупый, с которым он сошелся весьма близко, так близко, что если бы не словоохотный и образованный земляк, то он мог бы назваться самым неистовым камедулом; и что этот счастливый земляк (счастливым он его называет потому, что, несмотря на его гнусное положение, настоящее и будущее, — ему уже за пятьдесят лет,— он не слышал от него в самой откровенной беседе ни малейшего ропота на судьбу свою, почему он его шутя и называет кантонистом, т. е. повитым, вместо пеленки, солдатской шинелью), и что (пишет он) этот счастливый земляк сообщил ему самые дельные сведения о берегах и островах Аральского моря,— такие сведения (в геологическом отношении), за сообщение которых сам Мурчисон сказал бы спасибо.

В последнем конверте был получен и печатный приказ по Отдельному Оренбургскому корпусу, где

напечатано, что Зосим Сокирин из унтер-офицеров в прапорщики производится за отличие, чему он немало и радуется, и удивляется, и сам себя спрашивает, чем он мог отличиться? А самое последнее письмо, в котором он только и писал, что в укреплении свирепствует скорбут, а лошади от сибирской язвы десятками падают, — так это-то письмо читал уже почтеннейший Степан Мартынович на смертном одре лежащему Никифору Федоровичу. На другой день совершено было над ним елеосвящение, а на третий, в 3 часа пополуночи, он отослал свою честную душу на лоно Авраамле.

В духовном своем завещании он назначил душеприказчиками меня и Степана Мартыновича, а Карл Осипович уехал этою же зимою на побывку в свой Дорпа́т, да там и остался. За Прасковьей Тарасовной в своем завещании он утверждает власть ма́тери только в отношении Савватия, а о Зосиме ни слова не упоминает. Еще завещает: чтобы отпевание совершено было в церкви Покрова и чтобы исторический образ покрова пресвятыя богородицы на время отпевания поставлен был в головах около его домовыны; и что приносит он на церковь Покрова 2 пуда желтого воску и пудовый, ярого воску, ставник перед образ покрова; и чтобы бренные останки его были преданы земле непременно в пасике, и чтоб над его могилою была посажена липа в головах, а черешня в ногах; и чтоб каменного креста в Трахтемирове не заказывали, потому, говорит, что камень только лишняя тяжесть на гробе грешника, а чтобы повесили на липе и черешне образа святых Зосимы и Савватия; и чтобы ежегодно в день покрова служить панихиду по его душе грешной и по душе праведного И. П. Котляревского, и чтобы раз в год кормить сытно нищую братию и кто пожелает — сто душ. Гусли же и летопись Конисского положить в шкаф с книгами, замкнуть и ключ по почте переслать Савватию. — А еще, — прибавляет он, — кто дерзнет (кроме моего Савватия) наложить святотатственную руку на сие неоцененное мое сокро-

вище — да будет проклят! Марине завещал по смерть ее выдавать ежегодно 10 рублей серебром, а Степану Мартыновичу 25 и 25 ульев пчел единовременно.

Похоронивши буквально по завещанию своего наилучшего друга, я вскоре уехал в Киев, на место службы, поручив Степану Мартыновичу писать ко мне ежемесячно подробно обо всем, что делается на хуторе.

Каждое первое число аккуратно я получал письмо от почтеннейшего моего товарища. Письма его, разумеется, не сверкали ни ослепительной молнией ума и воображения, ни ученостью, ни новым взглядом на вещи, ни новыми идеями, ни даже блестящим слогом, как, например, поражают „Письма из-за границы“ законодателя русского слова или задушевного друга и помощника его „Письма из Финляндии“. Нет, в письмах моего товарища ничего этого не просвечивало. Зато в его нехитрых посланиях, как алмаз в короне добродетели, горела его непорочная душа.

Прочитывая его письма, я как бы сам присутствовал на хуторе, малейшие подробности я видел; видел, например, как неосторожную Марину, пришедшую на досуге в пасику, пчела за нос укусила, и она была такая смешная, что даже Прасковья Тарасовна улыбнулась.

Школу свою распустивши на пасху, он уже не собирал ее, чтобы иметь больше времени для наблюдения за пасиками и вообще по хозяйству на хуторе, потому что Прасковья Тарасовна совершенно ото всего отказалась и собиралась уже принять чин инокини, только не во Флоровском монастыре в Киеве, а в чигиринской богоспасаемой пустыни. Уже было совсем собралась, и паспорт взяла, и котомку сшила, только вдруг, как с неба упал, явился на хуторе Зосим Никифорыч. Явился, и всё пошло вверх дном. Сначала он скрывал свои гнусные страстишки, потом слегка начал обнаруживаться, а потом завел в доме кабак и игорное сборище, отрешил от всякого вмешательства в дела по хозяйству смирен-

ного моего товарища и, наконец, выгнал из дому почтеннейшую кроткую старушку Прасковью Тарасовну. Она, бедная, приютилася в школе у сердобольного Степана Мартыновича и более трех лет слушала неистовые песни пьяных картежников. Я хотел вступиться за права законного наследника, но она меня умоляла не трогать Зосю,— авось либо само всё придет к лучшему концу.

Прошел еще и еще год, а лучшего конца не было. Наконец, я решился написать Савватию письмо, в котором советовал ему, если он хочет успокоить последние дни своей матери и сохранить хоть малую часть своего наследия, то взял бы, если можно, отставку, а нельзя, то шестимесячный отпуск и — чем скорее, тем лучше — приезжал на хутор.

Савватий так и сделал,—взял отставку, потому что срок службы, назначенный за воспитание правительством, был кончен и, следовательно, он мог располагать собою по произволу. По приезде своем на хутор он тоже должен был приютиться в школе, потому что в дом срамно было войти. Сначала обратился он к брату с лаской, но тот ввернул ему такое словцо, какого не найдете в словаре любого городничего. Тогда обратился он к властям, и в силу духовного завещания был введен во владение хутором и принадлежащими ему добрами, а Зосим был изгнан с посрамлением.

Возмутилось твое безмятежное кроткое сердце, когда ты подошел с ключом в руках к заветному шкафу, стерегущему святыню, в нем хранимую, проклятием умирающего человека. Возмутилось твое благородное сердце, когда ты прикоснулся к замку, уже сломанному. Возмутилось твое бедное сердце, когда ты, растворив шкаф, увидел заветные гусли, на которых бряцал вдохновенный, как Давид, Григорий Гречка и маститый благородный отец твой возмущал иногда тихими аккордами невозмутимое сердце своей подруги и безмятежное благородное сердце своего единого друга, Степана Мартыновича. Ты увидел их разбитыми. Струны живые изорваны,

а прекрасное изображение пляшущих пастушек запятнано горячей табачной золою; псалтырь же его священная, Геродот его, единая его радость — летопись Конисского наполовину изорвана для закуривания трубок.

Увидя все это, Савватий остолбенел. Слезы градом покатились по его мужественным бледным щекам, и он тихо, едва внятно проговорил: — Бог вам судия! Вандалы! Варвары!

На третий день после этой сцены получил я разбитые гусли с письмом в Киеве и тотчас же отдал их искусному гардировщику; а когда они были готовы и струны натянуты, я уложил их в ящик, взял отпуск на 28 дней и уехал в Переяслав, т. е. на хутор. Я застал всех еще в школе, но дом был уже вычищен, выбелен и к завтрему приглашено уже духовенство, т. е. соборный протоиерей с причетом и покровский отец Яков, тоже с причетом, чтобы освятить обновленное жилище. Раскупорили гусли, и откуда взялась радость и веселие? Савватий, легонько касаяся струн, запел своим прекрасным тенором свою любимую песню:

Чи я така уродилась,
Чи без долі охрестилась,
Чи такії куми брали,
Талан - долю одібрали.

Степан Мартынович ему тихонько вторил, а Прасковья Тарасовна, сидя в уголку, навзрыд плакала.

На завтрашний день, часу около десятого, явилося духовенство с крестами и хоругвями. Освятивши дом, совершен был крестный ход вокруг хутора и пасики, с пением псалмов и стихирей. Сам протоиерей, почерпнув воды из Альты и осеня ее знамением животворящего креста, кропил сначала всех предстоящих, а потом каждого по одиночке, и по совершении священнодействия, разоблачась, благословил ястие и питие, сел за трапезу, а за ним и прочий чин духовный и светский.

Прасковья Тарасовна просто помолодела. Она

вспомнила бывалые свои религиозные пиры, и, как во время оно, обходила стол кругом с бутылкой и рюмкой, умаливая каждого гостя хоть покуштувать. Гости, разумеется, по обыкновению отнекивались. Один только либерал, стихарный соборный пономарь, не отнекивался.

Когда же трапеза приблизилась к концу и ничего уже не подавалось съедобного, оприч сливянки, тогда духовенство, не выходя из-за стола, встало и возгласило стройным хором:

Спаси уповающих на тя,
Мати незаходимого солнца.

По окончании гимна и послеобеденной благодарственной молитвы духовенство благодарило хозяев и снова село на места, уже не трапезы ради, а ради назидательной беседы. Низший чин духовный, как-то: дьячки, пономари и клир, вышли из светлицы и, погулявши малый час по саду, пошли на леваду, а там стоял ожеред только вчера сложенного сена; вот они, с общего согласия, расположилися в тени и почили сном праведных все до единого.

В светлице же беседа длилася почти что до вечерен. Было говорено много о предметах, касающихся общежития, и также о предметах, касающихся философии и богословия. Особенно отец Никанор, молодой священник, богослов, говорил много и всё из писания, и всё по-римски, гречески и еврейски, всех писателей христианской древности так и валял наизусть. Старцы, дивяся его великому гениусу, только брадами белыми помавали и значительно посматривали друг на друга, как бы говоря: вот так голова! А Прасковья Тарасовна, слушая витию, просто плакала. Степан Мартынович, может быть, больше всего собора разумел говорящего, но не обнаруживал этого ни единым движением. Когда же Прасковья Тарасовна заплакала, то он начал утешать ее, говоря, что отец Никанор читает совсем не жалобное, а более сатирическое.

Отец же протоиерей, чтобы положить конец сей

слезоточивой трагедии, просил подать себе гусли. Гусли поданы, и он встал, расправил руками белоснежную свою бороду, завернул широкие рукава своей фиолетовой рясы, возложил персты своя на струны и тихим старческим голосом запел:

О всепетая мати!

К нему присоединился собор духовенства, Савватий и даже сам Степан Мартынович. Сверх ожидания пение было тихое и прекрасное. После этого гимна были петы еще разные канты духовного содержания. Дошло, наконец, и до песен мирского, житейского содержания. Уже начали было хором:

Зажурилась попадя
Своєю бідою...

Но отец протоиерей, видя близкий соблазн и недремлющие силы врага человеческого, повелел садиться в брички и рушать во-свояси, что, к немалому огорчению Прасковьи Тарасовны, и было исполнено.

Причет же церковный вышел из-под сена уже в сумерки и, не заходя на хутор, перелез через тын и, выйдя на шлях, ведущий к городу, с общего согласия запел хором:

Жито мати, жито мати,
Жито не полова...

Вечер был тихий, и Степан Мартынович, подойдя к Альте, остановился и долго слушал стихающую вдали песню и никак не мог догадаться, кто бы это мог петь так сладкогласно?

Исполнив священный долг душеприказчика, возложенный на меня покойным другом моим, Никифором Федоровичем Сокирою, я на другой день после описанного мною праздника уехал в Киев. Савватий Сокира мне чрезвычайно понравился своими правилами,— образом взгляда на вещи вообще и на человека в особенности, своим юношеским девственным взглядом на всё прекрасное в природе.

Когда он говорил о закате солнца или о восходе луны над сонным озером или рекою, то я, слушая его, забывал, что он медик, и радовался, что физические науки не погасили в его великосильной душе священной искры божественной поэзии.

Прощаясь с ним, я не мог ему (по праву старшинства) ничего лучше посоветовать, как следовать влечению собственных чувств и убеждений, и только завещал ему писать ко мне как можно чаще.

По приезде в Киев выгрузили из моей нетычанки и трехведерную кадушку белого, как сахар, липцу.

— Это,—говорит мой Ярема,—подарок Степана Мартыновича. Они сами поставили и крепко наказали, чтобы не говорить вам ни слова.

— Ну, спасибо ему, что полакомил нас с тобою, стариков. Нужно будет и ему что-нибудь послать, а? Как ты думаешь, Яремо?

— Разумеется, нужно, мы с вами не скотина какая-нибудь бесчувственная.

— Да что же ему послать-то такое? Право, не придумаю. Заказать разве Сенчилову образ для его пасики? Так образ у него есть хороший. Да! Он как-то говорил, что ему хотелось бы прочитать Ефрема Сирина. Прекрасно! Возьми, Яремо, эти деньги и эту записку и ступай в лавру, спроси там отца типографа, отдай ему всё это, а от него возьми большую книгу и принеси домой.

Через несколько дней Степан Мартынович сидел на своей пасике и пытался [найти] у Ефрема Сирина, отчего вышла такая противоположность между родными братьями, а прочитавши от доски до доски, он крепко призадумался. После раздумья написал письмо отцу типографу, прося его прислать ему Иустина Философа, на что и прилагает 5 рублей серебром. Но как Иустина Философа не нашлось в киево-печерской книжной лавке, то Степан Мартынович и остался при своем убеждении, что такие чудеса совершаются токмо единою всемогущею волею божиею, и что он не подозревает даже ниже малейшего влияния человека на человека.

Вместо Иустина Философа отец типограф прислал ему акафист пресвятой богородицы Одигитрии и Киевский Патерик, из которого он почерпнул прекрасные, назидательные идеи и решился по гроб свой подражать святому, прекрасному, юному отроку праведного князя Бориса.

В продолжение года получил я всего два письма от Савватия Сокиры, и те без всякого внутреннего содержания. Письма эти напоминали мне школьника, пишущего письмо к своим родителям по диктовке своего наставника. Впрочем, он сам чувствовал пустоту своих писем и извинялся тем, что материалов еще не накопилось для порядочного письма, говоря, что самая скучная и монотонная история — [история] самого счастливого народа.

Зато аккуратно, каждый месяц, снабжал меня длинными посланиями почтеннейший Степан Мартынович. Все происшествия, не имеющие никакого отношения к моим хуторянам, он описывал с усыпляющими подробностями, например: „Накануне воздвижения честного и животворящего креста господня у приятеля моего мещанина Карпа Зозули кобыла ожеребилась буланым жеребчиком, а у соседа нашего той же ночи вола украдено". Что же касалося собственно хуторян, тут плодовитости его не было пределов. Словом, он воображал себя душеприказчиком, а меня своим товарищем.

В одном из своих нелаконических писем описывает он появление Зосима на хуторе в самом жалком виде:

„Он постучался в двери моей школы, когда я уже совершил молитвы на сон грядущий и читал уже третий кондак акафиста пресвятой богородицы Одигитрии. Страх и трепет прийде на мя.

— Кто там? — воскликнул я во гневе.

— Отвори,— говорит,— христа ради, Степан Мартынович!

Я чувствую, что называет меня по имени, взял каганец, пошел и отворил двери. Свет помрачился

в очах моих, когда увидел я едва рубищем прикрытого входящего в школу блудного сына Зосю.

— Что,—говорит,—не узнал меня, дядюшка? А, каков я молодец?

— Очам своим не верю!—говорю я.

— Ну, так ощупай хорошенько и рукам поверь.

— Не верю!—проговорил я снова.

— Я,—говорит он,—твой бывший ученик, а теперь заслуженный вор, пьяница и привилегированный картежник—Зосим Сокирин. Ну, теперь знаешь?

— Знаю,—говорю я.

— А коли знаешь, так и толковать больше нечего: посылай за сивупле! Разумеешь? За водкой. Да поищи, нет ли где заплесневелого кныша от прошлогодней хавтуры?

— Горилки,—говорю,—нет, и послать некого.

— Давай денег, я сам пойду.

Я дал ему на кварту денег, и он поспешно удалился. Достал я из коморы меду, хлеба, поставил на стол и хотел было продолжать акафист, но дух мой был возмущен, и помышления мои омрачены были внезапным видением. Долго ходил я по школе, как в лесу неисходимом, а Зося не являлся. Свеча перед образом догорела, я другую засветил, и та уже наполовине, а Зоси нет как нет.—Господи,—думаю себе,—живый на небесех, сердцеведче наш! Не навождение ли сатанинское было надо мною?—И, прочитавши „Да воскреснет бог“, я успокоился духом, прочитал снова акафист пресвятой богоматери Одигитрии и осенил крестным знаменем двери, окна и к*о́*мын, прочитал трижды „Да воскреснет бог“ и отошел ко сну.

На другую ночь повторилося то же самое видение, на третью то же, и я все ему даю на кварту горилки, и оно исчезает. Я сообщил о сем видении Прасковье Тарасовне, и она, бедная, изъявила желание провести ночь в моей школе, чтоб увидеть сие видение.

Ввечеру мы с Прасковьей Тарасовной вышли из хутора, как будто на проходку. Савватий Никифо-

ровичь были в городе по долгу службы. Когда смерклося, мы пришли в школу, я засветил свечу и, достав Патерик, начал читать, утешения ради, житие преподобного мученика Моисея Угрина, за целомудрие пострадавшего от некия блудныя болярыни. И дочитал уже, как он, прекрасный юноша, в числе прочих плененных, по разделу достался на долю вдовы воеводыни, лицем зело красныя, а сердцем аспиду подобныя. Первая услышала стук в двери Прасковья Тарасовна, а потом уже я. Закрывши книгу, я пошел отворить дверь, и она вышла за мною, чтобы спрятаться в сенях и не быть видимою. Но когда я отворил дверь, с каганцом в руке, и она увидела лицо, омраченное развратом, своего Зоси, то вскрикнула и повалилася на землю, лишенная всякого чувствия. Он же рыкнул на меня, аки лев свирепый:

— А, подлец, христопродавец, ты меня продать хотел! Говори, кто здесь, а не то тут тебе и аминь!

И так сдавил мне горло, что я едва выговорил:

— Твоя маты.

— А, когда она только, то это хорошо. Мне давно с ней переговорить хотелось. Где она?

Я посветил ему каганцом и указал на распростертую на земле Прасковью Тарасовну. Он, взглянув на нее, проговорил:

— Ничего, пусть отдохнет, а мы с вами побеседуем. А что, исполнил ты мое приказание? Сегодня последний срок: деньги, или молися богу,— говорит.

В это самое мгновение Прасковья Тарасовна застонала. Я вышел в сени, взял ее, бедную, на руки и, как дитя малое, положил на мое суровое ложе. Немного погодя она пришла в себя и проговорила:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

— Я здесь, маменька, что прикажете?

Она взглянула на него и залилася горькими слезами. Он долго молча смотрел на ее горькие слезы и, наконец, проговорил:

— Вот что, маменька! Ни обмороки, ни слезы, ни

молитвы, ни даже ваши проклятия не в силах поколебать меня: это всё вздор, чепуха! Одно, скажу вам, что меня может обратить на путь истинный,— это деньги, и только одни деньги. Дайте денег, и чем больше, тем лучше. Да и в самом деле, за что же я лишен своего наследства? Верно, по протекции вашей! Ну, теперь и раскошеливайся!

— Зосю мой! сыну мой единый! — проговорила она снова.

— Нечего тут „единый"! Я тебе такой же сын, как ты мне мать. Ну! поворачивайся, Степан Мартынович! Она тебе после отдаст!

Достал я из бодни всё, что у меня было, и передал ему в руки. Он взял деньги, пересчитал их и сказал:

— Больше нет?

— Нету,— говорю,— все до единого пенязя.

— Смотри, врать грешно, ты сам меня учил. Ну, на первый раз достаточно. Теперь марш на Пидварки! Теперь я им покажу, кто я таков! До свидания, маменька! Потрудитесь заплатить долг.

И с этим словом он вышел из школы. Прасковья Тарасовна еще раз проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый! — и упала на постель аки мертвая.

Оставя ее в беспамятстве, я пошел на хутор дать знать Савватию Никифоровичу о случившемся и просить помощи, но он, возвратясь из города, лег спать, того не зная, что матери дома нету; он думал, что она тоже спит. Когда я возвратился в школу, Прасковья Тарасовна уже сидела на кровати и тяжко плакала. Я не рассудил утешать ее в горести, а, засветивши свечу перед образом, начал читать акафист божией матери Одигитрии. Она тоже встала на ноги и, горько плача, молилася. По акафисте прочел я еще канон той же божией матери Одигитрии, а потом молитвы на сон грядущий и с коленопреклонением прочел молитву „Господи, не лиши меня небесных твоих благ". По отпуске я молча вышел из школы, и когда возвратился, то она уже спала

сном праведницы на моем старческом одре. Я тихо раскрыл Ефрема Сирина — и, охраняя сон праведницы, сидел я за книгой до самого утра.

Поутру пошли мы на хутор, и я рассказал Савватию Никифоровичу всё случившееся вночи. И на рассказ мой он только заплакал.

Ввечеру того же дня получил он предписание от городничего произвести медицинское освидетельствование, по долгу уездного врача, над обезображенным телом, найденным в пустке покрытки N. на Пидварках.

Прочитавши сие предписание, он молча посмотрел на Прасковью Тарасовну, а та залилась слезами и проговорила:

— Зосю мой! сыну мой единый!"

Между прочими мелкими событиями на хуторе сообщил мне почтенный мой сотоварищ и это довольно крупное событие, но сам Савватий не писал мне об этом ни слова, ни даже о том, что он занимает теперь место уездного врача в г. Переяславе.

Далеко, очень далеко от моей милой, моей прекрасной, моей бедной родины я люблю иногда, глядя на широкую безлюдную степь, перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть, например, в Трахтемирове, под тенью развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму, а на темном фоне этой широкой панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божии, и один из них ярче всех сверкает своею золотою головою; это собор, воздвигнутый Мазепою. И много, много разных событий воскресает в памяти моей, воображая себе эту волшебную панораму.

Но чаще всего я лелею мое старческое воображение картинами золотоглавого, садами повитого и тополями увенчанного Киева. И после светлого, непорочного восторга, навеянного созерцанием красоты твоей неувядающей, упадет на мое осиротевшее старое сердце тоска, и я переношуся в века давно-

минувшие и вижу его, седовласого, маститого, кроткого старца с писаною большою книгою в руках, проповедующего изумленным дикарям своим и кровожадным и корыстолюбивым поклонникам Одина. Как ты прекрасен был в этой ризе кротости и любомудрия, святый мой и незабвенный старче!

И мы уразумели твои кроткие глаголы, и тебя, как старого и ненужного учителя, не выгнали и не забыли, а одели тебя, как Горыню богатыря, в броню крепкую. Сначала осуровили твое кроткое сердце усобицами, кровосмешениями и братоубийствами, сделали из тебя настоящего варяга и потом уже надели броню и поставили сторожить порабощенное племя и пришельцами поруганную, самим богом завещанную тебе святыню.

Кто, посещая Киево-печерскую лавру, не отдыхал на типографском крыльце, про того можно сказать, что был в Киеве и не видал киевской колокольни.

Мне кажется, нигде никакая внешность не дополнит так сердечной молитвы, как вид с типографского крыльца.

Я долго, а может быть, и никогда не забуду этого знаменитого крыльца.

Однажды я, давно когда-то, отслушав раннюю обедню в лавре, вышел по обыкновению на типографское крыльцо. Утро было тихое, ясное, а перед глазами вся Черниговская губерния и часть Полтавской. Я хотя был тогда и не меланхолик, но перед такой величественной картиной невольно предался меланхолии. И только было начал сравнивать линии и тоны пейзажа с могущественными аккордами Гайдна, как услышал тихо произнесенное слово: „Мамо!"

— Мне, мамо, всегда кажется, что я на этом крыльце как бы слушаю продолжение обедни.

Я оглянулся невольно.

Грешно прерывать нескромным взглядом такое прекрасное настроение человеческой души, но я согрешил, потому что говор этот поразил меня паче всякой музыки. Говорившая была молодая девушка, стройная, со вкусом и скромно одетая, но далеко

не красавица. А кого она называла „мамо“, это была женщина высокого роста, сухая, смуглая и когда-то блестящая красавица. Она была в черном шерстяном капоте или длинной блузе, опоясана кожаным поясом с серебряною пряжкою. Голова накрыта была, вместо обыкновенной женской шляпы, белым широким, без всяких украшений, чепцом. Я, не знаю, почему-то не предложил им скамейку, а они, тоже не знаю почему, с минуту молча посмотрели на пейзаж и ушли. Я тоже встал и ушел за ними.

Они прошли лаврский двор, тихо разговаривая между собою, и вышли в святые ворота Николы Святоши, и я за ними. Они вышли из крепости, и я за ними. Они пошли по направлению к „Зеленому Трактиру“, и я за ними. Они вошли в ворота трактира, и я тут только опомнился и спросил у самого себя, что я делаю? И, не решивши вопроса, я вошел в трактир и стал разбирать иероглифы, выведенные мелом на черной доске. По долгом разбирании таинственных знаков разрешил, наконец, тайну, что такой-то № занят такой-то с воспитанницею, и хоть я и теперь даже не могу похвалиться знанием тактики в деле волокитства, а тогда и подавно, разобравши хитрое изображение, я, и сам не знаю как, очутился в общей столовой и спросил себе тоже, не знаю, чего-то, а с слугою заговорил тоже о чем-то, случившемся когда-то. А после всего этого я зашел к здесь же, на Московской улице, квартировавшему моему знакомому — художнику Ш., недавно приехавшему из Петербурга. Поговорил с ним об искусствах вообще, о живописи в особенности и, думая пойти в лавру, я пошел в сад. (Здесь, видимо, предопределения дело).

Хожу только я себе по большой аллее один-одинешенек (день был будний) и присяду иногда, чтобы полюбоваться старым Киевом, освещенным заходящим солнцем, только смотрю, из-за липы, из боковой аллеи, выходят мои утренние незнакомки. Тут я встал, вежливо раскланялся и предложил скамейку — отдохнуть немного, извиняясь, что поутру этого не сде-

лал на типографском крыльце. Они молча сели, и сестра милосердия (как я тогда думал) спросила меня:

— Вы, вероятно, живописец?

Я отвечал: — да.

— И рисуете виды Киева?

Я отвечал:— да.

После длинной паузы она спросила:

— Вы давно уже в Киеве?

Я отвечал:— давно!

— Нарисуйте для меня этот самый вид, которым мы теперь любуемся, и пришлите в „Зеленый Трактир" в номер N. N.

Рисунок акварельный был у меня давно начат; я его тщательно окончил и на первом плане между липами нарисовал моих незнакомок, и себя тоже нарисовал, сидящего на скамейке в поэтическом положении, в соломенном бриле.

На другой день поутру я сидел с оконченным рисунком на типографском крыльце и дожидался моих незнакомок, как будто они мне велели самому принести рисунок не в „Зеленый Трактир", а на типографское крыльцо. Не успел я помечтать хорошенько, как незнакомки мои явились.

— А! вы уже здесь? — почти воскликнула старшая.

— Здесь,— ответил я.

— Давно?

— Давно,— ответил я.

— Да и портфель с вами, вы верно рисовали?

— Нет, не рисовал! — и вынул из портфеля рисунок, заказанный ею вчера.

Она долго молча смотрела на рисунок и на меня, потом взяла мою руку, крепко пожала и сказала:

— Благодарю вас,— и будемте знакомыми, хорошими приятелями, а если можно — друзьями. А это, кажется, возможно! — прибавила она, глядя на свою молодую подругу.

— Сядемте, отдохнем немного,— сказала она, и мы все трое сели.

После непродолжительного молчания она обратилась ко мне и сказала:

— А знаете ли, Глафира у меня выиграла сегодня пари. Мы с нею вчера спорили. Я уверяла ее, что вы идиот, а она доказывала противное!

— Благодарю вас,— сказал я младшей, а старшей сказал: — не стоит благодарности,— после чего мы все расхохотались и сошли с типографского крыльца.

Следующую осень прожил я у них в деревне и уже называл их своими родными сестрами, а к концу осени старшую называл уже мамою, а меньшую невестою. Я совершенно был счастлив. Весной они приехали в Киев, но, увы! меня уже там не было. Я далеко уже был весною, и о мелькнувшей радости вспоминал как о волшебном очаровательном сне.

Вот почему так любо мне вспоминать о типографском крыльце.

Много лет и зим пролетело после этого события над моею одинокою, уже побелевшею головою. Я опять в Киеве, и опять посещаю заветное крыльцо, и теперь, накануне праздника успения богородицы, после ранней обедни, вышел я на типографское крыльцо и, любуяся пейзажем, вспомнил то счастливое, давно мелькнувшее счастье и как бы слушал голос ангела, произносящего слово „мамо". Я так предался воспоминанию, что мне как бы действительно послышалось это детское милое слово, так живо, что я оглянулся. И представьте мое изумление: из коридора на крыльцо выходила Прасковья Тарасовна, а за нею, как журавль, шагал друг мой и сотоварищ Степан Мартынович, но таким щеголем, что, если бы не жиденькая белая бородка, то я подумал бы, что он просто жениться приехал в Киев. Сюртук на нем длинный из гранатового дорогого сукна, шляпа черная пуховая с широкими полями, сапоги, правда, личные, но тщательно вычищенные, а патерица просто архиерейская, с серебряным набалдашником. Франт, да и только!

После первых приветствий и лобызаний я усадил их на скамейку и спросил, давно ли они в Киеве.

— Уже третий день,— отвечал Степан Мартынович,— и привезли вам письмо от Савватия Никифо-

ровича, та не можем найти Рейтарскую улицу, она где-то на старом Киеве, а мы еще там не были. Сегодня думаем итти на акафист Варвары великомученицы, а завтра, если господь даст, приобщимся святых таин христовых здесь, в лавре, и тогда уже думали искать Рейтарскую улицу. А господь дал так, что и искать ее не нужно: вы сами нам ее покажете. Письмо бы я вам и теперь отдал, да оно у меня в шкатуле на квартире, а квартира наша здесь же, на Печерском, в доме мещанки Сиволапихи.

Я, слушая этот монолог, смотрел на Прасковью Тарасовну. Она сидела, закрывши очи, и казалась мне уснувшею страдалицей; на кротком лице ее выражалось так много сердечного горя, что я не мог смотреть на нее и обратился с новым вопросом к Степану Мартыновичу:

— Ну, что у вас хорошего на хуторе творится?

— Хвала милосердому богу, всё хорошо и всё благополучно. Скоро думаем совершить бракосочетание. Но об этом вам сам Савватий Никифорович подробно пишет.

— Куда же намерены теперь итти?

— А мы думаем, если господь благословит, поклониться святым угодникам печерским. Только теперь тесно, и мы подождем, пока благочестивые поклонники выйдут из пещер, и тогда думаем просить отца ключаря повести нас самому или же послать с нами кого из братии.

Мне был знаком отец Досифей, настоятель больничного монастыря, и я отправился к нему просить оказать нам великую услугу и просить кого следует, чтобы позволено было посетить нам пещеры не в числе многочисленных богомольцев. Просьба моя была уважена, и с нами послали в провожатые маститого старца отца Иоакима.

Поклонившись святым угодникам печерским, мы отправилися на квартиру. Взявши письмо, я оставил своих приятелей и пошел домой, и по обыкновению зашел в сад, сел на своей любимой скамейке и, раскрывши письмо, читал вот что:

„Бесценный друже отца моего и мой заступниче и покровителю!

Простите меня великодушно за мое долгое молчание, ничем не извиняющее мою ленивую натуру. И то правда, что писать письмо без содержания — то же самое, что переливать из пустого в порожнее. Правда, материалы случалися для откровенного дружеского письма, но материалы такого рода, что не подымалося перо сообщать их кому бы то ни было. Теперь же грустные тяжелые тучи скрываются за горы и на горизонте показывается блестящая Аврора, предшественница моего светлого, невозмутимого счастья. Проще сказать, я женюсь. Невеста моя живет теперь со своею матерью в школе доброго, моего будущего посаженого отца, Степана Мартыновича и дожидает вашего благословения. Приезжайте, мой благодетелю, и благословите ее, сироту, на великий путь новой улыбающейся жизни. У нее, как и у меня, отца нет, только мать осталася, и мы, с согласия матерей наших, решили, чтобы ее благословили вы, а меня — мой единственный, благородный мой друг и наставник Степан Мартынович. Приезжайте хоть только взглянуть на мою прекрасную невесту!

По обязанности уездного медика я часто теперь [уезжаю, а] хутор наш передаю во владение Степана Мартыновича и, кажется, скоро совсем его передам.

Однажды по обязанностям службы я еду проселочною дорогою; грязь была; лошадка обывательская едва передвигала ноги; смеркало, дождик накрапал, словом, перспектива была неотрадная. Возница мой, тоже не видя в будущем ничего отрадного, предложил мне подночевать.

— Да где же,— говорю я,— серед шляху, что ли?

— Крый боже, серед шляху! Нехай ляхи, татары ночують в таку непогодь серед шляху, а мы звернемо — он бачите лисок?

— Бачу,— говорю я.

— Отже в тим лиску есть хутир пани Калытыхы. От вона нас и впустыть ночувать.

— Добре,— говорю я: — звертай з шляху!

— Стрывáйте, отут буде шляшок.

Проехавши с полверсты, я увидел едва заметную дорожку, ведущую к сказанному хутору. Мы поехали по этой едва заметной дорожке и вскоре очутилися в лесу. Возница мой начал насвистывать какую-то заунывную песню, а я задумался бог знает о чем.

— Сей лис зоветься, пане, „Лапын риг“,— проговорил возница,— а за що ёго так зовуть, то бог ёго знае. Брешуть стари люды, що тут жив колысь давно розбойнык Лапа и що велыки сокровыща поховав тут у озерах. И стари люды говорять, що як высохнуть ти болота та озера, то можна буде мишкáмы золото носыть. Бог ёго знае, колы то те буде. А он и хутир.

Действительно, огонь показался между деревьями, и вскоре мы подъехали к затворенным воротам. Собаки страшным лаем нас встретили, потом раздался женский довольно грубый голос:

— Хто тут?

— Благословúть, матушка, переночувать на вашим хутори,— отвечал мой возница.

— Боже благословы, тилько сами вже одчиняйте ворота, бо мои наймиты вечеряють, им николы, а я не в сылах.

Возница мой слез с телеги, отворил ворота, втащил меня с телегою и своею лошадкою на двор, снова затворил ворота и, обращаясь к хозяйке, сказал:

— Добрывечир, матушко!

— Добрывечир, добрый чоловиче! Видкиля бог несе?

— Та от везу панка з Глемязова, та бачите, яка непогодь.

Я тоже подошел к хозяйке и сказал:

— Позвольте, если можно, переночевать у вас.

— Извольте, с большим удовольствием,— отве-

чала она мне с едва заметным малороссийским акцентом: — прошу покорно в комнату.

Я взошел на крылечко. На пороге меня встретила девушка со свечой в руке, по-крестьянски одетая, но опрятно и даже изысканно. Отступая назад в комнату, она сказала чисто по-русски: — Прошу покорно! — из чего я заключил, что это не служанка.

Войдя в комнату, мы остановились друг против друга и простояли до тех пор, пока не вошла хозяйка хутора в комнату и не сказала:

— Наташа, что же ты не просишь гостя садиться? Стоит себе со свечою, как пономарь. Рекомендую вам, это полтавская институтка! Прошу покорно, садитесь! И бог их знает, чему они их учат в том институте. Ну, я уже по хозяйству у своей и не спрашиваю, да хоть бы человека чужого умела привитáть, а то стоит себе.— Потом обратилась она к девушке, сказала ей что-то шопотом, и та вышла в другую комнату. Хозяйка ушла вслед за нею, сказавши: — Извините нас! — Я между тем стал осматривать комнату. Комната была для хутора довольно большая и по величине своей низкая, но чистая и опрятная; мебель старинная и разнохарактерная; на стене висел в черной деревянной раме портрет Богдана Хмельницкого, а на круглом столе, рядом с каким-то вязаньем, лежала книжка „Отечественных Записок", развернутая на „Давиде Копперфильде". В это время вошла хозяйка. Я теперь только обратил на нее должное внимание. Это была женщина высокого роста, полная, не до безобразия, с лицом довольно еще моложавым и добродушным. Одета она была на манер богатой мещанки или солидной попадьи, а если б у нее на голове вместо платка был кораблик, то я подумал бы, что это явилась передо мною с того света какая-нибудь сотничиха или полковница.

— Что это вы,— сказала она, снявши со свечи,— любопытствуете, что читает моя Наташа? Да, она у меня, слава богу, большая охотница читать, да

и меня на старости лет приучила, так что мне теперь и скучно сидеть с работой без чтения. Думаю на будущий год выписать еще „Современник“, а то одной книги в месяц для нас мало, мы ее наизусть выучиваем.

Вскоре был подан чай, то-есть самовар, а вслед за самоваром вышла и Наташа, одетая уже барышнею.

— Не втерпила таки,— проговорила мать, улыбнувшись, и потом прибавила: — Наливай же чаю, Наталочко! Я ее, знаете, приучаю понемногу к хозяйству,— сказала она, обращаясь ко мне.

— И прекрасно делаете,— ответил я.— Зачем они только костюм переменили? Им наш народный костюм к лицу.

— Мне она сама больше нравится в простом платье, так вот подите, поговорите с нею!

Наташа краснела, краснела и, наконец, покраснела как вишня и выбежала из комнаты.

— Ах ты, бессережная! — проговорила ей мать вслед и принялася сама разливать чай.

Незнакомки мои принадлежали к числу тех немногих людей, с которыми сходишься при первом свидании. В продолжение трех часов я с ними совершенно освоился и со всеми подробностями узнал их домашний быт, наклонности, привычки, доходы и расходы и даже часть их биографии.

Елена Петровна Калита, вдова небогатого помещика нашего уезда, воспитывалась тоже в институте, только хутор, как говорит она, перевоспитал ее по-своему.

— А когда Наташа родилась у нас, то мы с покойным моим Яковом того же дня положили, чтобы каждый год уделять из наших бедных доходов маленькую сумму собственно для воспитания Наталочки. От и воспитали,— прибавила она шутя,— а она не умеет и чаю налить.

После ужина я с ними простился, чтобы завтра с рассветом пуститься в дорогу.

И действительно, перед восходом солнца я оставил хутор. Меня проводило за ворота стадо индеек

и стадо гусей; кроме них, никто еще на хуторе не шевелился. Лошадки отдохнули, возница мой повеселел и, еще не садяся в телегу, насвистывал какую-то песенку.

Выехавши за ворота, он поворотил вправо, а мне казалося, что нужно взять влево. Но так как вчера ночью приехали на хутор, то я и не мог утвердительно сказать, которая наша дорога, а потому и рассудил положиться на опытность возницы, говоря сам себе: — Он же меня завез на хутор, он и вывезет. — Пустив вожжи, словоохотный возница, после панегирика хозяйке хутора и ее дочке, стал мне описывать ее богатство.

— Оце все, що тилько оком скынешь лису, — все ии. А лис-то, лис, миленный, — дуб, наголо дуб, хоч бы тоби одна погана осыка! Та що тут лис? А други добра, а степы, а озера, а ставы та млыны, та що й казать! Сказано — пани, так пани и есть... А ще я вам скажу...

Тут лошади остановились. Возница, увлекшись рассказом, не посмотревши вокруг себя, прикрикнул на лошадей, лошади дернули, и задняя ось отскочила, а я вывалился из телеги. Тогда он закричал: — Прууу, скажени! — и, посмотревши вокруг, проговорил:

— От тóби й на!.. Дывыся, проклятый пень де став! — якраз посеред шляху. Я ще вчора думав, що мы в цим дыявольским лиси денебудь та зачепымось. Воно так и сталось.

— Що ж мы тепер будемо робыть? — спросил я.

— А бог его знае, що тут робыть! — и, подумавши, прибавил:

— Эх, головко бидна, сокыры нема, а то б повалыв дуба, — от тоби и вись. Вернимося на хутир, там чи не дамо якои рады.

Я обрадовался, не знаю почему, этой благой идее и, разумеется, беспрекословно изъявил согласие, и пока возница укладывал колесо на телегу, я тихо пошел между деревьями по направлению к хутору.

Солнце уже прорезывало золотыми полосками

чащу леса, когда я подошел к живой изгороди хутора. Тут я остановился, чтобы подумать, в которой руке я оставил дорогу. В эту минуту разлился как-то чудно по лесу прекрасный девичий голос. У меня сердце замерло, и я, как окаменелый, стоял и долго не мог вслушаться в мелодию. Голос ко мне близился, я уже стал разбирать слова песни:

Ой ти, козаче, ти, зелений барвіночку!
Хто ж тобі постеле в полі білую постіленьку?

Голос становился слабее и слабее и, наконец, совсем замолк. Я, освободившись от обаяния лесной музы, пошел около изгороди и вскоре очутился на хуторе. Первое, что мне попалося на глаза, это была выходившая из садовой калитки Наташа. Она мне показалася настоящею богинею цветов: вся голова в цветах, между волосами, вместо жемчугу, бусы из белых черешен. Будь она одета барышней, эффект был бы не полный, но к наряду крестьянки так шли эти огромные цветы и черешневые бусы, что пестрее, гармоничнее и прекраснее я в жизнь свою ничего не видывал. Она, с минуту простоявши, исчезла за калиткой, а на крыльце показалась мать, одетая по-вчерашнему. Увидя меня, она громко засмеялась и проговорила:

— Что, далеко уехали?

Я приветствовал ее с добрым утром и вошел на крылечко.

— Что, небось с нами не скоро разделаетесь? — говорила она, смеясь.— Прошу покорно,— прибавила она, указывая на скамейку.

Я сел.

— Наталочко! — закричала она: — скажи Одарци, нехай самовар винесе сюды на ганок! Я с нею так привыкла к своему простому языку, что иногда и гостей забываю.

— Я сам чрезвычайно люблю наш язык, особенно наши прекрасные песни.

Вслед за Одаркою, выносившею самовар, потупя голову, скромно выступала зардевшаяся Наташа.

— Слышишь, Наталочко, они тоже любят наши песни. А уж она у меня так и во сне их, кажется, поет и, знаете ли, ни одного романса не знает. По возвращении из Полтавы пела, бывало, иногда какой-то „Черный цвет“, а теперь и тот забыла.

Я рассеянно слушал и любовался Наташей, и мне почти досадно было, зачем она опять нарядилась барышней.

— Ах я божевильная,— воскликнула вдруг хозяйка.— А ты, Наталочко, и не напомнишь! Ведь сегодня суббота, а мы в субботу собиралися ехать в Переяслав. Одарко! — Служанка появилася в дверях, сказавши тихо:

— Чого?

— Скажи Корниеви, щоб брычку лагодыв и кони годував, а пообидавши, рушимо в дорогу.

— Добре,— сказала Одарка и скрылась.

— Как же это хорошо, что я во-время вспомнила! Если вы не торопитесь, то обедайте с нами и будьте нашим кавалером до города.

— Даже и в городе, если вам угодно.

До обеда я гулял с Наташей в саду и около хутора, осматривали и критиковали их уютный прекрасный хутор. Показывала она мне в саду и собственное хозяйство, т. е. цветник. Правда, в нем не было больших редкостей, зато была чистота, какой не найдете и у голландского цветовода. Я с наслаждением смотрел на ее незатейливый цветник.

— Я маме,— говорила она самодовольно,— я маме каждое утро с мая и до октября месяца приношу букет цветов. А барвинок у нас зеленеет до глубокой осени. А с весны так он еще под снегом зеленеть начинает; я ужасно люблю барвинок.

— Да, барвинок превосходная зелень. А имеете ли вы плющ?

— Нет, не имеем.

— Так я обещаю вам несколько отсадков.

— Благодарю вас.

Я только вслух обещал ей плющ, а втихомолку обещал много разных цветов, и даже обещал выпи-

сать цветочных семян из Риги, но, не знаю почему, мне не хотелося сказать ей об этом.

После обеда, без особенных сборов, мы сели в бричку, а Одарку усадили в мою реставрированную телегу и пустилися в путь. К вечеру мы были уже в Переяславе, и мне большого труда стоило залу́чить моих новых знакомок к себе на хутор. Наконец, они согласились. Они прогостили у нас два дня и так подружились с [моей] матерью, что расстались со слезами. Маменька была в восторге от своих друзей и в продолжение этих двух дней была бы совершенно счастлива, если б не свежее воспоминание о покойном Зосе, которое не дает ей покою ни днем, ни ночью.

Взаимные наши посещения продолжалися без малого год и кончилися тем, что я уже другой месяц в роли жениха, и совершенно счастлив. Приезжайте же, благословите мое счастье, а чтобы не откладывать в долгий карман, то соберитесь на скорую руку и приезжайте вместе с маменькой и моим посаженым отцом и другом, Степаном Мартыновичем. Приезжайте, незабвенный мой, искренний друже. Многое не пишу вам собственно потому, чтобы удивить вас прекрасною неожиданностью. До свидания.

Ваш почтительный сын и искренний друг
С. Сокира".

Сборы в дорогу старого холостяка немногосложны. Ярема мой всё устроил, а я только потрудился влезть на нетычанку, и мы в дороге.

Вслед за мною приехала на хутор и Прасковья Тарасовна со своим чичероне Степаном Мартыновичем. К свадьбе было всё приготовлено, и мы в первое же воскресенье поехали к заутрене, потом к обедне в церковь Покрова, и после обедни окрутили, с божиим благословением, наших молодых и задали пир на всю переяславскую палестину, словом, пир такой, что Степан Мартынович, несмотря на свои лета и сан, ни даже на свой образ, пустился танцовать „журавля".

После свадьбы я прожил еще недели две в школе Степана Мартыновича и был свидетелем полного счастья своих названых детей.

Прасковья Тарасовна вполне разделяла мою радость, только иногда, глядя на юную прекрасную подругу своего Савватия, шопотом сквозь слезы повторяла:

— Зосю мой! Зосю мой! Сыну мой единый!

10 июня — 20 июля.



ХУДОЖНИК

Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашеньем полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас счастливцев гениев-художников, которые [иначе] начинали? — Весьма и весьма немного! В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода, Остаде, Бергем, Теньер и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса и Ван-Дейка) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо бы было указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому — хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса, уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера. И тогда, говорю, когда Лев X и Леон II спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери. И так случалося (к несчастию, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство! [Случается] и в наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии

и всего клонящегося к пользе человечества, при всех его средствах отстранить и укрыть жертвы,

Карающей богине обреченной.

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина! В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы,— это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина, и в особенности пленяла меня его небольшая картина „Портичи перед закатом солнца“. Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этою нерукотворною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть.

Я всегда, когда мне случалося бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн, пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов и садился отдохнуть на берегу озерка и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка.

Приближаясь к этому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это действительно был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

— Я ничего не делаю,— отвечал он застенчиво:— иду на работу, да по дороге в сад зашел.— И, немного помолчав, прибавил:— Я рисовал.

— Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

— Ты часто ходишь сюда рисовать?— спросил я его.

— Каждое воскресенье,— отвечал он;— а если близко где работаем, то и в будни захожу.

— Ты учишься малярному мастерству?

— И живописному,— прибавил он.

— У кого же ты находишься в ученьи?

— У комнатного живописца Ширяева.

Я хотел расспросить его подробнее, но он взял

в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел итти.

— Куда ты торопишься?

— На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

— Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

— Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки, и в коридоре перед № моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку. Он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку: меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его всё еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало; я сошел вниз, спрашиваю дворника: — Не видал такого? — Видел,— говорит,— малого с бумагами в руке, выбежал на улицу.— Я на улицу,— и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи,— нет моего приятеля. Хотел было уже итти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского, т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящую особнячком у самой Мойки. Я туда, а приятель мой тут как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел

в павильон и мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля и, когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

— Вы на меня рассердились, и я испугался,— отвечал он.

— И не думал я на тебя сердиться,— сказал я ему,— но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать.— Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку. Я рассмеялся, а он покраснел как рак и стоял молча, потупя голову.

Напившись чаю, мы расстались. На расставанье я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилося даром, в особенности с кривыми и косыми. Эти кривые и косые дали мне знать себя! Сколько ни случалось мне с ними [сталкиваться], хоть бы один из них порядочный человек! — начисто дрянь, или это уж мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, боясь, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же, вхожу на лестницу, а он уже тут, в том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

— Ты порядочный скороход,— сказал я: — ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

— Да я торопился, — отвечал он, — чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

— Разве у тебя хозяин строгий? — спросил я.

— Строгий и...

— И злой, ты хочешь сказать?

— Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте копия со старика Веласкеса, что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было всё, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита, а в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающих дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда, и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в кожуре? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в пословице: „бог не без милости, козак не без доли“.

— Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? — спросил я его, отдавая ему сверток.

— Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

— Значит, ты не видал их, как они освещаются?

— Я ходил и днём смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать: люди ходили.

— Что же ты намерен теперь делать: остаться

у меня обедать или итти домой? — Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

— Я остался бы у вас, если вы позволите.

— А как же ты после разделаешься с хозяином?

— Я скажу, что спал на чердаке.

— Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад: мне неприятно бы было встретить какую-нибудь чиновничью вытюженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему „Последний день Помпеи“, но не всё вдруг. После обеда я предложил ему или итти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее, я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса „Никлас Никльби“ я заснул, но в этом ни автор, ни чтец не повинны, — мне просто хотелося спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия: ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде всё было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела как стеклышко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена — Фортунаты.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эти услуги ясно говорили в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, проложил тени, и мы отправились в „Капернаум“ чай пить. „Капернаум“, сиречь трактир „Берлин“ на углу Шестой линии и Академического переулка, — так окрестил его, кажется, Пименов во времена своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье.

Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал: он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет?

— Вам неприятно, что я...

Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венецианов. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

— Не будущий ли художник?

Я сказал ему: — И да, и нет.— Он спросил причину. Я объяснил ему шопотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protégé мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный,— „Геркулес Фарнезский“, выгравированный Слюджинским по рисунку Завьялова, и еще „Аполлино“ Лосенка. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его итальянскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике. Пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику всё, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевывать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад. Но, увы, не нашел там моего приятеля, на другой день тоже, на третий тоже, и я решился ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель и на вопрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началася работа в Большом театре (в то время Кавос переделывал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Ввечеру уже, расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха, держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесячно, костромских мужичков — маляров и стекольщиков, — следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме упомянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах, Одрана и Вольпато, а на комоде несколько томов книг, в том числе и „Путешествие Анахарсиса Младшего“. Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издалека намекнул об улучшении состояния

его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил, да и напрасно было б уверять его в противном: люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет божий, не веруют ни в какую теорию; для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли, а часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить.

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалося уговорить его, чтобы он не препятствовал моему protégé посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например, зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулися и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили: — Mauvais genre, — а неприступные пуританки хором воскликнули: — Разврат! разврат! открытый публичный разврат! — И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилася быть princesse Trubeckoy — они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича

Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцовала качучу в балете „Хитана“. В тот же вечер разлетелася качуча по всей нашей Пальмире, а на другой день она уже владычествовала и в палатах аристократа, и в скромном уголке коломенского чиновника. Везде качуча — и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и за обедом, и за ужином,— словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это всё ничего — красоте и юности всё это к лицу, а то почтенные матери и даже отцы семейства и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфитриона не имелося собственного карапузика, то вечеринка украшалася карапузиком-хитаном, взятым напрокат. Свежо предание, а верится с трудом!

В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:

— Знаете что?

— Не знаю,— ответил я.

— Сегодня Губер (переводчик „Фауста“) обещал мне достать билет на „Хитану“, пойдемте.

— В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.

— Не сбегает ли этот малый? — сказал он, показывая на моего протеже.

— И очень сбегает, пишите записку.

На лоскутке серой бумаги он написал итальянским карандашом: „Достань два билета. К. Брюллов“. К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий мой полетел.

— Что это у вас, модель или слуга? — спросил он, показывая на затворившуюся дверь.

— Ни то, ни другое,— отвечал я.

— Физиономия его мне нравится — не крепостная.

— Далеко не крепостная, а между тем...— Я не договорил, остановился.

— А между тем, он крепостной? — подхватил он.

— К несчастью, так,— прибавил я.

— Барбаризм! — прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и сказал:

— Я дождусь его: мне хочется еще взглянуть на его физиономию,— и, закуривая сигару, сказал: — Покажите мне его работу.

— Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?

— Должна быть,— сказал он решительно.

Я показал ему маску Лаокоона, рисунок оконченный, и слепок Микель-Анджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел — бог его знает, на что он смотрел тогда.

— Кто его господин? — спросил он, подняв голову.

Я сказал ему фамилию помещика.

— О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать.

Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился:

— Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания!

И он вышел.

Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил мне, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.

— А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? — спросил я его.

— Знаю, — отвечал он, — только я его никогда в лицо не видел.

— А сегодня?

— Да разве это он был?

— Он.

— Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него, а то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? — спросил он после некоторого молчания.

— Не знаю, — сказал я и начал одеваться.

— Боже мой, боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть! Знаете, — продолжал он, — я, когда иду по улице, всё об нем думаю и смотрю на проходящих — ищу глазами его между ними. Портрет его, говорите, очень похож, что на „Последнем дне Помпеи“?

— Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс: я сегодня дома не обедаю.

Сделавши такое распоряжение, я вышел.

В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Виельгорского. Они любовались еще неоконченной картиной „Распятие Христа“, писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.

Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи, и каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его „Казармой“. Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика замечательному фламандцу говаривал: — Для этой одной кар-

тины можно приехать из Америки.— То же самое можно теперь сказать про его „Распятие“ и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.

После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату. Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: — Фундамент есть.— В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путейском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил его прочитать последнюю сцену из „Фауста“, и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта. Вскоре Жуковский и граф Виельгорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную „Терпсихору“, после чего Брюллов сказал:

— Я решительно не еду смотреть „Хитану“.

— Почему? — спросил Губер.

— Чтобы сохранить веру в твою „Терпсихору“.

— Как так?

— Лучше веровать в прекрасный вымысел, нежели...

— Да ты хочешь сказать,— прервал его поэт,— что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца, ногтя на ее мизинце не стоит, богом тебе божусь! Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи. Там будет Нестор, Миша etc., etc., и, в заключение, Пьяненко. Едем!

Брюллов взял шляпу.

— Ах, да! Я и забыл...— продолжал Губер, вынимая из кармана билеты: — вот тебе два билета, а после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).

— Помню,— отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.

— И вы с нами? — сказал Губер, обращаясь ко мне.

— И я с вами,— ответил я.

— Едем! — сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:

— Вот тебе и ростбиф!

После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась „на биржу“, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protégé. (Для всех орнаментов и арабесок, украшающих плафон Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже). Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула: все, в том числе и я, устремили глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась, начался балет. До качучи всё шло благополучно: публика держала себя, как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет всё вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и — качуча кончена, и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что горазд, кто браво, кто da capo, а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится,— работает руками и ногами и что есть духу кричит: — Da capo! — Губер тоже. Я немного перевел дух да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:

— Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.

— Пойдем,— сказал Губер восторженно, и мы пошли за кулисы. За кулисами уже роилася толпа поклонников, состоявшая большею частью из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе при-

строились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И боже, что там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.

— Отвратительно! — сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер — воистину бедный! — он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнося фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.

Оставался еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить дессерта капустой, как выразился Брюллов. Не знаю, посещал ли он балет после „Хитаны“, знаю только, что он никогда не говорил о балете.

Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: „Фундамент положен“, в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучшим занять своего ученика,— домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорьевич (смотритель галереи), пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно. После долгих размышлений я с двугривенным обратился к живому Антиною, натурщику Тарасу, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера, распутного наперсника Марка Аврелия, и голову „Гения“, произведение Кановы. Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы, а постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведер-

ским торсом, да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микель-Анджело ощупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно, некий господин Герсеванов в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микель-Анджело „Страшный суд“, фрески божественного Рафаэля и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!

После анатомии сделал он рисунок Германика и танцуюшего фавна, и в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунки.

Я в жизнь мою не видел веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней.

— Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый? — спрашивал он меня несколько раз.

— Всегда,— отвечал я.

— И эта красная — любимая его комната?

— Любимая,— отвечал я.

— Всё красное! Комната красная, диван красный, занавеси у окна красные, халат красный и рисунок красный,— всё красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?

И после этого вопроса он начинает плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? — Всё красное! — повторял он сквозь слезы.

Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталась памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он всё: и искусство, и духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего,— всё и вся забыл, но крас-

ная декорация и Карл Павлович были его последним словом.

На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне: — Вечером зайдите!

Ввечеру я зашел.

— Это самая крупная свинья в торжковских туфлях! — этими словами встретил меня Карл Павлович.

— В чем дело? — спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.

— Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил:

— Вандализм! Пойдемте наверх, — прибавил он, обращаясь ко мне, и мы молча пошли в верхние комнаты, где помещались его спальня, библиотека и вместе столовая.

Он велел подать лампу, попросил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок — сепию „Спящая одалиска“ для альбома, кажется, Владиславлева.

Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, всё еще преследовала свинья в торжковских туфлях.

— Пойдемте на улицу, — сказал он, закрывая рисунок.

Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект.

— Что, он у вас теперь дома? — спросил он меня.

— Нет, — отвечал я, — он у меня не ночует.

— Ну, так пойдемте ужинать. — И мы зашли к Дели.

Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков,

а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде, но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видел.

Любопытство мое в сильной степени было возбуждено, я долго не мог заснуть: всё думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжковских туфлях. Любопытство мое, однако ж, охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки,— тогда что?

Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему, верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он выходил с честью.

Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины „Мать учит дитя молиться богу". Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева „Утренняя Заря".

Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачались чем-то. Он был похож на человека, [который желает] поделиться с приятелем великою тайной, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.

— Ну, что же у тебя новенького?—спросил я его.—Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?

— Хозяин ничего,— отвечал он, запинаясь.—Я читал „Андрея Савояра", пока не легли спать, а по-

том зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.

— Что же ты рисовал? — спросил я его. — С эстампа или так что-нибудь?

— Так, — сказал он, краснея. — Я недавно читал сочинения Озерова, и мне понравился „Эдип в Афинах", так я пробовал компоновать...

— Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.

Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:

— Не успел пером обрисовать.

Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность или, лучше сказать, робость: это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали Полиник, только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм: первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту, ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.

Я похвалил его за выбор сцены и посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато или с Пуссена, Одрана. — И те и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время, а книги я тебе буду доставать. — И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса („История древней Греции").

— У хозяина, — проговорил он, принимая книги, — кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да ... — продолжал он, улыбаясь, — я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки,

и что...— тут он запнулся,— и что он... да впрочем я сам тому не верю.

— Что же? — подхватил я: — он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

— Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и назвал меня дураком, когда я его уверял.

Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:

— Ничего не бывало! Помещик, как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней, ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что всё это роскошно, дорого, великолепно, но всё это по-японски великолепно. Сначала я повел [речь] о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал: — Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь! — И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело.

— Вот так бы давно сказали, а то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! — прибавил он самодовольно. — Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял?

Я ответил: — Действительно так.

— Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?

— Согласен,— отвечал я.

— Он человек ремесленный, — продолжал он,— при доме необходимый... — И еще что-то хотел он говорить, но я поклонился и вышел. И вот я перед вами,— прибавил старик, улыбаясь.

— Сердечно благодарю вас.

— Вас благодарю сердечно! — сказал он, крепко пожимая мне руку.— Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного

искусства и видеть наконец чудака,— чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем.— И старик добродушно засмеялся.

— Я,— после смеха сказал он,— я положил свою лепту, теперь за вами дело, а в случае неудачи я опять обращусь к Аглицкому клубу. До свидания пока!

— Пойдемте вместе к Карлу Павловичу,— сказал я.

— Не пойду, да и вам не советую. Помните пословицу: „не во время гость хуже татарина“, тем паче у художника, да еще и поутру,— это бывает хуже целой орды татар.

— Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро,— проговорил я.

— Нисколько. Вы поступили как истинный христианин. Для труда и отдыха мы определили часы, но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня обедаем дома, приходите. Бельведерского, если увидите, тащите и его за собой,— прибавил он уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого, ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.

На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии, но, увы, даже Лукьяна не нашел. Липин, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик — и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за теперешним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта, Заурвейда и Басина). Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициели, увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.

— Ну что? — спросил он.

— Где вы сегодня обедаете? — спросил я.

— Не знаю, а что?

— А вот что,— говорю я,— пойдемте к Венецианову обедать. Он вам такие чудеса расскажет про

амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.

— Хорошо, пойдем, — сказал он, и мы отправились к Венецианову.

За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.

Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина нанималася большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медицейской, Аполлоном, Германиком и группою гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо, тем более, что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.

С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Общества В. И. Григоровичу и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.

Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне, живущему вместе с пансионерами в качестве старшины.

Не следовало бы мне останавливаться на [таком] жалком явлении, как художник Головня, но как он явление редкое, тем более, редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.

Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головнею. У Плюшкина по крайней мере была юность, а следовательно и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.

Он был пансионером Общества поощрения художников, и, когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину просить воспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы, и, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.

Кто знает, что̀ значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.

Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.

На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.

Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Басина и находил подробности отчетливее и вернее.

Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.

Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса.

Всё это шло своим чередом, и своим же чередом зима проходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.

— Что с тобой?— спрашивал я его.— Здоров ли ты?
— Здоров,— отвечал он печально.
— Чего же ты плачешь?
— Я не плачу, я так.

И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасных очей. Я не мог разгадать, что всё это значит, и начинал уже думать, не стрела ли злого амура поразила его непорочное молодое сердце, как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.

Я как мог ободрял его, но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.

В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным простым маляром.

— Почему нельзя? Можно,— отвечал он,— пока еще живописные работы не начались, а тогда уж извините: он у меня рисовальщик, а рисовальщик, вы сами знаете, что̀ значит в нашем художестве. Да вы как полагаете,— продолжал он,— в состоянии ли он будет поставить за себя работника?

— Я вам поставлю работника.

— Вы?— с удивлением спросил он меня.— Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопочете?

— Так,— отвечал я,— от нечего делать, для собственного удовольствия.

— Хорошо удовольствие — зря сорить деньгами! Видно, у вас их и куры не клюют?— И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал:— Например, по скольку вы берете за портрет?

— Каков портрет,— отвечал я, предугадывая его мысль,— и каков давалец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

— Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.

— Так лучше же мы сделаем вот как,— сказал я, подавая ему руку: — отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.

— На два? — проговорил он в раздумьи,— на два много, не могу. На месяц можно.

— Ну, хоть на месяц, согласен,— сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.

— Когда же начнем? — спросил он меня.

— Хоть завтра,— сказал я, надевая шляпу.

— Куда же вы, а могарычу-то?

— Нет, благодарю вас, когда кончим, тогда можно будет. До свидания!

— До свидания!

Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В четверике маку одно зернышко! Я любовался им в продолжение этого счастливого месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостию, таким полным счастием, что я, прости меня, господи, позавидовал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольскою, даже фризовая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на него, то на меня,— значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.

В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.

— Куда вы? — спросил он нас.

— К мадам Юргенс,— отвечал я.

— И я с вами. Мне что-то вдруг есть захотелось,— сказал он и повернул с нами в Третью линию.

Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс: ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому, ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное общество. Там он мог видеть и бедного труженика сенатского чиновника в един-

ственном, весьма не с иголочки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы за переписку лекций Фишера. Тут многое и многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа. Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особой комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался; но в этот раз не отказался и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора и послал Олимпиаду к Фоксу за бутылкой Джаксона.

Мадам Юргенс земли под собой не слышала,— так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом,— когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.

Для нее он был действительно дорогой гость. С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! не шушера какая-нибудь — художники да студенты, да двугривенные сенатские [чиновники], а люди, для которых нужна была бутылка Медоку и какой-нибудь особенный бефстек. И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.

Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнея выпил стакан Джаксона и молча пожал он руку Карла Великого и на квартиру пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.

Еще неделя оставалася его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни

слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет. Пришло время обеда,— его нет, и ночь пришла,— его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.

— Где ты был? — спрашиваю я.— Что с тобою, ты болен? ты нездоров?

— Нездоров,— едва внятно отвечает он.

Я послал дворника за Жадовцевым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.

Жадовцев пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу.— Потому,— говорит,— что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.

Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тучкова моста.

Благодаря влиянию Жадовцева, как частного лекаря, больного моего приняли без узаконенных формальностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.

Я посещал его каждый день по нескольку раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилося грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще начинавшийся), выйду к дачам Соболевского и опять назад в больницу, а он всё еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:

— Что, не приходит в себя?

— Нет, батюшка.

— Не бредит?

— Одно только: красный и красный!

— Ничего больше?

— Ничего, батюшка.

И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тучков мост и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюсь в больницу. Так прошло восемь дней. На девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.

В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновала, что молодая сила взяла свое.

Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару. Сигара как-то плохо курится; я бросил ее, вышел на бульвар. Всё что-то не так, всё чего-то недостает для моей радости. Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу,— его нет дома. Выхожу на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.

— Что, вы были у меня в мастерской?— спросил он меня, не здороваясь.

— Не был,— отвечал я.

— Пойдемте.

И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.

— Спрячьте палитру, я сегодня работать не буду,— сказал Карл Павлович Липину и сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал:

— Взгляд должен быть мягче: его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли?

И, не дав мне ответить, продолжал:

— А знаете ли вы назначение этого портрета?

— Не знаю, — отвечал я.

Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил:

— Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета.

Выйдя на улицу, он сказал:

— Я раздумал, об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны,— прибавил он шутя.

— Если вам так хочется,— сказал я,— пусть это останется загадкой для меня.

— Только до другого сеанса. Ну, что ваш протеже, лучше ли ему?

— Начал приходить в себя.

— Стало быть, опасность миновала?

— По крайней мере так медик говорит.

— До свидания,— сказал он, протягивая руку.— Зайду к Гильбергу. Едва ли он, бедный, встанет,— прибавил он грустно, и мы расстались.

Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении, и как ни сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки, однако, я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Правда, в одно прекрасное утро сделал я визит В. А. Жуковскому, под предлогом полюбоваться сухими контурами Корнелиуса и Петра Гессе, а на самом деле, не проведаю ли чего о таинственном портрете. Однако ж, я ошибся.

Кленц, Валгалла, Пинакотека и вообще Мюнхен заняли всё утро, так что даже о Дюссельдорфе не было помянуто ни одного слова, а портрета просто на свете не существовало.

Восторженные похвалы германскому искусству незабвенного Василия Андреевича были прерваны приходом графа М. Ю. Виельгорского.

— Вот вина и причина теперешних хлопот ваших,— сказал Василий Андреевич, указывая на меня графу.

Граф с чувством пожал мне руку. Я сделал уже

проект на вопрос, как вошел слуга и проговорил какую-то незнакомую мне превосходительную фамилию. Я нашел свой проект неудобоисполнимым, раскланялся и вышел, как говорится, с носом.

А между тем молодое здоровье брало свое. Ученик мой, как тот сказочный пресловутый богатырь, оживал и крепчал не по дням, а по часам. Он в какую-нибудь неделю после двухнедельной горячки стал на ноги и ходил, придерживаясь за свою койку, но так скучно и невесело, что я, невзирая на наставление медика не говорить с ним об отвлеченных предметах, спросил его однажды:

— Ты здоровеешь, тебе весело, чего же ты скучаешь?

— Я не скучаю, мне весело, но я не знаю, чего мне хочется. Мне хотелось бы читать.

Я спросил у медика, можно ли ему дать читать что-нибудь.

— Не давайте, тем более чтения серьезного.

— Что же мне с ним делать? Сиделкой его я не могу быть, а более помочь ему нечем.

В этом тяжелом раздумье вспала мне на память „Перспектива“ Альберта Дюрера с русским толкованием, которую я во время оно изучал, изучал, да и бросил, не добравшись толку. И странно, я вспомнил о путанице Альберта Дюрера и совсем забыл о толковом прекрасном курсе линейной перспективы нашего профессора Воробьева. Чертежи этого курса перспективы у меня были в портфели (правда, в беспорядке). Я собрал их и, сначала посоветовавшись с медиком, отдал их ученику своему вместе с циркулем и треугольником и тут же прочитал ему первый урок линейной перспективы. Второй и третий уроки перспективы мне уже нечего было толковать ему: он как быстро выздоравливал, так быстро и понимал эту математическую науку, не знавши, впрочем, четырех правил арифметики.

Уроки перспективы кончились. Я просил старшего медика выписать его из больницы, но медик гигиенически растолковал мне, что для окончатель-

ного излечения ему необходимо еще пробыть под медицинским надзором по крайней мере месяц. Скрепя сердце я согласился.

В продолжение этого времени часто я встречался с Карлом Павловичем, видел раза два или три портрет Василия Андреевича Жуковского после второго сеанса, в разговоре с Карлом Павловичем замечал неумышленные намеки на какой-то секрет, но, не знаю почему, я сам отстранял его откровенность. Я как будто чего-то боялся, а между прочим почти угадывал секрет.

Тайна вскоре открылась. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я собственноручную записку В. А. Жуковского такого содержания:

„Милостивый государь N. N.!

Приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Павловичу и дождитесь меня у него, дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал.

В. Жуковский.

P. S. Приведите и его с собою".

Слезами облил я эту святую записку и, не доверяя ее карману, сжал в кулаке и побежал в больницу. Швейцар, хотя и имел приказание пропускать меня во все часы дня, на этот раз, однако ж, не пустил, сказавши: — Рано, ваше благородие, больные еще спят. — Меня это немного охолодило. Я разжал кулак, развернул записку, прочитал ее чуть-чуть не по складам, бережно сложил ее, положил в карман и степенными шагами воротился на квартиру, в душе благодаря швейцара за то, что он остановил меня.

Давно, очень давно, еще в приходском училище, украдкою от учителя читал я знаменитую перелицованную „Энеиду" Котляревского и

Коли чого в руках не маєш,
То не кажи, що вже твоє.

Эти два стиха так глубоко мне врезались в память, что я и теперь их, повторяя, часто применяю

к делу. Эти-то два стиха и пришли мне на память, когда я возвращался на квартиру. И в самом деле, знал ли я наверное, что эта святая записка относится к его делу? Не знал, только предчувствовал, а предчувствие часто обманывает. А что, если б оно теперь обмануло? Какое бы я страшное сделал зло, и кому еще, любимейшему человеку! Я сам себя испугался при этой мысли.

В продолжение этих длиннейших суток я раз двадцать подходил к двери Карла Павловича и с каким-то непонятным страхом возвращался назад. Чего я боялся, и сам не знаю. В двадцать первый раз я решился позвонить, и Лукьян, выглянувши в окно, сказал: — Их нет дома.— У меня как гора с плеч свалилась, как будто я совершил огромный подвиг и наконец вздохнул свободно.

Бодро выхожу я из Академии на Третью линию, как тут Карл Павлович навстречу. Я совершенно растерялся и хотел было бежать от него, но он остановил меня вопросом:

— Вы получили записку Жуковского?

— Получил,— едва внятно ответил я.

— Приходите же ко мне завтра в одиннадцать часов. До свидания! Да... если он может, приведите и его с собой,— прибавил он, удаляясь.

— Ну,— подумал я,— теперь ни малейшего сомнения, а все-таки:

Коли чого в руках не маєш,
То не кажи, що вже твоє.

Прошло несколько минут, и это мудрое изречение выпарилось из моей весьма непрактической головы. Мною овладело непреодолимое желание привести его завтра к Карлу Павловичу. А позволит ли медик? Вот вопрос. И чтобы разрешить его, я пошел к доктору на квартиру, застал его дома и рассказал ему причину моего внезапного визита. Доктор привел мне несколько фактов умопомешательства, причиною которых были внезапная радость или внезапное горе.— А тем более,—

заключил он,— что ваш протеже не совсем еще оправился после горячки.— На такие аргументы отвечать было нечем, и я, поблагодаривши доктора за добрый совет, откланялся и вышел на улицу. Долго шлифовал я мостовую без всякого намерения. Хотел было зайти к старику Венецианову, не скажет ли он мне чего определеннее, но было уже за полночь, а он не наш брат холостяк,— следовательно, и думать нечего о полунощном посещении. Не пойти ли мне, подумал я, на Троицкий мост полюбоваться восходом солнца? Но до Троицкого моста не близко, а я начинал уже чувствовать усталость. Не ограничиться ли мне безмятежным сидением у сих огромных сфинксов? Ведь все равно та же Нева. Та же, да не та. И, подумавши, я направился к сфинксам. Севши на гранитную скамью и прислонясь к безносому грифону, я долго любовался на тихоструйную красавицу Неву.

С восходом солнца пришел на Неву за водой академический швейцар и разбудил меня, приговаривая вроде поучения:— Благо еще люди не ходят, а то подумали б: какой гулящий.

Поблагодарив гривенником швейцара за услугу, я отправился на квартиру и заснул уже настоящим, как говорится, хозяйским сном.

Ровно в одиннадцать часов явился я на квартиру Карла Павловича, и Лукьян, отворяя мне двери, сказал:— Просили подождать. В мастерской в глаза мне бросилась только по славе и Миллерову эстампу знаемая знаменитая картина Цампиери „Иоанн Богослов“. Опять недоумение! Не по случаю ли этой картины пишет мне Василий Андреевич? Зачем же он пишет: „приводите и его с собою“? Записка была при мне, я достал ее и, прочитавши несколько раз post scriptum, немного успокоился и подошел к картине поближе, но проклятое сомнение мешало мне вполне наслаждаться этим в высшей степени изящным произведением.

Как ни мешало мне сомнение, однако ж я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий

в сопровождении графа Виельгорского и В. А. Жуковского. Я с поклоном уступил им свое место и отошел к портрету Жуковского. Они долго молча любовались великим произведением бедного мученика Цампиери, а я замирал от ожидания. Наконец Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал:

— Передайте это ученику вашему.

Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Виельгорским, Жуковским и К. Брюлловым. Я набожно перекрестился и трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения.

Благодарил я как мог великое и человеколюбивое трио и, раскланявшись как попало, вышел в коридор и побежал к Венецианову.

Старик встретил меня радостным вопросом: — Что нового? — Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему.

— Знаю, всё знаю,— сказал он, возвращая мне бумагу.

— Да я-то ничего не знаю! Ради бога, расскажите мне, как это всё совершилося.

— Слава богу, что совершилося, а мы сначала пообедаем, а потом и примусь рассказывать,— история длинная, а главное — прекрасная история.

И, возвыся голос, он прочитал стих Жуковского:

Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву!

— Читаем, папаша,— раздался женский голос, и в сопровождении А. Н. Мокрицкого вышли из гостиной дочери Венецианова, и мы сели за стол. За обедом, против обыкновения, как-то было шумнее и веселее. Старик воодушевился и рассказал историю портрета В. А. Жуковского, и почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории. Только в заключение прибавил:

— А я только был простым маклером в этом великодушном деле.

А самое-то дело было вот как.

Карл Брюллов написал портрет Жуковского, а Жу-

ковский и граф Виельгорский этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями и за эти деньги освободили моего ученика, а старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера.

Что же мне теперь делать? Когда и как мне объявить ему эту радость? Венецианов повторил мне то же самое, что и врач сказал, и я совершенно убежден в необходимости этой предосторожности. Да как же я утерплю! Или прекратить свои посещения на некоторое время? Нельзя, он подумает, что я тоже заболел или покинул его, и будет мучиться. Подумавши, я, вооружася всею силою воли, пошел в больницу Марии Магдалины. Первый сеанс я выдержал как лучше не надо, за вторым и третьим визитом я уже начал его понемногу приготовлять. Спрашивал медика, как скоро его можно выписать из больницы, и медик не советовал торопиться. Я опять начал мучиться нетерпением.

Однажды поутру приходит ко мне его бывший хозяин и без дальних околичностей начинает меня упрекать, что я ограбил его самым варварским образом, что я украл у него лучшего работника и что он через меня теряет по крайней мере не одну тысячу рублей. Я долго не мог понять, в чем дело и каким родом я попал в грабители. Наконец он мне сказал, что вчера призывал его помещик и что рассказал ему весь ход дела и требовал от него уничтожения контракта; и что вчера же он был в больнице, и что он [больной] ничего про это не знает.

— Вот тебе и предосторожность! — подумал я.

— Чего же вы теперь от меня хотите? — спросил я у него.

— Ничего, хочу узнать только, правда ли всё это.

Я отвечал: — Правда, — и мы расстались.

Я был доволен таким оборотом дела: он теперь уже приготовлен и может принять это известие спокойнее, чем прежде.

— Правда ли? Можно ли верить тому, что я слы-

шал? — таким вопросом встретил он меня у дверей своей палаты.

— Я не знаю, что ты слышал.

— Мне говорил вчера хозяин, что я...— И он остановился, как бы боясь окончить фразу, и, помолчав немного, едва слышно проговорил: — что я отпущен!.. что вы...— И он залился слезами.

— Успокойся,— сказал я ему: — это еще только похоже на правду.— Но он ничего не слышал и продолжал плакать. Через несколько дней выписался из больницы и поместился у меня на квартире, совершенно счастливый.

Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестию раз в жизни моей удалося мне вполне насладиться.

В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье. Восторги его сменялись тихой, улыбающейся радостью. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась, и он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, прочитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.

Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. А когда было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганову галерею, показал ему оригинал Веласкеса, и тем кончились в тот день наши похождения.

На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова, отвел к Карлу Павловичу, и как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллову.

С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.

Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонаротти,— в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: — Стоит ли после этого изучать божественное искусство!— А теперь, когда уравновесилось воображение с здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: „не сули журавля в небе, а дай синицу в руки".

Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллова, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда всё это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.

Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою, советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе, а зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии и с которым я условился встретиться у одного общего знакомого нашего в Прилуцком уезде и при этой встрече [собирался] просить добрейшего Вилю, по возвращении в столицу, поселиться с ним на квартире, что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать

Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоесть ему частыми визитами, не манкировать классами и как можно больше читать, а в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.

И, поручивши его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и, увы, расстался навеки.

Первые письма его однообразны и похожи на подробный и монотонный дневник школьника, и только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начал проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, его девятое письмо.

„Сегодня в десятом часу утра свернули мы на вал картину „Распятия Христова“ и с натурщиками отправили в лютеранскую петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал, при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была еще покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович. Сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча, только изредка проговаривал: — Вандал! Ни одного луча свету на алтарь. И для чего им картины?

— Вот если бы,— сказал он, обращаяся к нам и показывая на арку, разделяющую церковь,— если бы во всю величину этой арки написать картину — распятие Христа, то это была бы картина, достойная богочеловека.

О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал. Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми

мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена „Распятие“ — просто суздальщина, а про Мартена и говорить нечего.

Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением. Потом он надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: — Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена! — Проходя мимо магазина Дациаро, он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. — Боже мой, — подумал я, глядя на него, — и это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любуется приторными красавицами Гревидона. Непонятно! А между прочим, правда.

Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, — усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на три часа. Мы поехали на острова, а он остался дома дожидаться нас ужинать.

P. S. Не помню, в прошедшем письме писал ли я вам, что я в сентябрьский третной экзамен переведен в натурный класс за „Бойца“ номером первым.

Если бы не вы, мой незабвенный, и через год меня бы не перевели в натурный класс. Я начал посещать анатомические лекции профессора Буяльского. Он теперь читает остов. И тут вы причина, что я знаю наизусть остов. Везде и везде вы, мой единственный, мой незабвенный благодетель! Прощайте!

Всем существом моим преданный вам N. N.“

Я намерен досказать его историю собственными письмами, и это будет тем более интересно, что в своих письмах он часто описывает занятия и почти вседневный домашний быт Карла Павловича, которого он был и любимым учеником и товарищем.

Для будущего биографа К. Брюллова я со временем издам все его письма, а теперь помещу только те, которые непосредственно касаются его занятий и развития на поприще искусства и развития его внутренней высоконравственной жизни.

„Вот уже октябрь месяц в исходе, а Штернберга всё нет, как нет. Я не знаю, что мне делать с квартирою. Она меня не обременяет. Я плачу за нее пополам с Михайловым. Я почти безвыходно нахожусь у Карла Павловича, только ночевать прихожу домой, а иногда и ночую у него, а Михайлов и на ночь домой не приходит. Бог его знает, где он и как он живет. Я с ним встречаюсь только у Карла Павловича да иногда в классах. Он очень оригинальный, доброго сердца человек. Карл Павлович предлагает мне совсем к нему перейти жить, но мне и совестно, и, боюсь вам сказать, мне кажется, что я свободнее при своей квартире, а во-вторых, мне ужасно хочется хоть несколько месяцев прожить вместе с Штернбергом, потому собственно, что вы мне так советовали, а вы мне дурного не посоветуете.

Карл Павлович чрезвычайно прилежно работает над копиею с картины Доменикино „Иоанн Богослов". Копию эту заказала ему Академия художеств. Во время работы я читаю. У него порядочная своя библиотека, но совершенно без всякого порядка. Несколько раз мы принимались дать ей какой-нибудь толк, но только всё безуспешно. Впрочем, недостатка в чтении нет. Карл Павлович обещался Смирдину сделать рисунок для его „Ста литераторов", и он служит ему всею своею библиотекою. Я прочитал уже почти все романы Вальтера Скотта и теперь читаю „Историю крестовых походов" Мишо. Мне она нравится лучше всех романов, и Карл Павлович то же говорит. Я начертил эскиз, как Петр Пустынник ведет толпу первых крестоносцев через один из германских городков, придерживаясь манеры и костюмов Реча. Показал Карлу Павловичу,

и он мне строжайше запретил брать сюжеты из чего бы то ни было кроме библии, древней греческой и римской истории.— Там,— сказал он,— всё простота и изящество, а в средней истории — безнравственность и уродство.— И у меня теперь на квартире, кроме библии, ни одной книги нет. „Путешествие Анахарсиса“ и „Историю Греции“ Гилиса я читаю у Карла и для Карла Павловича, и он всегда слушает с одинаковым удовольствием.

О, если бы вы видели, с каким вниманием, с какой сердечною любовию кончает он свою копию! Я просто благоговею перед ним, да и нельзя иначе. Но что значит волшебное, магическое действие оригинала! Или это просто предубеждение, или время так очаровательно стушевало эти краски, или Доменикино... Но нет, это грешная мысль, Доменикино никогда не мог быть выше нашего божественного Карла Павловича. Мне иногда хочется, чтобы скорее унесли оригинал.

Как-то раз за ужином зашла речь о копиях, и он сказал, что ни в живописи, ни в скульптуре он не допускает истинной копии, т. е. воссоздания, а что в словесной поэзии он знает одну-единственную копию,— это „Шильонский узник“ Жуковского, и тут же прочитал его наизусть. Как он дивно стихи читает! Ей-богу, лучше Брянского и Каратыгина. Кстати, о Каратыгине. На-днях случайно зашли мы в Михайловский театр. Давали „Тридцать лет, или жизнь игрока“— пересоленная драма, как он выразился. Между вторым и третьим [актом] он ушел за кулисы и одел Каратыгина для роли нищего. Публика бесновалась, сама не знала отчего. Что значит костюм для хорошего актера!

Тальони уже приехала в Петербург и вскоре начнет свои волшебные полеты. Он, однако ж, что-то ее не жалует. Ах, если бы скорее Штернберг приехал! Я, не видавши, полюбил его. Карл Павлович для меня слишком колоссален и, несмотря на его доброту и ласки, мне иногда кажется, что я один. Михайлов прекрасный и благородный товарищ, но

ничем не увлекается, никакая прелесть его, кажется, не чарует. А может быть, я его не понимаю. Прощайте, мой незабвенный благодетель!"

„Я в восторге! Давно и так нетерпеливо ожидаемый мною Штернберг наконец приехал. И как внезапно, нечаянно! Я испугался и долго не верил своим глазам; думал, не видение ли? Я же в то время компоновал эскиз „Иезекииль на поле, усеянном костями". Это было ночью, часу во втором. Вдруг двери растворяются,— а я углубился в „Иезекииля" и двери забыл запереть на ключ,— двери растворяются, и является в шубе и в теплой шапке человеческая фигура. Я сначала испугался и сам не знаю, как проговорил: — Штернберг? — Штернберг,— отвечал он мне, и я, не дав ему шубу снять, принялся целовать его, а он отвечал тем же. Долго мы молча любовались друг другом, наконец он вспомнил, что ямщик у ворот дожидается, и пошел к ямщику, а я к дворнику — просить перенести вещи в квартиру. Когда всё это было сделано, мы вздохнули свободно. И странно! Мне казалося, что я встретил старого знакомого или, лучше сказать, вижу вас самих перед собою. Пока я расспрашивал, а он рассказывал, где и когда он вас видел, о чем говорили и как расставалися, пока всё это было, и ночь минула. И мы тогда только рассвет заметили, когда увидали от подсвечника упавшую яркоголубую тень.

— Теперь, я думаю, можно и чаю напиться,— сказал он.

— Я думаю, можно,— отвечал я, и мы пошли в „Золотой Якорь".

После чаю уложил я его спать, а сам пошел сказать о моей радости Карлу Павловичу, но он тоже спал. Делать нечего, я вышел на набережную и не успел пройти несколько шагов, как встретил Михайлова, тоже, кажется, всю ночь не спавшего. Он шел с каким-то господином в пальто и в очках.

— Лев Александрович Элькан,— сказал Михайлов, указывая на господина в очках.

Я сказал свою фамилию, и мы пожали друг другу руку. Потом я сказал Михайлову о приезде Штернберга, и господин в очках обрадовался, как прибытию давно жданного друга.

— Где же он? — спросил Михайлов.

— У нас на квартире,— отвечал я.

— Спит?

— Спит.

— Ну, так пойдем в „Капернаум“,— там, верно, не спят,— сказал Михайлов.

Господин в очках в знак согласия кивнул головою, и они, взявшись под руки, пошли, и я вслед за ними. Проходя мимо квартиры Карла Павловича, я заметил в окне голову Лукьяна, из чего и заключил, что маэстро уже встал. Я простился с Михайловым и Эльканом и пошел к нему. В коридоре я [встретил его] со свежею палитрой и чистыми кистями, поздоровался с ним и возвратился назад: теперь я не только вслух, и про себя читать был не в состоянии. Походивши немного по набережной, я пошел на квартиру. Штернберг еще спал. Я тихонько сел на стуле против его постели и любовался его детски-непорочным лицом. Потом взял карандаш и бумагу и принялся рисовать спящего вашего, а следовательно, и моего друга. Сходство и выражение вышло порядочное для эскиза, и только я очертил всю фигуру и назначил складки одеяла, как Штернберг проснулся и поймал меня на месте преступления. Я сконфузился, он это заметил и засмеялся самым чистосердечным смехом.

— Покажите, что вы делали? — сказал он вставая.

Я показал. Он снова засмеялся и до небес расхвалил мой рисунок.

— Я когда-нибудь отплачу вам тем же,— сказал он смеясь и, вскочив с постели, умылся и, развязавши чемодан, начал одеваться.

Из чемодана, из-под белья, вынул он толстую портфель и, подавая ее мне, сказал:

— Тут всё, что я сделал прошлого лета в Малороссии, кроме нескольких картинок масляными кра-

сками и акварелью. Посмотрите, если время позволяет, а мне нужно кое-куда съездить.

— До свидания! — сказал он, подавая мне руку,— не знаю, что сегодня в театре, я ужасно за ним соскучился. Пойдемте вместе в театр.

— С большим удовольствием! — сказал я,— только вы зайдите за мною в натурный класс.

— Хорошо, зайду,— сказал он уже за дверями.

Если бы не пришел за мною Лукьян от Карла Павловича, мне обед и на мысль не пришел бы, мне даже досадно было, что для Лукьяновского ростбифа я должен был оставить портфель Штернберга. За обедом я сказал Карлу Павловичу о моем счастии, и он пожелал его видеть. Я сказал ему, что мы условилися с ним быть в театре. Он изъявил желание сопутствовать нам, если дают что-нибудь порядочное. К счастью, в тот день на Александринском театре давали „Заколдованный дом“. В конце класса Карл Павлович зашел в класс, взял меня и Штернберга с собою, усадил в свою коляску, и мы поехали смотреть Людовика XI. Так кончился первый день.

На второй день поутру Штернберг взял свою толстую портфель, и мы отправились к Карлу Павловичу. Он был в восторге от вашей однообразно-разнообразной, как он выразился, родины и от задумчивых земляков ваших, так прекрасно-верно переданных Штернбергом. И какое множество рисунков и как всё прекрасно. На маленьком лоскутке серенькой оберточной бумаги проведена горизонтально линия, на первом плане ветряная мельница, пара волов около телеги, наваленной мешками,— всё это не нарисовано, а только намекнуто, но какая прелесть! — очей не отведешь. Или под тенью развесистой вербы у самого берега беленькая, соломой крытая хатка вся отразилася в воде, как в зеркале. Под хаткою старушка, а на воде утки плавают, вот и вся картина, и какая полная, живая картина!

И таких картин или, лучше сказать, животрепещущих очерков полна портфель Штернберга. Чуд-

ный, бесподобный Штернберг! Недаром его поцеловал Карл Павлович.

Невольно вспомнил я братьев Чернецовых. Они недавно возвратились из путешествия по Волге и приносили Карлу Павловичу показать свои рисунки: огромная кипа ватманской бумаги, по-немецки аккуратно перышком исчерченная. Карл Павлович взглянул на несколько рисунков и, закрывши портфель, сказал,—разумеется, не братьям Чернецовым:—Я здесь не только матушки-Волги, и лужи порядочной не надеюсь увидеть.—А в одном эскизе Штернберга он видит всю Малороссию. Ему так понравилась ваша родина и унылые физиономии ваших земляков, что он сегодня за обедом построил уже себе хутор на берегу Днепра, близ Киева, со всеми угодьями в самой очаровательной декорации. Одно, чего он боится и чего никак устранить от себя не может,— это помещики или, как он называет их, феодалы-собачники.

Он совершенное дитя, со всею прелестию дитя!

И сегодняшний день мы заключили спектаклем. Давали Шиллеровых „Разбойников“. Оперы почти не существует, изредка появится или „Роберт“, или „Фенелла“. Балет или, лучше сказать, Тальони всё уничтожила. Прощайте, мой незабвенный благодетель!“

„Вот уже более месяца, как мы живем вместе с несравненным Штернбергом, и живем так, как дай бог, чтобы братья родные жили. Да и какое же он доброе, кроткое создание! Настоящий художник! Ему всё улыбается, как и он всему улыбается. Счастливый, завидный характер! Карл Павлович его очень любит. Да и можно ли, знавши, не любить его?

Вот как мы проводим дни и ночи: поутру, в девять часов я ухожу в живописный класс. (Я уже делаю этюды масляными красками и в прошедший экзамен получил третий номер). Штернберг остается дома и делает из своих эскизов или рисунки акварелью, или небольшие картины масляными красками. В одиннадцать часов я или захожу к Карлу Павловичу, или прихожу домой и завтракаем с Штерн-

бергом чем бог послал. Потом я опять ухожу в класс и остаюся там до трех часов. В три часа мы идем обедать к мадам Юргенс, иногда и Карл Павлович с нами, потому что я почти каждый день в это время заставал его у Штернберга и он часто отказывался от роскошного аристократического обеда для мизерного демократического супа. Истинно необыкновенный человек! После обеда я отправляюся в классы. К семи часам в классы приходит Штернберг, и мы или идем в театр, или, немного погулявши по набережной, возвращаемся домой, и я читаю что-нибудь вслух, а он работает, или я работаю, а он читает. Недавно мы прочитали „Вудсток“ Вальтера Скотта. Меня чрезвычайно заинтересовала сцена, где Карл II Стюарт, скрывающийся под чужим именем в замке старого баронета Ли, открывается его дочери Юлии Ли, что он король Англии, и предлагает ей при дворе своем почетное место наложницы. Настоящая королевская благодарность за гостеприимство! Я начертил эскиз и показал Карлу Павловичу. Он похвалил мой выбор и самый эскиз и велел изучать Павла Делароша.

Штернберг недавно познакомил меня с семейством Шмидта. Это какой-то дальний его родственник, прекрасный человек, а семейство его — это просто благодать господня. Мы часто по вечерам бываем у них, а по воскресеньям и обедаем. Чудное, милое семейство! Я всегда выхожу от них как будто чище и добрее. Я не знаю, как и благодарить Штернберга за это знакомство.

Еще познакомил он меня с домом малороссийского аристократа, того самого, у которого вы с ним встретились прошедшее лето в Малороссии. Я редко там бываю и то, собственно, для Штернберга: не нравится мне этот покровительственный тон и подлая лесть его неотесанных гостей, которых он кормит своими роскошными обедами и поит малороссийскою сливянкой. Я долго не мог понять, как это Штернберг терпит подобные картины. Наконец, дело открылось само собой. Он однажды возвратился от

Тарновских совершенно не похож на себя, т. е. сердитый. Долго молча ходил он по комнате, наконец лег в постель, встал и опять лег и это повторил он раза три, наконец успокоился и заснул. Слышу— он во сне произносит имя одной из племянниц Тарновского. Тут я начал догадываться, в чем дело. На другой день Виля мой опять отправился к Тарновскому и возвратился поздно ночью в слезах. Я притворился, будто не замечаю этого. Он упал на диван и, закрыв лицо руками, рыдал как ребенок. Так прошло по крайней мере час. Потом поднялся он с дивана, подошел ко мне, обнял меня, поцеловал и горько улыбнулся, сел около меня и рассказал мне историю любви своей. История самая обыкновенная: он влюбился в старшую племянницу Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем же, но в деле брака предпочла ему какого - то лысого доктора Бурцева. Самая обыкновенная история. После исповеди он немного успокоился, и я уложил его в постель.

На другой и третий день я его почти что не видел: уйдет рано, придет поздно, а где он проводит дни, бог его знает. Пробовал я с ним заговаривать, но он едва мне отвечает. Предлагал посетить Шмидтов, но он отрицательно кивнул головою. В воскресенье поутру предложил я ему поехать в оранжереи Ботанического сада, и он, правда, принужденно, но согласился. Оранжереи на него подействовали благодетельно. Он повеселел, начал мечтать о путешествии в те волшебные края, где растут все эти удивительные растения, как у нас чертополох.

Выйдя из оранжерей, я предложил пообедать на Крестовском в немецком трактире. Он охотно согласился. После обеда мы послушали тирольцев, посмотрели, как с гор катаются, и поехали прямо к Шмидту. Шмидты в тот же день обедали у Фицтума (инспектора университета) и на вечер там осталися. Мы туда, нас [встретили] вопросом, с восклицанием — где мы пропадали? У Фицтума насладившись квинтетом Бетховена и сонатою Моцарта, где солировал знаменитый Бем,— часу в первом ночи возвратилися

на квартиру. Бедный Виля опять задумался. Я не утешаю его, да и чем я его могу утешить?

На другой день, по поручению Карла Павловича, я пошел в магазин Смирдина и между прочими книгами взял два номера „Библиотеки для чтения“, где помещен „Никлас Никльби“, роман Диккенса. Я думаю устроить литературные вечера у Шмидтов и пригласить Штернберга. Как затеяно, так и сделано. В тот же день, после вечерних классов, отправились мы к Шмидтам с книгами подмышкой. Выдумка моя была принята с восторгом, и после чаю началося чтение. Первый вечер читал я, второй Штернберг, потом опять я, потом опять он, и так мы продолжали, пока кончили роман. Это имело прекрасное влияние на Штернберга. После „Никласа Никльби“ таким же порядком прочитали мы „Замок Кенильворт“, потом „Пертскую красавицу“ и еще несколько романов Вальтера Скотта. Часто просиживали мы за полночь и не видали, как и рождественские праздники наступили. Штернберг почти пришел в себя, по крайней мере работает и меньше грустит. Даст бог, и это пройдет. Прощайте, мой отец родной! Не обещаюсь писать вам в скором времени, потому что праздники наступают, а я уже сделал себе по милости Штернберга, кроме Шмидтов, еще некоторые знакомства, и знакомства, которые следует поддерживать. Сделал я себе к празднику новую пару платья и из английской байки пальто, точно такое, как у Штернберга, чтобы недаром нас Шмидты называли Кастором и Поллуксом. А к весне думаем заказать себе камлотовые шинели. У меня теперь деньги водятся. Я начал рисовать акварельные портреты, сначала по-приятельски, а потом и за деньги, только Карлу Павловичу еще не показываю,— боюся. Я больше придерживаюсь Соколова,— Гау мне не нравится — приторно-сладкий. Думаю еще заняться французским языком, это необходимо. Предлагала мне свои услуги одна пожилая вдова с тем, чтобы я ее сына учил рисовать,— взаимное одолжение. Но мне оно не нравится,— во-первых, потому, что дале-

ко ходить (в Эртелев переулок), а во-вторых, возиться два часа с избалованным мальчуганом — это тоже порядочная комиссия. Лучше же я эти два часа употреблю на акварельный портрет и заплачу учителю деньги. Я думаю, и вы скажете, что лучше. У Карла Павловича есть Гиббон на французском языке, и я не могу смотреть на него равнодушно. Не знаю, видели ли вы его эскиз или, лучше сказать, небольшую картину „Посещение Рима Гензерихом". Теперь она у него в мастерской. Чудная! как и всё чудное, что выходит из-под его кисти. Если не видали, то я сделаю небольшой рисунок и пришлю вам. „Бахчисарайский фонтан" тоже пришлю. Это, кажется, еще при вас начато?

Ах, да! чуть-чуть было не забыл, — готовится необыкновенное событие: Карл Павлович женится, после праздника свадьба. Невеста его — дочь рижского почетного гражданина Тимма. Я не видел ее, но, говорят, удивительная красавица. Брата ее я встречаю иногда в классе: он ученик Заурвейда, чрезвычайно красивый юноша. Когда всё это совершится, то опишу вам с самомельчайшими подробностями, а пока еще раз прощайте, мой незабвенный благодетель!"

„Вот уже два месяца, как я не писал вам. Такое долгое молчание непростительно, но я как будто нарочно выжидал, пока кончится интересный эпизод из жизни Карла Павловича. В последнем письме писал я вам о предполагаемой женитьбе, теперь опишу вам подробно, как это совершилось и как разрушилось.

В самый день свадьбы Карл Павлович оделся как он обыкновенно одевается, взял шляпу и, проходя в мастерскую, остановился перед копией Доменикино, уже оконченной. Долго стоял он молча, потом сел в кресла. Кроме его и меня, в мастерской никого не было. Молчание длилось еще несколько минут. Потом он, обращаясь ко мне, сказал:

— Цампиери как будто говорит мне: „не женись, погибнешь".

Я не нашелся, что ему сказать, а он взял шляпу и пошел к своей невесте. Во весь этот день он не возвращался к себе на квартиру. Приготовлений к празднику не было совершенно никаких, даже ростбифа Лукьян не жарил в этот день,—словом, ничего похожего не было на праздник. В классе я узнал, что будет он венчаться в восемь часов вечера в лютеранской церкви св. Анны, что на Кирочной. После класса взяли мы с Штернбергом извозчика и отправились на Кирочную. Церковь уже была освещена, и Карл Павлович с Заурвейдом и братом невесты был в церкви. Увидя нас, он подошел, подал нам руку и сказал:—Женюсь.—В это самое время вошла в церковь невеста, и он пошел ей навстречу. Я в жизнь мою не видел да и не увижу такой красавицы. В продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись. Он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту. Обряд кончился, мы поздравили счастливых супругов, проводили их до кареты и по дороге заехали к Клею, поужинали и за здоровье молодых выпили бутылку Клико. Всё это происходило 8 генваря 1839 года. И у Карла Павловича свадьба кончилась бутылкой Клико. Ни в тот, ни в последующие дни не было никакого праздника.

Через неделю после этого события встретился я с ним в коридоре, как раз против квартиры графа Толстого, и он зазвал меня к себе и оставил обедать. В ожидании обеда он что-то чертил в своем альбоме, а меня заставил читать „Квентин Дорварда". Только что я начал читать, как он остановил меня и довольно громко крикнул: — Эмилия! — Через минуту вошла ослепительная красавица, жена его. Я неловко поклонился ей, а он сказал:

— Эмилия! На чем мы остановились? Или нет, садись, ты сама читай. А вы послушайте, как она мастерски читает по-русски.

Она сначала не хотела читать, но потом раскрыла книгу, прочитала несколько фраз с сильным немецким выговором, захохотала, бросила книгу и убежала.

Он позвал ее опять и с нежностью влюбленного просил ее сесть за фортепиано и спеть знаменитую каватину из „Нормы“. Без малейшего жеманства она села за инструмент и после нескольких прелюдий запела. Голос у нее не сильный, не эффектный, но такой сладкий, чарующий, что я слушал и сам себе не верил, что я слушал пение существа смертного, земного, а не какой-нибудь воздушной феи. Или это магическое влияние красоты, или она действительно хорошо пела, теперь я вам не могу сказать основательно, только я и теперь как будто слышу ее волшебный голос. Карл Павлович тоже был очарован ее пением, потому что сидел он сложа руки над своим альбомом и не слышал, как вошел Лукьян и два раза повторил: — Кушанье подано.

После обеда на тот же стол подал Лукьян фрукты и бутылку лакрима-кристи. Пробило пять часов, и я оставил их за столом и ушел в класс. На прощанье Карл Павлович подал мне руку и просил приходить к ним каждый день к обеду. Я был в восторге от такого приглашения.

После классов встретил я их на набережной и присоединился к ним. Вскоре они пошли домой и меня пригласили к себе. За чаем Карл Павлович прочитал „Анджело“ Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с его жены портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что жена его косая. Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему тем же. Вскоре после этого поэт был убит и оставил нас без портрета. Кипренский изобразил его каким-то денди, а не поэтом.

После чаю молодая очаровательная хозяйка выучила нас в „гальбе-цвельф“ и проиграла мне двугривенный, а мужу каватину из „Нормы“ и сейчас же села за фортепиано и расплатилась. После такого великолепного финала я поблагодарил очаровательную хозяйку и хозяина и отправился домой. Это уже было далеко за полночь. Штернберг еще не спал, дожидался меня. Я, не снимая шляпы, рас-

сказал ему свои похождения, и он назвал меня счастливцем.

— Позавидуй же и мне,— сказал он.— Меня приглашает генерал-губернатор Оренбургского края к себе в Оренбург на лето, и я был сегодня у Владимира Ивановича Даля, и мы условились уже насчет поездки. На будущей неделе — прощай!

Меня это известие ошеломило. Я долго говорить не мог и, придя в себя, спросил его:

— Когда же это ты так скоро успел всё обделать?

— Сегодня,— отвечал он,— часу в десятом присылает за мною Григорович. Я явился. Он предлагает мне это путешествие, я соглашаюсь, отправляюся к Далю,— и дело кончено.

— Что же я буду без тебя делать? Как же я буду жить без тебя? — спросил я его сквозь слезы.

— Так, как и я без тебя,— будем учиться, работать и одиночества не заметим. Вот что,— прибавил он,— завтра мы обедаем у Иохима. Он тебя знает и просил меня привести тебя к себе. Согласен?

Я отвечал: — Согласен,— и мы легли спать.

На другой день мы обедали у Иохима. Это сын известного каретника Иохима, веселый, простой и прекрасно образованный немец. После обеда показывал он нам свое собрание эстампов и, между прочим, несколько тетрадей только что полученных превосходнейших литографий Дрезденской галереи. Так как это было в субботу, то мы и вечер провели у него. За чаем как-то речь зашла о любви и о влюбленных. Бедный Штернберг как на иголках сидел. Я старался переменить разговор, но Иохим, как нарочно, раздувал его и, в заключение, про самого себя рассказал следующий анекдот:

— Когда я был влюблен в мою Адельгейду, а она в меня нет, то я решился на самоубийство. Я решился умертвить себя угаром. Приготовил всё, что следует, как-то: написал записки нескольким друзьям, и между прочим ей (и он указал на жену), достал бутылку рому и велел принести жаровню с холодным угольем, лучины и свечу. Когда всё это

было готово, я запер на ключ двери, налил стакан рому, выпил, и мне начал грезиться „Пир Валтасара“ Мартена. Я повторил дозу, и мне уже ничего не грезилось. Уведомленные о моей преждевременной и трагической смерти друзья сбежались, выломали двери и нашли меня мертвецки пьяного. Дело в том, что я забыл уголья зажечь, а то бы непременно умер. После этого происшествия она сделалась ко мне благосклоннее и, наконец, решилась сделать меня своим мужем.

Рассказ свой заключил он добрым стаканом пунша.

Иохим мне чрезвычайно понравился своей манерой, и я вменил себе в обязанность навещать его как можно чаще.

Воскресенье мы провели у Шмидта, в одиннадцать часов возвратились на квартиру и уже раздеваться начали. Штернбергу понадобился носовой платок, он сунул руку в карман и вместо платка вынул афишу.

— Я и забыл! Сегодня в Большом театре маскарад,— сказал Штернберг, развертывая афишу.— Поедем!

— Пожалуй, поедем: спать рано,— сказал я, и, надевши вместо сюртуков фраки, поехали сначала к Полицейскому мосту в магазин костюмов, взяли капуцины и черные полумаски и отправились в Большой театр. Сияющий зал быстро наполнялся замаскированной публикой, музыка гремела, и в шуме общего говора визжали маленькие капуцины. Скоро сделалося жарко, и маска мне страшно надоела, я снял ее, Штернберг тоже. Может быть, иным показалось это странным, да нам-то какое дело!

Мы пошли в верхние боковые залы вздохнуть от тесноты и жару. Нас, хоть бы на смех, не преследовала ни одна маска. Только на лестнице встретил нас Элькан, тот самый господин в очках, что встретился мне однажды с Михайловым. Он меня узнал, Штернберга он тоже узнал и, хохоча во всё горло, заключил нас в свои объятия. В это время подошел к нему молодой мичман, и он отрекомендовал нам его, называя своим искренним другом Сашею Обо-

Послѣ класовъ встрѣтилъ я ихъ на набереж-
ной и присоединился к нимъ. В скоромъ они по-
шли домой и меня пригласили къ себѣ. За ча-
емъ Карлъ Павловичъ прочиталъ Анжело
Пушкина, и разсказалъ какъ покойный Алек-
сандръ Сергѣевичъ просилъ его написать съ
его жены портретъ, и какъ онъ безцере-
монно отказалъ ему, потому что жена
его косила. Онъ предлагалъ Пушкину съ са-
мого его написать портретъ, но Пушкинъ
отплатилъ ему тѣмъ же. Вскорѣ послѣ это-
го поэтъ ~~[illegible]~~ умеръ и оставилъ насъ
безъ портрета. Кипренскій изобразилъ его
какимъ то дэнди, а не поэтомъ.
Послѣ чаю [redacted] молодая
очаровательная хозяйка выучила насъ
въ Шальбе цвельферъ. и проиграли мнѣ двуг-
ривенный, а музыку Каватину изъ Нормы
и сейчасъ же сѣла за фортепьяно и розыграли
насъ.

Автограф повісті „Художник“.

лонским. Был уже третий час, когда мы поднялись наверх. В одной из боковых зал накрытый стол и жующая публика возбудили во мне аппетит. Я это сообщил Штернбергу шопотом, а он вслух изъявил согласие. Но Элькан и Оболонский против этого протестовали и предложили ехать к неизменному Клею и поужинать как следует.

— А то,— прибавил Элькан,— здесь не накормят, а возьмут вдесятеро.

Мы единодушно изъявили согласие и отправились к Клею.

Мне молодой мичман понравился своею разбитною манерою. До сих пор встречался я только со своими скромными товарищами, а светского юношу еще в первый раз увидел вблизи. Каламбурами и остротами так и сыплет, а водевильных куплетов без счету,— просто прелесть юноша! Мы просидели у Клея до рассвета, и так как удалой мичман был немного подгулявши, то мы взяли его к себе на квартиру, а с Эльканом расстались в трактире.

Вот как я нынче живу! По маскарадам шляюся, в трактире ужинаю, деньги как попало трачу, а давно ли, давно ли сияло над Невою то незабвенное утро, в которое вы меня в первый раз увидели в Летнем саду перед статуей Сатурна? Незабвенное утро! незабвенный мой благодетель! Чем я и как я достойно возблагодарю вас? Кроме чистой сердечной слезы-молитвы, я ничего не имею.

В девять часов я, по обыкновению, пошел в класс, а Штернберг с гостем осталися дома; гость еще спал. В одиннадцать часов зашел я к Карлу Павловичу и получил милейший выговор от милейшей Эмилии Карловны. До второго часу играли мы в „гальбе-цвельф“. Она хотела, чтобы я до обеда оставался с ними. Я уже начал было соглашаться, но Карл Павлович заметил, что манкировать не должно, и я, сконфуженный по уши, пошел в класс. В три часа я опять явился, а в пять часов оставил их за столом и опять ушел в класс.

Так проводил я все дни у них, как вышеописан-

ный, кроме субботы и воскресенья. Суббота была посвящена Иохиму, а воскресенье — Шмидту и Фицтуму. Вы замечаете, что все мои знакомые — немцы, но какие прекрасные немцы! Я просто влюблен в этих немцев.

Штернберг в продолжение недели хлопотал о своем путешествии и, верно, что-нибудь забыл, это в его натуре. В субботу мы отправилися к Иохиму, встретили там старика Кольмана, известного акварелиста и учителя Иохима.

После обеда заставил Кольман ученика своего показать нам свои этюды с деревьев, на что ученик неохотно согласился. Этюды сделаны черным и белым карандашом на серой бумаге, и сделаны так превосходно, так отчетливо, что я не мог налюбоваться ими. За один из этюдов он получил вторую серебряную медаль, и добрый Кольман, как торжество ученика своего, хвалил этот рисунок до небес и всем святым божился, что он сам не нарисует так прекрасно.

Так как Штернбергу оставалось только дня два, не более, провести с нами, то Иохим и спросил у него, как он намерен распорядиться этими днями? Штернберг, кажется, об этом и не подумал. И Иохим предложил вот что: завтра, т. е. в воскресенье, посетить галереи Строганова и Юсупова, а в понедельник Эрмитаж. Проект был принят, и на другой день заехали мы к Иохиму и отправились в галерею Юсупова. Доложили князю, что такие-то художники просят позволения посмотреть его галерею, на что вежливый хозяин велел сказать нам, что сегодня воскресенье и прекрасная погода, а потому и советует нам, вместо изящных произведений, насладиться лучше великолепной погодою. Нам, разумеется, осталося поблагодарить князя за обязательный совет и больше ничего. Чтобы не выслушать подобного совета и у Строганова, мы отправились в Эрмитаж и часа три наслаждались, как истинные поклонники прекрасного искусства. Обедали у Иохима, а вечер провели в театре.

В понедельник поутру Штернберг получил записку от Даля. Владимир Иванович писал ему, чтобы он в три часа был готов к выезду. Он поехал проститься со своими друзьями, а я принялся укладывать его чемодан. К трем часам мы уже были у Даля, а в четыре мы поцеловались с Штернбергом у Средней рогатки, и я один возвратился в Петербург, чуть-чуть не в слезах. Думал было заехать к Иохиму, но мне хотелось уединения и не хотелось ехать к себе на квартиру: я боялся пустоты, которая меня поразит дома. Отпустив у заставы извозчика, я пошел пешком. Пространство, пройденное мною, не утомило меня, как я этого ожидал, и я долго еще [ходил] по набережной против Академии. В квартире Карла Павловича светился огонь. Огонь вскоре погас, и через минуту вышел он с женою на набережную. Я, чтобы не встретиться с ними, ушел к себе и, не зажигая огня, разделся и лег в постель.

Я теперь почти не бываю дома: скука и пустота без Штернберга. Михайлов поселился со мною и попрежнему не сидит дома. Он тоже где-то познакомился с мичманом Оболонским, вероятно, у Элькана. Он часто приходит ночью, и если Михайлова нет дома, то он ложится спать на его постели. Юноша этот мне начинает менее нравиться, чем прежде: или он действительно однообразен, или это мне так кажется, потому что я сам теперь на себя не похож. И в самом деле, классы посещаю попрежнему исправно, но работаю вяло. Карл Павлович это заметил, мне это досадно, и я не знаю, как исправиться. Эмилия Карловна со мною попрежнему любезна и попрежнему играет со мною в „гальбе-цвельф". Вскоре после отъезда Штернберга он велел мне приготовить карандаши и бумагу. Он хочет нарисовать 12 головок с жены своей, в разных поворотах, для предполагаемой картины из баллады Жуковского „Двенадцать спящих дев". Бумага и карандаши лежат, однако ж, без всякого употребления.

Это было в конце февраля; я, по обыкновению,

обедал у них. В этот роковой день она мне показалась особенно очаровательною. За обедом потчевала меня вином и была так любезна, что когда пробило пять часов, то я готов был забыть про класс, однако ж, она сама мне про него напомнила. Делать было нечего, я встал из-за стола и ушел, не прощаясь, обещаяся зайти из класса и непременно обыграть ее в „гальбе-цвельф“.

Классы кончились, захожу я, по обещанию, к ним. Меня в дверях встречает Лукьян и говорит, что барин никого принимать не приказали. Я немало удивился такому превращению и пошел к себе на квартиру. Против обыкновения, застал я дома Михайлова и удалого мичмана. Вечер пролетел у нас в веселой болтовне. Часу в двенадцатом они пошли ужинать, а я лег спать.

На другой день поутру из класса захожу я к Карлу Павловичу, вхожу в мастерскую, и он встречает меня весело такими словами:

— Поздравьте меня, я холостой человек!

Сначала я его не понял, но он повторил мне еще раз. Я все еще не верил, и он прибавил совсем не весело:

— Жена моя вчера после обеда ушла к Заурвейдовой и не возвращалась.

Потом он велел Лукьяну сказать Липину, чтобы тот подал ему палитру и кисти. Через минуту всё было подано, и он сел за работу. На станке стоял неоконченный портрет графа Мусина-Пушкина. Он принялся за него. Как ни старался он казаться равнодушным, работа ему сильно изменяла. Наконец, он бросил палитру и кисти и проговорил как бы про себя:

— Неужели это меня так тревожит? Работать не могу.

И он ушел к себе наверх.

Во втором часу я ушел в класс, все еще не совсем уверенный в случившемся. В три часа я вышел из класса и не знал, что делать: итти ли мне к нему или оставить его в покое. Лукьян встретил меня в ко-

ридоре и разрешил мое недоумение, сказавши:— Барин просят обедать.— Обедал я, однако ж, один, а Карл Павлович ни до чего не дотронулся, даже за стол не садился, жаловался на головную боль, а сам курил сигару. На другой день он слег в постель и пролежал две недели. В это время я не отходил от него. В нем по временам показывался горячечный бред, но он ни разу не произнес имя жены своей. Наконец, он начал поправляться и в один вечер пригласил брата своего Александра и просил его рекомендовать ему адвоката, чтобы хлопотать о формальной разводной. Теперь он уже выходит и заказал Довициели большой холст — думает начать картину „Взятие на небо божией матери“ для Казанского собора, а в ожидании холста и лета начал портрет во весь рост князя Александра Николаевича Голицына и Федора Ивановича Прянишникова. Старик будет изображен в сидячем положении, в андреевской ленте и в сером фраке.

Не пишу вам о слухах, какие ходят о Карле Павловиче и в городе, и в самой Академии. Слухи самые нелепые и возмутительные, которые повторять грешно. В Академии общий голос называет автором этих гадостей Заурвейда, и я имею основание этому верить. Пускай всё это немного постареет, и тогда я вам сообщу мои подозрения, а пока скопятся и выработаются материалы, прощайте, мой незабвенный благодетель!

P. S. От Штернберга из Москвы получил я письмо. Добрый Виля! Он и вас не забывает, кланяется вам и просит, если случится вам встретить в Малороссии племянницу Тарновского, госпожу Бурцеву, то засвидетельствуйте ей от него глубочайшее почтение. Бедный Виля, он всё еще ее помнит!“

Следующее за этим письмо я не помещаю, потому что оно, кроме нелепых сплетен и самой гнусной клеветы, адресованной на имя Карла Великого, ничего в себе не заключает, а такие вещи не должны иметь места в сказании о благороднейшем из

людей. Несчастное его супружество кончилось полюбовной сделкой, т. е. разводом, за который он заплатил ей 13.000 рублей ассигнациями. Вот и весь интерес письма.

„Петербургского серенького лета как не бывало. На дворе сырая, гнилая осень, а в Академии нашей блистательная выставка. Что бы вам приехать взглянуть на нее? И я на вас бы полюбовался. По части живописи из ученических работ особенно замечательного ничего нет, кроме программы Петровского „Явление ангела пастухам“. Зато скульпторы отличились — Рамазанов и Ставассер, особенно Ставассер. Он исполнил круглую статую молодого рыбака, и как исполнил! Просто прелесть, особенно выражение лица — живое, дыхание затаившее лицо следит за движением поплавка. Я помню, когда статуя была еще в глине, Карл Павлович нечаянно зашел в кабинет Ставассера и, любуясь его статуею, посоветовал ему вдавить немного нижнюю губу рыбака. Он это сделал, и выражение изменилось. Ставассер готов был молиться на великого Брюллова.

О живописи вообще скажу вам, что для одной картины Карла Павловича стоило приехать из Китая, а не только из Малороссии. Чудо - богатырь: за один присест и подмалевал, и кончил, и теперь угощает алчную публику своим дивным произведением. Велика его слава и необъятен его гений!

Что мне вам про себя самого сказать? Получил первую серебряную медаль за этюд с натуры. Еще написал небольшую картину масляными красками — „Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором“. Вот и всё. В продолжение лета постоянно занимался в классах и рано по утрам ходил с Иохимом на Смоленское кладбище лопухи и деревья рисовать. Я более и более влюбляюсь в Иохима. Мы с ним почти каждый день видимся, он постоянно посещает вечерние классы; хорошо сошелся с Карлом Павловичем, и они часто бывают друг у

друга. Иногда мы позволяем себе прогулки на Петровский и Крестовский острова, с целию нарисовать черную ель или белую березу. Раза два ходили пешком в Парголово, и там познакомил я его со Шмидтами. Они летом живут в Парголове. Иохим чрезвычайно доволен этим знакомством. Да кто не будет доволен семейством Шмидта!

Расскажу вам еще одно презабавное происшествие, недавно со мною случившееся. В одном этаже со мною поселился недавно какой-то чиновник с семейством. Семейство его — жена, двое детей и племянница, прекрасная девушка, лет пятнадцати. Каким родом я узнал все эти подробности, я вам сейчас расскажу. Вы помните хорошо вашу бывшую квартиру: из крошечной прихожей дверь отворяется на общий коридор. Однажды я отворяю эту дверь, и, представьте мое изумление,— передо мною стоит прекрасная девушка, сконфуженная и раскрасневшаяся до ушей. Я не знал, что сказать ей и, с минуту помолчавши, поклонился, а она, закрыв лицо руками, убежала и скрылась в соседней двери. Я не мог понять, что бы это значило, и после долгих догадок и предположений пошел в класс. Работал я плохо, мне всё мешала загадочная девушка. На другой день она [снова встретила меня] на лестнице и вспыхнула, как и прежде, я тоже попрежнему остолбенел. Через минуту она захохотала так детски, так чистосердечно, что я не утерпел и начал ей вторить. Чьи-то шаги послышались на лестнице и уняли наш смех. Она приложила палец к губам и убежала. Я тихо поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру, еще больше озадаченный, чем в первый раз. Она мне несколько дней покою не давала: я поминутно выходил в коридор в надежде встретить знакомую незнакомку, но она если и выбегала на коридор, то так быстро пряталась, что я не успевал ей кивнуть головою, а не то чтобы порядочно поклониться. В таком положении прошла целая неделя. Я уже начал было ее забывать. Только слушайте, что случилось. В воскресенье, часу в де-

сятом утра, входит ко мне Иохим, и отгадайте, кого он ввел за собою? Мою таинственную раскрасневшуюся красавицу.

— Я у вас поймал вора,— говорил он, смеяся.

При взгляде на загадочную шалунью я сам сконфузился никак не меньше пойманного вора. Иохим это заметил и, выпуская руку красавицы, лукаво улыбнулся. Освобожденная красавица не исчезла, как можно было предполагать, а осталася тут же и, поправивши косыночку и косу, осмотрелась и проговорила:

— А я думала, что вы как раз против дверей сидите и рисуете, а вы вон где, в другой комнате.

— А если бы против дверей он рисовал, тогда бы что?— сказал Иохим.

— Тогда бы я смотрела в дырочку, как они рисуют.

— Зачем в дырочку? Я уверен, что товарищ мой настолько вежлив, что позволит оставаться в комнате во время работы.

И я, в подтверждение слов Иохима, кивнул головою и предложил стул гостье. Она, на мою вежливость не обратив внимания, обратилась к стоявшему на станке недавно мною начатому портрету госпожи Саловой. Только что она начала приходить в восторг от нарисованной красавицы, как послышался резкий голос в коридоре:

— Где же это она пропала! Паша!

Гостья моя вздрогнула и побледнела.

— Тетенька,— прошептала она и бросилась к дверям. У дверей остановилась и, приложив пальчик к губам, с минуту постояла и скрылась.

Посмеявшись этому оригинальному приключению, отправились мы с Иохимом к Карлу Павловичу.

Приключение это само по себе ничтожно, но меня оно как будто бы беспокоит; оно у меня из головы не выходит, я об нем постоянно думаю; Иохим иногда подтрунивает над моей задумчивостью, и мне это не нравится. Мне даже досадно, зачем он случился при этом приключении.

Сегодня я получил письмо от Штернберга. Он

собирается в какой-то поход на Хиву и пишет, чтобы не ждать его к праздникам, как он прежде писал, в Петербург. Мне скучно без него. Он для меня никем не заменимый. Михайлов уехал к своему мичману в Кронштадт, и я уже более двух недель его не вижу. Прекрасный художник, благороднейший человек и, увы, самый безалаберный! На время его отсутствия я пригласил к себе по рекомендации Фицтума студента Демского. Скромный и прекрасно образованный и, вдобавок, бедный молодой поляк. Он целый день проводит в аудитории, а по вечерам занимается со мною французским языком и читает Габбона. Два раза в неделю, по вечерам, я хожу в зал Вольного экономического общества слушать лекции физики профессора ..... Хожу еще, вместе с Демским, раз в неделю слушать лекции зоологии профессора Куторги. У меня, как вы сами видите, даром время не проходит. Скучать совершенно некогда, а я все-таки скучаю. Мне чего-то недостает, а чего — я и сам не знаю. Карл Павлович теперь ничего не делает и почти дома не живет. Я с ним вижуся весьма редко, и то на улице. Прощайте, мой незабвенный, мой благодетель! Не обещаюсь вам писать вскоре: время у меня проходит скучно, монотонно, писать не о чем, и я не хотел бы, чтобы вы дремали над моими однообразными письмами так, как я теперь дремлю над этим посланием. Еще раз прощайте!"

„Я обманул вас: не обещал вам писать вскоре, а вот не прошло и месяца после последнего моего послания, а я опять принимаюсь за послание. Событие поторопило. Оно-то обмануло вас, а не я. Штернберг заболел в хивинском походе, и умный, добрый Даль посоветовал ему оставить военный лагерь и возвратиться во-свояси, и он совершенно неожиданно явился передо мною 16 декабря ночью. Если бы я был один в комнате, то я принял бы его за видение и, разумеется, испугался бы, но мы были с Демским и переводили самую веселую главу из

„Брата Якова“ Поль де Кока, следовательно, явление Штернберга мне показалось почти естественным явлением, хотя удивление и радость мои от этого нисколько не уменьшились. После первых объятий и лобзаний отрекомендовал я ему Демского, и как еще было только десять часов, то мы отправились в „Берлин“ напиться чаю. Ночь, разумеется, прошла в расспросах и рассказах. На рассвете Штернберг изнемог и заснул, а я, дождавшись утра, принялся за его портфель, такую же полную, как и прошлого года он привез из Малороссии. Но здесь уже не та природа, не те люди. Хотя всё так же прекрасно и выразительно, но совершенно всё другое, кроме меланхолии, но это, может быть, отражение задумчивой души художника. Во всех портретах Ван-Дейка господствующая черта — ум и благородство, и это объясняется тем, что Ван-Дейк сам был благороднейший умница. Так я толкую себе общую экспрессию прекрасных рисунков Штернберга.

О, если б вы знали, как весело, как невыразимо быстро и весело мелькают для меня теперь дни и ночи. Так весело, так быстро, что я не успеваю выучивать миниатюрного урока г. Демского, за что и грозит он вовсе от меня отказаться. Но, боже сохрани, я себя до этого не доведу. Знакомства наши не уменьшились, не увеличились, всё те же, но все они расцвели, так повеселели, что мне просто не сидится дома. Хотя, правду вам сказать, дома у меня тоже не без прелести, не без очарования. Я говорю о соседке, о той самой воровке, что у дверей поймал Иохим. Что это за милое, невинное создание. Настоящий ребенок, и самый прекрасный, неиспорченный ребенок. Она ко мне каждый день несколько раз забежит, попрыгает, полепечет и выпорхнет, как птичка. Просит меня иногда рисовать ее портрет, но никак более пяти минут не высидит — просто ртуть. Недавно понадобилась мне женская рука для дамского портрета, я попросил ее подержать руку, она, как добрая, согласилась; и что же вы думаете, — секунды не подержит спокойно. Настоящий

ребенок. Так я бился, бился и, наконец, должен был пригласить модель для руки. Что же вы думаете? Только что я усадил модель и взял палитру в руки, вбегает в комнату соседка, как всегда резвая, смеющаяся, и только увидела натурщицу, вдруг окаменела, потом зарыдала и, как тигренок, бросилась на нее. Я не знал, что и делать. По счастью, случилась у меня малиновая бархатная мантилья той самой дамы, с которой я портрет писал. Я взял мантилью и накинул ей на плечи. Она опомнилась, подошла к зеркалу, полюбовалась на себя с минуту, потом бросила на пол мантилью, плюнула на нее и выбежала из комнаты. Я отпустил модель, и рука попрежнему осталась незаконченною.

Три дня после этого происшествия не показывалась соседка в моей квартире. Если встречалась со мной в коридоре, то закрывала лицо руками и убегала в противоположную сторону. На четвертый день, только что я пришел из класса домой и начал приготовлять палитру, как входит соседка, скромная, тихая,— я просто не узнавал ее. Молча обнажила по локоть руку, села на стул и приняла позицию изображаемой дамы. Я, как ни в чем не бывало, взял палитру, кисти и принялся за работу. Через час рука была окончена. Я рассыпался в благодарности за такую милую услугу, но она хоть бы улыбнулась, встала, опустила рукав и молча вышла из комнаты. Меня это, признаюся вам, задело за живое, и я теперь ломаю голову, как восстановить мне прежнюю гармонию. Так прошло еще несколько дней, гармония начала видимо восстановляться. Она уже не бегала от меня в коридоре, а иногда даже и улыбалась. Я уже начинал надеяться, что вот-вот дверь растворится и влетит моя птичка краснопёрая. Дверь, однако ж, не растворялась и птичка не показывалась. Я начинал беспокоиться и придумывать силок для коварной птички. И когда рассеянность моя стала делаться несносною не только мне самому, но и добрейшему Демскому, в это самое время, как ангел с неба, является ко мне Штернберг из киргизской степи.

Теперь я живу совершенно одним Штернбергом и для одного Штернберга, так что если б соседка не попадалась мне иногда в коридоре, то, может быть, я бы и совсем ее забыл. Ей ужасно хочется забежать ко мне, но вот горе: Штернберг постоянно дома, а если уходит со двора, то и я с ним ухожу. На празднике она, однако ж, не утерпела, и так как нас по вечерам дома не бывает,— то она замаскировалася днем и прибежала к нам. Я притворился, что не узнаю ее. Она долго вертелася и всячески старалася показать, чтобы я узнал ее, но я упорно стоял на своем. Наконец, она не вытерпела, подошла ко мне и почти вслух сказала:

— Несносные, ведь это я!

— А когда вы снимите маску,— сказал я шопотом,— тогда я узнаю, кто вы.

Она немного замялася, потом сняла маску, и я отрекомендовал ей Штернберга.

С того дня у нас пошло все попрежнему. С Штернбергом она не церемонится точно так же, как и со мною. Мы ее балуем разными лакомствами и обращаемся с нею как добрые братья с родною сестрою.

— Кто она такая? — однажды спросил меня Штернберг.

Я не знал, что отвечать на этот внезапный вопрос. Мне никогда и в голову не приходило спросить ее об этом.

— Должно быть, или сирота, или дочь самой беспечной матери,— продолжал он.— Во всяком случае она жалка. Умеет ли она хоть грамоте?

— И этого не знаю,— отвечал я нерешительно.

— Давать бы ей читать что-нибудь,— всё бы голова не совсем была праздна. А кстати, узнай, если она читает, то я ей подарю весьма моральную и мило изданную книгу. Это „Векфильдский священник“ Гольдсмита. Прекрасный перевод и прекрасное издание.

А минуту спустя продолжал он, обращаясь ко мне с улыбкою:

— Ты замечаешь, я сегодня чувствую себя в при-

падке морали. Например, вопрос такого рода: чем могут кончиться визиты этой наивной резвушки?

По мне пробежала легкая дрожь, но я сейчас же оправился и отвечал:

— Я думаю, ничем.

— Дай бог,— сказал он и задумался.

Я всегда любуюся его благородной, детски-беззаботной физиономией, но теперь эта милая физиономия мне показалася совсем не детской, а созревшей и прочувствовавшей не свою долю физиономией. Не знаю почему, но мне невольно на мысль пришла Тарновская, и он как бы подстерег мою мысль, посмотрел на меня и глубоко вздохнул.

— Береги ее, мой друг,— сказал он,— или сам берегись ее. Как ты сам себя чувствуешь, так и делай, только помни и никогда не забывай, что женщина — святая и неприкосновенная вещь и вместе так обольстительна, что никакая сила воли не в силах противостать этому обольщению, кроме только чувства самой возвышенной евангельской любви. Оно одно только может защитить ее от позора, а нас от вечного упрека. Вооружись же этим прекрасным чувством, как рыцарь железным панцырем, и иди смело на врага.

Он на минуту замолчал.

— А я страшно постарел с прошлого года,— сказал он, улыбаясь.— Пойдем лучше на улицу. В комнате что-то душно, кажется.

Долго молча мы ходили по улице, молча возвратились на квартиру и легли спать.

Поутру я ушел в класс, а Штернберг остался дома. В одиннадцать часов я прихожу домой и что же вижу? Вчерашний профессор морали нарядил мою соседку в бобровую с бархатным верхом и с золотою кистью татарскую шапочку и какой-то красный шелковый, татарский же, шугай, и сам, надевши башкирскую остроконечную шапку, наигрывает на гитаре качучу, а соседка, что твоя Тальони, так и отделывает соло.

Я, разумеется, только всплеснул руками, а они

хоть бы тебе глазом повели — продолжают себе качучу, как ни в чем не бывало. Натанцовавшись до упаду, она сбросила шапочку, шугай и выбежала в коридор, а моралист положил гитару и захохотал как сумасшедший. Я долго крепился, но наконец не вытерпел и так чистосердечно завторил, что примо заглушил. Нахохотавшись до упаду, уселись мы на стульях один против другого и, с минуту помолчав, он первый заговорил:

— Она самое увлекательное создание. Я хотел было нарисовать с нее татарочку, но она не успела нарядиться, как принялася танцовать качучу, а я, как ты видел, не утерпел и, вместо карандаша и бумаги, схватил гитару, а остальное ты знаешь. Но вот чего ты не знаешь: до качучи она рассказала мне свою историю, разумеется, лаконически, да подробности едва ли она и сама знает, но все-таки, если б не эта проклятая шапочка, она бы не остановилась на половине рассказа, а то увидела шапку, схватила, надела — и всё забыто. Может быть, она с тобою будет разговорчивее. Выспроси у нее хорошенько, ее история должна быть самая драматическая история. Отец ее, говорит она, умер в прошлом году в Обуховской больнице.

В это время дверь растворилась, и вошел давно не виданный Михайлов, а за ним удалой мичман. Михайлов без дальних околичностей предложил нам завтрак у Александра. Мы переглянулися с Штернбергом и, разумеется, согласились. Я заикнулся было насчет класса, но Михайлов так неистово захохотал, что я молча надел шляпу и взялся за ручку двери.

— А еще хочешь быть художником! Разве в классах образуются истинные великие художники? — торжественно произнес неугомонный Михайлов. Мы согласились, что лучшая школа для художника — таверна, и в добром согласии отправились к Александру.

У Полицейского моста мы встретили Элькана, прогуливающегося с каким-то молдаванским боя-

ром и разговаривающего на молдаванском наречии. Мы взяли и его с собой. Странное явление этот Элькан: нет языка, на котором бы он не говорил, нет общества, в котором бы он не встречался, начиная от нашей братии и оканчивая графами и князьями. Он, как сказочный волшебник, везде и нигде: и на Английской набережной, у конторы пароходства — приятеля за границу провожает, и в конторе дилижансов, или даже у Средней рогатки — тоже провожает какого-нибудь задушевного москвича, и на свадьбе, и на крестинах, и на похоронах, и всё это в продолжение одного дня, который он заключает присутствием своим во всех трех театрах. Настоящий Пинетти. Его иные остерегаются, как шпиона, но я в нем не вижу ничего похожего на подобное создание. Он, в сущности, неумолкаемый говорун и добрый малый и, вдобавок, плохой фельетонист. Его еще в шутку называют Вечным Жидом, и этот [титул] он сам находит для себя приличным. Он со мною иначе не говорит как по-французски, за что я ему весьма благодарен, это для меня хорошая практика.

Вместо завтрака у Александра, мы плотно пообедали и разошлися во-свояси. Михайлов и мичман у нас переночевали и поутру уехали в Кронштадт. Святки прошли у нас быстро, значит весело. Карл Павлович велит мне приготовляться к конкурсу на вторую золотую медаль. Не знаю, что-то будет. Я так мало еще учился, но с божиею помощию попробуем. Прощайте, мой незабвенный благодетель. Не имею вам ничего сказать более".

•

„Уже и масленица и великий пост и наконец праздники прошли, а я вам не написал ни одного слова. Не подумайте, мой бесценный, мой незабвенный благодетель, что я забываю вас. Боже меня сохрани от подобного греха. Во всех помышлениях, во всех начинаниях моих вы, как самое светлое, самое отрадное существо, присутствуете в моей благодарной душе. Причина же моего молчания очень

проста: не о чем писать—однообразие. Нельзя сказать, чтобы это однообразие было скучное, монотонное,—напротив, дни, недели и месяцы для меня летят незаметно. Какое благодетельное дело труд, особенно если он находит поощрение. А я, слава богу, в поощрении не нуждаюсь: на экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего №. Карл Павлович постоянно мною доволен—какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгранично счастлив. Эскиз мой на конкурсе приняли без малейшей перемены, и я уже принялся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предался. Это сцена из „Илиады"—Андромаха над телом Патрокла. Теперь только я совершенно понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков и как мне в этом случае французский пригодился. Я не знаю, как благодарить доброго Демского за эту услугу.

Мы очень оригинально встретили праздник христова воскресения с Карлом Павловичем. Он днем еще говорил мне, что намерен итти к заутрене в Казанский собор, чтобы посмотреть свою картину при огненном освещении и крестный ход. Ввечеру велел он подать чай в 10 часов. Чтобы незаметнее прошло время, я налил ему и себе чаю, он закурил сигару, лег на кушетку и начал читать вслух „Пертскую красавицу", а я ходил взад и вперед по комнате, только я и помню. Потом слышу неясно как будто гром, раскрываю глаза — в комнате светло, лампа на столе едва горит, Карл Павлович спит на кушетке, книга на полу лежит, а я лежу в креслах и слушаю, как из пушек стреляют. Погасивши лампу, я тихонько вышел из комнаты и пошел к себе на квартиру. Штернберг еще спал. Я умылся, оделся и вышел на улицу. Люди уже с освященными пасхами выходили из Андреевской церкви. Утро было настоящее праздничное. И знаете, что меня больше всего занимало в это время? Совестно сказать, а сказать необходимо, необходимо потому, что мне грешно

было бы скрывать от вас какую бы то ни было мысль или ощущение. Я был в это время настоящий ребенок. Меня больше всего занимал тогда мой новый непромокаемый плащ. Не странно ли? Меня тешит праздничная обнова. А если подумать, так и не странно. Глядя на полы своего блестящего плаща, я думал: давно ли я в затрапезном, запачканном халате не смел и помышлять о подобном блестящем наряде, а теперь! Сто рублей бросаю за какой-нибудь плащ, просто Овидиево превращение! Или, бывало, промыслишь как-нибудь эту бедную полтину и несешь ее в раек, не выбирая спектакля; и за полтину, бывало, так чистосердечно нахохочуся и горько наплачуся, что иному и во всю жизнь свою не придется так плакать и так смеяться. И давно ли это было? Вчера, не дальше,— и такая чудная перемена. Теперь, например, я уже иначе не иду в театр, как в кресла и редко когда в места за креслами, и иду смотреть не что попало, а норовлю попасть или на бенефис, или на повторение бенефиса, или хоть и старое что-нибудь, но всегда с выбором. Правда, что я утратил уже тот непритворный смех и искренние слезы, но мне их почти не жаль. Вспоминая всё это, я вас вспоминаю, мой незабвенный благодетель, и то святое утро, в которое вас сам бог навел на меня в Летнем саду, чтобы взять меня из грязи и ничтожества.

Праздник встретил я в семействе Уваровых. Не подумайте графов — боже сохрани, мы еще так высоко не летаем. Это простое скромное купеческое семейство. Но такое доброе, милое, гармоничное, что дай бог, чтобы все семейства на свете были таковы. Я принят у них как самый близкий, родной. Карл Павлович тоже их нередко посещает.

Праздник провели мы весело. В продолжение недели ни разу не обедали у мадам Юргенс, а всё в гостях — то у Иохима, то у Шмидта, то у Фictума, а вечера или в театре, или у Шмидта. Соседка наша попрежнему нас посещает, и всё такая же шалунья, как и прежде была: жаль, что она не может служить

мне моделью для Андромахи: слишком молода и субтильна, если можно так выразиться. Я удивляюсь, что это за женщина ее тетенька. Она, кажется, и не думает о своей шалунье-племяннице. Она иногда у нас бесится часа два сряду, а тетеньке и нужды нет. Странно! Штернберг досказал мне ее историю. Матери она не помнит, а отец ее был какой-то бедный чиновник и, как кажется, пьяница, потому что, когда они жили в Коломне, то он каждый день приходил из должности „краснехонькой" (как она сама выразилась) и сердитый и если у него были деньги, то он посылал ее в кабак за водкою, а если денег не было, то посылал ее на улицу просить милостыню, а вицмундир носил всегда с прорванными локтями. Тетка ее, теперешняя покровительница, а его родная сестра иногда приходила к ним и просила его, чтобы он Пашу отдал ей на воспитание, но он и слышать не хотел. Долго ли они так жили в Коломне, она не помнит. Только однажды зимою он из должности не пришел ночевать на квартиру, она одна ночевала дома и ничего не боялась. На другую ночь он тоже не приходил, а на третий день уже пришел за нею от отца из Обуховской больницы служитель. Она пошла к нему, и служитель дорогой ей рассказал, что отца ее будочники ночью подняли на улице и отправили в часть, а из части уже на другой день в горячке привезли его в больницу и что прошлой ночью он ненадолго пришел в себя, сказал свою фамилию, рассказал, где его квартира, и просил привести ее к себе. Больной отец не узнал ее и прогнал от себя. Тогда она пошла к тетке и осталась у нее. Вот и вся ее грустная история.

На-днях подарил ей Штернберг „Векфильдского священника". Она схватила книгу, как дитя хватает хорошенькую игрушку, и, как дитя, поиграла ею, посмотрела картинки и бросила на стол, а уходя и не вспомнила о книге. Штернберг решительно уверен, что она безграмотна, я то же думаю, судя по ее печальному детству. У меня даже родилася мысль (если она действительно безграмотна) выучить

ее по крайней мере читать. Штернбергу мысль моя понравилась, и он вызвался помогать мне. И он так уверен в ее безграмотности, что в тот же день пошел в книжную лавку и купил азбучку с картинками. Но благой проект наш только проектом и остался, вот почему: на другой день, когда мы хотели приступить к первой лекции, приехал из Крыма Айвазовский и остановился у нас на квартире. Штернберг с восторгом встретил своего товарища, но мне, не знаю почему, на первый раз он не понравился. В нем есть, несмотря на его изящные манеры, что-то не симпатическое, не художническое, а что-то вежливо-холодное, отталкивающее. Портфели своей он нам не показывает, говорит — оставил в Феодосии у матери, а дорогой ничего не рисовал, потому что торопился застать первый заграничный пароход. Он прожил с нами, однако ж, с лишком месяц, не знаю по каким обстоятельствам, и в продолжение этого времени соседка нас ни разу не посетила: она боится Айвазовского, и я его за это готов каждый день проводить за границу. Но вот мое горе, — с ним вместе и мой бесценный Штернберг уезжает.

Еще прошло несколько дней, и мы проводили моего Штернберга до Кронштадта. Около него собралось нас человек десять, а около Айвазовского ни одного. Странное явление между художниками! В числе провожавших Штернберга был и Михайлов. И одолжил же он нас! После дружеского веселого обеда у Стеварта он заснул богатырски. Мы его хотели разбудить, но не могли и, взявши пару бутылок Клико, отправились с Штернбергом на пароход. На палубе „Геркулеса“ выпили вино, вручили нашего друга г. Тыринову (начальнику парохода), простились и возвратилися уже вечером в трактир. Михайлов уже полупроснулся. Мы принялися рассказывать ему, как провожали мы Штернберга,— он молчал, и как были на пароходе,— он всё молчал, и как выпили две бутылки Клико.— Негодяи! — проговорил он при слове „Клико“,— не разбудили товарища проводить.

Скучно мне без моего милого Штернберга, так скучно, что я не только от квартиры, где мне всё его напоминает, даже от резвой соседки своей готов бежать. Не пишу вам теперь ничего больше — скучно, а я вам не хочу навести скуку своим монотонным посланием. Примусь лучше за программу. Прощайте“.

„Лето так у меня быстро промелькнуло, быстрее, чем у праздного денди одна минута. Я после выставки едва только заметил, что оно уже кануло в вечность. А между прочим, в продолжение лета мы с Иохимом несколько раз посещали на Крестовском острове старика Кольмана, и под его руководством я сделал три этюда: две ели и одну березу. Добрейшее создание этот Кольман! Шмидты возвратились уже в город, и они-то мне напомнили своими упреками, что уже прошло лето. Я их ни разу не посетил: далеко, а у меня все дни и ночи были отданы программе. Зато как они искренне поздравляли меня с успехом. Да, с успехом, мой незабвенный благодетель! Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое для него счастье, если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художником. Я это счастье вполне испытал. Не могу описать вам этого чудного, этого беспредельно сладкого чувства. Это продолжительное присутствие всего святого, всего прекрасного в мире в одном человеке. Зато какое горькое, какое мучительное состояние души предшествует этой святой радости,— это ожидание. Несмотря на то, что Карл Павлович уверял меня в успехе, я так страдал, как страдает преступник перед смертной казнью, нет, больше. Я не знал, умру ли я или останусь в живых, а это, по-моему, тягостнее. Приговор еще не был произнесен, и в ожидании этого страшного приговора зашли мы с Михайловым к Дели сыграть партию в бильярд, но у меня дрожали руки, и я не мог сделать ни одного шара, а он, как ни в чем не бывало, так и режет.

А ведь он тоже был под судом — его программа стояла рядом с моею. Меня бесило такое равнодушие, я бросил кий и ушел к себе на квартиру. В коридоре встретила меня смеющаяся, счастливая соседка.

— Что? — спросила она меня.

— Ничего,— ответил я.

— Как ничего? А я убрала вашу комнату, как для светлого праздника, а вы идете такой скучный.

И она тоже хотела сделать скучную мину, но никак не могла. Я поблагодарил ее за внимание и просил в комнату. Она так детски-непритворно [стала] утешать меня, что я не утерпел, расхохотался.

— Ничего еще неизвестно, экзамен еще не кончился,— сказал я.

— Так зачем же вы меня обманули, бессовестный! Если б знала, не убирала б и комнату.

И она надула розовенькие губки.

— У Михайлова,— продолжала она,— небось я не убрала; пускай себе со своим мичманом валяются как медведи в берлоге, мне какое дело.

Я поблагодарил ее за предпочтение и спросил ее, будет ли она рада, если Михайлов медаль получит, а я нет.

— Я ему руки переломаю, глаза выцарапаю, я его убью до смерти!

— А если я?

— Я тогда сама умру от радости.

— За что же мне такое предпочтение? — спросил я ее.

— За что?.. За то... за то... что вы меня обещалися зимою грамоте учить...

— И сдержу слово,— сказал я.

— Идите же в Академию,— сказала она,— и узнайте, что там делается, а я вас подожду в коридоре.

— Зачем же не здесь? — спросил я.

— А если придет мичман, что я тогда буду делать?

— Правда,— подумал я и, не говоря ни слова, вышел в коридор. Она замкнула дверь и ключ спрятала в карман.

— Я не хочу, чтобы они без вас вошли в вашу комнату и что-нибудь испортили.

— С чего она взяла, что они у меня что-нибудь испортят,— подумал я,— так просто, детский каприз.

— До свидания,— сказал я, спускаясь по лестнице,— пожелайте мне счастья.

— От всей души,—сказала она восторженно и скрылась. Я вышел на улицу. Я боялся войти в Академию. Академические ворота мне показалися разинутою пастью какого-то страшного чудовища. Побродивши до поту на улице, я перекрестился и пробежал в страшные ворота. Во втором этаже, в коридоре, как тени у Харонова перевоза, блуждали мои нетерпеливые товарищи. В толпу их и я вмешался. Профессора уже прошли из цыркля в конференц-залу. Ужасная минута близилась. Андрей Иванович (инспектор) вышел из круглой залы, я ему первый попался навстречу, и он, проходя мимо меня, шепнул мне: — Поздравляю.— Я в жизнь свою не слыхал и не услышу такого сладкого, такого гармонического звука. Я стремглав бросился домой и в восторге расцеловал мою соседку. Хорошо еще, что никто не видел, потому что это было на лестнице. Хотя я здесь ничего предосудительного не вижу, но все-таки слава богу, что никто не видел.

Так или почти так совершился этот душу потрясающий экзамен. И всё то, что я вам написал, теперь это только темный силуэт с живой природы, слабая тень настоящего происшествия. Его ничем нельзя выразить: ни пером, ни кистью, ни даже живыми словами.

Михайлову экзамен не удался. Боже сохрани, если бы со мной случилось подобное несчастье, я бы с ума сошел, а он, как ни в чем не бывало, зашел на квартиру, надел теплое пальто и уехал к своему мичману в Кронштадт. Я не знаю, что у него за симпатия к этому мичману. Я в нем совершенно ничего не нахожу привлекающего, а он от него без души. Сначала, правда, он и мне понравился, но это ненадолго. А бедный мой учитель Демский! — вот истинно симпатический человек. Он, бедный,

болен, и неизлечимо болен: чахотка в последнем периоде. Он еще ходит, но едва-едва ходит. На-днях зашел поздравить меня с медалью, и мы с ним провели вечер в самой сладкой дружеской беседе. Он мне предсказывал мое будущее с таким убеждением, так натурально, живо, что я невольно ему верил. И бедный Демский, он и не подозревает своей болезни; он так искренно увлекается своим будущим, как может увлекаться только полный здоровья юноша. Счастливец, если можно назвать мечту счастьем. Он говорит, что главное и самое трудное уже уничтожено, т. е. нищета, что он не обязан уже просиживать ночи над перепиской лекций за какой-нибудь рубль, что он теперь совершенно независим от нищеты, может предаться своей любимой науке, что он, если не превзойдет своего идола Лелевеля в отечественной истории, то по крайней мере сравняется с ним, что будущая его диссертация откроет ему все средства осуществить свои блестящие надежды. А между тем, бедный, кашляет кровью и старается это скрыть от меня. И, боже мой, чего бы я не отдал за осуществление его пламенных желаний! Но, увы, совершенно никакой надежды,— едва ли проживет он и до вскрытия Невы.

В минуту самых сердечных излияний Демского с шумом отворилася дверь и вошел удалой мичман.

— Что, Мишка у себя?— спросил он, не снимая шапки.

— Он вчера еще уехал к вам,— отвечал я.

— Значит, мы с ним разъехались. Пусть его прогуляется. А между прочим, я у вас ночую.

И он вошел в комнату Михайлова. Я ему подал свечу. Что мне было делать? Я Демскому предложил постель Михайлова в совершенной надежде, что у нас ее никто не завоюет. Демский заметил мое невыгодное положение, улыбнулся, взял шапку и протянул мне руку. Я тоже молча взял шапку и вышел с ним на улицу, представив мичмана самому себе. Проводивши Демского до его квартиры, я весьма неохотно возвратился назад, и что же застаю

дома? Соседка моя не знала, что меня дома нет, и забежала в мою комнату, а удалой полураздетый мичман схватил ее и хотел было дверь на ключ запереть, но в это время я подошел к двери и помешал ему. Соседка вырвалась у него из рук, плюнула ему в лицо и убежала.

— Настоящая ртуть, — сказал мичман, утираясь.

Меня эта сцена оскорбила, но я этого не дал ему заметить, и как еще было не поздно, то без церемонии оставил его на квартире, а сам пошел искать лучшего товарища коротать осенний вечер.

Визиты мои товарищам были неудачны, я кланялся только замкам дверей. К Шмидтам итти было поздно, Карла Павловича тоже не было дома, и я не знал, что с собою делать. Меня мучил проклятый мичман, я ненавидел его. Не знаю, была ли то ревность или просто чувство отвращения к человеку, который поругал святое чувство скромности в женщине. Женщина, какая бы она ни была, мы ей обязаны если не уважением, то по крайней мере приличием, а мичман пренебрег и то и другое. Он просто пьян или в глубине души мерзавец. Я как-то невольно верую в последнее.

В квартире Карла Павловича засветился огонь, и я зашел к нему и у него переночевал. Карл Павлович заметил, однако ж, мое ненормальное состояние, но был так любезен, что не сделал мне ни одного вопроса, велел мне сделать постель в одной комнате с собою и сам стал читать вслух. То была книга Вашингтона Ирвинга „Христофор Колумб“. Читая, он тут импровизировал картину, как неблагодарные испанцы выводят с баркаса на берег обремененного цепями великого адмирала. Какая грустная, поучительная картина. Я предложил ему лоскуток бумаги и карандаш, но он отказался и продолжал читать.

Так однажды во время ужина, рассказывая свое путешествие по древней Элладе, он набросал чудную картину под названием „Афинский вечер“. Картина представляла афинскую улицу, освещенную вечерним солнцем. На горизонте вчерне оконченный Пар-

фенон, но еще леса не убраны. На первом плане, среди улицы, пара буйволов везет мраморную статую „Река Илис“ Фидия. Сбоку сам Фидий, встречаемый Периклом и Аспазией и всем, что было славного в перикловых Афинах, начиная со знаменитой гетеры и до Ксантиппы. И все это освещено лучами заходящего солнца. Великолепная картина! Что „Афинская школа“ перед этой животрепещущей картиной? А он именно потому только ее и не исполнил, что уже существует „Афинская школа“. И сколько подобных картин он оканчивает или вдохновенным словом, или вершковым эскизом в своем весьма невеликолепном альбоме. Так, например, прошедшей зимой он начертил несколько самых миниатюрных эскизов на одну и ту же тему. Я ничего не мог понять и только догадывался, что великий мой учитель замышляет что-то великое. И я не обманулся в своих догадках.

Нынешнее лето я стал замечать, что он до восхода солнечного ежедневно уходил в свою мастерскую в портик, в своей серой рабочей куртке, и оставался там до самого вечера. Один Лукьян только знал, что там совершается, потому что он приносил ему воду и обед. Я тогда работал над программой и не мог предложить ему услуг книгочия, хотя я был уверен, что он охотно принял бы такую услугу, потому что он любит чтение. Так прошло три недели. Я трепетал от нетерпения. Никогда он так постоянно не посещал свою студию. Должно быть, что-нибудь необыкновенное. Да и что обыкновенное создает такой колоссальный гений!

Однажды я перед вечером, отпустив натурщика, хотел выйти на улицу. В коридоре встретился мне Карл Павлович с небритой бородою. Он пожелал видеть мою программу. Я с трепетом ввел его в свой кабинет, он сделал несколько неважных замечаний и сказал: — Теперь пойдем смотреть мою программу, — и мы пошли в портик.

Я не знаю, рассказывать ли вам о том, что я там увидел? Рассказать я вам должен, но как я расскажу нерассказываемое?

Отворив двери в мастерскую, мне представилось огромное темное полотно, натянутое на раму. На полотне черной краской написано: „Нач. 17 июня“. За полотном музыкальный ящик играл хор ноблей из „Гугенотов“. С замиранием сердца прошел я за полотно, оглянулся, и у меня дыхание захватило: передо мною стояла не картина, а со всем ужасом и величием — живая осада Пскова. Вот где смысл крошечных эскизов. Вот для чего он прошедшее лето делал прогулку в Псков. Я знал о его предположении, но никогда не мог вообразить себе, чтобы это так быстро исполнилось. Так быстро и так прекрасно! Пока я сделаю для вас небольшой контур с этого нового чуда, опишу вам его, разумеется, весьма ограниченно.

На правой стороне от зрителя, на третьем плане картины, взрыв башни; немного ближе пролом в стене и в проломе — рукопашная схватка, да такая схватка, что смотреть страшно. Кажется, слышишь крики и звон мечей о железные ливонские, польские, литовские и бог знает еще о какие железные шлемы. На левой стороне картины, на втором плане, крестный ход с хоругвями и иконой божией матери, торжественно спокойно предшествуемый епископом с мечом святого Михаила, князя псковского. Какой удивительный контраст! На первом плане, в середине картины, бледный монах с крестом в руке, верхом на гнедой лошади. По правую сторону монаха издыхающий белый конь Шуйского, а сам Шуйский бежит к пролому с поднятыми вверх руками. По левую сторону монаха благочестивая старуха благословляет юношу или, лучше сказать, мальчика на супостата. Еще левее девушка поит водою из ведра утомленных воинов, а в самом углу картины полуобнаженный умирающий воин, поддерживаемый молодою женщиною, быть может, будущей вдовою. Какие чудные, разнообразные эпизоды! И я вам их и половины не описал. Мое письмо было бы бесконечно и все-таки не полно, если бы я вздумал описывать все подробности этого совершенства искусства.

Удовольствуйтесь на первый раз хоть этим прозаическим очерком в высшей степени поэтического произведения. Со временем пришлю вам контур с него, и вы тогда яснее увидите, что это за божественное произведение.

О чем же мне еще писать вам, мой незабвенный благодетель? Я так редко и так мало пишу вам, что мне совестно. Упреки ваши, что я ленив писать, не совсем справедливы. Я не ленив, а не мастер об обыденной жизни своей рассказывать увлекательно, как это другие умеют делать. Я недавно (собственно для писем) прочитал „Клариссу“, перевод Жюль Жанена, и мне понравилось одно предисловие переводчика, а письма такие сладкие, такие длинные, что из рук вон. И как это достало терпения у человека написать такие бесконечные письма. А письма из-за границы мне еще менее понравились: претензии много, а толку мало, педантизм и больше ничего. Я, признаюсь вам, имею сильное желание выучиться писать, да не знаю, как это сделать. Научите меня. Ваши письма так хороши, что я их наизусть выучиваю. А пока овладею вашим секретом, буду вам писать как сердце продиктует, и моя простосердечная откровенность пускай пока заменит искусство.

Переночевавши у Карла Павловича, я часу в десятом весьма неохотно пошел к себе на квартиру. Михайлов уже был дома и наливал в стакан едва проснувшемуся мичману какое-то вино, а моя ветреная соседка, как ни в чем не бывало, выглядывала из моей комнаты и хохотала во всё горло. Никакого самолюбия, ни тени скромности. Простая ли это естественная наивность, или это следствие уличного воспитания,— вопрос для меня неразрешимый, неразрешимый потому, что я к ней безотчетно привязан, как к самому милому ребенку. И, как настоящего ребенка, я посадил ее за азбучку. По вечерам она твердит склады, а я что-нибудь черчу или с нее же портрет рисую. Головка просто прелесть! И замечательно что? С тех пор, как она начала

учиться, перестала хохотать, а мне смешно становится, когда я смотрю на ее серьезное детское личико. От нечего делать в продолжение зимы я думаю написать с нее этюд при огненном освещении, в таком точно положении, как она сидит, углубившись в азбучку с указкою в руке. Это будет очень миленькая картина — à la Грез. Не знаю, совладею ли я с красками? В карандаше она порядочно выходит.

На-днях я познакомился с ее тетушкой и весьма оригинально. По обыкновению, в одиннадцать часов утра возвращаюсь я из класса, в коридоре встречает меня Паша и именем тетеньки просит к себе на кофе. Меня это изумило, я отказываюсь. Да и в самом деле, как войти в незнакомый дом и прямо на угощение? Она, однако ж, не дает мне выговорить слова, тащит меня за́ рукав к своим дверям, как упрямого теленка. Я, как теленок, упираюсь и уже чуть-чуть не освободил свою руку, как растворилася дверь и явилася на помощь сама тетенька. Не говоря ни слова, схватывает меня за другую руку и втаскивают в комнату, двери на ключ — и просят быть как дома.

— Прошу покорно, без церемонии,— говорит запыхавшись хозяйка,— не взыщите на простоте. Пашенька, что же ты рот разинула? Неси скорее кофей!

— Сейчас, тетя,— отозвалась Паша из другой комнаты и через минуту явилась с кофейником и чашками на подносе, настоящая Геба. Тетя тоже немного смахивала на Тучегонителя.

— Нам с вами давно хотелося познакомиться,— так начала гостеприимная хозяйка,— да всё как-то случаю не выпадало, а сегодня, слава богу, я таки поставила на своем. Уж вы нас извините за простоту. Не угодно ли чашечку кофею? Давно что-то нашей охтянки не видать, а в лавочке сливки — такая дрянь. Да что будешь делать? Ко мне Паша давно уже пристает, чтобы я познакомилася с вами, да вы-то такой нелюдим, настоящий затворник, и в ко-

ридор-то вы лишний раз не выглянете. Кушайте еще чашечку. Вы с нашей Пашенькой просто чудо сотворили. Мы ее просто не узнаем: с утра до ночи за книжкой, воды не замутит, так что даже любо. А вчера, вообразите наше удивление, достала с картинками книжку, ту самую, что ваш товарищ подарил ей, раскрыла и принялася читать, правда, еще не совсем бойко, но понимать совершенно всё можно. Как бишь называется эта книга?

— „Векфильдский священник“,— сказала Паша, выходя из-за перегородки.

— Да, да, священник. Как он, бедный, и в остроге сидел, как он и дочь свою беспутную отыскивал,— всю книжку, как есть, прочитала, куда и сон девался.—Кто выучил тебя?—спрашиваю я ее. Она говорит:—вы. Вот уж, правду сказать, одолжили вы нас. Кирило Афанасьич мой если не в должности, так дома сидит за бумагами. Настанет вечер, мы и примемся за молчанку, и вечер тебе годом кажется. А теперь, да я просто и не видала, как он пролетел! Не угодно ли еще чашечку?

Я отказался и хотел уйти. Не тут-то было. Самым нецеремонным образом хозяйка схватила меня за руку и усадила на свое место, приговаривая:— Нет, у нас, не знаем, как у вас, так не делают — вошел и вышел. Нет, просим покорно побеседовать с нами да закусить, чем бог послал.

От закуски и от беседы я, однако ж, отказался, ссылаяся на боль в животе и на колотье в боку, чего у меня, слава богу, никогда не бывало. А дело в том, что мне нужно было итти в класс,—первый час уже был на исходе. На честное слово я был отпущен до семи часов вечера. Верный данному слову, в семь часов вечера я явился к гостеприимной соседке. Самовар уже был на столе, и она меня встретила со стаканом чаю в руках. После первого стакана чаю она отрекомендовала меня хозяину своему, как она выразилась, лысому в очках старичку, сидевшему в другой комнате за столиком над кипою бумаг. Он встал со стула, поправил очки

и, протянувши мне руку, сказал: — Прошу покорно садиться.— Я сел, а он снял с носа очки, протер их носовым платком, надел их опять на нос, сел молча на свое место и попрежнему углубился в свои бумаги. Так прошло несколько минут. Я не знал, что мне делать, положение мое становилось смешным. Хозяйка, спасибо, меня выручила.

— Не мешайте ему,— сказала она, выглядывая из другой комнаты.— Идите к нам, у нас веселее.

Я молча оставил трудолюбивого хозяина и перешел к хлопотунье хозяйке. Смиренница Паша сидела за „Векфильдским священником“ и рассматривала картинки.

— Видели нашего хозяина? — сказала хозяйка.— Вот он всегда такой, так он привык к этим бумагам, что минуты без них не проживет.

Я сказал какой-то комплимент трудолюбию и попросил Пашу, чтобы она читала вслух. Довольно медленно, но правильно и внятно прочитала она страницу из „Векфильдского священника“ и была награждена от тетеньки стаканом чаю внакладку и панегириком, которого и на трех страницах не упишешь, а мне, как ментору, кроме бесконечной благодарности, предложено было рому с чаем. Но как он был еще у Фогта и Паша должна была за ним сбегать, то я отказался от рому и от чаю, к немалому огорчению гостеприимной хозяйки.

В одиннадцатом часу поужинали, и я ушел, давши обещание навещать их ежедневно.

Не могу вам ясно определить, какое впечатление произвело на меня это новое знакомство, а первое впечатление, говорят, весьма важно в деле знакомства. Я доволен этим знакомством потому только, что знакомство мое с Пашей до сих пор казалось мне предосудительным, а теперь как бы всё это устранилось и наша дружба как будто скреплялась этим нечаянно-новым знакомством.

Я стал бывать у них каждый день и через неделю был уже как старый знакомый или, лучше сказать, как свой семьянин. Они мне предложили у себя

стол за ту самую цену, что и у мадам Юргенс, и я изменил доброй мадам Юргенс и не раскаиваюсь: мне наскучила беззаботная холостая компания, и я охотно принял предложение соседки. У них мне так хорошо, тихо, спокойно, всё это по-домашнему, всё это так в моем характере, так в гармонии с моею миролюбивою натурой. Пашу я называю сестрицей, а тетеньку ее своей тетенькой называю, а дяденьку никак не называю, потому что я его только и вижу за обедом. Он, кажется, и по праздникам ходит в должность. Мне так хорошо у них, что я почти никуда не выхожу, окроме Карла Павловича. У Иохима не помню, когда и был, у Шмидтов и Фицтума тоже. Сам вижу, что нехорошо я делаю, но что же делать: не умею врать перед добрыми людьми. Недостаток светского образования, ничего больше. В следующее воскресенье сделаю им всем визиты и вечер у Шмидта проведу, а то как бы и в самом деле не раззнакомиться. Всё это ничего, всё это как-нибудь уладится, а вот мое горе: не могу поладить с Михайловым, т. е. собственно не с Михайловым, а с его сердечным другом мичманом: он почти каждую ночь ночует у нас. Это бы еще ничего, а то наведет с собою бог знает каких людей и напролет всю ночь — карты и пьянство. Не хотелось бы мне переменять квартиры, а, кажется, придется, если эти оргии не прекратятся. Хоть бы скорее весна настала, — пускай бы себе ушел в море этот несносный мичман.

Начал я этюд с Паши красками при огне. Очень миленькая выходит головка, жаль только, что проклятый мичман мешает работать. Хотелось бы к празднику кончить и начать что-нибудь другое, да едва ли. Я пробовал уже у соседок расположиться с работой, да всё как-то неловко. Мне так понравилось огненное освещение, что, окончивши эту головку, я думаю начать другую, — с Паши же — весталку. Жаль только, что теперь нельзя достать белых роз для венка, а это необходимо. Но это еще впереди.

Паша начинает уже хорошо читать и полюбила чтение. Это мне чрезвычайно приятно, но я затрудняюсь в выборе чтения для нее. Романы, говорят, нехорошо читать молодым девушкам, а я, право, не знаю, почему нехорошо. Хороший роман изощряет воображение и облагораживает сердце, а сухая какая-нибудь умная книга, кроме того, что ничему не научит, да, пожалуй, еще и поселит отвращение к книгам. Я ей на первый раз дал „Робинзона Крузо“, а после предложу путешествие Араго или Дюмон-Дюрвиля, а там опять какой-нибудь роман, а потом Плутарха. Жаль, что нет у нас переведенного Вазари, а то бы я ее познакомил и со знаменитостями нашего прекрасного искусства. Хорош ли мой план, как вы находите? Если имеете что-нибудь сказать против него, то сообщите мне в следующем письме, и я вам буду сердечно благодарен. Меня она теперь занимает, как будто что-то близкое, родное. Я на нее, грамотную, теперь смотрю, как художник на свою неоконченную картину, и великим грехом считаю для себя предоставить ей самой теперь выбор чтения или, лучше сказать, случай чтения, потому что ей не из чего выбирать. Лучше было не учить ее читать. Я надоел вам своими соседками, но что делать? По пословице: „У кого что болит, тот о том и говорит“. А если правду сказать, то у меня теперь и говорить больше не о чем. Нигде не бываю и ничего не делаю. Не знаю, что-то мне судьба готовит будущее лето, а я его не без трепета ожидаю. Да и можно ли его ожидать иначе,— будущее лето должно положить настоящий фундамент избранному мною или, лучше сказать, вами поприщу. Карл Павлович говорит, что вскоре после праздников будет объявлена программа на первую золотую медаль. Со мной чуть-чуть не делается обморок при одной мысли об этой роковой программе. Что если мне удастся? Я с ума сойду. А вы? Неужели вы не приедете посмотреть трехгодовую выставку и взглянуть на мою одобренную программу и на смиренного творца ее, как на свое

собственное создание? Я уверен, что вы приедете. Напишите мне о вашем приезде в следующем письме, и я буду иметь благовидный предлог отказать Михайлову от квартиры. Мичман, кажется, и ему уже надоел. Хорошо еще, что я имею приют у соседок, а то пришлось бы бегать собственной квартиры. Напишите, сделайте милость, что вы приедете, тогда я все разом покончу.

Прощайте, мой незабвенный благодетель. В следующем письме сообщу вам о дальнейших успехах моей ученицы и о следствиях предстоящего конкурса. Прощайте.

P. S. Бедный Демский уже из комнаты не может выйти. Не пережить ему весны".

По получении этого письма я написал ему, что не к выставке, а, может быть, и к святой неделе приеду к нему в гости и что приеду к нему прямо на квартиру, как Штернберг приезжал. Я написал ему это для того собственно, чтобы избавить его от неотвязчивого мичмана. Я, правду сказать, опасался за его еще неустановившийся молодой характер. Чего доброго, как раз может сделаться двойником беспардонного мичмана. Тогда прощай всё — и гений, и искусство, и слава, и всё очаровательное в жизни. Всё это уляжется, как в могиле, на дне всепожирающей рюмочки. Примеры эти, к несчастию, весьма и весьма даже нередки, в особенности у нас в России. И что за причина? Неужели одно пьяное общество может умертвить всякий зародыш добра в молодом человеке? Или тут есть еще что-нибудь для нас непонятное? А впрочем, народная мудрость вывела одно заключение: скажи, с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто ты таков. А Гоголь, вероятно, тоже не без основания, заметил, что русский человек коли хороший мастер, то непременно и пьяница. Что бы это значило? Ничего больше, я полагаю, как недостаток всеобщей цивилизации. Так, например, сельский или другой какой писарь в кругу честных безграмотных мужичков — все

равно, что Сократ в Афинах, а посмотрите, самое безнравственное, беспросыпно-пьяное животное, потому именно, что он мастер своего дела, что он один-единственный грамотей между сотнею простодушных мужичков, на счет которых он упивается и распутничает; а они только удивляются его досужеству и никак не могут себе растолковать, что бы такое значило, что такой умнейший человек и такой великий пьяница. А простакам и невдомек, что он один между ними мастер письменного или другого какого дела, что нет ему соперника, что давальцы его навсегда останутся ему верны, потому что кроме него не к кому обратиться, и он себе, спустя рукава, кое-как делает свое дело, а легкие заработки пропивает.

Вот, по-моему, одна-единственная причина, что у нас коли мастер своего дела, то непременно и горький пьяница. А кроме этого, замечено, что и между цивилизованными нациями люди, выходящие из круга обыкновенных людей, одаренные высшими душевными качествами, всегда и везде более или менее были чтителями, а нередко и усердными поклонниками веселого бога Бахуса. Это уже, должно быть, непременное свойство необыкновенных людей.

Я лично и хорошо знал гениального математика нашего О[строградского] (а математики вообще люди неувлекающиеся), с которым мне случилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его однажды:

— Неужели вы вина никогда не пьете?

— В Харькове еще когда-то я выпил два погребка, да и забастовал,— ответил он мне простодушно.

Немногие, однако ж, кончают двумя погребками, а непременно принимаются за третий, нередко и за четвертый, и на этом-то роковом четвертом кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую жизнь.

А он, т. е. мой художник, принадлежал к категории людей страстных, увлекающихся, с воображением горячим, а это-то и есть злейший враг жизни самостоятельной, положительной. Хотя я и да-

леко не поклонник монотонной трезвой аккуратности и вседневной однообразной воловьей деятельности, но не скажу, чтобы я был открытый враг положительной аккуратности. Вообще, в жизни средняя дорога есть лучшая дорога, но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной средняя дорога ни к чему, кроме безыменной могилы, не приводит.

В художнике моем хотелося бы мне видеть самого великого, необыкновенного художника и самого обыкновенного человека в домашней жизни, но эти два великие свойства редко уживаются под одной кровлей.

Сердечно желал бы я предвидеть и предотвратить всё вредно действующее на молодое воображение моего любимца, но как это сделать,— не знаю. Мичмана я решительно боюся,— да и от соседки нельзя ожидать ничего доброго,— это ясно как день. Теперь еще это могло бы кончиться разлукой и слезами, как обыкновенно кончается первая пламенная любовь, но при содействии тетушки, которая ему так понравилась с первого разу, кончится всё это факелом Гименея и, дай бог мне ошибиться, развратом и нищетой.

Он мне прямо не говорит, что он влюблен по уши в свою ученицу, да и какой юноша прямо откроет эту священную тайну? По одному слову своей обожаемой он бросится в огонь и в воду, прежде чем выговорит ей словами свое нежное чувство. Таков юноша, любящий искренно. А бывают ли юноши, любящие иначе?

Чтобы хоть сколько-нибудь отвлечь его от соседок, с умыслом не упоминаю об них ни слова. Я советовал ему посещать как можно чаще Шмидта, Фицтума и Иохима, как людей, необходимых для его внутреннего образования, навещать старика Кольмана, которого добрые советы по части пейзажной живописи ему необходимы, и каждый божий день, как храм, как светильник прекраснейшего искусства, посещать мастерскую Карла Павловича

и во время этих посещений сделать для меня акварелью копию с „Бахчисарайского фонтана“. А в заключение описал ему всю важность предстоящей программы, для которой он должен посвятить всего себя и все свои дни и ночи до самого дня экзамена, т. е. до октября месяца (такой срок и такого рода занятие мне казались достаточными, чтобы хотя немного охладить первую любовь), и [писал], что если мне нельзя будет на всё лето остаться в столице, то к осени я непременно опять приеду собственно для его программы.

Письмо мое, как я и ожидал, имело свое доброе действие, но только вполовину: программа ему удалась, а соседка — увы! Но зачем прежде времени подымать завесу таинственной судьбы? Прочитаем еще одно и последнее его письмо.

„Волею или неволею, не знаю, а знаю только то, что вы меня жестоко обманули, мой незабвенный благодетель. Я дожидал вас как самого дорогого моему сердцу гостя, а вы,— бог вам судия... И зачем было обещать? А сколько было хлопот мне с моими жильцами! Насилу выжил. Михайлов, правда, сейчас же согласился, но неугомонный мичман дотянул-таки до самой весны, т. е. до страстной недели, и на расставаньи мы чуть было с ним не поссорились: он непременно хотел остаться и на святую неделю, но я решительно сказал ему, что это невозможно, потому, говорю ему, что я вас дожидаю.

— Эка важная фигура ваш родственник! И в трактире может поселиться! — сказал он, покручивая свои глупые усы. Меня это взбесило, и я готов уже был наделать бог знает каких дерзостей, да, спасибо, Михайлов остановил меня. Я не знаю, что ему особенно понравилось в нашей квартире, вероятно, только то, что она даровая, не нанятая. Зимой, бывало, Михайлов по несколько ночей дома не ночует и днем изредка заглянет и сейчас же уйдет. А он только и выйдет пообедать да напиться пьяным и опять лежит на диване — или спит,

или трубку курит. Последнее время он уже было и чемодан с бельем перетащил, и когда уже совсем я ему отказал от квартиры, так он всё еще приходил несколько раз ночевать,— просто бессовестный. И еще одна странность: до самого его выезда в Николаев (он переведен в Черноморский флот) я его каждый вечер, возвращаясь из класса, встречал или в коридоре, или на лестнице, или у ворот. Не знаю, кому он делал вечерние визиты. Но бог с ним,— слава богу, что я от него избавился.

Какие успехи сделала в продолжение зимы моя ученица, просто чудо! Что если бы начать ее учить в свое время,— из нее могла бы быть просто ученая. И какая она сделалась скромная, кроткая, просто прелесть. Детской игривости и наивности и тени не осталось.

Правду сказать, мне даже жаль, что грамотность, если это только грамотность, уничтожила в ней эту милую детскую резвость. Я рад, что хоть тень той милой наивности осталась у меня на картине. Картина вышла очень миленькая. Огненное освещение, правда, не без труда, но удалось. Прево предлагает мне сто рублей серебром, на что я охотно соглашаюсь, только после выставки. Мне непременно хочется представить мою милую ученицу на суд публики. Я был бы совершенно счастлив, если б вы не обманули меня в другой раз и приехали к выставке, а она в нынешнем году особенно будет интересна: многие художники — и наши, и иностранцы из-за границы — обещают прислать свои произведения, в том числе Горас Верне, Гюден и Штейбен. Приезжайте, ради самого Аполлона и девяти его прекрасных сестриц.

До сих пор моя программа идет тупо. Не знаю, что дальше будет. Композицией Карл Павлович доволен, больше ничего не могу вам о ней сказать. С будущей недели примусь вплотную, а до сих пор я ее как будто бегаю. Не знаю, что это значит. Ученица моя,— и та уже начинает понукать меня.

Ах, если б я вам мог рассказать, как мне нравится это простое доброе семейство. Я у них как сын родной. Про тетушку и говорить нечего: она постоянно добрая и веселая. Нет, угрюмый и молчаливый дядюшка — и тот иногда оставляет свои бумаги, садится с нами около шумящего самовара и исподтишка отпускает шуточки, разумеется, самые незамысловатые. Я иногда позволяю себе роскошь, разумеется, когда лишняя копейка зазвенит в кармане: угощаю их ложей третьего яруса в Александринском театре, и тогда всеобщее удовольствие безгранично, особенно если спектакль составлен из водевилей. А ученица и модель моя несколько дней после такого спектакля и во сне, кажется, поет водевильные куплеты. Я люблю или, лучше сказать, обожаю всё прекрасное, как в самом человеке, начиная с его прекрасной наружности, так само, если не больше, и возвышенное, изящное произведение ума и рук человека. Я в восхищении от светски-образованной женщины и мужчины тоже. У них всё, начиная от выражений до движений, приведено в такую ровную, стройную гармонию, у них во всех пульс, кажется, одинаково бьется. Дурак и умница, флегма и сангвиник,— это редкие явления, да едва ли они и существуют между ними, и это мне бесконечно нравится,— ненадолго, однако ж. Это, может быть, потому, что я родился и вырос не между ними, а грошовым воспитанием своим и подавно не могу равняться с ними, и потому-то мне, несмотря на всю очаровательную прелесть их жизни, мне больше нравится семейный [быт] простых людей, таких, например, как мои соседи. Между ними я совершенно спокоен, а там всё чего-то как будто боишься. Последнее время я и у Шмидтов чувствую себя неловко и не знаю, что бы это значило. Бываю я у них почти каждое воскресенье, но не засиживаюсь, как это прежде бывало. Может быть, это оттого, что нету милого незабвенного Штернберга между ними. А кстати, о Штернберге. Я недавно

получил от него письмо из Рима. Да и чудак же он препорядочный! Вместо собственных впечатлений, какие произвел на него Вечный город, он рекомендует мне: и кого же вы думаете? — Дюпати и Пиранези. Вот чудак! Пишет, что у Лепри видел он великий собор художников, в том числе и Иванова, автора будущей картины „Иоанн Предтеча проповедует в пустыне". Русские художники подтрунивают исподтишка над ним, говорят, что он совсем завяз в Понтийских болотах и все-таки не нашел такого живописного сухого пня с открытыми корнями, который ему нужен для третьего плана своей картины. А немцы вообще в восторге от Иванова. Еще встретил он, в кафе Греко, безмерно расфранченного Гоголя, рассказывающего за обедом самые сальные малороссийские анекдоты. Но главное, что он встретил при въезде в Вечный город, в виду купола св. Петра и в виду бессмертного великана Колизея, — это качуча, грациозная, страстная, такая, как она есть в самом народе, а не такая чопорная, нарумяненная, как ее видим на сцене. „Вообрази себе,— пишет он,— что знаменитая Тальони копия с копии с того оригинала, который я видел бесплатно на римской улице". Но для чего мне делать выписки? Я вам пришлю его письмо в оригинале. Там вы и про себя кое-что небезынтересное прочитаете. Он, бедный, все еще вспоминает о Тарновской. Вы ее часто видите. Скажите, счастлива ли она со своим эскулапом? Если счастлива, то не говорите ей ничего про нашего друга, не тревожьте пустым воспоминанием ее тихого семейного покоя. Если же нет, то скажите ей, что друг наш Штернберг, благороднейшее создание в мире, любит ее до сих пор так же искренно и нежно, как и прежде любил. Это усладит ее сердечную тоску. Как бы человек ни страдал, какие бы ни терпел испытания, но если он услышит одно приветливое, сердечное слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает гнетущее его горе, хоть ненадолго, хотя на час, на минуту.

Он совершенно счастлив, а минута полного счастия, говорят, заменяет бесконечные годы самых тяжелых испытаний.

Прочитывая эти строки, вы улыбнетесь, обожаемый мой друже, и, чего доброго, подумаете, не терплю ли и я какого-нибудь испытания, потому что так красно рассуждаю об испытании. Божусь вам, у меня никакого горя, а так что-то взгрустнулось. Я совершенно счастлив, да и может ли быть иначе, имея таких друзей, как вы и милый незабвенный Виля? Немногим из людей выпадает такая сладкая участь, как выпала на мою долю, и если бы не вы, пролетела бы мимо меня слепая богиня. Но вы ее остановили над заброшенным бедным замарашкой. О, боже мой, боже мой! я так счастлив, так беспредельно счастлив, что мне кажется, я задохнуся от этой полноты счастия, задохнуся и умру. Мне непременно нужно хоть какое-нибудь горе, хоть ничтожное, а то, сами посудите, что бы я ни задумал, чего бы я ни пожелал, мне всё удается. Все меня любят, все ласкают, начиная с нашего великого маэстро, а его любви, кажется, достаточно для совершенного счастия.

Он часто заходит ко мне на квартиру, иногда даже и обедает у меня. Скажите, мог ли я тогда думать о таком счастии, когда я в первый раз увидал его у вас в этой самой квартире? Многие и весьма многие вельможи-царедворцы не удостоены такого великого счастия, каким я, неизвестный нищий, пользуюсь. Есть ли на свете такой человек, который не позавидовал бы мне в настоящее время?

На прошедшей неделе заходит он ко мне в класс, взглянул на мой этюд, сделал наскоро кое-какие замечания и вызывает меня на пару слов в коридор. Я думал, что и бог знает какой секрет, и что же? Он предлагает мне ехать с ним вместе на дачу к Уваровым обедать. Мне не хотелось оставить класс, и я начал было отговариваться, но он мои резоны назвал школьничеством и неуместным прилежанием, и что один класс — ничего не значит пропустить.

— А главное,— прибавил он,— я вам дорогою прочитаю такую лекцию, какой вы и от профессора эстетики никогда не услышите.

Что я мог сказать на это? Убрал палитру и кисти, переоделся и поехал. Дорогой, однако ж, и помину не было об эстетике. За обедом, как обыкновенно, был веселый общий разговор, а после обеда уже началась лекция. Вот как было дело.

В гостиной, за чашкой кофе, старик Уваров завел речь о том, как быстро летят часы и как мы не дорожим этими алмазными часами, особенно юноши,— прибавил старик, глядя на сыновей своих.

— Да вот вам животрепещущий пример,— подхватил Карл Павлович, показывая на меня: — он сегодня оставил класс, чтоб только побаклушничать на даче.

Меня как кипятком обдало, а он, ничего не замечая, прочитал мне такую лекцию о всепожирающем быстролетящем времени, что я теперь только почувствовал и понял символическую статую Сатурна, пожирающего детей своих. Вся эта лекция была прочитана с такой любовью, с такой отцовской любовью, что я тут, в присутствии всех гостей, заплакал, как ребенок, уличенный в шалости.

После всего этого, скажите, чего мне еще недостает? Вас! Только одного вашего присутствия недостает мне. О! дождусь ли я той великой радостной минуты, в которую обниму вас, моего родного, моего искреннего друга! А знаете что? Не напишите вы мне, что вы приедете ко мне к святой, я непременно посетил бы вас прошедшею зимой. Но, видно, святые в небе позавидовали моему земному счастию и не допустили этого радостного свидания.

Несмотря, однако ж, на всю полноту моего счастия, мне иногда бывает так невыносимо грустно, что я не знаю, куда укрыться от этой гнетущей тоски. В эти страшно продолжительные минуты одна только очаровательная моя ученица имеет на меня благотворное влияние. И как бы мне хоте-

лося тогда раскрыть ей мою страдающую душу, разлиться, растаять в слезах перед нею... Но это оскорбит ее девственную скромность, и я себе скорее лоб разобью о стену, чем позволю оскорбить какую бы то ни было женщину, тем более ее, ее — прекрасную и пренепорочную отроковицу.

Я, кажется, писал вам прошедшей осенью о моем намерении написать с нее весталку в pendant прилежной ученице. Но зимою трудно было достать лилии или белой розы, а главное, мне мешал несносный мичман. Теперь же эти препятствия устранены, и я думаю между делом, т. е. между программою, привести в исполнение мой задушевный проект, тем более это возможно, что программа моя немногосложна, всего три фигуры — это Иосиф толкует сны своим соузникам — виночерпию и хлебодару. Сюжет старый, избитый, и поэтому-то нужно хорошенько его обработать, т. е. сочинить. Механической работы тут немного, а впереди еще с лишком три месяца времени. Вы мне пишете о важности моей, быть может, последней программы и советуете как можно прилежнее изучить ее, или, как вы говорите, проникнуться ею. Всё это прекрасно, и я совершенно убежден в необходимости этого. Но, единственный мой друже, я боюся выговорить: „Весталка“ меня более и постоянно занимает, а программа — это второй план „Весталки“, и как я ни стараюсь поставить ее на первый план,— нет, не могу, уходит, и что бы это значило — не знаю. Думаю прежде окончить „Весталку“ (она у меня уже давно начата). Окончу, да и с рук долой, тогда свободнее примуся за програму.

Программа! Я что-то недоброе предчувствую с моею программой. И откуда берется это роковое предчувствие? Не отказаться ли мне от нее до следующего года? Но потерять год времени! Чем вознаградится эта потеря? — Верным успехом. А кто поручится за этот успех? Не правда ли, я болен? Я, действительно, немножко как будто бы рехнулся, я становлюсь похожим на „Метафизика“ Хемницера.

Бога ради, приезжайте, восстановите мою падающую душу.

Какой же я бессовестный эгоист! На каком основании я почти требую вашего визита? Во имя какой разумной идеи вы должны оставить ваши занятия, ваши обязанности и ехать за тысячу верст, для того только, чтобы увидеть какого-то полуидиота?

Прочь, недостойное малодушие! Ребячество, ничего больше, а я уже, слава богу, допущен к программе на первую золотую медаль. Я уже человек кончающий... нет, нет, художник, начинающий свою, быть может, великую карьеру. Мне стыдно перед вами, мне стыдно самого себя. Если только не имеете крайней надобности, то, бога ради, не ездите в столицу. Не приезжайте, по крайней мере, до тех пор, пока я не окончу мою программу и мою задушевную „Весталку". А тогда, если приедете, т. е. к выставке, о, тогда моя радость, мое счастие будет бесконечно.

Еще одно и странное и постоянное мое желание: мне ужасно хочется, чтобы вы хоть мимоходом взглянули на модель моей „Весталки", т. е. на мою ученицу. Не правда ли, странное, смешное желание? Мне хочется показать вам ее, как самое лучшее, прекраснейшее произведение божественной природы. И, о самолюбие! — как будто и я споспешествовал нравственному украшению этого чудного создания, т. е. выучил русской грамоте. Не правда ли, я бесконечно самолюбив? А кроме шуток, грамотность придала ей какую-то особенную прелесть. Один маленький недостаток в ней, и это маленькое несовершенство недавно я заметил: она, как мне кажется, неохотно читает. А тетенька ее давно уже перестала восхищаться своей грамотницей Пашей. После праздников дал я ей прочитать „Робинзона Крузо". Что ж бы вы думали? Она в продолжение месяца едва-едва прочла до половины. Признаюсь вам, такое равнодушие меня сильно огорчило, так огорчило, что я начал уже раскаиваться, что и читать ее выучил. Разумеется, я ей

этого не сказал, а только подумал. Она же как будто подслушала мою думу: на другой же день дочитала книгу и ввечеру за чаем с таким непритворным увлечением и с такими подробностями рассказала бессмертное творение Дефо своей равнодушной тетеньке, что я готов был расцеловать свою умницу-ученицу. В этом отношении я нахожу много общего между ней и мною. На меня иногда находит такое деревянное равнодушие, что я делаюся совершенно ни на что не способен. Но со мною, слава богу, эти припадки непродолжительны бывают, а она... и что для меня непонятно: с тех пор, как оставил меня неугомонный мичман, сделалась как-то особенно скромнее, задумчивее и равнодушнее к книге. Неужели она?.. Но я этого допустить не могу: мичман — создание чисто антипатическое, жесткое, и едва ли может он заинтересовать женщину самой грубой организации. Нет, это мысль нелепая. Она задумывается и впадает в апатию просто от того, что ее возраст такой, как уверяют нас психологи.

Я вам надоедаю своею прекрасною моделью и ученицей. Вы, чего доброго, пожалуй, подумаете, что я к ней неравнодушен. Оно, действительно, на то похоже. Она мне чрезвычайно нравится, но нравится как что-то самое близкое, родное, нравится как самая нежная сестра родная.

Но довольно о ней. А кроме нее, в настоящее время мне и писать вам больше не о чем. О программе теперь писать еще нечего, она едва подмалевана, да и по окончании ее я вам писать не буду. Мне хочется, чтобы вы о ней в газете прочитали, а больше всего мне хочется, чтобы сами ее увидали. Я говорю с такою самоуверенностью, как будто уже всё кончено, остается только медаль взять из рук президента и туш на трубах прослушать.

Приезжайте, мой незабвенный, мой сердечный друг! Без вас мой [триумф] неполный будет, потому неполный, что вы один-единственный виновник моего настоящего и будущего счастья.

Прощайте, мой незабвенный благодетель! Не обещаю вам писать вскоре. Прощайте!

P. S. Бедный Демский и вскрытия Невы не дождался: умер, и умер как истинный праведник, тихо, спокойно, как будто бы заснул. В больнице Марии Магдалины мне часто удавалося наблюдать за последними минутами угасающей жизни человека, но такого спокойного, равнодушного расставанья с жизнью я не видел. За несколько часов перед кончиной я сидел у его кровати и читал вслух какую-то брошюру легкого содержания. Он слушал, закрывши глаза, и по временам едва заметно приподымались у него углы рта, это было что-то вроде улыбки. Чтение продолжалось недолго — он раскрыл глаза и, обратя их на меня, едва слышно проговорил:

— И охота же вам на такие пустяки дорогое время тратить.

И, переведя дух, прибавил:

— Лучше бы рисовали что-нибудь, хоть с меня.

Со мной, по обыкновению, была книжка, или так называемый альбом, и карандаш. Я начал очерчивать его сухой, резкий профиль. Он опять взглянул на меня и сказал, грустно улыбаясь:

— Не правда ли, спокойная модель?

Я продолжал рисовать. Тихонько растворилася дверь, и в дверях обернутое чем-то грязным показалося грязное лицо квартирной хозяйки, но, увидя меня, она спряталася и дверь притворила. Демский, не раскрывая глаз, улыбнулся и дал знак рукою, чтобы я наклонился к нему. Я наклонился. Он долго молчал и, наконец, едва внятно, со вздрагиванием, проговорил:

— Заплатите ей, бога ради, за квартиру. Даст бог, сквитаемся.

Со мною не было денег, и я тотчас пошел на квартиру. Дома меня, не помню, что-то задержало, тетушкин кофе или что-то в этом роде,— не помню. Пришел я к Демскому уже перед закатом солнца. Комнатка его была освещена яркооранжевым светом заходящего солнца так ярко, что я должен был на

несколько минут глаза зажмурить. Когда я раскрыл глаза и подошел к кровати, то под одеялом уже остался только труп Демского, в таком точно положении, как я его оставил живым. Складки одеяла не сдвинулись с места, улыбка на поллинии не изменилась, глаза закрыты, как у спящего. Так спокойно умирают только праведники, а Демский принадлежал к сонму праведников. Я сложил ему на груди полуостывшие руки, поцеловал его в холодное чело и прикрыл одеялом. Нашел хозяйку, отдал ей долг покойника, просил распорядиться похоронами на мой счет, а сам пошел к гробовщику. На третий день пригласил я священника из церкви св. Станислава, взял ломового извозчика, и с помощию дворника мы вынесли и поставили скромный гроб на роспуски и двинулися с Демским в далекую дорогу. За гробом шел я, патер Посяда и маленький причетник. Ни одна нищая не сопутствовала нам, а их немало встречалося дорогою. Но эти бедные тунеядцы, как голодные собаки, носом чуют милостыню. От нас они не предвидели подачи и не ошиблись: ненавижу я этих отвратительных промышленников, спекулирующих именем христовым. С кладбища пригласил я патера на квартиру покойника, не с тем, чтобы тризну править, а затем, чтобы показать ему скромную библиотеку Демского. Вся библиотека заключалась в небольшом, едва сколоченном ящике и состояла из пятидесяти с чем-то томов, большею частию исторического и юридического содержания, на языках: греческом, латинском, немецком и французском. Ученый патер весьма неравнодушно перелистывал греческих и римских классиков весьма скромного издания, а я откладывал книги только на французском языке. И странно, кроме Лелевеля, на польском языке — только один крошечный томик Мицкевича, самого лубочного познанского издания, больше ничего не было. Неужели он не любил своей родной литературы? Не может быть! Когда библиотека была разобрана, я взял себе французские книги, а все остальные предложил уче-

ному патеру. Добросовестный патер никак не соглашался приобрести такое сокровище совершенно даром и предложил на свой счет положить гранитную плиту над прахом Демского. Я со своей стороны предложил половину издержек, и мы тут же определили величину и форму плиты и надпись сочинили. Надпись самая нехитрая: „Leonard Demski, mort anno 18..." Покончивши всё это и взявши всякий свою долю наследства, мы расстались как давнишние приятели.

Странно, однако ж, неужели покойный Демский не приближал к себе и сам не приблизился ни к кому, кроме меня? В квартире его я никогда никого не встречал, но когда выходили мы с ним на улицу, на улице часто встречались его знакомые, по-приятельски здоровались, а некоторые даже пожимали ему руку. И всё это были люди порядочные. И то правда, так называемый порядочный человек посетит ли труженика бедняка в его мрачной лачуге? Грустно! Бедные порядочные люди!

Прощайте еще раз. Не забывайте меня, мой незабвенный благодетель".

Из этого пространного и пестрого письма я вычитал, во-первых, что художник мой, как и следует быть истинному художнику, в высокой степени благородный и кроткий человек. Простые люди не могут так искренно, так бескорыстно прилепляться к таким горьким, всеми покинутым беднякам, каков был покойник Демский. В этой прекрасной, бескорыстной привязанности я ничего не вижу особенного; это обыкновенное следствие взаимного сочувствия ко всему великому и прекрасному в науке и в человеке. По своей природе и по завещанию нашего божественного учителя мы все должны быть таковы. Но, увы, весьма и весьма немногие из нас соблюли святую заповедь его и сохранили свою божественную природу в любви и целомудрии. Весьма немногие! И потому-то нам и кажется необыкновенным чем-то человек, любящий бескорыстно,— человек истинно благородный. Мы, как на комету,

смотрим на такого человека и, насмотревшись досыта,— чтобы наше грязное, себялюбивое существо не так резко самим нам бросалось в глаза,— начинаем и его, чистого, пачкать, сначала скрытой клеветой, потом явной, а когда и эта не взяла, обрекаем его на нищету и страдания. Это еще счастье, если запрем в дом умалишенных, а то просто вешаем, как самого гнусного злодея. Горькая, но, увы, истина!

Я, однако ж, некстати зарапортовался.

Второе, что я вычитал из нескладного письма моего возлюбленного художника,— это то, что он, сердечный, сам того не замечая, влюбился по уши в свою хорошенькую вертлявую ученицу. Это в порядке вещей, это хорошо, это даже необходимо, тем более художнику, а иначе закоптится сердце над академическими этюдами. Любовь есть животворящий огонь в душе человека, и всё созданное человеком под влиянием этого божественного чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. Всё это прекрасно, но только вот что: эти, как называет их Либельт, огненные души удивительно как неразборчивы в деле любви. И часто случается, что истинному и самому восторженному поклоннику красоты выпадает на долю такой нравственно безобразный идол, что только дым кухонного очага ему впору, а он, простота, курит перед ним чистейший фимиам. Очень и очень немногим этим огненным душам сопутствовала гармония. От Сократа, Бергхема и до наших дней одна и та же безобразная нескладица в обыденной жизни. И, к большому горю, эти огненные души влюбляются совсем не по-кавалерийски, а хуже всякого самого мизерного пехотинца, т. е. на всю жизнь. Вот что для меня непонятно и чего я боюся в моем художнике.

Пожалуй, и он, по примеру всемирных гениев, закабалит свою нежную восприимчивую душу какому-нибудь сатане в юбке. И хорошо еще, если он, подобно Сократу и Пуссену, шуточкой отделается от домашней сатаны и пойдет своею дорогой, а в противном случае — прощай искусство и наука, прощай поэзия

и всё очаровательное в жизни, прощай навеки. Сосуд разбит, драгоценное миро пролито и с грязью смешано, а лучезарный светильник мирной артистической жизни погас от ядовитого дыхания домашней медяницы. О, если бы могли эти светочи мира обойтись без семейного счастия, как бы прекрасно было! Сколько бы великих произведений не потонуло в этом домашнем омуте, а остались бы на земле в назидание и наслаждение человечеству. Но, увы! и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходим. Это, верно, потому, что для души, чувствующей и любящей всё возвышенно-прекрасное в природе и в искусстве, после высокого наслаждения этой обаятельной гармонией необходим душевный отдых, а сладкий этот успокоитель утомленного сердца может существовать только в кругу детей и доброй, любящей жены. Блажен, стократ блажен тот человек и тот художник, чью так несправедливо называемую прозаическую жизнь осенила прекрасная муза гармонии. Его блаженство, как господний [мир], необъятно.

В наблюдениях своих по делу семейного счастия я вот что заметил. Замечание мое относится вообще к людям, но в особенности к вдохновенным поклонникам всего благого и прекрасного в природе. Они-то, бедные, и бывают тяжкою жертвою своего обожаемого идола — красоты. И их винить нельзя, потому что красота вообще, а красота женщины в особенности, действует на них всесокрушительно. Иначе и быть не может, а это-то и есть мутный, всеотравляющий источник всего прекрасного и великого в жизни.

— Как так? — закричат неистовые юноши; — красавица богом создана для того только, чтобы услаждать нашу исполненную слез и треволнений жизнь. — Правда, назначение ее от бога такое, да она-то или, лучше сказать, мы ухитрилися изменить ее высокое божественное назначение и сделали из нее бездушного, безжизненного идола. В ней одно чувство

поглотило все другие прекрасные чувства,— это эгоизм, порожденный сознанием собственной всесокрушающей красоты. Мы еще в детстве дали ей почувствовать, что она будущая раздирательница и зажигательница сердец наших. Правда, мы ей только намекнули, но она так это быстро смекнула, так глубоко поняла и почувствовала эту будущую силу, что с того же рокового дня сделалася невинной кокеткой и домогильной поклонницей собственной красоты. Зеркало сделалося единственным спутником ее жалкой одинокой жизни. Ее не может переменить никакое воспитание в мире. Так глубоко упало случайно брошенное нами зерно себялюбия и неизлечимого кокетства.

Таков результат моих наблюдений над красавицами вообще, а над привилегированными красавицами в особенности. Привилегированная красавица ничем не может быть кроме красавицы — ни любящей кроткою женою, ни доброй, нежной матерью, ни даже пламенной любовницей. Она деревянная красавица и ничего больше. И было бы глупо с нашей стороны и требовать чего-нибудь больше от дерева.

Вот почему я и советую любоваться этими прекрасными статуями издали, но никак с ними не сближаться, а тем более не жениться, в особенности художникам и вообще людям, посвятившим себя науке или искусству. Если необходима красавица художнику для его любимого искусства, для этого есть натурщицы, танцовщицы и прочие мастерицы цеховые, а в доме ему, как и простому смертному, необходима добрая любящая женщина, но никак не привилегированная красавица. Она, привилегированная красавица, на одно только мгновение осветит яркими ослепительными лучами радости мирную обитель любимца божия, а потом, как от мелькнувшего метеора, так от этой мгновенной радости и следа не останется. Красавице, как и истинной актрисе, необходима толпа поклонников, истинных или ложных, для нее все равно, как для древнего идола: были бы поклонники, а без них она, как и

древний кумир,— прекрасная мраморная статуя и ничего больше.

Не всякое слово в строку,— говорит наша пословица, бывают же исключения и между красавицами: природа бесконечно разнообразна. Я глубоко верую в это исключение, но верю как в самое необыкновенное явление; потому я так осторожен в своем веровании, что прожил уже между порядочными людьми слишком полвека, а такого чудного явления не случилось мне видеть. А нельзя сказать, чтобы я принадлежал к числу мизантропов или к числу беспардонных хулителей всего прекрасного. Напротив, я самый неистовый поклонник прекрасного, как в самой природе, так и в божественном искусстве.

Недавно со мною вот что случилось. Далеко, очень далеко от порядочного или цивилизованного общества, в захолустьи, почти необитаемом, досталось мне случайно прозябать довольно не короткое время, и в это самое захолустье залетела, только не случайно, светская красавица,— такою, по крайней мере, она впоследствии сама себя называла. Вот я знакомлюсь, а я, нужно вам заметить, на знакомства не очень туг. Знакомлюсь, наблюдаю новую знакомку-красавицу, и — о чудо из чудес! Ни тени сходства с прежде виденными мною красавицами.— Не одичал ли я в этой пустыне? — думаю себе. Нет, во всех отношениях прекрасная женщина: и умная, и скромная, и даже начитанная, и, что называется, ни тени кокетства. Мне совестно самому стало моей наблюдательности, и я — всякую недоверчивость в сторону и делаюся не то что поклонником, это ремесло мне не далось,— а делаюся добрым, искренним приятелем. Не знаю, за что, но и я ей понравился, и мы сделались почти друзьями. Я не навосхищаюсь моим открытием, так даже, что в старом сердце пошевелилось [нечто] больше обыкновенной простой привязанности, и я чуть-чуть было не сыграл роль водевильного старого дурака. Случай спас, и самый обыкновенный случай. Однажды поутру,—

я был принят ими в доме как свой, так что они меня часто на утренний чай приглашали,— так однажды поутру я заметил у нее над самым затылком в мелкие косички заплетенные волосы. Мне это открытие не понравилось. Я прежде думал, что у нее естественно завиваются волосы на затылке, а это вот что. И это-то самое открытие и остановило меня к признанию в любви. Я снова стал простым добрым приятелем. Почти ежедневно разговаривая о литературе, музыке и прочих искусствах с образованной женщиной, совестно же сплетничать. В этих разговорах я заметил, и то уже на другой год, что она весьма поверхностна и о прекрасном в искусстве или в природе говорит довольно равнодушно. Это немного поколебало мою веру. Далее, нет на свете на немецком и русском языке такой книги, которой бы она не читала, и ни одной не помнит. Я спросил причину. Она сослалася на какую-то женскую болезнь, которая отшибла у нее память еще в девицах. Я простодушно поверил. Только замечаю: какие-нибудь пошленькие стишки, читанные ею еще в девицах, она и теперь читает наизусть. После этого мне стало совестно говорить с нею о литературе, а после этого вскоре я заметил, что у них ни одной книжки в доме, окроме памятной на текущий год. По вечерам зимою она играла в карты, если собиралась партия, но это из приличия, а того и не заметил, что она была ужасно не в духе, ежели ей не удавалось составить партию,— у нее сейчас же начинала страшно голова болеть. Если же партия собиралась у мужа, то она, как ни в чем не бывало, садилась около стола и смотрела в карты игроков, как бы в свои собственные карты, и это милое занятие часто продолжалось у нее далеко за полночь. Я, как только начиналась эта бездушная сцена, сейчас же выходил на улицу. Отвратительно видеть молодую прекрасную женщину за таким бесчувственным занятием. Я тогда совершенно разочаровался, и она казалась мне тогда полипом или, вернее, настоящей привилегированной красавицей.

И если бы продлилось ее уединение еще год-другой в этом темном углу без кровожадных обожателей, т. е. без львов и онагров, я уверен, что она бы одурела или сделалась бы настоящей идиоткой. Состояния полуидиотки она уже достигла, а я-то, я-то, простофиля, вообразил себе, что вот, наконец, открыл Эльдорадо, а это Эльдорадо просто деревянная кукла, на которую я впоследствии не мог смотреть без отвращения.

Прочитывая эту грозную сентенцию красавицам, иной подумает, что я второй Буанаротти в этом роде,— ничего не бывало. Такой же самый поклонник, как и любой из леопардов, а может быть, еще и неукротимее. А дело в том, что люблю открывать мои убеждения во всей их наготе, несмотря на чин и звание. Притом же я это делаю теперь соответственно для друга моего художника, а не с намерением печатать свое мнение о красавицах. Боже меня сохрани от этой глупости. Да меня тогда сестра родная готова б была повесить на первой осине, как Иуду-предателя. Впрочем, она не красавица: — ее нечего опасаться.

Где же начало этого зла? А вот где: начало в воспитании. Если нежных родителей бог благословит красавицей дочечкой, они сами начинают ее портить, предпочитая ее другим детям, а об образовании своей любимицы они вот [что] думают и даже говорят: — Зачем напрасно убивать дитя над пустою книгою? Она и без книги и даже без приданого сделает себе блестящую карьеру.— И красавица, действительно, делает блестящую карьеру. Предсказание родителей сбылось, чего же больше. Это начало зла. А продолжение (я впрочем не уверяю, а только предполагаю), продолжение вот где.

Наше любезное славянское племя хотя и причисляется к семейству кавказскому, но наружностию своею немногим взяло перед племенами финским и монгольским. Следовательно, у нас красавица — явление весьма редкое. И это редкое явление, едва только из пеленок, мы начинаем набивать своими

нелепыми восторгами, себялюбием и прочею дрянью и, наконец, делаем из него деревянную куклу на шарнирах, наподобие той, какую живописцы употребляют для драпировок.

В странах, которые бог благословил породою прекрасных женщин, там они должны быть обыкновенными женщинами, а обыкновенная женщина, по-моему, есть самая лучшая женщина.

К чему же это я развел такую длинную рацею о раздирательницах сердец человеческих, в том числе и моего? Кажется, в назидание моему другу. Но я думаю, что это наставление будет для него совершенно лишнее. Да и весталка его, сколько мог я заключить из его описаний, едва ли способна залезть поглубже в сердце художника, который так прекрасно чувствует и понимает всё возвышенно-прекрасное в природе, как мой приятель. Это должна быть быстроглазая, курносенькая плутовка, вроде швеи или бойкой горничной, а подобные субъекты не редкость, и они совершенно безопасны.

А вот такие субъекты, как ее шелковая тетушка, они тоже нередки, но чрезвычайно опасны. Тетушка ее, хотя и сладко он ее описывает, напоминает мне гоголевскую сваху, которая отвечает на вопрос искателя невесты, оженит ли она его: — Ох, оженю, голубчик! Да так ловко, что и не услышишь.— Приятель мой, разумеется, не имеет ничего общего с гоголевским героем, и в этом отношении я за него почти не опасаюсь. Огонь первой любви хотя и жарче, но зато и короче. Но опять, как подумаю, нельзя и не опасаться, потому что эти удивительные браки без услышанья очень часто случаются не только с умными, но даже с осторожными людьми, а в друге моем я большой осторожности не предполагаю, эта добродетель — не художника. На всякий случай, я написал ему письмо, разумеется, не назидательное. (Боже меня сохрани от этих назидательных посланий.) Я написал ему дружески-откровенно, чего я опасаюсь и чего он должен опасаться, указал ему без церемонии на милую те-

теньку, как на самую главную и самую опасную западню. На письмо мое я не получил, однако ж, ответа, вероятно, оно ему не понравилось. А это худой знак. А впрочем, в продолжение лета он был занят программой, так немудрено, что мог и забыть о моем письме.

Прошло лето, прошел сентябрь и октябрь месяц, приятель мой ни слова. Читаю в „Пчеле“ разбор выставки, бойко написанный, должно быть, Кукольником. „Весталку“ моего друга превозносят до небес, а о программе ни слова. Что бы это значило? Неужели она ему не удалась? Я написал ему еще письмо, прося его объяснить мне свое упорное молчание, о программе и вообще о его занятиях не упоминая ни слова, зная из опыта, как неприятно отвечать на приятельский вопрос: — Каково идет работа? — когда работа идет скверно. Через месяца два получил я на письмо мое ответ, ответ лаконический и крайне бестолковый. Он как бы стыдился или боялся высказать мне откровенно то, что его терзало, а его что-то ужасно терзало. Между прочим, в письме своем он намекает на какую-то неудачу (вероятно, на программу), которая его чуть в гроб не свела, и [пишет, что] если он существует на свете, то существованием своим он обязан добрым своим соседям, которые в нем приняли самое живое, самое искреннее участие, что он теперь почти ничего не работает, страдает и душевно и физически и не знает, чем всё это кончится.

На всё это я [смотрел], разумеется, как на преувеличение. Это обыкновенно в молодых восприимчивых натурах: они всегда делают из мухи слона. Мне хотелося узнать что-нибудь обстоятельное о его положении; меня что-то беспокоило. Но как, от кого? От самого его я толку не добьюсь. Я обратился к Михайлову, прося его написать мне всё, что он знает о моем друге. Обязательный Михайлов не заставил долго ждать своего оригинального и откровенного послания. Вот что написал мне Михайлов:

„Друг твой, брат, дурак, да еще какой дурак. От сотворения мира не было еще такого необыкновенного дурака. Ему, видишь ли, не удалась программа, что же он сделал с отчаяния, вот уже не отгадаешь: женился, ей-богу, женился. И знаешь, на ком? На своей весталке, да еще на беременной! Вот потеха: беременная весталка. И, как он сам говорит, беременность именно и заставила его жениться. Но не думай, чтобы он сам был причиной этого греха. Ничего не бывало, это бестия мичман напакостил,— она сама созналась. Молодец мичман! Накуралесил, да и уехал себе в Николаев, как ни в чем не бывало. А твой-то великодушный дурак и — бух, как кур во щи. Куда, говорит, она теперь денется? Кто ее приютит теперь, бедную, когда родная тетка выгоняет из дому? Взял да и приютил. Ну, скажи сам, видал ли ты подобного дурака на белом свете? Верно, и не слыхал даже. Правду сказать, беспримерное великодушие или, вернее, беспримерная глупость. Это всё еще ничего, а вот что до бесконечности смешно: он написал с нее свою „Весталку", с беременной, да как написал! просто прелесть! Такой наивно-невинной прелести я еще не видывал ни на картине ни в природе. На выставке толпа от нее не отходила. Она сделала в публике такой шум, как, помнишь, когда-то сделала „Девушка с тамбурином" Тыранова. Превосходная вещь! Сам Карл Павлович перед нею много раз останавливался, а это что-нибудь да значит. Ее купил какой-то богатый вельможа и хорошо заплатил. Копий и литографий с нее — во всех лавках и на всех перекрестках, одним словом, успех полный. А он, дурак, женился. На-днях я заходил к нему и нашел в нем какую-то неприятную перемену. Тетушка, кажется, его прибрала к рукам. У Карла Павловича он никогда не бывает, — вероятно, стыдится. Начал он со своей жены и не со своего дитяти мадонну с предвечным младенцем, и если он кончит так хорошо, как начал, то это превзойдет „Весталку". Экспрессия младенца и матери удивительно хороша. Как это ему

не удалась программа, я удивляюсь. Не знаю, допустят ли его, как женатого, будущий год к конкурсу; кажется, нет. Вот всё, что я могу тебе сообщить о твоем бестолковом друге. Прощай! Карл Павлович наш не совсем здоров; весною думает начать работать в Исаакиевском соборе.

Твой Михайлов".

Невыразимая грусть овладела мною по прочтении этого простого приятельского письма. Блестящую будущность моего любимца, моего друга я видел уже оконченною, оконченною на самом рассвете лучезарной славы, но помочь горю уже было невозможно. Как человек, он поступил неблагоразумно, но в высокой степени благородно. Будь он простой живописец-ремесленник, это событие не имело бы на его занятия никакого влияния, но на него, на художника, на художника истинно пламенного, это может иметь самое гибельное влияние. Потерять надежду быть посланным за границу на казенный счет — этого одного достаточно, чтобы уничтожить самую сильную энергию. На свой счет побывать за границей — об этом ему теперь и думать нечего. Если усиленный труд и даст ему средства, то жена и дети отнимут у него эти бедные средства прежде, нежели он подумает о Риме и его бессмертных чудесах.

Итак,

Италия, счастливый край,
Куда в волшебном упоеньи
Летит младое вдохновенье
Узреть мечтательный свой рай!..

Этот счастливый, очаровательный край закрылся для моего друга навсегда. Разве какой необыкновенный случай раскроет ему двери этого не мечтательного рая. Но эти случаи весьма и весьма даже редки. У нас перевелися те истинные покровители, которые давали художнику деньги, чтобы он ехал за границу и учился. У нас теперь если и рискнет

какой-нибудь богач на подобную роскошь, то из одного только детского тщеславия: он берет художника с собою вместе за границу, платит ему жалованье, как наемному лакею, и обращается с ним как с лакеем, заставляет его рисовать отель, где он остановился, или морской берег, где жена его принимает морские ванны, и тому подобные весьма нехудожественные предметы, а простофили барабанят: — Вот истинный любитель и знаток изящного, художника с собою возил за границу! — Бедный художник! Что в твоей кроткой душе совершается при этих неистовых глупых возгласах? Не завидую тебе, бедный поклонник прекрасного в природе и искусстве. Ты, как говорится, был в Риме и папы не видал, а слава, что ты был за границею, тебе должна казаться жесточайшим упреком. Нет, лучше с котомкой итти за границу, нежели с барином ехать в карете, или вовсе отказаться видеть

Мечтательный свой рай,

а приютиться где-нибудь в уголку своего прозаического отечества и втихомолку поклоняться божественному кумиру Аполлона.

Глупо, удивительно как глупо распорядился своею будущностию мой приятель. Вот уже недели две, как я ежедневно прочитываю откровенное письмо Михайлова и все-таки не могу убедиться в истине этой непростительной глупости. До того не верится, что мне приходит иногда мысль побывать самому в Петербурге и собственными глазами увидеть эту отвратительную истину. Если бы это было каникулярное время, я и не задумался бы, но, к несчастию, теперь учебные месяцы, следовательно, отлучка если и возможна, то только двадцативосьмидневная, а в половину этих дней что я могу сделать для него? Ровно ничего, — увижу разве только то, чего бы не желал и во сне видеть. Подумавши хорошенько и оправившись от первого впечатления, я решил ждать, что скажет старый Сатурн, а между тем завести постоянную переписку с Михайловым. На его письма

я потерял надежду, а надежда на письма Михайлова совершенно не сбылася. Рассчитывая на Михайлова, я упустил из виду, что этот человек менее всего способен к постоянной переписке и если я получил от него ответ на мое письмо, и так скоро, как и не ожидал, то я должен был считать это осьмым чудом, и по одному письму никак не должно было рассчитывать на постоянную переписку. Делать нечего, ошибся, да и кто же не ошибается? Сгоряча я написал ему несколько писем и в ответ не получил ни одного. Это меня не остановило, я еще, и чем далее, тем чувствительнее. В ответ ни слова. Наконец, я вышел из себя и написал ему грубое и самое недлинное письмо. Это подействовало на Михайлова, и он прислал мне ответ такого содержания:

„Удивляюся, как у тебя [хватает] терпения, времени и, наконец, бумаги на твои уморительные, чтоб не сказать глупые, письма. И о ком ты пишешь? О дураке. Стоит ли он того, чтобы о нем думать, не только писать, да еще такие уморительные письма, как ты пишешь? Плюнь ты на него,— пропавший человек, ничего больше. А чтобы тебя утешить, то я вот еще что прибавлю: он вместе с женою и мамашею, как он ее величает, начал тянуть проволоку, т. е. принялся за сивуху. Сначала он повторял всё свою „Весталку“, и повторял до того, что и на толкучем перестали брать его копии; потом принялся раскрашивать литографии для магазинов, а теперь не знаю, что он делает. Вероятно, пишет портреты по целковому с рыла. Его никто не видит, забился где-то в Двадцатую линию. В угоду твою я пошел его отыскивать на прошлой неделе. Насилу нашел его квартиру у самого Смоленского кладбища. Самого его не застал дома, жена сказала, что на сеанс ушел к какому-то чиновнику. Полюбовался его неоконченной „Мадонной“ и, знаешь ли, мне как-то грустно стало: за что, подумаешь, пропал человек. Не дождавшися его самого, я ушел, и с хозяйкой не простился — мне она показалась отвратительною.

Карл Павлович, несмотря на болезнь, начал работать в Исаакиевском соборе. Доктора советуют ему оставить работу до будущего года и уехать на лето за границу, но ему не хочется расставаться с начатой работой. Что ты не приедешь хоть на короткое время, хоть только [взглянуть] на чудеса нашего чудотворца Карла Павловича? Да и своим бы дураком полюбовался. Ты, кажется, тоже женился, только не признаешься? Не пиши ко мне, отвечать не буду. Прощай!

Твой Михайлов".

Боже мой! Неужели одна-единственная причина, эта несчастная женитьба, могла так внезапно, так быстро уничтожить гениального юношу! Другой причины не было. Печальная женитьба!

С нетерпением ожидал я каникул. Наконец, экзамены кончились, я взял отпуск и марш в Петербург. Карла Павловича я уже не застал в Петербурге. Он, по совету врачей, оставил работу и уехал на остров Мадеру. С большим трудом нашел я Михайлова. Этот оригинал никогда не имел своей постоянной квартиры, а жил как птица небесная. Я встретил его на улице об руку с удалым мичманом, теперь уже лейтенантом. Не знаю, каким родом он очутился снова в Петербурге. Я не мог смотреть на этого человека. Поздоровавшись с Михайловым, я отвел его в сторону и начал спрашивать адрес моего приятеля. Михайлов сначала захохотал, а потом, едва удерживая смех, он обратился к мичману и сказал:

— Знаешь ли, чью квартиру он спрашивает? Своего любимца N. N.

И Михайлов снова захохотал. Мичман ему вторил, но неискренно. Михайлов бесил меня своим неуместным смехом. Наконец, он опомнился и сказал мне:

— Твой друг живет теперь в самой теплой квартире, на седьмой версте. Его, видишь ли, не допустили к конкурсу, так он, недолго думавши, спятил с ума, да и марш в теплое место. Не знаю, жив ли он теперь.

Я, не простясь с Михайловым, взял извозчика и отправился в больницу Всех скорбящих. Меня к больному не пустили, потому что он был в припадке бешенства. На другой день я его увидел, и если бы не сказал мне смотритель, что № такой-то — художник N. N., то сам бы я никогда его не узнал, — так страшно изменило его безумие. Он меня, разумеется, тоже не узнал, принял меня за какого-то римлянина с рисунка Пинелли, захохотал и отошел от решетчатых дверей.

Боже мой, какое грустное явление — обезображенный безумием человек! Я не мог и несколько минут пробыть зрителем этого печального образа, простился со смотрителем и возвратился в город. Но несчастный друг мой не давал мне нигде покоя, ни в Академии, ни в Эрмитаже, ни в театре, словом, нигде. Его страшный образ везде преследовал меня, и только ежедневное посещение больницы Всех скорбящих мало-помалу уничтожило первое ужасное впечатление.

Бешенство его с каждым днем становилось слабее и слабее, зато и силы физические быстро исчезали. Наконец, он уже не мог подняться с кровати, и я свободно мог входить к нему в комнату. По временам он как будто приходил в себя, но всё еще меня не узнавал. Однажды я приехал поутру рано: утренние часы были для него легче. Застал я его совершенно спокойного, но такого слабого, что он не мог рукою пошевелить. Долго он смотрел на меня, как будто что-то припоминая. После долгого задумчивого, умного взгляда он едва слышно произнес мое имя, и слезы ручьями хлынули из его просветлевших очей. Тихий плач перешел в рыдание, в такое душу терзающее рыдание, что я и не видел, и дай господи не видеть никогда так страшно рыдающего человека.

Я хотел его оставить, но он знаками остановил меня. Я остался. Он протянул руку; я взял его за руку и сел около него. Рыдания мало-помалу утихли, катилися одни крупные слезы из-под опу-

щенных ресниц. Еще несколько минут — и он совершенно успокоился и задремал. Я потихоньку освободил свою руку и вышел из комнаты, в полной надежде на его выздоровление. На другой день, также рано поутру, приезжаю я в больницу и спрашиваю попавшегося мне навстречу его сторожа: — Каков мой больной? — И сторож мне ответил: — Больной ваш, ваше благородие, уже в покойницкой; вчера как уснул поутру, так и не проснулся.

После похорон я оставался несколько дней в Петербурге, сам не знаю для чего. В один из этих дней встретился мне Михайлов. После рассказа о том, как он провожал вчера мичмана в Николаев и как они кутнули на Средней рогатке, речь зашла о покойнике, о его вдове и, наконец, о его неоконченной „Мадонне“. Я просил Михайлова проводить меня на квартиру вдовы, на что он охотно согласился, потому что ему самому хотелося еще раз посмотреть на неоконченную „Мадонну“. В квартире покойника мы ничего не встретили, что бы свидетельствовало о пребывании здесь когда-то художника, кроме палитры с засохшими красками, которая теперь заменяла разбитое стекло. Я спросил о „Мадонне“. Хозяйка не поняла меня. Михайлов растолковал ей, чтобы она показала нам ту картину, которую когда-то смотрел он у них. Она ввела нас в другую комнату, и мы увидели „Мадонну“, служившую заплатой старым ширмам. Я предложил ей десять рублей за картину; она охотно согласилась. Я свернул в трубку свое драгоценное приобретение, и мы оставили утешенную десятью рублями вдову.

На другой день я простился с моими знакомыми и, кажется, навсегда оставил Северную Пальмиру. Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме.

25 генваря 1856 — 4 октября 1856.

ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ

Посвящаю Сергею Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уважения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города, хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести; но все же — город, а мне захотелось уединенного тихого уголка. Эта поэтическая мысль пришла мне в голову в начале или в половине апреля, не помню хорошенько. Помню только, что это случилось в самый развал нашей знаменитой малороссийской грязи. Можно бы и подождать немного,— весною грязь быстро сохнет. Но уж если что мне раз пришло в голову, хотя бы самое несбыточное, так хоть роди, а подавай. На этом пункте я имею большое сходство с моими неподатливыми земляками. Писатели наши и вообще люди приличные чувство это называют силою воли, а его просто можно назвать воловьим упрямством,— оно живописнее и выразительнее.

Долго я перебирал в памяти своей моих добрых приятелей, укрывшихся в тени уединения, т. е. посвятивших себя совершенному бездействию. После тщательной переборки я остановился на одном отставном гусаре, называвшем меня своим родичем, чему я совершенно не противоречил. Лежал он или, как бы выразиться иначе, прозябал он в самом живописном уединенном уголке Киевской губернии, в верстах трех от местечка Лысянки. На него-то и пал мой выбор.

На тройке добрых почтовых лошадей я с Трохимом и с чемоданом поутру рано выехал из Киева. До первой станции, Веты, мы добрались без особых приключений и Вету оставили благополучно. Только как раз против самого Белокняжего поля, не доезжая каплицы, или часовни, у левой пристяжной лопнули постромки. Мы думали было на паре кое-как дотащиться до Василькова. Не тут-то было. Грязь по ступицы, и наша пара ни с места. К счастию нашему, мужик вез лозы для изгороди, мы у него, не без труда, правда, выпросили пару лозин и устроили себе кое-как постромку.

В Василькове мы закусили с Трохимом фаршированной щукой, крепко приправленной перцем, и потянулись дальше. Пошел мелкий, тихий дождик, потом крупнее и крупнее, наконец, полил как из ведра; можно бы было заехать в корчму в Мытнице (село) и переждать дождь, но я как сказал себе, чтобы нигде не останавливаться до Белой Церкви, так и сделал. В Белую Церковь приехали мы уже ночью. Посоветовавшись с Трохимом, решились мы ночевать на почтовой станции и, я вам скажу, мы хорошо сделали, что так придумали умно, а иначе мне, может быть, никогда не пришлось бы писать этой прогулки, а вам читать ее, мои терпеливые читатели, потому что узел описываемого мною происшествия завязался именно в эту достопамятную ночь. Только не на почтовой станции, как это большею частию случается, а... но зачем забегать вперед!

Решившись ночевать на станции, я спросил у смотрителя, есть ли у них комната для проезжающих.

— Есть две,— отвечал он,— только обе заняты. Какая-то барыня, должно быть, с дочерью, заняли обе комнаты.

— Барыня с молодою дочерью? — подумал я.— Эх, как досадно, что я не гусар или хоть просто военный, я бы знал, как тут распорядиться: просто по праву проезжающего по казенной надобности (военные не ездят на почтовых по своей надобности)

закупорил бы мать с дочерью в одну комнату, а в другой сам расположился и на досуге занялся бы обсервациею в замочную скважину. Вот вам и начало романа, чисто в гусарском вкусе: я, было, признаться, и того... да нет, не хватило духу. Сказано: кому не написано на роду быть военным человеком, так тот хоть в аршин запусти усы, а всё останется штафиркой.

До местечка оставалось еще с добрую версту, а до еврейского трактира, где мы предположили провести ночь, по крайней мере версты две, но делать было нечего, и мы потащилися ночью, под проливным дождем отыскивать трактир. Трохим, не совсем довольный моим решением, начал было что-то возражать, но я махнул рукою, и мы пустилися в дорогу. Через час времени мы благополучно достигли желаемой цели.

Пользуясь сим удобным случаем, я мог бы описать вам белоцерковский трактир со всеми его грязными подробностями, но фламандская живопись мне не далась, а здесь она необходима. Замечу мимоходом: во-первых, меня никто не вышел встретить, как то бывает в русских трактирах, но этому могла быть причиною темная, ненастная ночь,— причина важная для самого храброго героя; во-вторых, по скользким ступеням вскарабкивался я кое-как в темный коридор и наткнулся на что-то железное,— так ловко наткнулся, что чуть себе лба не раскроил. Поутру же я увидел, что это были дроги с рессорами из-под какого-то экипажа. Таково было мое вшествие в иудейскую гостеприимную обитель. В комнате уже меня встретил еврей, довольно благовидной наружности, помог мне стащить с плеч насквозь промокшую непромокаемую шинель и униженно спросил, что мне будет угодно? — Чаю и комнату,— отвечал я. Он сказал: — За́раз,— и скрылся за дверью. В ожидании этого „зараз“ — я грелся и разминался, ходя взад и вперед по комнате. Комната была что-то вроде лавки, с шкафами около стен и стеклянным ящиком вдоль комнаты вроде за-

стойки. Перед ящиком я остановился и между галантерейными безделушками, как бы вы думали, что я увидел? Книгу в желтой обертке. Я только хотел было сказать Трохиму, чтобы достал книгу из чемодана, а тут она сама в руки лезет, и Трохима тревожить не нужно. Беру со стола свечу и читаю заглавие, кажется, славянскими буквами: „Украинская поэзия“ Т. Падуры. — Поди-ка, голубчик, сюда, я тебя давно не видал. — Ящик, однако ж, был заперт. Я позвал хозяина, но вместо хозяина явился какой-то еврей с рыжей бородкой. Я просил его достать мне из ящика книгу, но он рекомендовался мне, что он фактор, а не хозяин лавки. Я велел ему позвать хозяина. Явился хозяин, тот самый благовидный еврей, что помогал мне снимать непромокаемую шинель. Я просил его достать книгу, он достал и, подавая ее мне, сказал:

— Десять злотых.

— А если только прочитать, — спросил я, принимая книгу, — что будет стоить?

— Пять злотых, — сказал он, побрякивая ключами. Делать нечего, я отдал пять злотых и спросил нож, чтобы разрезать дорогую книгу, но это было напрасно, — книга была разрезана и даже запачкана. Кроме сальных пятен, я заметил на полях листов то прямые черты, крепко проведенные где ногтем, а где и карандашом, то знак восклицательный, то знак вопросительный, то чорт знает что.

— Ай, ай! — подумал я, — да ты побывала уже в руках у нашего брата критика.

Портить карандашом или ногтем чужую книгу непростительно, но тут все-таки есть хоть какая-нибудь мысль, что я, дескать, читал такую книгу и нашел в ней это хорошо, а это дурно, хотя это подобного читателя совсем не извиняет в порче чужой собственности. Чем же извинить господ, портящих стекла на почтовых станциях своим драгоценным алмазом, выводя на стекле свой замысловатый вензель, как на каком-нибудь важном документе, четко и выразительно? Чем извинить этих

господ? Для чего они это делают? Какая тут мысль? А какая-нибудь да кроется же в этих замысловатых вензелях и росчерках? Неужели только та, что такой-то и такой проезжал здесь с алмазным перстнем?— Только, и ничего больше. Какое мелкое, ничтожное тщеславие! А говорят и даже пишут, будто бы знаменитый лорд Байрон изобразил где-то в Греции на скале свою прославленную фамилию. Неужели и этот крупный человек не чужд был сего мелкого, ничтожного тщеславия?

Странно, между прочим, это мелкое тщеславие заставляет меня (да, может быть, и не одного меня) смотреть, разумеется, от нечего делать, на эти исцарапанные стекла и прочитывать давно знакомую книгу, исчерченную карандашом и ногтем,— так и теперь со мной случилось. Поэзия Падуры мне известна и переизвестна, а я заплатил за нее пять злотых так, из одной прихоти, как говорится, чтобы себя потешить. А между тем, когда увидел каракули на полях,— начал читать как бы никогда не читанную книгу.

Над песней под названием „Запорожская песня“ было весьма четко написано: Скальковский врет. Что бы значила эта весьма нецеремонная заметка? Я прочитал песню. Песня начинается так: „Гей, козаче, в имя бога“. Какое же тут отношение к ученому автору „Истории нового коша“? Не понимаю. Ба! вспомнил. Эту самую песенку ученый исследователь запорожского житья-бытья вкладывает в уста запорожским лыцарям. Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Удивительно! А может быть, он хотел просто подсмеяться над нашим братом-хохлом и больше ничего? Бог его знает, только эта волыно-польская песня столько же похожа на песню днепровских лыцарей, сколько похож я на китайское божество.

— А что же чай и комната?— спросил я, закрывая книгу.

— Зáраз,— сказал торчащий в углу рыжебородый фактор. И он вышел в другую комнату.

— Ах вы, проклятые!.. Я уже целую книгу прочитал, а они и не думали приготовлять чаю!

Через минуту фактор возвратился и снова притаился в углу.

— Что же чай? — спросил я.

— За́раз закипит,— отвечал он.

— Чего же ты тут переминаешься с ноги на ногу? — спросил я у услужливого фактора.

— Я фактор. Может быть, пан чего потребует, то я всё за́раз для пана доставить могу,— прибавил он, лукаво улыбаясь.

— Хорошо,— сказал я.— Так ты говоришь, что всё, чего я пожелаю?

— Достану всё,— отвечал он, не запинаясь.

— Какую же мне задать ему задачу, так что-нибудь вроде пана Твардовского? — спросил я сам себя и, подумавши, сказал ему:

— Ты знаешь английский портер под названием „Браунстут Берклей Перкенс и компания“?

— Знаю, — отвечал он.

— Достань мне одну бутылку, — сказал я самодовольно.

— За́раз, пан,— сказал фактор и исчез за дверью.

— Ну,— подумал я,— пускай поищет. Теперь этого вражеского продукта и в самой столице не достанешь, не только в Белой Церкви.

Не успел я так подумать, как является мой фактор с бутылкой настоящего „Браунстута“. Я посмотрел ярлык на бутылке и только плечами двинул, но виду не показал, что это меня чрезвычайно удивило. Фактор поставил бутылку на стол и, как ни в чем не бывало, стал себе попрежнему в углу, и только пот с лица утирает полою своего засаленного пальто. Чудотворцы же эти проклятые факторы!

— Скажи ты мне истину,— сказал я, обращаясь к фактору,— каким родом очутился английский портер в вашей Белой Церкви?

— Чрез наш город, — отвечал он,— возят из Севастополя пленных аглицких лордов,— так мы и держим для них портер.

— Дело,— сказал я: — значит, ящик просто отпирался.

— Не прикажете ли еще чего-нибудь достать вам на ночь? — спросил фактор.

— Подожди, братец, подумаю,— сказал я.— Какой бы ему еще крючок загнуть, да такой, чтобы зубами не разогнул? — подумал я и, подумавши хорошенько, вот какой загнул я ему крючок, истинно во вкусе Твардовского.

— Вот что, любезный чудотворец,— сказал я, обращаясь к мизерному Меркурию,— если уж ты достал мне портеру... Постой, у вас есть в городе книжная лавка?

— Книжной лавки нет в городе,— отвечал он.

— Хорошо,— так достань же мне новую неразрезанную книгу, и тогда я поверю, что ты всё можешь достать.

— За́раз,— сказал невозмутимо рыжий Меркурий, поворотился и вышел.

II

— Эй, хозяин! Что же чаю? — сказал я громче обыкновенного, обращаясь к растворенной двери.

— За́раз,— откликнулся из третьей комнаты женский голос.

— А чтобы вам своего мессии ждать и не дождать так, как я не дождусь вашего чаю!

Не успел я проговорить эту гневную фразу, как в дверях показалась кудрявая черноволосая прехорошенькая евреечка, но такая грязная, что смотреть было невозможно.

— Где же чай? — спросил я у запачканной Гебы.

— У нас чаю нет,— а не угодно ли...

— Как нет, где хозяин? — прервал я запачканную Гебу.

— Хозяин пошли спать,— отвечала она робко.

— Если чаю нет, так что же у вас есть? — спросил я ее с досадой.

— Фаршированная щука и...

— И больше ничего,— прервал я ее.

А меня прервал вошедший в комнату фактор с двумя новенькими книгами в руках. Я изумился, но сейчас же пришел в себя и велел подать щуку и потом уже обратился к фактору, равнодушно взял у него книги. Смотрю,— книги действительно новые, неразрезанные. Я хотя и привык, как человек благовоспитанный, скрывать внутренние движения, но тут не утерпел, ахнул и назвал фактора настоящим слугою пана Твардовского. Он улыбнулся, а я на обертке прочитал: „Морской Сборник“ 1855 года, № 1. Я еще раз удивился и, обратясь к фактору, сказал:

— Скажи же ты мне, ради самого Моисея, какою ты силою творишь подобные чудеса, и расскажи, как и от кого достал ты эти книги?

— О!.. Эти книги дорого стоят, если рассказывать вам их историю,— сказал фактор и провел по голове пальцами, как бы поправляя ермолку.

— Сослужи же мне последнюю службу,— сказал я ласково своему рыжему Меркурию,— расскажи ты мне историю этих дорогих книг.

Фактор замялся и почесал за ухом. Я посулил ему злотый на пиво, это его ободрило, он вежливо попросил позволения сесть и, почесавши еще раз за ухом, рассказал мне такую драму, что если бы не его декламация, то я непременно бы расплакался. Содержание драмы очень просто и так обыкновенно, что поневоле делается грустно. Происшествие такого рода.

Из Севастополя в Смоленскую губернию ехал какой-то флотский офицер, бог его знает, раненый ли, или просто больной, с двумя малютками детьми и с женой. Дело было зимой или в конце зимы; дорога так его, бедного, измучила, что он принужден был остановиться в Белой Церкви на несколько дней — отдохнуть. Болезнь усилилась и положила его в постель. Что им оставалось делать? Сидеть в грязной и дорогой хате и дожидать какого-нибудь конца. Началась распутица, всё вздо-

Прогулка съ удовольствіемъ
и небезъ морали. .

Часть
1.

Посвящаю Сергѣю Тимофеевичу Аксакову
въ знакъ глубокаго уваженія

Титульна сторінка повісті „Прогулка с удовольствием и не без морали“.

рожало. Своих денег не было, расходовались прогоны, и прогоны израсходовались, а больной не вставал. Какой-то проезжий медик навестил его и только покачал головой — и ничего больше. Рецепт не для чего было писать, потому что в местечке какая аптека? На другой день после визита медика больной умер, оставив свою вдову и детей, что называется, без копейки. Что оставалось ей, бедной, делать в таком горьком положении? Она написала письмо родственникам мужа в Смоленскую губернию, а в ожидании ответа начала продавать за бесценок мужнин гардероб и иные бедные крохи, чтобы удовлетворить самую крайнюю необходимость. Услужливый за деньги еврей, если узнает, что у вас наличных и в виду не имеется, то он вам и воды не даст напиться, а о хлебе и говорить нечего. А впрочем, русский человек сделает то же, с тою только разницею, что побожится и перекрестится, что у него всё было и всё вышло, а денежному гостю подаст всё, что бы тот ни просил, и принесет всё требуемое перед вашим же носом. Бедная вдова продавала всё, даже необходимое, если оно имело хотя какую-нибудь цену в глазах покупателя. Книги, которые мне принес всеведущий фактор, были взяты у нее и, вероятно, за бесценок. В хозяйстве вдовы они были только лишнею тяжестью, да и покойник, как видно, не высоко ценил печатную мудрость,— он книги даже не разрезал. Ну, да как бы то ни было, только я был изумлен и обрадован таким беспримерным явлением.

— Что же ты заплатил за книги? — спросил я фактора, разрезывая первый номер.

— Два карбованца,— меньше не отдает,— отвечал он запинаясь.

— Врешь, сребролюбец,— подумал я, а уличить его нечем.

— Хорошо,— говорю я ему,—деньги я отошлю с моим мальчиком завтра, ты только покажешь ему квартиру.

— Я уже деньги заплатил: она в долг не по-

верила,— сказал он, обтирая рукой свою грязную шляпу.

— Жаль. Я больше полтинника тебе не дам за книги.

— Зачем же вы испортили книгу? — сказал он почти дерзко.

— Чем же я ее испортил? — спросил я.

— Всю ножом изрезали, теперь она не возьмет книгу назад. За мое жито мене й бито,— проговорил он едва внятно и замолчал.

— Утро вечера мудренее,— сказал я ему.— Ложись спать, а завтра рассчитаемся.

Он поклонился и вышел.

По уходе фактора я разбудил Трохима, который спал себе сном невинности около чемодана во всем своем промокшем облачении. Велел я ему полуразоблачиться и, войдя в другую комнату, сказал довольно громко, почти крикнул:

— А что же щука?

— Зараз, — послышался прежний женский голос, и чрез минуту явилась та же самая курчавая запачканная евреечка.

— Что щука? — повторил я.

— Уже готова, только на стол поставить,— проговорила она.

— Ставь же ее на стол скорее, да не забудь и водку поставить.

Евреечка ушла и вскоре опять явилась со щукой и с осьмиугольным штофом с какой - то буро - красноватой водкой.

Я принялся за щуку и, несмотря на то, что она крепко была приправлена перцем и гвоздикой, с таким аппетитом убирал ее, что если бы Трохим провозился со своим разоблачением еще хоть минуту, то застал бы одну голову да хвост, но он поторопился и захватил еще порядочную долю щуки. После щуки спросил я у запачканной Гебы, нет ли еще чего - нибудь заглушить перец и гвоздику? Она отвечала, что ничего они больше сегодня не варили. Я велел подать графин воды, стакан и располо-

жился на скрипучей, вроде дивана, деревянной скамейке, а Трохим, окончивши щуку, помолился богу и тоже расположился на каком-то войлоке у печки, на полу. Тишина водворилась в еврейской обители. Снявши со свечи, я начал перелистывать „Морской Сборник“ № 1-й.

III

Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увечные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды,— только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий то, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие — чтобы освободить детей их из кантонистов, а последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне, однако ж, не спалось. Матрос расшевелил мое воображение и отогнал услужливого Морфея. Простое и самое естественное дело простого человека рисовалось в моей душе яркими лучезарными красками. Должно быть, я сильно обнищал сердцем, когда меня так поразило это, повидимому, обыкновенное явление. Неужели вместе с цивилизацией так плотно к нам прививается эгоизм, что мы, т. е. я,— едва верил в подобное бескорыстие? Должно быть, так. А по-настоящему не должно быть так: обра-

зование должно богатить, а не окрадывать сердце человеческое. Но, к несчастию, это теория. Подобное ни к чему не ведущее рассуждение не давало мне заснуть, и чем глубже я входил в эти рассуждения, тем возвышеннее, благороднее казался мне поступок увечного бедняка матроса. Он отдал всё сестре, а себе ничего не оставил, кроме сумы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный.— Что если бы,— подумал я,— удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы, или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего. И я начал сочинять поэму.

Во дни минувшие, во дни невинности моей, как говорит поэт, и я втихомолку кропал стишонки, да и кто из нас их не кропал? Следовательно, мне это рукоделье было несколько знакомо. Оставалось придумать ход действий и обстановку; а место действия — страшный четвертый бастион в Севастополе, еще страшнее лазарет там же и, в заключение, укрытое цветущими вишневыми садами малороссийское село, и среди улицы этого очаровательного села встречает свободная сестра своего великодушного калеку брата. Канва готова,— осталось подобрать тени, и за работу. Я уже начал было и тени раскладывать, не теряя из виду общего эффекта. Слушаю, в комнате будто что-то шепчет. Не бредит ли Трохим во сне после еврейской щуки? Прислушиваюсь, действительно Трохим, только не бредит, а наяву про себя шепчет:

— А... хочется пить, а не хочется встать.

Минуту спустя, он еще раз повторил громче свое желание, а через минуту он проговорил его почти вслух.

— Трохиме,— сказал я громко.

Трохим молчит.

— Трохиме! — повторил я тем же тоном.

— Чего? — отозвался он как бы спросонья.

— Подай мне графин с водою.

Он глубоко и продолжительно вздохнул, лениво

поднялся с постели, отыскал впотьмах графин и подал мне.

— Напейся сам,— сказал я ему,— а я не хочу пить.

Трохим напился, поставил графин на место и проговорил:

— Покорно вам благодарю.

— То-то ж, дурню,— сказал я ему вместо наставления, но он едва ли это наставление слышал, потому что спал.

Оригинал порядочный этот Трохим. Я опишу его когда-нибудь в другом более приличном месте, а теперь буду продолжать собственное похождение.

Я принялся было опять за прерванную нить своей поэмы, но Морфей-приятель задернул занавес, и едва зримая и великолепная декорация скрылась от моих очей.

На другой день, очень нерано, мы оставили Белую Церковь. Это потому, что я заснул уже на рассвете; сначала матрос не давал мне покою, а потом блохи.

Дорога была по-вчерашнему скверная, если не хуже: от продолжительного дождя густая грязь превратилась в настоящую квашу, как выразился недовольный Трохим. Дорога, впрочем, меня мало беспокоила: я ее почти не замечал; меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма. Я всё устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать. Импровизация моя была прервана не самым обыкновенным происшествием. Кони наши остановились перед берлином, или дормезом, по самый кузов зарезавшимся в грязь. Четыре пары добрых волов едва-едва двигали его вперед, а почтовая четверка, вся в мыле, отдыхала по ту сторону плотины.— Не вчерашняя ли это барыня с дочерью с таким комфортом путешествует?— спросил я сам себя и нечаянно взглянул на Трохима. У него была такая кислая, недовольная рожа, что я расхохотался. Он как будто бы не замечал моего хохота и оттого делался еще смешнее.

— О чем это вы так задумались, Трохим Сидорович?—наконец, спросил я его шутя. Трохим мой вздохнул, поворотился лицом к дормезу и проворчал что-то похожее на брань.

— Не „отче-наш“ ли вы читаете?—спросил я его, едва удерживаясь от смеху.

— „Отче-наш“,—проговорил он сквозь зубы.

— За чью ж это душу?—спросил я его, смеясь.

— За чортову,—отвечал он тем же тоном и, оборотясь ко мне, сказал:

— Правду сказал еврей, у которого мы ночевали, что вы не похожи не только на пана, не походите даже на простого шляхтича голопуз...

Последнего слова он не договорил и опять отвернулся от меня.

Так вот где причина, почему благообразный еврей вчера и сегодня не ухаживал за мною, как это обыкновенно делают они, особенно содержатели заезжих домов и так называемых уездных трактиров; а я уже думал, что бы значило, что хозяин так равнодушно принял меня, так равнодушно, что не почел нужным попотчевать даже чаем, а вот он где секрет. Интересно бы знать, за кого он меня принял?

— За кого же он меня принял? Не говорил тебе он?—спросил я у Трохима.

— Так, говорит, ни то, ни сё, и еще прибавил какое-то слово по-своему, я не понял, а верно, что-нибудь скверное, потому что, сказавши это слово, он плюнул.

— Ах он, проклятый! Еще и плюнул! Ну, а ты как думаешь, Трохиме, похож ли я на пана, хотя сбоку?—спросил я его шутя.

— Ни сбоку, ни спереду,—отвечал он не задумавшись и, отворотясь от меня, продолжал вполголоса:—Не только пан, порядочный мужик в такую погоду собаки из хаты не выгонит, а он поехал в гости—очень нужное дело! Да еще хочет, чтобы его паном евреи величали. Небось, они знают, как кого назвать.

Последнее слово он проговорил шопотом. Я вну-

тренно смеялся досаде озлобленного Трохима. В это время сзади нас послышался почтовый колокольчик. Я оглянулся: в полуверсте за нами тащилась по грязи тройка, такая же, как и наша.

— Слава тебе, господи! — вскрикнул протяжно Трохим и перекрестился.

— А что? — спросил я его.

— Выехали из грязи, — сказал он весело.

Дормез действительно стоял уже по ступицы в грязи, а волы, совершивши свой подвиг, попарно вылезали из болота на более сухое место. Вдали слышимый колокольчик запел уже у меня за плечами. Я снова оглянулся и, кроме тройки и ямщика, увидел стоящую в телеге фигуру в черной бурке и в каком-то мудреном картузе. Через минуту тройка, телега и стоящая в ней фигура очутились у самых окон дормеза. Фигура на минуту наклонилась к окну, как бы спрашивая о здоровьи закупоренных в подвижной светлице красавиц. Потом фигура в бурке и картузе приподнялась и хриплым голосом стала кричать на ямщиков, чтобы подавали скорее лошадей. Я занялся фигурой, Трохим не знаю чем занимался, ямщик накладывал табаку в свою носогрейку, а кони, опустив морды в самую лужу, о чем-то призадумались.

— Что же ты не трогаешь? — сказал я ямщику.

— А я думал, — сказал ямщик, не вынимая трубки изо рта, — что мы за ними и поедем до самой станции.

— Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! — сказал я, и мы оставили фигуру в бурке и дормез.

Когда мы проезжали около дормеза, я заглянул в окно, и передо мной мелькнула необыкновенно прекрасная женская головка, повитая чем-то черным. У меня как будто бы молотком ударило в сердце, и я уже до самой станции ничего не видел, кроме очаровательной головки.

— Самовар есть? — спросил я у станционного смотрителя, вылезая из телеги.

— Есть,— отвечал он.

— А коли есть, так прикажите его нагреть.— И, обращаясь к Трохиму, прибавил:

— Делать нечего, Трохиме, чемодан нужно развязать, а то мы пропадем без чаю.

— А разве еврейский вам не понравился? — проговорил он иронически, вынимая чемодан из телеги.

Правду сказать, так чай был только предлогом, а настоящим-то делом была волшебница, закупоренная в подвижном тереме. Мне ужасно хотелось еще хоть мельком взглянуть на эту дивную головку. Казалось, что я рассчитал недурно: они непременно войдут в комнату, пока им лошадей перепрягут, и я... всё случиться может, буду иметь счастие предложить ей стакан чаю. В дороге что за церемония? Пока я так предполагал, самовар кипел уже на столе, и Трохим вытирал черный глиняный чайник и зеленоватые кабачные стаканы. Ну, как же я в таком стакане предложу ей чаю? Срам и... еще что-то я хотел подумать, как растворилась дверь и в комнате явилась фигура в бурке и в мудреном картузе. Не снимая картуза, фигура хриплым басом спросила стоявшего пред ней смотрителя:

— Есть ли лошади?

— Есть,— отвечал почтительно смотритель.

— Мне нужен осьмерик,— проговорила фигура.

— И осьмерик будет,— отвечал смотритель тем же тоном.

Фигура бросила подорожную на стол и, заметя третье лицо, т. е. меня, приподняла картуз и кивнула головой. Я отвечал тем же, только немного скромнее, и предложил фигуре стакан чаю с дороги. Фигура не отказалась, пожалела только, что даже в Киеве нельзя достать порядочного араку. Я не противоречил, и разговор наш тем кончился. Фигура, не допивши стакана чаю, скрылась за дверью. Так как этот субъект играет или будет играть не последнюю роль в нашем повествовании, то не мешает его очертить с некоторыми подробностями.

Отставной ротмистр гвардии, помещик Курнатовский,— так гласила подорожная, которую я прочитал не без любопытства. О подробностях фигуры господина гвардии отставного ротмистра не могу сказать ничего положительно, потому что она скрывалась под буркой. А лицо? Лицо довольно обыкновенное, особенного ничего не выражает, такие лица можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или в Полтаве, между ремонтерами. Нос большой, довольно аляповатый и довольно красный, глаза тоже красные, навыкате. Губы толстые, особенно нижняя, усы искрасна-черные, большие; о волосах на голове тоже ничего положительно не могу сказать, потому что он не снимал своей затейливой фуражки. Вот вам и вся недолга. Если всмотреться в него попристальнее, так, может быть, нашлись бы какие-нибудь особенности, но я не успел попристальнее всмотреться и подробнейшее окончание портрета оставляю до следующего сеанса.

— Опять поехали волами! — сказал Трохим, входя в комнату.

— Вели долить самовар и прибавить угольев,— сказал я ему и вышел из комнаты.

— Во что бы то ни стало, а я ее дождусь,— говорил я сам себе, глядя на бесконечную плотину, по которой четыре пары волов едва двигали знакомый мне дормез. Час, если не больше, дожидался я заветного дормеза, наконец, остановился он перед воротами почтовой станции.

— Не угодно ли будет,— не совсем смело сказал я отставному ротмистру,— вашим дамам выпить горячего чаю с дороги?

Ротмистр кивнул головой и подошел к окну экипажа. Чрез минуту огромный лакей разложил ступени, отворил дверцы и из подвижного терема высадил... кого бы вы думали, кого? Вместо прекрасной волшебницы — бабу-ягу, закутанную во что-то черное.— А чтоб ты провалилась! — подумал я; а лакей между тем сложил ступеньки и тихонько притворил дверцы.

— А что же панна Гелена?—спросил по-польски старуху ротмистр.

— Спит,—отвечала старуха и поплелась в комнату, поддерживаемая огромным гайдуком.

Ротмистр закурил колоссальный трабукос и пошел на конюшню посмотреть, каких ему лошадей заложат, а я посмотрел грустно на экипаж, как лисица на виноград, и отправился скрепя сердце потчевать старуху чаем. Напрасно я беспокоился,— она уже сама себя потчевала, и когда я взошел в комнату, она даже и не взглянула на меня. Я сказал Трохиму, чтобы он налил себе стакан чаю и укладывал чемодан. Старуха тогда взглянула на меня и отвернулась, а я вышел из комнаты, как бы не замечая ее взгляда. Лошади для меня были готовы, и я, дождавшись Трохима и чемодана, посмотрел еще раз на облепленный грязью дормез, сел в телегу и уехал в полной надежде увидеть таинственную красавицу на следующей станции, т. е. в городе Таращe.

Таращa — город! Не понимаю, зачем дали такое громкое название этой грязной слободе. Наверное можно сказать, что покойный Гоголь и мельком не видал сего нарочито грязного города, иначе его родной Миргород показался бы ему если не настоящим городом, то по крайней мере прекрасным селом. В Миргороде, хотя и не пышной Растреллиевской или Тоновской византийской архитектуры, а все-таки есть беленькая каменная церковь. Хоть небольшое белое пятно на темной зелени, а оно делает свой приятный эффект в однообразном пейзаже. В Таращe и этого нет. Стоит себе на пригорке над тухлым болотом старая темная деревянная церковь, так называемая козацкая, т. е. постройка времен козачества. Три осьмиугольных конических купола с пошатнувшимися черными железными крестами, и ничего больше. И все это так неуклюже, так грубо, печально, как печальна история ее неугомонных строителей. Едва-едва к вечеру дотащились мы до сего так называемого города. О дальнейшем следовании

и думать было нечего, о дормезе и спящей красавице тоже. Следовательно, я могу смело распоряжаться одной-единственной комнатой в почтовой станции. Так и сделано. Трохиму предоставил я распорядиться насчет ужина. Но как усердно ни распоряжался Трохим, а ужин наш ограничился парою сушеных карасей, ломтем черного хлеба и рюмкой вонючей водки. Трохим был, как говорится, в своей тарелке и подтрунивал над чернечею вечерею,— так называл он наш ужин. Трунил он собственно не над ужином, а надо мной, что, дескать, как приятно путешествовать во время такой прекрасной погоды! Мне самому было досадно, но я молчал и старался не думать о погоде, а о чем-нибудь другом. Другое мне, однако ж, плохо давалось. Я вспомнил о матросе, и — вообразите мою досаду — я вспомнил, что мы забыли „Морской Сборник" в Белой Церкви. Спрашиваю у станционного смотрителя, не найдется ли из ямщиков охотник съездить верхом в Белую Церковь. Охотник нашелся, я рассказал ему, в чем дело. Он запросил у меня за поездку три целковых, я не торговался и дал задаток. Ямщик тотчас же отправился в дорогу, а мы с Трохимом, помолясь богу, привели утомленные тела свои в горизонтальное положение,— он на скамейке, а я тоже на скамейке, обгороженной с трех сторон чем-то вроде перил, что делало ее похожею на чухонские сани.

IV

„Морской Сборник" таки не дешево мне обошелся, а интересного в нем, я думаю, один только и есть матрос; впрочем, я еще и не просмотрел его хорошенько. Но дело не в том, интересен он или нет, а в том дело, что я с собою взял только две или три книги, и то не знаю какие. Трохим у меня и по этой части распорядился. А нужно вам сказать, что книги для меня, как хлеб насущный, необходимы, и две недели, которые я предполагал посвя-

тить моим родичам, без какой-нибудь книги покажутся бесконечными. Поэтому-то я и дорожил „Морским Сборником“, и еще потому, что родич мой, хотя и не без образования человек, но книги боялся как чумы и, следовательно, на его библиотеку нечего было рассчитывать. Странным и ненатуральным покажется нам, грамотным, человек, существующий без книги! А ежели всмотреться попристальнее в этого странного человека, то он покажется нам самым естественным. Родич мой, например, начал свое образование в каком-то кадетском корпусе, а окончил его в каких-то казармах и в лагере. Когда же и где ему можно было освоиться с книгою? Штык и книги — самая дикая дисгармония. И родич мой, выходит, самый натуральный человек, и тем еще натуральнее, что он не притворяется читающим, как делают это другие, ему подобные, как, например, делает его благоверная половина, а моя прекрасная родичка или, яснее, кузина, у которой вся библиотека состоит из „Опытной хозяйки“, переписанной каким-то не совсем грамотным прапорщиком. А как занесется о литературе, так только слушай. Другой, пожалуй... да что тут говорить про другого, — я сам сначала уши развесил, да потом уже спохватился. Я познакомлю вас, мои терпеливые читатели, хоть слегка с моей кузиной-красавицей (правда, не первой молодости). С такими субъектами, как она, не мешает иногда познакомиться. Сам я познакомился с нею, когда она была еще невестой моего родича, и, правду сказать, чуть-чуть было не втюрился по уши, — извините за выражение, другого не мог придумать. Тогда она была восхитительно хороша, а это известно, если женщина восхитительно хороша собой, то значит, что она и добра, и умна, и образованна, и одарена ангельскими, а не человеческими свойствами. Это уж так водится. А на самом-то деле, чем женщина красивее, тем более похожа она на движущуюся прекрасную, но бездушную куклу. Это я говорю по собственному многолетнему опыту. Красавицы только в романах олицетворенные ангелы,

а на деле они автоматы или просто гипсовые фигурки.

И кузина моя во время оно казалась мне ангелом кротости и образцом воспитания. Я не волочился за ней открыто, это не в моей натуре, но втайне боготворил ее. Это общая черта антивоенного характера. Вскоре она вышла замуж за моего родича и с ним уехала в деревню. Я поохладил свою глубоко-робкую любовь двухлетним несвиданием и потом уже видался с нею довольно часто, но не как пламенный обожатель, а просто как старый знакомый и притом родственник. Тут-то и стал я наблюдать отчетливее за моим бывшим кумиром. Как-то раз зашла речь (это было в деревне) о германской поэзии. Кроме Гете и Шиллера, она с восторгом говорила о Кернере; мне это понравилось, я и выписал сдуру экземпляр Кернера да и послал ей в деревню. Через год или больше случилось мне завернуть к ним мимоездом, и что же? Мой Кернер валяется под диваном, и даже неразрезанный. Это меня заставило усомниться в любви к немецкой поэзии моей красавицы-кузины. Для чего же она так непритворно восхищалась этим Кернером? Неужели эти, сквозь слезы, восклицания была ложь? Увы, да! Она, как я впоследствии узнал, боготворила всё, что имело какое-нибудь подобие военного, начиная от скромного ученого кантика до великолепного кавалерийского штандарта, а об аксельбантах и говорить нечего: аксельбанты были для нее выше всякого обожания. Так изволите видеть, в чем секрет: при берлинском издании сочинений Кернера, которое она где-то видела, приложен портрет поэта в военном мундире, а мой экземпляр был другого издания и без портрета, так она его и швырнула под диван. Вот вам и секрет. Книги она просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней во времена Гуттенберга, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер. Это верно. Зато озолотила бы изобретателя тузов, королей, дам, валетов и т. д., словом, изобретателя карт,—она

воздвигла бы кумир и молилась ему, как богу-просветителю человеческого рода. Из какого болота вытекает и так широко разливается эта топорная, безобразная страсть в мягком нежном сердце женщины? Вопрос не головоломный: из болота бездействия и из тины нравственной пустоты. Врожденных таких отвратительных способностей я не признаю даже в ремонтере. У нас говорят про пьяницу, вора и тому подобного художника, что он, бедненький, уж с этим и родился. Пренаивное понятие! И если бы спросить и у знаменитого череповеда Лафатера, то и он, положа руку на сердце, сказал бы: — Пренаивное понятие! — Играть самому в ералаш, в носки и прочая, — тут есть еще удовольствие, разумеется, удовольствие не совсем эстетическое, но все-таки удовольствие, — по крайней мере длинные минуты праздной жизни делаются короче. Но какая нравственная радость просидеть у стола игроков до трех часов пополуночи и безмолвно считать выигрыш и проигрыш безмолвных картежников? Совершенно не понимаю! А прекрасная кузина моя находит в этом созерцании высокое наслаждение. Она готова неделю не есть, не пить, только бы сидеть автоматом и смотреть, как играют в ералаш или даже в три листика! А если ей самой удастся составить партию для ералаша, то она готова, как Илья Муромец, сиднем просидеть за картами месяцы и годы без куска хлеба и стакана воды. Неужели так тлетворно действует на пустую красавицу отсутствие толпы обожателей, ее единой насущной пищи? Действительно, так, — по крайней мере я другой причины не знаю. Красавицы в обществе заняты делом, т. е. кокетничеством, а дома, да еще и в деревне, что ей прикажете делать? Не румяниться же и белиться для своего медведя мужа. Всё это ничего! Всё это только отвратительно, а вот что горько. У моей прекрасной кузины растет прекраснейшее дитя, девочка лет четырех или около этого, резвая, милая, настоящий херувим, слетевший с неба. И херувим этот, это прекраснейшее создание отдано в руки грязной де-

ревенской бабы. А нежная мамаша шнуруется себе да припекает папильотки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет. Однажды привез я для Наташи (так называется дитя) азбуку и детскую естественную историю с картинками. Надо было видеть, с каким недетским восторгом она любовалась моим подарком и с каким любопытством расспрашивала она свою красавицу - мамашу о значении каждой картинки. Но мамаша, увы! или обращалась ко мне, или просто посылала ее к няньке играть в куклы. Мне стало грустно, и я не совсем издалека повел речь об обязанности матери. Кузина сначала слушала меня, но когда я вошел поглубже в предмет и начал живо и рельефно рисовать перед ней эти священные обязанности, она вполголоса запела: — Не шей ты мне, матушка, красный сарафан.— Хоть кол на голове теши,— подумал я и чуть - чуть было не выкинул штуки, т. е. хотел плюнуть и уйти, однако ж удержался и только закурил сигару и вышел в другую комнату.

Зачем они детей родят, эти амфибии, эти бездушные автоматы? С какой целью они выходят замуж, эти мертвые красавицы? Чтобы сделать карьеру, как выражается моя кузина. А дети — это уже необходимое следствие карьеры, и ничего больше. Бедные бездушные матери! Вы свой долг, свою священную обязанность передаете наемнице гувернантке и, еще хуже, деревенской неграмотной бабе. И диво ли после этого, что порода хорошеньких кукол у нас не переводится? Да и будет ли когда - нибудь конец этой породе? Едва ли,— она страшно живуча на нашей тучной заматерелой почве.

Но не пора ли оставить мою темную красавицу - родственницу в покое и обратиться к более светлым предметам?

На другой день поутру ямщик с книгами явился передо мной, как лист перед травой. Я расплатился с ним окончательно и спросил его, не видал ли он на дороге берлина.

— Ночуе посеред гребли в Ковшоватий,— отве-

чал он и вышел.— Значит, я ее более не увижу,— подумал я и велел старосте запрягать лошадей.

Через несколько минут лошади были готовы, книги в чемоданы спрятаны, и, помолившись богу, мы благополучно отправились в дорогу.

Странный, однако ж, человек этот сочинитель,— подумает благосклонный читатель. Ругает на чем свет стоит свою родственницу, а сам к ней в гости едет,— тут что-то да не так.— Совершенно так,— отвечаю я благосклонному читателю,— и, по моему мнению, так и следует: хлеб-соль ешь, а правду режь,— говорит пословица, и пословица говорит благородно. Если бы мы, не только сочинители, но вообще люди честные, не смотрели ни на родство, ни на покровительство, а указывали пальцем прямо, благородно на шута родственника и на грабителя покровителя, то эти твари, по крайней мере днем бы, не грабили и не паясничали.— Да это невозможно,— скажут честные люди вообще, а сочинители в особенности.— Какое нам дело до его хозяйства, до его средств и источников? Он ведет себя хорошо, безукоризненно хорошо и притом покровительствует даже... даже художникам. Чего ж нам более? А родственник?.. Да бог с ним, если он приличный человек,— пускай себе паясничает на здоровье, а нам какое дело. Если же он, вдобавок, и богатый человек, это дело другого рода, тут даже извинительно отчасти и себе поподличать; тут даже можно и очень поподличать,— это не бог знает какой грех. А между тем, если уж на большее нельзя рассчитывать, так по крайней мере можно лишний раз хорошенько пообедать. То-то и есть, что все мы более или менее лисицы с пушком на рыльце.

Всё это так, всё это в порядке вещей,— скажет благосклонный читатель.— Да как же ехать в гости за двести верст к людям, которые не нравятся? Ну, а если они как-нибудь да прочитают этот ядовитый пасквиль, эту желчную правду, тогда что? У всякого свой вкус: во-первых, я еду для прекрасного весеннего сельского пейзажа, а не для кари-

катурных фигур на первом плане этого прекрасного пейзажа. А насчет второго замечания я совершенно спокоен. Если бы даже я посвятил сие нехитрое творение моей милой кузине и даже поднес бы ей экземпляр в сафьянном великолепном переплете, то, я уверен, и тогда бы она скорее употребила его на папильотки, чем удосужилась бы прочесть сие неложное изображение собственной персоны. Она... да ну ее с богом! Разносился я со своей красавицей-кузиной, как дурень с писаной торбой. Правда, что она весьма интересный, я не говорю — редкий, сюжет для наблюдения; но... пора знать и честь.

Только к вечеру дотащились мы до Баранполя. Переезд сам по себе небольшой, но, кроме грязи, место довольно гористое. Во время этого, на удивление медленного, переезда я занимался моим героем, т. е. матросом, и по временам совершенно против воли предугадывал, кто такая была обитательница подвижного терема, т. е. рыдвана. Жена ли она усатого ротмистра, или дальняя родственница, или же просто красавица, взятая напрокат по кавалерийскому обычаю,— решить было трудно, и потому я старался ее забыть. Но она, как чертенок, вертелась в моем воображении и прерывала стройный ход моей задушевной поэмы.

Трохим советовал заночевать в Баранполе и хоть кусок хлеба съесть: мы, действительно, в продолжение дня ничего не ели. Я и спросил смотрителя, нет ли чего перекусить. Оказалось, что перекуски никакой не было,— потому,— прибавил смотритель,— что теперь страстная неделя.— Резон,— подумал я и велел поставить самовар, но и самовара не оказалось.— Хоть хлеба и воды дайте нам,— сказал я равнодушному смотрителю. Он молча отворил что-то вроде шкафа, висевшее на стене, и вынул оттуда тоже что-то вроде пирога. Это был черствый кныш с постным маслом. Трохим не без труда отломил кусок кныша, поморщился и начал есть, предлагая мне остальное, но я отказался. Голод меня, не знаю почему, не беспокоил. Предоставив распоряжение

кнышом Трохиму, я велел, вопреки ему,— что я редко позволял себе,— запрягать лошадей. Не успел он первого куска дожевать, как лошади были готовы. Не без негодования посмотрел он на меня, спрятал остальной кусок за пазуху, лениво вскарабкался на телегу, и мы пустились дальше.

Вскоре настала ночь — тихая, теплая и темная. Удивительная ночь! Красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и как-то особенно прекрасно горели на темном фоне. Очаровательная ночь! Таким очаровательным ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний дождь, а это не редкость в Малороссии. Жаль, что луны не было. А люблю я ее полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-то обаятельном тумане подымающуюся над едва потемневшим горизонтом. Как ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, как, например, Калама, она увлекательнее, прекраснее. Высокое искусство (как я думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. Какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в этом деле руки человека, в этом божественном искусстве? Творчеством называется эта великая божественная тайна, и... завидный жребий великого поэта, великого художника. Они братья наши по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам божиим, уподобляются богу, и к ним только относятся слова пророка, их только создал он по образу своему и по подобию, а мы — толпа безобразная и ничего больше.

Догадливый почтарь или ямщик, вместо русской телеги, в которой и самый отчаянный фельдъегерь едва ли вздремнет, заложил нам бричку, вроде н е т ы ч а н к и, длинную и широкую, и, вдобавок, навалил в нее сена. Трохиму это так понравилось, что он, не дожевавши своего кныша, заснул, с куском в руке, сном свежей юности и непорочности. Немного погодя и аз многогрешный последовал его мудрому примеру.

V

Как мы проехали эту станцию, кроме ямщика и лошадей никто из нас не знает. Я проснулся на рассвете у самой **царины**, или выгона, местечка Лысянки, а Трохима я разбудил уже перед дверьми почтовой станции. Так как конец моего путешествия был уже очень не в далеком расстоянии,— не принимая, разумеется, в расчет грязь и полуверстовую **греблю**,—то я и рассудил, что лучше немного отдохнуть в Лысянке и потом уже пуститься дальше. До Будищ, т. е. до резиденции моего родича, оставалось версты две, не более. Долго ли их проехать? Час, а много два,— так я рассчитывал. Но как я сомневаюсь во многом, то и в этом расчете усомнился, и, чтоб определить это предположение точнее, я спросил Трохима, что он на это скажет. А он, подумавши, сказал, что если мы поедем сейчас же, то приедем в Будища не ранее полудня.

— Одна гребля чего стоит! — прибавил он. Я согласился с его тонким замечанием и попросил смотрителя дать мне лошадей в сторону, т. е. от почтовой дороги. Он охотно согласился, — разумеется, за двойные прогоны, считая прогоны не за две версты, как я думал, а за двадцать с чем-то, до следующей станции, до Звенигородки. Он не только меня, но даже Трохима уверил, что ему совершенно всё равно. Делать нечего, я согласился. На деле оказалось, что Трохим прав, сказавши, что мы раньше полудня не будем в Будищах; и смотритель прав, считая полуверстную греблю за 20 верст.

Напившись чаю и, хотя не совсем плотно, закусивши, мы тронулись в дорогу. При выезде из Лысянки мы со всею осторожностию въехали на греблю и завязли, что называется, по самые уши в грязи. Тут пришлось нам в первый раз употребить волов в дело. Это было заключение и без того монотонно-длинного спектакля. Я выкарабкался кое-как из телеги на близстоящую развесистую вербу, потом спустился на землю и сторонкой, выде-

лывая через лужи антраша, перебрался через греблю и, немного отдохнувши, поднялся на гору и у памятника на еврейском кладбище расположился отдохнуть. Лысянка передо мной, как на ладони, красовалась. Все еврейские лачуги можно было пересчитать, а христианские нельзя, потому что они закрыты темными, еще обнаженными садами. Долго я искал глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знакомый мне домик отца диакона Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а прямо живописи. Отец Ефрем, чтобы испытать, есть ли у меня способность к этому хитрому делу, заставил меня на листе железа тереть какую-то чернобурую краску. Я не выдержал испытания и на другой же день показал пяты отцу диакону. Многое переиспытал я после этого первого урока, но ничто так не врезалось в моей памяти, как это первое наивное испытание. Но перейдем лучше к чему-нибудь другому, пока волы вытащат из грязи телегу с Трохимом.

Местечко Лысянка имеет важное значение в истории Малороссии. Это родина отца знаменитого Зиновия Богдана Хмельницкого, Михайла Хмиля. И еще замечательна (если верить туземным старикам) своей вечерней, не хуже сицилийской вечерни, которую служил здесь ляхам Максим Железняк в 1768 году. Да если считать все подобные события, недостойные памяти человека, замечательными, то не только какая-нибудь Лысянка, — каждое село, каждый шаг земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра. В чем другом, а в этом отношении мои покойные земляки ничуть не уступили любой европейской нации, а в 1768 году Варфоломеевскую ночь и даже первую французскую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев: у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи, что допускали нередко у себя западные либералы.

Наконец, смешная и скучная процессия с телегой была кончена. Я полтинником поблагодарил угрюмого мужика, а выпачканного грязью мальчугана, его усердного сотрудника, поощрил гривною меди и, благополучно усевшись в телеге, продолжал финальный акт монотонной комедии, т. е. последние версты моей бестолковой поездки.

Трохим мой хотя и не знахарь, а будущее определяет не хуже любого знахаря. Во время самого обеда телега наша остановилась перед домом моего гостеприимного родича. Встретил он меня на крыльце с салфеткою в руках, а кузина в столовой с озабоченным лицом и с выпачканным в муке носом. Это значило, что куличи в печке и еще не поднялись до определенной высоты,— этот важный процесс еще не свершился и своей томительной неизвестностью тревожил заботливую хозяйку. Я только так догадывался и, разумеется, не без основания. Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой.

Подобно Чацкому, который, как выразился бессмертный поэт, попал с корабля на бал, и я с телеги да прямо за стол, и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах.

Два раза, с извинением, хозяйка вставала из-за стола и куда-то на минуту выходила, и опять возвращалась, храня глубокое молчание. В третий раз она, уже и не извинясь, оставила нас за столом, промедлила минутой более, чем в первые отсутствия, и возвратилась с сияющим лицом и с умытым носом. Значит, великий химический процесс совершился к общему в доме благополучию. Слава богу! Теперь только посыпались вопросы и расспросы о Киеве, о родне, о знакомых, о приятелях и приятельницах и, наконец, о монахах. Я отвечал как попало,— меня занимал рычаг, которым была двинута моя неподвижная кузина на такую необыкновенную деятельность. Рычаг этот ничего больше, как крошечное тщеславие: ей захотелось блеснуть, что на-

зывается, своими куличами перед необразованными провинциалами, — так обыкновенно называла она своих соседок. К концу обеда и я немного поразмялся, передал, разумеется, с безукоризненной точностию, глубочайшие поклоны моим родичам; сообщил им новорожденные свеженькие городские сплетни и, в заключение, рассказал про дормез и заключенную в нем красавицу, про встречу мою с ротмистром Курнатовским и, наконец, про старую дуэнью, которая так невежливо распорядилась моим чаем.

— Так он теперь только возвращается с контрактов? — воскликнула хозяйка. А хозяин однотонно прибавил:

— Это наш хороший сосед по имению.

— И во всех отношениях прекраснейший человек, жаль только, что он рано оставил службу, а с таким состоянием, как он имеет, можно бы далеко уйти. Настоящий кавалерист! — прибавила хозяйка неравнодушно.

— А кто такая эта молодая красавица, что с ним путешествует? — спросил я, обращаясь к ней.

Ее заметно сконфузил мой вопрос. Она замялась, покраснела, быстро встала из-за стола и побежала в пекарню. Я посмотрел вслед удалившейся хозяйке и хотел обратиться с таким же вопросом к хозяину. Но, увы! Родич мой почти спал с недопитым стаканом сливянки в руке. Постный обед возымел свое действие. Он бессмысленно взглянул на меня, и мы молча встали из-за стола, пожали друг другу руки и расстались, проговоривши: — До свидания. — Что же значит мой вопрос о путешествующей красавице, от которого моя не весьма конфузная кузина так сконфузилась? Тут что-то интересное кроется, а что именно, известно одному аллаху и, наверное, моей кузине. А когда известно ей, значит, известно всем и всякому, кроме меня, но я постараюсь открыть этот таинственный ларчик. А для чего? И на этом серьезном вопросе я заснул на уготованном мне ложе, в так называемом флигеле, в квартире № 1.

Квартира № 1 состояла из небольшой одной комнаты с узеньким, вроде готического, окном. Где же я помещу своего Трохима? — это был первый вопрос, представившийся мне, когда я проснулся и осмотрел мою временную обитель. В этой коморке невозможно: здесь и одному тесно, а он у меня, как истинный хохол, любит развернуться, ему необходим простор. Где же мне его поместить? Оставить его на произвол самого себя невозможно. Он, пожалуй, приютится у ленивой и избалованной дворни, и через неделю я своего Трохима не узнаю. Нет, это непозволительно и грешно даже. Он, не знаю, что вперед будет, а в настоящее время чист и непорочен, как новорожденное дитя, и по наивно-оригинальному характеру своему нисколько не подходит к категории лакеев, а тем более крепостных лакеев.

Хотя он, т. е. Трохим, и не первопланная фигура на изображаемой мною картине, но по своей оригинальности требующая некоторой отделки, а тем более, что я дал слово читателю очертить его с некоторыми подробностями. А у меня слово закон, и я теперь намерен сделать два дела за одним присестом: исполнить закон и пополнить пробел сегодняшнего дня, т. е. дня прибытия моего к родичам.

Породою своею Трохим не принадлежит к слоям высшего круга людей. Он просто сын киевского мещанина, и когда взял я его к себе в жокеи, то он большею частию лежал на ларе в передней, но не спал, а глубокомысленно смотрел в потолок. Чтобы переменить род его занятия и предохранить от скорбута, я принялся учить его русской грамоте. Ленивый мальчуган сверх ожидания оказался прилежен и чрезвычайно понятлив. В продолжение месяца он начал читать гражданской печати книгу не хуже своего учителя, т. е. меня. Выучивши грамоте Трохима, я успокоился насчет скорбута и его умственного застоя. Прошло несколько времени, я замечаю, что Трохим мой опять потолком любуется, как будто он совершенно неграмотный.

— Что же ты не возьмешь какую-нибудь книгу и не читаешь? — сказал я ему однажды.

— Я не хочу читать ваши книги,— отвечал он, вставая с ларя.— Они все толстые, их и в год не прочитаешь, да и непонятные,— прибавил он.

— Резон,— подумал я и, в виде пробы его вкуса и понятия, дал ему полтинник и послал его в книжную лавку Должикова купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал. Мне нужно было выйти со двора, а квартиру не на кого оставить. Я сердился, но это не помогло. Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил его сердито, где он пропадал во весь день.

— Та всё на Подоле,— отвечал он как ни в чем не бывало.— Там всё про войну говорили, так я и слушал,— прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Силистрию; меня подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что же он слышал о войне.

— Я ничего не слышал, потому что далеко стоял.— И, подавая мне книги, прибавил: — Посмотрите-ка, какое я себе добро купил.

Я чуть не захохотал на его ответ о войне. Книги на меня произвели такое же действие. Одна из них была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами, а другая, на синей, толстой бумаге,— переписка той же Екатерины II с Вольтером.— Пропали мои труды и деньги,— подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он накупил себе этой дряни? Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

— Не дрянь,— сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца: — вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век,— и детям, и внукам достанет такой дебелой книги.

— Хорошо,— сказал я.— Ну, а другую книгу кому ты после себя оставишь? — спросил я.

— Это ничего, что в ней листы немного потоньше, зато она с кунштами.

И минуту спустя спросил он меня:

— А вы мне будете рассказывать, что значат эти куншты?

— Лучше закажи ты завтра столяру липовую таблицу (доску), разведи в чем-нибудь мелу и принимайся писать, выучишься писать, тогда я и расскажу тебе, что значат эти картины,— сказал я ему и велел ставить самовар. На другой день Трохим принялся за каллиграфию и так же быстро постиг тайну сего изобразительного искусства, как и тайну букваря. Исписавши дести две бумаги, он стал записывать довольно красиво и четко мелочной расход и переписывать песни из московского песенника, который достался ему от отца и лежал до сих пор в сундуке без всякого употребления.

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский, я и Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге, я дал ему чистую тетрадку и велел записывать всё, что случится во время дороги, начиная с названия почтовых станций, сел, городов и рек. Я был доволен моей выдумкой. Но кто проникнет зрячим оком непроницаемую тьму грядущего?—со вздохом должен был я сказать впоследствии.

Возвратясь из путешествия, я, как порядочный хозяин, велел Трохиму показать мне вещи, которые браты были в дорогу. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

— А где же такие и такие-то вещи?—спросил я Трохима.

— А бог их знает,—отвечал он спокойно.

— Хороший же ты слуга. А я еще, как доброму, словутку купил. Чего же ты смотрел в дороге?— прибавил я с досадой.

— Я всё смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку. Вы же сами приказали,— сказал он с упреком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

— Покажи же мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал?

Он вынул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

„До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед уездным трактиром остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимоновки, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они (т. е. я) сидели на рундуку, пили сливянку и с курчавою еврейкою жартовали“.

— Ты слишком в подробности вдаешься,— сказал я ему, отдавая тетрадку.— Спрячь ее, в другой раз я дочитаю.— И, почесавши затылок, пошел к портному и заказал новое платье вместо растерянного в дороге. С тех пор я уже не заставляю его вести путевые записки.

Оригинал порядочный мой Трохим, но что в особенности мне в нем нравится, так это отсутствие малейшей лакейской способности.

VI

Постный обед, а в особенности постный борщ, который едва ли едал и сам великий знаток и сочинитель борщей, гетман Скоропадский, так на меня подействовал, что я, проснувшись после этого постного обеда, часа два по крайней мере лежал, что называется, пластом. Сам Лукулл не доказал бы такой удали. Лень пальцем пошевелить; чувствую, что начинает темнеть в комнате,— лень на окно взглянуть. Такого рода припадок может случиться только в деревне, и то после постного обеда. Принимался думать о моем матросе,— куда тебе, и чепуха даже в голову не лезет. Просто оцепенение моральное и физическое. Пришел Трохим, постоял у дверей, посмотрели мы молча минут пять друг

на друга, и на том кончилось наше свидание. Я хотел было посоветоваться с ним насчет помещения, но решительно не мог. Что бы подумал честный, аккуратный или, лучше сказать, умеренный немец, если бы прочитал сие простодушное сказание? Варвар,— подумал бы умеренный немец. А будь у немцев такой постный борщ, как у нас, православных, то и немец бы не в силах был ничего подумать, а только сказал бы, что всё это в порядке вещей.

В комнате едва можно было уже различать предметы, а я всё еще находился под влиянием великопостного обеда и был, как бы сказал крючкодей минувших дней,— был нем, аки рыба, и недвижим, аки клада. Что ж вывело меня из этого полусуществования? Никто, и даже сам знахарь, не отгадает. За стеной, во втором номере, раздался молодой женский голос. Я вздрогнул, как будто чего испугался. Оправившись, я приложил ухо к стене или, правильнее, к перегородке и только стал вслушиваться в волшебные звуки, как вошел в комнату оборванный, запачканный казачок и именем барыни просил меня в покои кушать чай. Не успел я сказать ему: приду,— как взошел Трохим с фонарем в руках. Это меня окончательно уже поставило на ноги.

— А знаете, кто приехал к нам в гости? — спросил меня Трохим, ставя фонарь на стол.

— Не знаю,— отвечал я, стараясь быть равнодушным.

— Берлин, что мы оставили на дороге,— сказал он просто, а не таинственно, как бы следовало.

— Не может быть! Ты ошибаешься,— сказал я, торопливо одеваясь. Он молча взглянул на меня, как бы говоря: разве я могу ошибаться?

Я оделся тщательнее обыкновенного и вышел на двор. Среди двора темнело что-то вроде экипажа; я подошел поближе,— действительно, это был знакомый мне дормез. Не веря собственным глазам, я пощупал рессору, замарал грязью руку и медленно, в ожидании чего-то необыкновенного, пошел в дом.

Растворяя дверь, услышал я знакомый мне хриплый бас и потом такой же хохот ротмистра Курнатовского. Весьма несмело взошел я в гостиную и остановился в изумлении: за чайным столом сидела одна хозяйка и никого больше из нежного пола. Поклонившись хозяйке и поздоровавшись с ротмистром как со старым знакомым, я против воли заглянул в другую комнату, хозяйка это заметила, немного поморщилась и предложила мне стул. Я, как провинившийся, но уже прощенный школьник, сел осторожно на стул и молча всё время сидел. Хозяйка необыкновенно была любезна с ротмистром и совершенно не по-светски позволяла трунить над моею задумчивостью. Мне это не понравилось, и я, тоже не по-светски, взял стакан чаю и вышел в другую комнату. Тут я нашел еще не совсем проснувшегося хозяина, глотавшего постные сухари с чаем. Не только умеренный немец, но и рыжий Джон-Буль стал бы втупик, увидя, как уплетал мой едва проснувшийся родич сухари с чаем после такого гомерического обеда, какой мы с ним уходили. На меня, однако ж, это курьезное явление не произвело должного впечатления. Я был погружен в вопрос, куда девалась непостижимая красавица. Загадка, таинственный сфинкс для меня эта обитательница подвижного терема! А может быть, она и теперь, как заколдованная, спит в своем тереме? Где же ее старая спутница? Опять сфинкс! Но этот последний если и останется неразгаданным, то мы с читателем не много потеряем. А первый необходимо разгадать. Я вспомнил женский тоненький голосок, слышанный мною из-за стены, и, грешный человек, подумал, как бы теперь кстати была замочная скважина. Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не Дон-Жуан какой-нибудь. Ну, что ж, что красавица? И моя кузина красавица, да чорт ли в ней. Она, верно, теперь кокетничает перед зеркалом,— натешится досыта, оденется, и она же к нам придет, а не мы к ней.

И чай уже убрали со стола, и хозяйка вышла в темную столовую со своим дорогим гостем, а красавица не являлась. Верно, она нашла себя неавантажной с дороги и сказалась больной. Завтра всё объяснится. Я хотел уже итти в свою келию, но нашел это невежливым и остался.

Хозяйка громко хохотала со своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные куличи.

— И поделом, не скромничай, не секретничай,— сказала она, укротив свой голосок, настолько, однако ж, что я из третьей комнаты мог слышать все ее слова.— Сегодня я послала ей подарок, живого барашка. Вежливость, ничего больше. И между прочим велела своей посланнице хоть мимоходом взглянуть на ее произведения,— я говорю о куличах. Она ведь полька, а польки, вы знаете, гениальны на эти вещи. Мне хотелось иметь хотя отдаленное понятие о высоте ее произведений. Вообразите же вежливость мадам Прехтель! И на двор не пустила мою женщину, за воротами встретила и приняла мой подарок,— настоящая светская женщина!

— Сама? За ворота? По этой грязи?—спросил с расстановкой изумленный ротмистр и во все горло захохотал.

— А как бы вы думали?—взаимно спросила восторженная ораторша.

— Это ужасно!—воскликнул вежливый слушатель, и, довольные друг другом, они возвратились в гостиную.

— Кухарка ты, кухарка, моя милая кузина!—подумал я,—да и кухарка-то еще сомнительная. Зато несомненная сплетница.

В гостиной они поместились на чем-то вроде кушетки домашнего изделия, и поместились так близко друг к другу, как только помещаются кум с кумою. Гость, опустя на грудь свои щетинистые усы, глубокомысленно погрузился в созерцание одной из

замысловатых пуговиц на своей венгерке, напоминавшей ему о недавно минувших попойках и о прочих гусарских подвигах. А гостеприимная хозяйка, положа свою полную, до плеча обнаженную белую руку на осьмиугольный столик, тоже домашнего изделия, с немым участием смотрела на, увы! недавно бывшего гусара.

Не только я,— сам почтеннейший родич мой любовался этим живым изображением самой нелицемерной дружбы.

Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным „ах... да...“ и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару.

— Правда ли... нам привез эту милую новость один наш хороший приятель,— она взглянула искоса на меня,— будто бы эполеты уничтожают? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию еврейского мессии, чем этой нелепой басне!

— И я тоже,— сказал бывший гусар.

— И я тоже,— отозвался полуспящий хозяин.

— Да с чем же это сообразно! — подхватила неистово хозяйка.— Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках, разве какая-нибудь...

Что она еще хотела сказать,— не знаю.

— А скажите,— прервал ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет,— какой тогда порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для порядочного человека? Что за карьера для порядочного молодого человека? Решительный вздор! И кто вас одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря (дом умалишенных в Киеве) вырвался ваш хороший приятель, скажите бога ради, это чрезвычайно любопытно!?

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул: — Вот он!

— Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! — сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне,

забывши, что он светский человек. Так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражить напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

— Хороша шутка! — воскликнул неистово ротмистр-оратор. — Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом! А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! — И, переведя дух, он продолжал: — За такую шутку, сударь, вам каждый порядочный, и говорить нечего, — каждый, сударь, офицер имеет полное право предложить шутку поострее вашей, — я говорю о шпаге, — понимаете? — Небольшая пауза. — Хотя я теперь и не ношу этого благородного украшения, т. е. эполет, но случись это не в вашем доме, — тут он обратился к улыбающейся хозяйке, — я первый готов предложить эту полюбовную сделку!

И, заложа руки в карманы, ярый заступник благородного украшения гордо прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед ликующей моей кузиною и, покручивая свои темнокрасные щетинистые усы, сказал самодовольно:

— В наш просвещенный девятнадцатый век, — он грозно взглянул на меня, как бы говоря: каково! — турки, персияне, китайцы даже надели эполеты. А мы, кажется, не азиатские варвары, а, слава богу, европейцы, если не ошибаюсь. Не так ли, madame?

Madame в знак согласия кивнула головой и, хлопая рукою о тюфяк кушетки, сказала: — Не угодно ли? — Оратору было угодно, и он под самым носом своей приятельницы закурил темную огромную сигару и развалился как только мог на узенькой кушетке.

Я растерялся и не знал, что с собою делать. Я всегда верил в непритворное обожание эполет всех вообще красавиц, а родственницы моей в особенности, но такое шаманское поклонение мишуре я в первый раз увидел. Значит, я до этого вечера

не встречал ни истинной красавицы, ни истинного гусара. Однако, что же мне теперь с собою делать? Доказывать ослам, что они ослы,— нужно самому быть хоть наполовину ослом; это неоспоримая истина. Что же мне предпринять? Взять шапку и уйти в свою светлицу? Это было бы чересчур по-родственному; однако ж я взял шапку в руки и в ожидании счастливой мысли, как застенчивый школьник перед бойкими экзаминаторами, остановился у дверей, поворачивая в руках свою шапку, как будто бы допытываясь у ней ответа на бойко заданный вопрос. Не думаю, чтоб это было сделано с умыслом (на подобную вежливость ее не хватит), однако ж она сама, т. е. моя кузина, вывела меня из затруднительного положения, переменивши фронт: она открыла снова свирепый огонь, сначала повзводно, а потом всем дивизионом, по беззащитной madame Прехтель. Эта езуитка, как называет ее моя кузина, должна быть порядочная женщина, потому что кузина ее ненавидит. Я, однако ж, был доволен, что она хоть на порядочную женщину обратила свои ядовитые стрелы и вывела меня из осады в чистое поле.

Ободрился я и начал подумывать о ретираде, как подошел ко мне хозяин, глупо улыбаясь, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Что, брат, попался? То-то же, приятель, вперед будь осторожнее с подобными новостями, в особенности... — и, понизя голос, он прибавил: — с кавалеристами,— это народ беспардонный!

— Теперь я и сам вижу, что беспардонный, да вижу-то поздно,— сказал я ему шопотом, поблагодарив его за дружеский совет, и обратился к хозяйке с поклоном и с пожеланием покойной ночи.

— А ужинать? — сказала она.

— Я никогда не ужинаю,— сказал я и соврал: за неимением волчьего или помещичьего желудка я вынужден был на такую уловку.

— А какие пирожки с луком и грибами! Просто гениальные! — сказала она и сделала мину самую гостеприимную.

Но я и от гениальных пирожков отказался, на что светский кавалерист заметил мне, что я препорядочный оригинал.

— Решительный монах! — сказал хозяин; а хозяйка, лениво подымаясь с кушетки, с самою очаровательною улыбкой едва внятно проговорила:

— Чудак! (т. е. дурак).

Отвесив по поклону за любезные эпитеты, я оставил своих остроумных собеседников и удалился в свою мрачную келью.

VII

Вошел я в свою комнату и остановился у двери, чтоб полюбоваться настоящей Рембрандтовой картиной. Трохим мой, положив крестообразно руки на раскрытую огромную книгу, а на руки голову, спал себе сном невозмутимым,— едва-едва освещенный нагоревшей свечою, а окружающие его предметы почти исчезали в прозрачном мраке; чудное сочетание света и тени разливалось по всей картине. Долго я стоял на одном месте, очарованный невыразимой прелестью гармонии. Я боялся пошевелиться, даже дохнуть боялся. Как мираж степной исчезает при легчайшем ветерке, так, мне казалось тогда, исчезнет вся эта прелесть от моего дыхания.

Насладившись до усталости этой импровизированной картиной, я тихо подошел к столу, с сожалением снял со свечи и разбудил Трохима. Спросонья он что-то бормотал; я спросил его: — Что ты говоришь? — И он внятно и медленно прочитал:

— Глаз есть орган, служащий проводником впечатлений света.

— Что ты читаешь? — спросил я его. Он повторил ту же самую фразу и тем же тоном. Я посмотрел ему в лицо: глаза были закрыты. Он спал. Я хотел испытать, может ли двигаться спящий человек, взял его за руку с тем, чтоб провести по комнате, но он проснулся.

— Что ты видел во сне? — спросил я его.

— Нашу квартиру в Киеве,— отвечал он.

— А что ты во сне читал?

— Свою физику.

— А перед сном что ты читал?—спросил я его, глядя на большую раскрытую книгу.

—Житие и страдание священномученика Евстафия Плакиды,— и, протирая глаза, он прибавил, глядя на книгу:

— А я думал, что мы в Таращe на станции.

— Напрасно ты так думал,—сказал я, раздеваясь.

— Я сам теперь вижу, что напрасно.

— Где же ты достал такую большую книгу?

— У здешнего священника.

— Разве ты знаком с ним?

— Я был сегодня у вечерни и познакомился, попросил для читания какую-нибудь книгу, он и дал мне „Житие святых отец",—эту самую,—прибавил он, указывая на книгу.

— Это хорошо, что ты познакомился со священником, и хорошо, что достал себе такую святую книгу. А не узнал ли ты чего-нибудь о гостях, приехавших в берлине?—спросил я его как бы случайно.

— Как же, я всё узнал,—отвечал он самоуверенно:—мне всё до ниточки рассказал их высокий лакей.

— Наконец-то я раскрыл эту курьезно-таинственную завесу,—подумал я.

— Что же тебе до ниточки рассказал высокий лакей?—спросил я его как бы случайно, мимоходом.

— Они поехали в Киев на контракты,—я весь превратился в слух,—да там и зазимовали. На середокрестной неделе отговелись в лавре, а на пятой выехали из Киева. В Василькове поставили свой берлин на колеса и, дождавшись грязи, поехали дальше.

— Для чего же они дожидались грязи,—спросил я его,—и для чего она им понадобилась?

— Не знаю, так говорил лакей,—ответил он простодушно и продолжал свой рассказ.

— А сюда заехали для того, чтобы оставить свой

берлин, пока хоть немного грязь подсохнет, потому что проселочной дорогой его с места не сдвинет и десять пар волов, а им завтра нужно быть дома: они где-то недалеко живут,—забыл, как он называл свое село. Здесь они завтра пересядут в бричку и в ней уже поедут в свое село. Да, чуть было не забыл,— сказал он и остановился.

— Теперь-то,—подумал я,—польется вся эссенция рассказа.

— Сам пан верхом поедет, а в бричке только они.

— Кто они?—спросил я с нетерпением.

— Лакей с барынями,—сказал он спокойно и, отойдя в угол, стал развертывать и расстилать свою постель.

— А что же дальше?—спросил я его с досадой.

— Ничего,—отвечал он преспокойно.

— А кто же эта молодая панна и старуха, что ехали в берлине?

— Не знаю, я не спрашивал,—отвечал он тем же тоном и, прочитав молитву „Да воскреснет бог", перекрестил изголовье своей постели и лег спать.

Я только посмотрел на него и ничего больше.

— Ловко же ты разведал всё до ниточки,—тебе только и служить у какого-нибудь Дон-Жуана, а не у меня,—подумал я, раздеваясь и следуя его благоразумному примеру.

За стенкой было совершенно тихо. Мне не спалось. Что же я буду делать? Кстати вспомнил я о „Морском Сборнике" и, доставши из чемодана № 1, принялся перелистывать. На реестре увечных бедняков, как на чем-то трогательно-привлекательном, я остановился. Долго не мог я отвести глаз от этого заветного реестра или, лучше сказать, от моего героя—великодушного матроса. Я уже начинал чувствовать обаяние дремоты, хотел уже положить книгу и погасить огонь, но мне жаль было расстаться с прозрачным полумраком, образовавшимся от нагоревшей свечи. Я начал ощущать удивительно приятную середину между сном и бдением. В гармоническом полумраке я искал воображением и почти

с закрытыми глазами какого-нибудь хотя слабо освещенного предмета, на чем бы остановить погасающее зрение. Мрак становился гуще и свет слабее. Ресницы мои тихо сближались между собою и, наконец, сомкнулись. Мрак сделался прозрачней и светлее, а в глубине этого синевато-бледного полусвета едва видимо образовался темный, широкий, ровный, как по линейке очерченный горизонт; за горизонтом тихо, медленно начал являться слабый розоватый свет и, усиливаясь, он принимал какой-то серо-мрачный тон. Горизонт потемнел и издавал гул наподобие соснового бора. Я превратился в слух и зрение. Еще минута, гул сделался слышнее, а горизонт темнее. Еще минута, и я уже слышал не неопределенный гул, а страшный рык какого-то чудовища. Свет усиливался и принимал серовато-млечный колорит. Из-за темного, необозримого горизонта бесконечною стеною с огромными фантастическими куполами медленно подымались тучи. Подымаясь выше и выше, они теряли свои колоссальные причудливые формы и обращались в темносерую массу нескончаемого пространства. Над горизонтом становилось светлее, и тихо, едва заметно-тихо, как бы из самого горизонта, подымался огромный беловато-серебристый шар, только одним абрисом похожий на солнце. Свет проник повсюду и окончил прекрасно-страшную картину моря, под названием „Пролог ужасной бури“. Бледный шар подымался выше и выше и становился бледнее и бледнее, наконец, как бы растопился и исчез в млечно-серой массе. Буря, как миллионы невидимых чудовищ, ревела на просторе. На фоне темных туч блестели стаями белые мартыны, и на белых скалах длинными вереницами уселись, как любопытные зрители, черные бакланы. Рев бури спустился как будто бы тоном ниже и стал ослабевать, как усердный бас в конце обедни. В густой и тихой октаве бури мне послышалась грустно-заунывная мелодия нашей народной думы, „Думы об Алексее, пирятинском поповиче“. Мелодия сделалась слышнее, слова внятнее, и так,

наконец, внятны, что я мог вторить поющему и голосом, и словами. И я вторил следующие стихи:

На морі синьому, на камені білому
Ясний сокіл квилить - проквиляє,
На синєє море пильно поглядає,
З моря добичі вижидає, виглядає.

Мелодия, которой я начал вторить, переходит в речитатив и медленно стихает, как безнадежные стоны одиноко умирающего страдальца, наконец, и речитатив умолк. А из-за огромной белой скалы на прибрежный влажный песок выходит Трохим и ведет за собою высокого согбенного, с белою, как снег, бородою, слепого старца в синем кафтане и в черной высокой бараньей шапке. В правой руке у старика длинный посох, а левой рукой придерживает он что-то похожее на ящик, покрытое полою длинного кафтана. Это непременно лирнык либо кобзарь.— Да где же мог встретить Трохим в такие дни божьего человека? — Так спрашивал я сам себя.— Знает, лукавец, что мне нужно, выкопал таки, несмотря и на страстную пятницу.— Когда я стал пристальнее всматриваться, то и увидел, что это был не лирнык и не кобзарь, а шотландский королевский нищий, так живо описанный Вальтером Скоттом в его „Антикварии".— Каким же чудом,— опять я спрашиваю сам себя,— принесло из Шотландии в Будища королевского нищего, да и за чем? Разве в плен попался как-нибудь под Севастополем? Ведь англичане народ оригинальный: они и на войне не чуждаются домашнего комфорта.— Я, однако ж, ошибался,— это был настоящий лирнык. Он сел у самого дормеза, положил лиру на колени и начал строить свою лиру, а Трохим, нагнувшись, шепчет ему на ухо: — Про Ивася Коновченка заспивайте, дядюшка.— Старик тихо кивнул головою, повернув колесо лиры, проиграл прелюдию и начал речитативом заунывную рапсодию про славного лыцаря Ивана Коновченка. Окно, т. е. стекло дверец дормеза, опустилось, зеленая шторка поднялась, и в окне показалась чудной, невыразимой

красоты женская головка, с большими карими глазами, немножко заспанными. Я вздрогнул и проснулся. В комнате уже серело и страшно воняло погасшей сальной свечкой. Я наскоро надел сапоги, плащ, фуражку и вышел на двор. Весеннее утро сияло во всей своей прелести, из ворот в поле потянулась бричка с двумя пассажирками, сопровождаемыми всадником в венгерке и в затейливом картузе.

— Это они, непременно они,— подумал я, глядя на удалявшуюся бричку.— Прощай, лукавая надежда!— прошептал я и пошел навстречу уже бодрствующему хозяину.

После словесных и ручных приветствий он предложил мне прогулку в парке,— так называл он небольшой ольховый и дубовый лесок, перерезанный узкою, аршина в три, просекою, именуемой большой аллеею. Балансируя по намощенным доскам, кое-как добрались мы до калитки, так называемой арки. Аллея была суха и даже посыпана толченым кирпичом, но, по причине ее убогой широты и необрезанных ветвей, мы не могли итти рука об руку, а прогуливались гуськом, а следовательно, не могли завести разговора даже о погоде! Итак, хозяин мой молчал, а я красноречиво слушал и, слушая его мудрое молчание, думал. Сначала думал я о таинственной красавице, потом о моем герое-матросе, а потом о том, что я видел во сне прошлую ночь: море, буря,— всё это мимо, думы мои остановились на лирныке. Сон в руку, как говорится. Я искал рукавиц, а они за поясом торчат; я искал образца для своего будущего произведения, и искал чорт знает где; перебрал в памяти литературы всех образованных и древних и новых народов, кроме литературы санскритской и своей возлюбленной родной. Чудаки мы, в том числе и я.

Недавно кто-то печатно сравнивал наши, т. е. малороссийские исторические думы с рапсодиями Хиосского слепца, праотца эпической поэзии, а я смеялся такому высокомерному сравнению. А теперь, как разобрал да разжевал, так и чувствую, что

сравниватель прав, и, с своей стороны, я готов даже увеличить его сравнения. Я читал, разумеется, в переводе Гнедича, и вычитал, что у Гомера ничего нет похожего на наши исторические думы-эпопеи, как, например, дума „Иван Коновченко“, „Савва Чалый“, „Алексей Попович пирятинский“, или „Побег трех братьев из Азова“, или „Самойло Кишка“, или, или,— да их и не перечтешь. И все они так возвышенно-просты и прекрасны, что если бы воскрес слепец Хиосский да прослушал хоть одну из них от такого же, как и сам он, слепца-кобзаря или лирныка, то разбил бы вдребезги свое лукошко, называемое лирой, и поступил бы в михоноши к самому бедному нашему лирныку, назвавши себя публично старым дурнем. Увы! теперь я себя так назвать должен, во-первых, за то, что хотел подражать, а во-вторых, за то, что не знал, кому подражать. А где причина этой несамознательности, этой безнравственной несамознательности? Известно где, в школе. В школе нас всему, совершенно всему научат, кроме понимания своего милого родного слова. О школа, школа, как бы тебя скорее перешколить! Я знаю, как это сделать, только не знаю, как бы сделать это так, чтобы кузина моя не пронюхала о моем замысловатом проекте. Она тогда проклянет меня, потому что по смыслу этого хитрого проекта ее, как мать, первую придется отвести в школу, да еще и в хорошую школу, а за нею и прочих на нее похожих матерей, а об отцах и говорить нечего, в особенности о моем родиче. Неправда ли, глубокомысленный проект?

Неблагодарный! — скажет с негодованием благородный читатель.— Ежели ты попрал священные узы родства и дружбы, то вспомнил бы вчерашний обед, вспомнил бы, кому ты обязан гостеприимством, вспомнил бы, против кого ты ухищряешься, на кого ты руку подымаешь.— Нехорошо, сам вижу, что нехорошо делаю, что проект мой хотя и удобоисполнимый, но суровый, бесчеловечный! Но, увы! — один-единственный и необходимый.

После, нельзя сказать, приятной, но, смело можно сказать, оригинальной прогулки по трехаршинной просеке хозяин предложил мне еще прогулку по конюшням и коровникам, недавно им воздвигнутым по иностранному образцу, напечатанному в каком-то журнале. Несмотря на такую заманчивую рекомендацию, я отказался от обозрения монументальных зданий. Не видавши этих построек, я имел об них ясное понятие: это должны быть собачьи конуры, а не конюшни и коровники. Ты, брат, из какого хочешь образца сделаешь на свой образец: в моем бедном родиче совершенно всё выравнено и выглажено. Не думайте, однако ж, чтобы тут светское образование работало, нисколько: сама всемогущая природа его так оболванила. Ни одной черты, ни одного малейшего бугорка, ни одного пятнышка, словом, ничего такого, за что бы можно было ухватиться и дойти хоть до пошлой самобытности характера. От лакированных сапогов до узенького плоского лба,— всё гладко. Его можно бы назвать ничем, если бы он не был помещиком нескольких сот душ крещеной собственности и если бы он строил свои конюшни и коровники, как их обыкновенно строят, просто, прочно и просторно,— а он всё это делает совершенно напротив: вычурно, мелко и только на один год. В особенности мелко. Начиная с парка и просеки, по которой нельзя иначе ходить как гуськом, до домашней мебели и фальшивого циферблата, нарисованного в треугольнике фронтона, всё у него мелко, непрочно и крайне безобразно. Вот одна-единственная черта в абрисе этого человека, на которой может остановиться глаз даже и не быстроглазого наблюдателя. Сказавши друг другу — „до свидания“, мы расстались. Он пошел в свои чуланы, а я в свой чулан.

Войдя в комнату, то бишь в чулан, я разбудил Трохима и послал его в село искать для себя квартиру, а сам, как был в плаще и сапогах, лег на постель и, как это обыкновенно бывает после ранней

прогулки, заснул. Спасибо вежливым хозяевам, что не разбудили к чаю. Я проспал бы до вечера, если бы Трохим, возвратившись около полудня из села, не разбудил меня, сказавши, что я похож на пьяного чумака. Сходство, действительно, было небольшое, но я не обратил на его колкое замечание никакого внимания и напустился на него, зачем он так долго шлялся.

— Шлялся! — процедил он сквозь зубы. — Ни до одной светлицы приступу нет, а их в селе что хата, то и светлица.

— Что же это значит? — спросил я с удивлением, принимая слово „приступу“ за дороговизну.

— А то значит, что солдаты только вчера выступили в поход, так бабы сегодня и принялись мазать свои хаты. Просто содом и гомор в селе, — и где они столько белой глины взяли? И меня одна сердитая баба чуть не вымазала белой глиной, — прибавил он, оглядывая свое платье.

— Что же нам теперь делать без светлицы? — спросил я у Трохима.

— Я уже всё сделал! — отвечал он.

— Что же ты сделал?

— А вот что я сделал. Из бурсы приехал попович на праздники. Ему и отвели квартиру в саду, в той клетке, где летом матушка варенья варит и разные настойки делает. Так вот они, т. е. матушка с батюшкой и сам попович, просят меня, чтобы я приходил ночевать к их поповичу, чтобы ему не так было страшно. Так вы теперь дома ночуйте одни, а я буду ходить к поповичу. Он привез с собою много тетрадок и одну большую, всю исписанную разными стихами, так мы ее и будем по вечерам читать, чтобы не страшно было.

— Сама судьба за тебя, Трохиме! С богом! — Я еще что-то хотел сказать, но грязный казачок вошел в комнату и сказал, что барин с барыней меня ждут обедать. Я вспомнил вчерашний обед и призадумался. Не итти — нехорошо: подумают, что я сержусь за вчерашние эполеты. А итти тоже нехо-

рошо: обожруся по-вчерашнему. Подумавши, я решился на последнее зло.

Была пятница,— и обед, хоть не совсем умеренный, но был совершенно постный, т. е. без рыбы, это-то и спасло меня от объядения. Однако ж, я все-таки всхрапнул часика два после обеда. Всхрапнувши, я вышел на двор, но кроме парка совершенно некуда было выйти, и я пошел в парк. Узенькая аллея показалась мне просторнее, и я принялся ее мерять; утренние мысли посетили меня снова и были уже гораздо розовее и нисколько не касались ни родственников, ни вообще современного человека. Они витали в минувшей бурной жизни, в уныло-сладких песнях задумчивых земляков моих. Мне было весело, приятно, меня сладко волновали эти задушевные унылые думы. Я был околдован ими. Я был настроен на их заунывный тон, и, несмотря на то, что близился вечер, самый восхитительный весенний вечер, я пошел в свою комнату, достал чистую бумагу, перо, чернила и написал эпиграф к первой части своей будущей поэмы:

„На морі синьому, на камені білому“ и проч.

Потом достал огня, зажег свечу, лег на кровать, и, странное дело, мысли мои вдруг перешли от поэмы в мое собственное прошлое. Мне представилась комната в 9-й линии, в доме булочника Донерберга,— комната со всеми ее подробностями, не говорю с мебелью — это была бы неправда. Вдоль передней стены над рабочим столом висят две полки. Верхняя уставлена статуэтками и лошадками барона Клодта, а нижняя в беспорядке завалена книгами. Стена, противоположная полузакрытому единственному окну, увешана алебастровыми слепками следков и ручек, а посреди них красуется маска Лаокоона и маска знаменитой натурщицы Фортунаты. Непонятное украшение для нехудожника. Вдобавок, мне вообразился тот самый день, когда мы с покойным Штернбергом на последние деньги купили себе простую рабочую лампу, принесли ее в нашу келью и среди белого дня засветили, поставили среди стола

и, как маленькие дети, восхищались нашим приобретением. После первых восхищений Штернберг взял книгу и сел по одну сторону лампы, а я взял какую-то работу и сел по другую сторону лампы. Так мы днем с огнем просидели до пяти часов вечера, в пять часов пошли в Академию и всему натурному классу разблаговестили о своем бесценном приобретении. Некоторых из товарищей пригласили полюбоваться нашим дивом и по этому случаю задали вечорку, т. е. чай с сухарями. Мы были тогда бедные, но невинные дети. Боже мой! Боже мой! Куда умчались эти светлые, эти золотые дни? Куда девалась прекрасная семья непорочных вдохновенных юношей?

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Я так искренно, так чистосердечно предался моему прекрасному прошедшему, что несколько раз принимался плакать, как дитя, у которого отняли красивую игрушку, и эти благодатные слезы обновили, воскресили меня. Я внезапно почувствовал ту свежую, живую силу духа, которая одна способна чудо сотворить в нашем воображении. Передо мною открылся чудный, дивный мир самых восхитительных, самых грациозных видений. Я видел, я осязал эти волшебные образы, я слышал эту небесную гармонию, словом, я был одержим воскреснувшим духом живой святой поэзии.

Грязный казачок приходил меня звать на чай, но я сказался нездоровым и не пошел.

Успокоившись немного и приведя в порядок свои возмущенные мысли, я, помолившись богу, принялся за работу.

VIII

Последний день страстной, вся святая и половина фоминой недели невидимо мелькнули надо мною. Я только и помню, что приходил Трохим, приносил обед и свежую воду, ставил всё это осторожно на

столе и молча выходил в двери. В среду, уже на фоминой неделе, перед рассветом, я написал последний стих, поставил точку, положил перо, вздохнул, перекрестился и сказал: — Слава тебе, господи! — После всего этого попытался я заснуть, но попытка мне не удалась, и я напрасно только погасил свечу. Дожидать рассвета в горизонтальном положении и впотьмах мне показалось скучным, я оделся как мог и вышел на двор. На дворе тоже было темно и тихо, как в моей келии. Свежий чистый воздух и упоительный аромат распускавшейся земли оживил меня, как усталого путника в пустыне оживляет глоток свежей воды. Под ногами уже было сухо, и я попробовал сделать несколько шагов вперед, — тоже сухо; я еще отошел немного. Из-за какого-то сарая или конюшни я увидал вдали освещенные окна церкви. Заутреня. — Должно быть, сегодня праздник, — подумал я и хотел итти в церковь, но опасался вместо церкви попасть в лужу, что весьма естественно в теперешнее время. Вскоре птички в воздухе зачали чиликать и начало светать. Я ощупью пошел далее по направлению к церкви, но тут случился забор, окружающий господский двор, нужно было переменить направление и поискать сначала выхода. Рассветало быстро, и я без большого труда нашел ворота и вышел на площадь, или царину. Чрез царину я прямо пошел к слабо освещенной церкви. Солнце вступило в свои права, и свет огня бледнел, как трус, в круглых оболонках темной старинной церкви. Заутреня кончилась, и народ выходил на паперть, когда я подошел к церковной ограде. Трохим, увидя меня, пробрался сквозь толпу и с радостным лицом бросился ко мне на шею; я показался ему из гроба вставшим. Обнявшись братски, мы с ним похристосовались и отошли в сторону, чтоб не затруднять мужичков снятием шапок. За толпою из церкви вышел и священник, человек средних лет с едва заметною проседью в волнистой бороде и раскинутой по плечам косе. Наружность его мне понравилась. Снявши шапку, я подошел к свя-

щеннику, и после троекратного благословения мы с ним похристосовались. Я отрекомендовал ему себя. Он отвечал тем же мне, сказавши: — Отец Савва Нестеровский, — и тут же просил меня с Трохимом Сидоровичем на чашку чаю после обедни. Я дал слово, и мы расстались.

— Эге, — подумал я, — Трохим мой, значит, не уронил себя. Молодец! — Мне это очень понравилось.

Утро было самое прекрасное, и мне не хотелось возвращаться в свою мрачную обитель. Я предложил Трохиму прогуляться немного со мною по улицам села, предложил ему как человеку уже знакомому с местностью и могущему служить мне хорошим чичероне, а в случае нужды оборонить и от собак, — последнее для меня было важнее первого. Пройдя десятка два шагов, я остановился и нечаянно взглянул на церковь. Церковь была обыкновенная. Ее вы увидите в каждом селе в Малороссии: деревянная, темная, о трех осьмиугольных конических куполах, с почерневшими узорными железными крестами. Самая обыкновенная церковь, но теперь она показалась мне необыкновенно грациозною. Солнечные лучи трепетали розовым огнем на ее круглых оболонках и осьмиугольных, бляхою крытых куполах. Развесистые старые вербы и стройные высокие тополи, окружая, полузакрывали ее, выпукло и мягко тушуясь солнечным розовым цветом. Виньетка, какой не увидите ни в самом роскошном кипсеке.

Налюбовавшись досыта этой очаровательной виньеткой, пустились мы далее. Село хоть куда! Хаты большие, не пошатнувшиеся в разные стороны, как пьяные бабы на базаре. Чистые, белые, нередко с светлицами и почти все окруженные темными фруктовыми садами, клунями и стогами разного хлеба. И скотины разной также немало выгоняют из дворов на выгон свежие здоровые девки, в новеньких белых свитках, в красных и желтых сапогах на вершковых подковах. Везде всё чисто и опрятно, так что хоть бы и в казенном имении, так впору.

Выходит, что родич мой, хотя и не книгочий, а человек хоть куда и, как видно, хозяин не из последних. Исполать тебе, Лукьян Алексеевич! Пойми ж теперь и уразумей этот неразгаданный иероглиф, эту курицу без перьев под именем человека! Он, кажется, и думает только о том, как бы поуютнее, т. е. потеснее или поуже конюшню или голубятню выстроить, и больше ничего. Нет, не так. Он и в игрушки играет, и молча свое человеческое дело делает. А другой такой же, кажется, человек, да не такой. Всё у него громадность — от хлыстика, шпор и до голубятни. Кричит, распинается за новые идеи, за цивилизацию, за человечество, а сам ...

Мужичков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Пойми ж теперь, уразумей этот неразгаданный иероглиф, этого хитро созданного человека!

Проект мой о перевоспитании благовоспитанных родителей, действительно, проект превосходный, но если бы мне привелось его приводить в исполнение, то, не обинуясь, я исключил бы своего родича из общей категории. Кузина — это другое дело. Ее тоже можно бы исключить, но совершенно на друг.их данных, по пословице, например: горбатого могила исправит.

Кривая, неправильная улица, обведенная плетнями и частоколами, вывела нас на такую же криво, неправильно, но прочно устроенную плотину с двумя небольшими, соломой крытыми мельницами, увенчанными огромными гнездами аистов, уже возвратившихся с зимовки и тщательно обновлявших свои на время покинутые жилища. Вода лилась из открытых шлюзов и шумела, не шевеля огромных мельничных колес. Религиозные земляки мои не только своим волам и коням, воде своей не позволяют работать в праздник. За широким прудом, на желтовато-бледной возвышенности из молодого березника и олешника выглядывает несколько белых хат с размалеванными ставнями и с аистовыми

гнездами на гребешках. Хаты, как нарядные сельские красавицы в чистых белых свитках, подошли к зеркалу пруда полюбоваться своей красотою. А весь этот незатейливый пейзаж оглашался стаями плававших по воде крикливых гусей и уток. Я сел на инвалидном жерновом камне, лежавшем на берегу пруда, полюбоваться этой живописной картиной. А любознательный Трохим сообщал мне свои топографические сведения о представляющейся перед нами местности. Он сообщил мне, что это не просто пруд, а речка, называемая Гнилой Тикич, и что село называется не просто Будища, а Гнилые Будища, а такие, просто Будища, находятся за Шестеринцами. Трохим соврал: за селом Майдановкою просто Будища находятся, а не Шестеринцами. У меня эта местность крепко засела в памяти. Я изучил ее еще тогда, когда ходил искать себе маляра-учителя и нашел его в персоне отца диакона Ефрема, у которого я, как уже известно читателям, не выдержал первого искуса.

Заблаговестили к обедне, и мы отправились на квартиру. Побрившись и одевшись наскоро, мы пошли в церковь. После обедни зашли к отцу Савве на „отче-наш“ или, пожалуй, на чашку чаю.

Дом отца Саввы наружностию своею ничем не отличался от большой мужицкой хаты, разве двумя дымарями, одним белым, а другим закопченным, и небольшим навесом над дверями на точеных столбиках. И внутренность дома, т. е. светлицы, тоже не многим отличалася от внутренности хаты зажиточного мужика, разве только липовым чистым полом, посыпанным белым, как сахар, киевским песком. Такой роскоши мне не случалось видеть не только у богатого мужика, ниже у полупанка. Дубовый резной сволок с надписью, кем и в котором году дом сей построен, и такие же резные косяки у дверей и окон. В переднем углу образ почаевской божьей матери, и вместо лампады теплились простого желтого воску свечи. Стол обыкновенной величины и фигуры покрыт неважным килымом

(ковром) и сверху как снег белой скатертью. Вместо стульев около стен широкие, чистые липовые лавы (скамьи); между окнами боковой стены небольшой столик с фигурными ножками; на столике лежат раскрытые гусли с изображением на внутренней стороне крышки пляшущих пастушек и играющего на флейте пастушка. Над гуслями, в почерневшей золотой раме, портрет Богдана Хмельницкого с гетманским гербом на фоне, окруженным какими-то буквами. Портрет или, как матушка его называет, „запорожец“ — старинного, но нехитрого письма. Над портретом длинная полка, уставленная большими и маленькими книгами в темных кожаных переплетах. Налево от двери в углу толстая неуклюжая печка из разрисованных кафель, очень похожая на свою хозяйку матушку Евдокию в штофной узорчатой споднице и такой же юпке с золотыми позументами. На нескольких кафлях между цветами и птицами нарисованы двуглавые орлы. Они мне напомнили наивный рассказ Конисского о таком же изображении на кафле, стоившей бедному хохлу пытки и жизни. Самое же лучшее украшение светлицы отца Саввы — это безукоризненная чистота и обаятельная свежесть. Не успел я, как говорится, оглянуться в сей обители мира и тишины, как стол уже был уставлен разнокалиберными графинами с разноцветными жидкостями и тарелками с разнородными закусками, а в заключение — около стола стояла свежая, розовая поповна с подносом в руках, уставленным чашками с чаем. Отец Савва прочитал „отче - наш“, благословил ястие и питие сие, налил в рюмку какой-то настойки, перекрестился и выпил, а другую рюмку предложил мне. Я от рюмки отказался, он предложил ее Трохиму, а меня просил выкушать чашку чаю. После чаю сама матушка предлагала какой-то особой наливки, под названием „семибратняя кровь“, и жареную утку с яблоками, но я опять-таки отказался. А Трохим Сидорович не устояли против „семибратней крови“ и утки с яблоками, чем и сделали величайшее одол-

жение гостеприимной матушке Евдокии. Поблагодарив за угощение хозяина и хозяйку и сказавши „до приятного свидания“, я вышел в сопровождении хозяев на двор. На дворе нам встретился человек без лёвой руки и с солдатским георгием в петлице. Хозяева остановились с незнакомцем, а я вышел на улицу. У ворот на улице стояла бричка, небольшая, о паре лошадей и с кучером мальчиком. Не обращая внимания на это весьма обыкновенное явление, я пошел далее. Дорогою спросил я у Трохима о его друге поповиче, и он сказал мне, что ученый друг его попович еще во вторник отправился в Киев, и начал мне описывать самыми радужными красками своего ученого бурсака, а в заключение прибавил, что он к нам придет в Киеве и принесет тетрадку, называемую „Слово о птицах небесных, як стали жити и бога хвалити и беса проклинати“. Хорошее, должно быть, сочинение. Я просил Трохима сообщить мне его, когда будет можно. У ворот господского дома мы расстались с Трохимом: он возвратился в село, а я отправился с визитом к моей милой кузине и почтенному моему родичу.

Встретился я с ними в столовой,— они работали над какой-то бабой и холодным поросенком. Приличное „ах!“ вылетело из жующих губ кузины, и безмолвное поднятие руки родича с вилкой приветствовало мой внезапный приход. После поздорованья они нашли, что я очень похудел, и советовали поправиться после болезни. Я смиренно подсел к ним, последовал их мудрому совету и принялся за поросенка с бабою, как за прелюдию грядущего обеда. Не успел я воткнуть вилку в фаршированный желудок приятеля, как у крыльца загремел экипаж. Кузина вскрикнула: — Мосье Курнатовский!— бросила нож, вилку и выбежала в другую комнату. Размашисто и ловко вошел ротмистр в столовую и, мимо хозяина протягивая мне руку, сказал:

— Я виноват перед вами! Простите! Эполеты существуют только до нового года.

Из третьей комнаты вылетело „ах!“ и вслед за ахом тревожный вопрос кузины:

— А аксельбанты остаются?

— Остаются! — сказал ротмистр и распростер свои объятия над изумленным хозяином.

Чрез минуту, много чрез две, явилася кузина, точно „Аврора“ Гвидо Рени, свежая, улыбающаяся, румяная, как едва развившийся лепесток сантифолии. Склонив на грудь голову, ротмистр благоговейно подошел к ручке, и после поклонения они пошли в гостиную, а мы с хозяином принялись снова за фаршированного приятеля. Я дивился волшебному превращению кузины. — Давно ли, — думал я, — видел ее, эту самую женщину, самой обыкновенной женщиной, а теперь — фея, нимфа и т. д. Недаром сказал вдохновенный царь Давид: „Господь умудряет слепца“, он же умудряет и красавицу до гробовой доски оставаться если не красавицей, так по крайней мере кокеткой. Лакеи не дали мне кончить моих размышлений и фаршированного приятеля. Они стали раскрывать и накрывать стол, а я, положа оружие, волею-неволею должен был удалиться в гостиную. В гостиной увидел я совершенно не то, что ожидал. Вместо любезной милой болтуньи, кузина моя сидела молча на кушетке ничуть не в живописном положении, щипала свой батистовый платок и едва обращала внимание на отборные восторги ротмистра. — Что бы это значило? — спросил я сам себя и посмотрел на родича, но тот даже бровью не мигал на мой вопросительный взгляд. В недоумении я хотел удалиться, опасаясь быть лишним человеком, но меня предупредил лакей в нитяных перчатках и с салфеткой, одним концом навернутой на большой палец левой руки. Он доложил, что закуска подана. Кузина молча подала руку ротмистру, а мы с родичем, взглянувши друг на друга, тоже взялись за руки и пошли чинно в столовую. За обедом та же самая история. После пирожного уже кузина как бы нехотя сообщила, что на второй неделе праздника была у ней с визитом

madame Прехтель и, увидевши куличи ее и бабы, так вот вся и позеленела от зависти.

— Коварная женщина! — проговорил ротмистр, и мы встали из-за стола. Сейчас же после обеда ротмистр раскланялся, сел в свою нетычанку и уехал. Я тоже взялся за шапку с благим намерением удалиться в свой приют, но кузина меня остановила, сказавши:

— А знаете ли, зачем приезжал к нам Курнатовский?

— Буду знать, если удостоюсь вашей доверенности! — сказал я не без лукавства.

— Просит меня в посаженые матери, а его, — она показала на уже дремавшего своего супруга, — посаженым отцом. Я наотрез отказала, — сказала она с негодованием. — И в самом деле, — продолжала она тем же тоном, — что я ему за маменька такая далась? Бессовестный! Да и партию-то делает какую? Ни больше, ни меньше, как своя собственная крепостная девка! Прекрасная! превосходная! самая блестящая партия! — восклицала она в исступлении.

— А нам-то какое дело, — перебил ее разбуженный супруг. — Крепостная, так крепостная, нам с ней не детей крестить, перевенчали да и баста! Пускай с нею возится, как знает. — Да! — сказал он, обращаясь ко мне. — В следующее воскресенье он хочет венчаться в нашей церкви, просил вас тоже быть свидетелем обряда и расписаться в церковной книге.

— С удовольствием, — сказал я и удалился в свою каюту.

IX

В ожидании воскресенья или, лучше сказать, в ожидании этой архилюбопытной свадьбы я принялся было за свою поэму, но дело у меня не клеилось: нужно было дать ей время вылежаться, как выражается вообще пишущее сословие. Утвердившись в этом благом мнении, я в одно прекрасное утро

собрал разбросанные листочки моего заветного творения, перенумеровал их и, как самая нежная мать укладывает в колыбель дитя свое, так я уложил в портфель свою поэму, свое бесценное сокровище. Утро было, действительно, прекрасное, и я, как Вальтер Скотт, перевесил кожаную сумку с карандашами и бумагой через плечо и, вооружившись походною дубиной, отправился к пруду и мельницам. Пройдя пруд и мельницы чрез плотину, я уединился в молодую березовую рощу, что по ту сторону пруда, или, правильнее, Гнилого Тикича, и в тени распускающихся деревьев, обаянных самым свежим ароматическим дыханием весны, предался созерцанию оживающей божественной природы. Для одного такого утра, думал я, без сожаления можно оставить в городе образованных друзей и поваляться недельку-другую с медведями в берлоге. Прогулки я возобновлял каждое утро, и каждое утро с новым наслаждением. Бывало, выйду из тенистой березовой рощи на светлую поляну и по извилистой дорожке подымусь на пригорок, сяду себе подле креста (такие кресты ставятся на возвышенностях для знака о близости воды), достану из сумы карандаш, бумагу и рисую себе широкую прекрасную долину Гнилого Тикича, освещенную утренним весенним солнцем. Это были для меня самые сладкие минуты, и тем более сладкие, что панорама, лежавшая предо мною, живо напоминала мне мастерской рисунок незабвенного моего Штернберга, сделанный им с натуры где-то в Башкирии.

Когда солнце подымется над бесконечным горизонтом и широкие тени спрячутся за кусты и пригорки, тогда я бережно укладываю мою работу в сумку и продолжаю свою прогулку в тени развесистых дубов и вязов. В одну из таких прогулок я нечаянно попал на совершенно рюисдалевское болото (известная картина в Эрмитаже), даже первый план картины с мельчайшими подробностями тот же самый, что и у Рюисдаля. Я просидел около болота несколько часов сряду и сделал довольно окончен-

ный рисунок с фламандского двойника. Интересно бы было сличить его с знаменитой картиной. На другой день я сделал небольшой этюд с суховерхой старой ивы. Хотел было сделать такой этюд и с полуусохшего старого береста, но на живой его половине не развернулась еще зелень, так я ограничился только одним остовом. И такой рисунок не пролежит даром места в портфеле доброго художника. Много еще нарисовал я верб и берестов в ожидании заветного воскресенья, или курьезной свадьбы.

В субботу вечером, возвращаясь в село, встретил я на плотине своего Трохима, гуляющего с безруким кавалером, с тем самым, что встретился мне на дворе у отца Саввы. И теперь, как и прежде, я не обратил на него особенного внимания и прошел мимо. Около квартиры догнал меня Трохим и без дальних околичностей сказал мне, что я ничего не знаю.

— А ты много знаешь? — спросил я его также фамильярно.

— А я знаю, что завтра будет свадьба, да еще знаете ли, какая свадьба? — прибавил он таинственно.— Тот самый пан, что мы видели на дороге и что заезжал сюда, тот самый пан женится на своей подданке, на той самой, что видели тогда в берлине и что ночевала у нас за стеной.

— Так вот где она — таинственная загадка,— подумал я.— И как всё это просто и натурально, а мне-то сдуру и бог знает каким она неразгаданным сфинксом показалась.

— А кто этот кавалер, с которым ты гулял на плотине? — спросил я у Трохима.

— Он-то мне и рассказал всю эту историю,— отвечал Трохим.

— Да сам-то он кто такой?

— А я его и не спросил, кто он такой. Бог его знает, что он за человек. Отец Савва говорит, что он отставной солдат.

— Не матрос ли? — спросил я, прерывая длинноречивого Трохима.

— Нет, не матрос, а просто солдат,— на своем стоял невозмутимый Трохим.

— Хорошо, пускай будет и солдат,— сказал я и, не заходя в квартиру, как был с сумкою и с походною дубиной, пошел навстречу моему амфитриону и его благоверной половине.

— А знаете ли, что я вам скажу? — кричала мне кузина издали.

— Буду знать, когда вы скажете,— отвечал я, приближаясь.

— Я завтра на свадьбе! — сказала она торжественно: — и к вам, как к артисту, обращаюсь с моей просьбою. Посоветуйте, как мне одеться так, чтоб было сообразно с ролью, которую я займу в этой комедии.

— Оденьтесь так, как вы всегда одеваетесь,— сказал я.

— Какой вы любезный артист,— сказала она и сделала самую пленительную гримасу.— Как всегда! Разве я каждый день играю роль посаженой матери? Растрепанный вы человек! — сказала она полушутя, полусерьезно и еще пленительнее улыбнулась.

— Вы, кажется, отказались от этой высокой чести? — сказал я в недоумении.

— Никак невозможно! Он пишет ко мне так убедительно, пишет так, что я не в силах отказать ему. Прочитайте, как он пишет.— И подала мне розовую раздушенную записку. Я повертел ее в руках, понюхал и отдал обратно.— Фу! какое ледяное равнодушие. Хотя бы на почерк посмотрел. А кто привез мне это розовое послание, так уж этого ни за что не скажу,— сказала она, бережно укладывая записку в ридикюль.

— Лакей или кучер, кому же больше,— сказал я наугад.

— Ошиблись, подымайте выше! Так и быть, не буду вас больше мучить. Сам родной брат невесты, какой-то отставной матрос. Я его не видала, сам не изволил подать письмо, а переслал от свя-

щенника. Тоже гордость! Ну, как же я завтра оденусь? Добьюсь ли я от вас какого-нибудь совета или нет? — спросила она меня в ту самую секунду, как я вспомнил о безруком кавалере.

Я сказал ей что-то невпопад, и она захохотала самым непорочным девичьим смехом. Непорочный этот хохот толкнул меня на мысль самую лукавую, и я, оправившись, сказал:

— Оденьтесь вы завтра... это для вас ничего не значит. Оденьтесь вы завтра так, чтобы уничтожить и его красавицу невесту, и его самого.

— А самого-то как? — спросила она с волнением.

— Сделайтесь похожей на его дочь, вот и все!..

— И прекрасно! — прервала она в восторге. — Я сама то же думала, это будет маленькая мистификация, не правда ли? — прибавила она, обращаясь к мужу, а тот в знак согласия кивнул головой и, глядя на меня, как бы говорил: да и ты, брат смиренник, — штука препорядочная!

Довольная моим проектом, кузина позволила мне, не переодеваясь, пожаловать к ней на чай. Я повиновался и, следуя по стопам красавицы, думал чуть-чуть не вслух:

— Неужели вы, красавицы, так слепы, так удивительно слепы в отношении собственных прелестей, что, не говоря уже о морщинах, седых волос у себя не замечаете?

А это, действительно, так. Я совершенно убежден в этой горькой истине. Во времена оны, бывало, пригласят меня нарисовать портрет с какой-нибудь, действительно, почтенной матери семейства. Старушка благочестивая, богомольная, тихая, кроткая, вся в черном, лучшей модели не может быть для отшельницы готических времен: садись и рисуй без малейшей фантазии. Попробуй же нарисовать портрет этой отшельницы без малейшей фантазии, т. е. а-ля Жерар Доу. Да тебе не только не заплатят, — из дому выгонят, как злейшего карикатуриста. Тогда и узнаешь, кто такая благочестивая отшельница.

Я долго переносил подобные неприятные приклю-

чения, пока не смекнул, в чем дело. Догадался, и пошло как по маслу! Простота матушка, ничего больше.

Пишу я сию мою заповедь молодым друзьям моим, имеющим несчастие прокладывать себе художественную дорогу такими жалкими, такими горькими средствами.

В продолжение вечера кузина моя была, что называется, в своей тарелке: острила, смеялась и чуть-чуть не танцовала как девчонка при одном слове о газовом платье и о какой-то еще невиданной в мире тюнике. Она до того была весела и любезна, что сделалась приторною и, наконец, несносною. Чужая радость вообще как-то нас мало радует, а несносная радость моей кузины меня просто бесила. Чтобы не быть безмолвным зрителем глупости и пошлости, я забрал свою мизерию и вышел, от ужина даже отказался. А после такой прогулки, как сделал я в этот день, это была большая жертва. С досады попробовал я заснуть,— проба совершенно не удалась. Попробовал читать — еще хуже. Какую-то отвратительную скуку навеяла на меня кузина своей глупой радостью. Как безобразная каракатица, скука опутала меня своими гнусными ветвями и во всю ночь не давала мне покою. Что бы я ни вспомнил, о чем бы ни подумал, всё скучно, всё невыносимо, противно. Если английская хандра имеет хоть фамильное сходство с нашей русской тоскою, то я верю в возможность путешествия пешком на Камчатку, как это сделал какой-то лорд, да еще вдобавок и женился на дочери петропавловского пономаря. Свадьба, например, кажется, веселый, радужный предмет для размышлений? Попробуйте же вы размышлять о нем во время скуки. Да он вам покажется таким черным, таким гадким предметом, что вы и глаза закроете, а если вы уже с проседью, с лысиной и не женаты вдобавок, то лучше и не размышляйте о свадьбе. Тут вам полезет в голову и старость, и одиночество, и кончится тем, что вы на первой же попавшейся вам дуре возьмете да

и женитесь во избежание одиночества. Правда, участь старого холостяка самая незавидная, но и участи старого мужа молодой жены нельзя позавидовать. По-моему, лучше доживать свой век старым холостяком, нежели окружить себя чужими розовыми крошками, а свою лысую почтенную голову украсить украшением, не внушающим ни малейшего почтения.

Перед рассветом немного освободился я от этой проклятой ведьмы-скуки и заснул, а проснулся уже на благовест к обедне. Хорошо еще, что Трохим, бог его знает, каким наитием, догадался с вечера фрак и прочее приготовить; так я духом оделся и вышел из квартиры в ту самую минуту, как разодетая моя кузина садилась в коляску, чтобы ехать к обедне. Она предложила мне место около своей пышной персоны, но я отказался от этой чести и пошел пешком. Я думал уже около церкви увидеть великолепные экипажи жениха и невесты,— ничего не бывало: одна только коляска моей кузины красовалась да какая-то маленькая бричка с маленьким кучером. В церкви, как обыкновенно, мужички усердно шопотом молились богу. На клиросе дьячок выводил басом „Иже херувимы“, с помощию вчерашнего безрукого кавалера. А где же молодые? Не случилось ли какого-нибудь недоразумения, как это часто бывает в подобных случаях? После обедни отец Савва просил меня и Трохима Сидоровича на чашку чаю, и мы не отказали. Едва успел отец Савва прочитать „отче-наш“ и благословить ястие и питие сие, как вошел в светлицу усердный помощник охрипшего дьячка, безрукий кавалер. Матушка, после обыкновенного приветствия, назвала его Осипом Федоровичем и просила садиться. Сначала он повесил свою шапку на колышек, нарочно для этого около дверей вбитый в стенку, и потом уже сел, почти у порога, на чем-то вроде табурета. Эта скромность понравилась мне, а тем более в военном человеке. Я стал наблюдать его внимательно. Это был молодой здоровый парень, с черными жесткими воло-

сами, остриженными под гребенку, с такими же черными густыми бровями и с подстриженными усами. Глаза он постоянно опускал и прятал под черными длинными ресницами, а потому об них положительно ничего сказать нельзя, как и о верхней губе, которой контур прятался под усами, а нижняя была прекрасно очерчена, только немного толстовата. Вообще же он казался физиономии грубой, но такой кроткой и выразительной, что я невольно им любовался. В разговор наш он не ввязывался, как это делают обыкновенно бывалые ребята его сословия. Если отец Савва адресовался к нему с каким-нибудь вопросом, то он отвечал коротко и основательно. Так, например, матушка спросила его, когда намерен их посетить господин Курнатовский. Он отвечал: — Перед вечером,— и тем кончилось.

Полюбовавшись скромным незнакомцем, я, поблагодарив хозяев за угощение, ушел, а Трохима Сидоровича оставила матушка у себя обедать. В продолжение дня незнакомец вертелся у меня на уме. И сам не знаю, чем он мог меня так заинтересовать. Отставной солдат, и больше ничего. За обедом я порывался было спросить у кузины, не брат ли это невесты стоял на клиросе, но кузина была сегодня не в ударе, и я спрятал в карман свой нескромный вопрос. Думал после обеда спросить у родича, но тот за обедом еще чуть не захрапел. Трохим не являлся до самого вечера, и мое любопытство оставалось неудовлетворенным до самого вечера.

X

Дни ожидания так скучны и длинны, как этот нехитросплетенный рассказ. А часы ожидания еще длиннее и скучнее. И странно, мы постоянно надеемся и ожидаем, и не можем приучить себя к этому томительному чувству, не можем сократить бесконечного часа ожидания ни одной секундой. Несмотря на то, что я дурно спал ночью, и на то, что я не

весьма умеренно пообедал, а все-таки после обеда хотя и пробовал, но заснуть не мог. А всё нелепое ожидание мешало. Чего же я жду и что меня тревожит? И сам не знаю, а чувствую, что тревожит что-то. Чтобы избавиться от этого чего-то, я надел свою рабочую блузу, взял сумку, дубину и пошел на свой любимый пригорок, осененный дубовым крестом. День был прекрасный, небо светлое, голубое, глубокое и ясное, как мысль великого поэта. Белые прозрачные тучки-красавицы, как непорочные сновидения младенца, сменялись одна другою, и, пролетая небесное пространство, они набрасывали широкие темные пятна на мою ненаглядную панораму. С этими очаровательными пятнами панорама казалась и шире, и глубже, и бесконечнее. Я глаз не мог отвести от этого импровизированного освещения. Мне казалось, что я вижу на бесконечном горизонте и Звенигородку, и Тальное, и даже самую Умань.

Я принялся за работу. Разложил темные и светлые пятна на моем неоконченном рисунке, и рисунок ожил, заговорил и сам собою окончился. Вот где твои чары, колдовство твое, очаровательный Каналетти!

Освещение изменилось. Рисунок я положил в портфель и хотел уже итти в село. Смотрю, золотое солнце повисло над фиолетовым горизонтом и рассыпало свои изумрудные лучи по всему необъемлемому пространству. Новая прелесть! Новое очарование! Пораженный чудной гармонией, я в безмолвии опустил руки и, не переводя дыхания, смотрел на эту великолепную ораторию без звуков.

Солнце уже закатилось, а я всё еще стоял около креста, и, не странно ли, мне слышалась из березовой рощи флейта, играющая прелюдию вальса Авроры. А ничего этого не было, о флейте никто и не слышал в этом околотке. Родич мой говорит, что он когда-то превосходно играл на флейте, но потерял ключ от футляра, где хранится инструмент, и перестал играть. И он не шутит, по его понятиям

это совершенно в порядке вещей. В эти недолгие минуты я был настоящим поэтом и носился мыслию бог ведает где, в каких надзвездных областях. Но как житель земли, то и вспомнил, правда, довольно поздно, про земное, т. е. про свадьбу.— Фи! какой циник! — скажет влюбленная читательница.— Свадьбу называет просто земным делом.— Согласен, пускай это будет делом самого Ориона, только я об нем вспомнил уже в сумерки.

Спотыкаясь на пни и кочки, кое-как пробрался я сквозь березовую рощу и вышел на плотину. Смотрю, церковь уже освещена. Я прибавил шагу и, как был с сумой и в блузе, прямо пошел в церковь, хорошо, что догадался шляпу снять. Спрятался я за какого-то плечистого мужика и выглядываю, как мышь из ларя. Обряд уже начался, и безрукий мой кавалер-незнакомец держит венец над головой невесты. Сбоку вижу, что невеста красавица, а посмотреть в лицо нельзя. Досадно. Стало быть, этот кавалер ее брат, больше быть некому. Жаль, что не познакомился я с ним покороче. Тут непременно кроется какая-нибудь романическая драма. Да и какие могут быть отношения между богатым помещиком и бедняком, изувеченным инвалидом? Нужно поручить Трохиму разведать всё это дело хорошенько, — не выкроится ли из этой материи какая-нибудь историйка, а может быть, и оперетка вроде „Москаль-чаривнык". Да, не иначе, как чарами, заставляет он надменного ротмистра жениться на своей крепостной крестьянке. Как я тщательно ни прятал свою особу за плечистым мужиком, а все-таки спрятать не мог от зоркого глаза Трохима. Он меня заметил и, подойдя, сказал шопотом:

— Молодые прошены на чай в дом. Если и вы пойдете, то нужно приготовить фрак и сапоги почистить.

— Ступай, чисти,— сказал я ему лаконически. Трохим вышел. Дождавшись „Исаия, ликуй", и я вышел из церкви и бегом пустился на квартиру. Вот еще беда немалая: в моем изысканном гардеробе

белого галстука не оказалось, а он теперь необходим. Что делать? Трохим догадался, сложил белый носовой платок, и вышел препорядочный галстук, бант только оказался не надлежащей величины. Приведя к концу свое облачение, напялил я фрак и пошел в комнату. В дверях встретили меня общим смехом; особенно кузина так усердно заливалась, что я подумал, не над моим ли галстуком они смеются, и страшно сконфузился. Оказалось совсем другое. После первого пароксизма смеха кузина меня взяла за руку и подвела к зеркалу. О ужас! у меня все лицо было выпачкано карандашом. Не говоря ни слова, выбежал я из комнаты. Во время работы я отгонял комаров запачканными карандашом руками, хватался за лицо, да и отделал свою физиономию а-ля Отелло, а зоркий глаз Трохима и не заметил, когда повязывал галстук.

Преобразившись, я в другой раз явился в гостиную и после обыкновенных поклонений и пожеланий взглянул на невесту. Господи, что это за красота совершенная! До седых волос дожил, а не видывал ничего подобного этой неописанной красоте. Знаменитая красавица графиня Коловрат (которую я видел в парижской литографии) при всевозможных косметических средствах едва ли выдержала бы роль наперсницы при этой скромной героине. Долго я не мог глаз отвести от этого типа совершенной красоты. И чем внимательнее и хладнокровнее смотрел я на нее, тем более видел прелесть и гармонию в чертах ее удивительного лица. Божественному Рафаэлю и во сне не снилась подобная красота и гармония линий. А знаменитый Канова вдребезги разбил бы свою сахарную „Психею“, если бы увидел это божество, грациозно принимающее чашку с чаем. А между тем в ее красоте ничего не было общего с очертаниями принятой красоты, это была самобытная одушевленная красота. Это был тип моей землячки, в высшей степени совершенный. И как ты побледнела, как ты потемнела, моя бедная кузина, перед этой лилией, едва

распустившейся. Где твой смех? Где твои хитрые вчерашние затеи? Не помогли тебе ни притиранья, ни умыванья, ниже газовое платье! Бедная ты, жалкая ты красавица!

Молодые недолго гостили. После чаю они сейчас же уехали, я тоже раскланялся и ушел к себе на квартиру, далеко не в нормальном состоянии духа. Красота на меня, в чем бы она ни проявлялась, в существе ли живущем или прозябающем, всегда имеет одинаковое и благодетельное влияние. Под ее благим влиянием я чувствую себя другим, обновленным человеком, чем-то вроде старого младенца. Мне тогда необходим хоть какой-нибудь человек, чтоб разделить свои добрые ощущения или хоть наговориться досыта. А иначе я похож на того пьяного, который не заснет, пока не отрезвится. Я тоже долго не мог заснуть, но это была не утомительная, а успокоительная бессонница. Приятное, невыразимо приятное ощущение! Благодарю тебя, всемогущий боже, что одарил ты меня чувством человека, любящего и видящего прекрасное, совершенное в твоем нерукотворном бесконечном творении. Если бы красота во всех ее образах хотя на половину человечества имела свое благодетельное влияние, тогда бы мы быстро близились к совершенству и, наконец, олицетворили бы собой божественную заповедь нашего божественного учителя. Тогда бы Шварц и Ривольер пошли по миру с своими гениальными изобретениями или открыли бы лучшие и благороднейшие источники человеческих усовершенствований.

Долго я фантазировал на эту прекрасную тему, пока, наконец, физика пересилила мораль, и я заснул. Во сне повторилось виденное мною наяву, с тою только разницею, что вместо ротмистра возле невесты сидел с козлиными ногами и рогами рубенсовский сатир, с лица очень похожий на ротмистра. Сатир жмется к нимфе, шепчет ей что-то на ухо. Нимфа улыбнулась, я вздрогнул и проснулся. Солнце уже заглядывало в готическое окно моей

миниатюрной кельи, когда я вздрогнул и проснулся. Трохим нечаянно, но весьма кстати явился передо мной. Я объявил ему, что имею намерение сегодняшний же день после обеда выехать в Лысянку, взять почтовых лошадей и — во-свояси. Он против обыкновения не прекословил моей воле и тут же начал складывать фрак и прочие доспехи, живо напомнившие мне о вчерашнем происшествии. Происшествие так себе, ничего необыкновенного, старая погудка на новый лад.

Прежние благородные обладатели крепостных душ только гаремы заводили из собственных девок, а теперь жениться начали. Выходит, что идея о коммунизме не одна только пустая идея, не глас вопиющего в пустыне, а что она удобоприменима к настоящей прозаической жизни. Честь и слава поборникам новой цивилизации! Трохим с увлечением занялся чемоданом, а я, чтоб не мешать ему, заблагорассудил сделать прощальный визит отцу Савве. Но на пороге моей идиллической мирной обители встретил меня сам отец Савва вместе с безруким кавалером.

— Вы к нам, а мы к вам собрались на визитациум,— говорил весело отец Савва.— Сей божий человек,— прибавил он, указывая на кавалера,—имеет к вам экстраординарное послание.

Не успел я притти в изумление от этой неожиданности, как сей божий человек достал из пустого рукава миниатюрный, разрисованный наподобие конфетки конверт и, подавая его мне, сказал:

— Зять и сестра, ваше благородие, кланяются и просят вас пожаловать к себе сегодня вечером.

Я не отнекивался, как пьяница от рюмки водки, и, не читая раздушенного послания, сказал: — Буду.— Тогда он подал мне другой такой же конверт и просил передать супруге Лукьяна Алексеевича, т. е. моей кузине. Я обещался. Отец Савва заметил, что не мешало бы самому господину кавалеру отдать письмо и лично просить их милость. Кавалер, не сказав ни слова на это замечание, только как-то чрез-

вычайно выразительно улыбнулся. Отказавшись от приглашения отца Саввы на чашку чаю и прочее такое, я с ними простился и пошел к себе на квартиру сказать Трохиму, чтобы он фрака не укладывал.

— А чтобы он сгорел, ваш этот проклятый фрак! Только и дела, что с ним возимся. Пообедать некогда.

И много еще кое-чего было сказано в пользу фрака, чего уж я не слышал, потому что ушел передать дружеское послание кузине. Она встретила меня восклицанием:

— А какова невеста!..

Я отвечал, что в жизнь мою не видывал такой красавицы.

— Значит, вы не так разборчивы, как я полагала,— сказала она холодно.— Для вас, значит,— прибавила она тем же тоном,— образование в женщине вещь совершенно лишняя?

— Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать,— подумал я и вместо возражения передал ей раздушенное письмецо.

За обедом речь опять зашла о невесте,— опять заметила мне язвительно кузина, что я в грош не ставлю хороший тон и образование в женщине. Я отмалчивался, ее это бесило.

— Да! — сказала она, зеленея,— вы художник, а художнику нужна только модель, натурщица, а не женщина.

Опять подумал я: — Не тебе бы говорить, а не мне бы слушать.— Но вслух не нашел приличного возражения на ее весьма не тонкое замечание, и молчание воцарилось.

Как истинный гомерид, родич мой уходил чуть не всего жареного с капустою гуся, с наслаждением запил его не последней величины стаканом сливянки и, самодовольно улыбнувшись, сказал:

— Вот теперь так! Подавай, что там еще есть у тебя,— сказал он казачку.

Казачок вышел.

— Да,— продолжал он, приняв тон таинствен-

ности,— это такая, я вам скажу, история, что хоть в газетах публикуй.

— Какая это история?— спросил я не совсем равнодушно.

— Да хоть бы вчерашняя свадьба,— сказал он, взглянув на жену.

— А что такое?— спросил я и тоже посмотрел на кузину.

— Да так-с, ничего-с,— сказал он тоном человека, владеющего великой тайной.— Вы заметили вчера невестиного шафера?— спросил он меня и снова взглянул на свою мрачную супругу.

— И даже сегодня имел честь его видеть,— отвечал я.

— Это не больше, не меньше, как отставной матрос, родной и единственный брат теперешней госпожи Курнатовской и помещицы пятисот душ крестьян, чистых, незаложенных,— сказал он, наливая еще стакан сливянки.

При слове „матрос" я невольно вздрогнул:— Не герой ли это моей поэмы?— подумал я и, обращаясь к родичу, просил его пояснить мне эту загадочную историю.

— А вот какая это история...

Кузина фыркнула, выскочила из-за стола и уже из другой комнаты проговорила:

— Невежа, мужик! От тебя кроме пошлости ничего не услышишь.

Он спокойно перекрестил дверь, из которой летели эти слова, и сказал:

— Вот какая это история. Господин Курнатовский, или, как она его называет, мусье Курнатовский, человек во всех отношениях благородный. Мы его от души любим, как вы это сами могли заметить. Одно только — несмотря на его святую наружность, ужаснейший волокита. После первой женитьбы он оставил службу и приехал, как говорится, на покой в деревню: жена — прекраснейшая была женщина — не перенесла первых родов и умерла, оставив ему в залог любви своей здоровенькое прекрасное дитя.

Молодец наш, как попечительный и нежный отец, кроме кормилицы, для бо́льшего соблюдения ребенка приставил к нему еще четырех молодых красивых нянек. Изо всей деревни выбрал, разбойник. В число этих нянек попала и теперешняя жена его. Дитя вскоре умерло. Кормилицу-то он отпустил, а нянюшек при себе оставил в доме. Предполагал, видите ли, завести коверную фабрику, плут! Вместо фабрики он образовал небольшой домашний гаремик. Ничего, всё шло хорошо. Женатые соседи на первых порах отказывали от дому, да после раздумали. По-моему, самое лучшее не обращать внимания на чужие недостатки. „Всякий Еремей про себя разумей!"— говорит наша пословица. Хорошо, вот дошла очередь и до Оленьки, теперешней госпожи Курнатовской. Только не тут-то было. Оленька заартачилась, он около нее и так и сяк,— нет, да и баста! Ни ласки, ни угрозы, ни усовещивание,— ничто не помогло. А главною причиной упрямства ее был брат, теперешний отставной матрос. Чтобы устранить эту помеху, наш молодец не задумался — в первый же набор и царап приятеля в солдаты. Одним ударом всё покончил. Так по крайней мере он вообразил себе, а на деле вышло совершенно не то, что он вообразил себе. Красавица пуще прежнего заломалась,— и близко не подходи! Бежала было в Киев, к губернатору, да, слава богу, вовремя схватились и поймали ее уже за Лысянкой. Наделала бы кутерьмы, если бы удалось ей до Киева добраться! Приятель наш таки порядочно было трухнул. Дело-то, знаете, опекою запахло, если не больше. А из-за чего? Из-за сущей дряни! Из-за капризной девки. Правду сказать, так наши помещики порядочно избалованы,— позволяют иногда себе такие причуды, за которые в другом месте не посмотрели бы, что он помещик... ну, да что об этом толковать, наше дело сторона. Проходит год, прошел другой, приятель наш из кожи лезет, а дело ни на шаг не подвинулось вперед. С лица переменился, позеленел.— Брось,— говорю,— плюнь на

нее.— Не могу,— говорит.— Что значит эта проклятая страстишка! Сначала он держал ее за замком, как невольницу, но увидел, что это не помогает, дал ей полную свободу. Мало, отдал ей весь дом в ее распоряжение, окружил ее всевозможною роскошью. Сам сделался ее лакеем, чего ей больше? Нет, батюшка, не тут-то было! И на глаза не пускает. Вот оно где хохлацкое упрямство, или вообще упрямство женское. Помучился он с нею еще полгода и думал уже бросить ее, окаянную, и ехать на воды лечиться, как бац! от предводителя дворянства письмо или, лучше сказать, формальное требование, чтобы он, ротмистр такой-то, по требованию высшего начальства назначил цену крепостной своей крестьянке такой-то и получил деньги из комитета раненых, на законном основании. Он с этою бумагою прямо ко мне, я прочитал и, признаюсь, стал втупик.— Уж не проведало ли высшее начальство,— подумал я,— о его шашнях?— Да нет, высшему начальству теперь не до того. Думали мы, думали, да тем и кончили, что ничего не выдумали. Прошел еще месяц. Приятель наш ни гу-гу, дожидает, не пройдет ли гроза мимо. Не прошла гроза: получается другая бумага от того же предводителя, с прибавлением, что такой-то матрос Обеременко за свою храбрость и увечье, полученное им при защите Севастополя, просит у комитета раненых освободить родную сестру его от крепостного состояния, а в заключение было сказано, чтобы [Курнатовский] или сам, или доверил кому получить деньги в Киеве — сумму, какую он сам назначит. А он, чтобы не назначать и не получать этой суммы, уехал с нею в Киев, да там и обручился. Каков молодец! Он и венчаться там же думал, да ей-то захотелось, чтобы брат венец над нею подержал.

— Вот тебе и героическая поэма! — подумал я.

— Не правда ли, прекрасная история? — спросил родич, зевая.

— Порядочная! — отвечал я рассеянно.

Часа за два до захода солнца кузина подвязала себе щеку и осталась дома, а мы с родичем поехали к новобрачным.

Дорогой я переделал свою героическую поэму на сию скромную „Прогулку с удовольствием и не без морали“, а что дальше будет, увидим.

30 ноября 1856 года

К. Дармаграй.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Итак, мы с приятелем вдвоем, то бишь с родичем, поехали в гости к новобрачным, оставив мнимобольную кузину дома обдумывать на досуге, как ей вести себя с выскочкой, очаровательной соседкой. Выехав из села и потом из липовой темной рощи, мы очутились на извилистом живописном проселке, вьющемся по открытому полю, изредка уставленному огромными суховерхими дубами. Проехав легкой рысью версты две, родич мой велел кучеру остановиться около колоссального сухого дуба, положившего свои обнаженные сухие корни, как длинные безобразные ноги, поперек дороги.

— Хотите,— сказал родич, обращаясь ко мне,— я вам покажу темную историческую букву? Вы человек ученый, не нам чета, может быть, вы её и прочитаете.

Я просил родича показать мне эту историческую темную букву. Он указал мне на круглую небольшую дыру в стволе дуба, из которой в это мгновение вылетела сова.

— Вишь ты, куда спряталась,— сказал кучер, глядя на улетающую сову. А родич спросил меня, знаю ли я это дупло? Я отвечал, что не знаю.

— Так отгадайте, если вы мудрец,— продолжал он таинственно.

— Дятел выдолбил на досуге, я думаю,— сказал я, ни о чем не думая.

— Дятел, только не простой, а чугунный. Посмотрите хорошенько да пощупайте, так и узнаете, какой там сидит дятел,— проговорил он самодовольно.

Я вышел из экипажа, посмотрел в загадочное дупло, и как бы вы думали, что я там увидел? — Величины в добрый кулак чугунное ядро.

— Каков дятел, а? — спросил родич, смеясь.

— Хорош, — отвечал я, подходя к экипажу.

— Каким же родом и когда он сюда залетел? — спросил я своего спутника.

— А это уже ваше дело. Мы люди темные, как и эта историческая буква. Стало быть, и вы не прочитаете? — продолжал он иронически.

— Не прочитаю,— сказал я, садясь в коляску.

— Полагать надо, что здесь происходило когда-то в старину большое сражение,— проговорил он значительно и, подумавши, прибавил: — А может быть, и артиллерийская мишень где-нибудь близко стояла.

— И то быть может,— сказал я, и мы пустились далее.

Его простая догадка разом разрушила мои мрачные исторические предположения насчет засевшего в дупле ядра, и я взглянул веселее на едва позеленевшее поле, уставленное изредка суховерхими дубами.— И какое могло быть сражение на этой райской местности? — спросил я сам себя простосердечно, забыв, что и в самом даже раю зарезал брат брата. Едва успел я вспомнить это первое братоубийство, как на горизонте райского поля нарисовались два кургана, и на одном из них торчал какой-то пирамидальный маяк. За двумя большими курганами открылось еще несколько могил меньшего размера, а у самой опушки темного леса, в котором прятался наш извилистый проселок, показалося небольшое земляное четырехугольное укрепление. Точно такой формы и величины, как на поле около Листвена, близ Чернигова, где Мстислав Удалой резался с единоутробным братом своим Ярославом,— с тою разницею, что лиственское укрепление засевается хлебом, а в этом забытом историей бастионе догадливый хозяин сложил в скирды собранный с поля хлеб. Прежде боевая ограда теперь

служит оградою плодов трудолюбивого земледельца. Отрадное превращение!

— А мой дурак эконом, небось, не догадается устроить и у себя такой же фольварок,— проговорил мой спутник, глядя на укрепление, украшенное скирдами прошлолетнего хлеба.

— У вас разве есть такое же гнездо?—спросил я его.

— Есть, только поросшее лесом,—отвечал он.— А знатная выдумка! Непременно велю вырубить лес и устроить у себя такую же штуку.

Я не сказал ему ни слова на эту гениальную агрономическую затею, и мы безмолвно въехали в темный безмолвный лес.

От берегов тихого Дона до кремнистых берегов быстротекущего Днестра—одна почва земли, одна речь, один быт, одна физиономия народа; даже и песни одни и те же, как одной матери дети. А минувшая жизнь этой кучки задумчивых детей великой славянской семьи не одинакова. На полях Волыни и Подолии вы часто любуетесь живописными развалинами древних массивных замков и палат, некогда великолепных, как, например, в Остроге или Корце. В Корце даже церковь, хранилище бальзамированных трупов фамилии графов Корецких, сама собою в развалину превратилась. Что же говорят, о чем свидетельствуют эти угрюмые свидетели прошедшего? О деспотизме и рабстве! О хлопах и магнатах! Могила, или курган, на Волыни и Подолии— большая редкость. По берегам же Днепра, в губерниях Киевской, Полтавской, вы не пройдете версты поля, не украшенного высокой могилой, а иногда и десятком могил; и не увидите ни одной развалины на пространстве трех губерний, кроме разве у богатого затейника-помещика—нарочно развалившийся в саду деревянный, размалеванный храм Весты а-ля ротонда Тиволи. Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве

и свободе. Бедные, малосильные Волынь и Подолия! Они охраняли своих распинателей в неприступных замках и роскошных палатах. А моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы. Она своей славы на поталу не давала, ворога деспота под ноги топтала и — свободная, нерастленная — умирала. Вот что значат могилы и руины. Не напрасно грустны и унылы ваши песни, задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя.

Пока я разоблачал эту мрачную археологическую задачу, темный лес, которым мы ехали, стал еще темнее. Верхушки высоких старых кленов и ясеней, недавно блестевших на светлофиолетовом фоне неба, потемнели. Значит, солнце закатилося.— Не мешало бы и шагу прибавить,— подумал я. Да прибавить-то его трудно: на каждом шагу или выбоина, наполненная жидкой грязью, или древесный корень, как бревно, растянулся поперек дороги и ждет, как бы доброму человеку колесо сломать или иначе как-нибудь напакостить.

Случится иногда шагов десятка два-три и хорошей дороги. Зато, как нарочно, сухой пень выйдет из лесу, как разбойник Гаркуша, и станет посередине бархатной дороги. Что хочешь, то и делай. Несколько поколений чубатых земляков моих ломают оси о подобного разбойника, а он стоит себе как ни в чем не бывало, только белые бока его немного выпачканы смолою, и ничего больше. Хоть бы зарубка, хоть бы тень намерения уничтожить этого сокрушителя осей. Ничего, ни малейшего знака.— Пускай стоит себе, где его бог поставил,— говорят наивно земляки мои и преспокойно продолжают ломать свои крепкие грабовые оси. Это еще ничего. В лесу не штука сломать одну-другую ось. Сказано — лес. А попробуйте-ка вы доказать эту удаль среди бела дня и среди гладкой широкой степи. Вот это так штука, и немцу, пожалуй, не ухитриться! А земляк мой ухитрился. Он, изволите видеть, ехал столбовой

Прогулка съ удовольствіемъ и небезъ морали.

Часть вторая

Глава 1

Итакъ, мы съ учителемъ вдвоемъ, то-бишъ, съ родичемъ, поѣхали въ гости къ новобрачнымъ, оставивъ мнимо больную кузину дома обдумывать на досугѣ какъ ей вести себѣ съ выскочкой очаровательной сосѣдкой. Выѣхавъ изъ села и потомъ изъ липовой темной рощи, мы очутились на живописномъ проселкѣ, вьющимся по открытому полю, изрѣдка уставленному огромными суховерхими дубами. Проѣхавъ мелкой рысью версты двѣ, родичъ мой велѣлъ кучеру остановиться около колоссального сухого дуба, положившаго свои обнаженные сухіе корни, какъ длинные безобразные ноги поперекъ дороги.

— Хотите, — сказалъ родичъ, обращаясь ко мнѣ, — я вамъ покажу темную историческую букву? Вы человѣкъ ученый, немало читали. Можетъ быть вы ее и прочитаете. —

Я просилъ родича показать мнѣ эту историческую темную букву. Онъ указалъ мнѣ на круглую небольшую дыру въ стволѣ дуба, изъ

Автограф повісті „Прогулка с удовольствием и не без морали“.

дорогой, вез сено в город продать москалям уланам. Это было утром рано. Волы двигались тихо вперед, а земляк мой, лежа на сене, тоже тихо пел песню; вероятно, панегирик своим круторогим товарищам. Пел, пел, да, не кончивши песни, и уснул. А круторогие товарищи шли, шли себе потихоньку, да и остановились, задев осью за размалеванную новую версту, как нарочно поставленную край дороги. Под влиянием ароматического сена и плотного снидання, т. е. завтрака, земляк мой таки порядочно всхрапнул. Проснулся он в самый полдень, благодаря палящим лучам солнца. Проснулся и видит, что его круторогие братья лукавят, остановились. Он взмахнул на них длинным батогом своим, братья тронулись, и передней оси как не бывало, а изумленный земляк мой с мягкой душистой постели скатился на жесткую сухую землю. Лениво поднялся он, осмотрелся вокруг себя и, видя размалеванную причину катастрофы, с расстановкою проговорил:

— Проклятая нимота що наробыла. Доброму чоловикови и в степу тисно стало!

О мои милые, непорочные земляки мои! Если бы и материальным добром вы были так богаты, как нравственной сердечной прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире! Но увы! Земля ваша как рай, как сад, насажденный рукою бога человеколюбца, а вы только безмездные работники в этом плодоносном, роскошном саду. Вы Лазари убогие, питающиеся падающими крупицами от роскошной трапезы ваших прожорливых ненасытных братий.

— Напрасно,— сказал я, обращаясь к родичу,— вы взяли коляску, в бричке мы бы скорей приехали.

— Думали, что и барыня поедет с нами,— ответил кучер за безмятежно храпевшего своего барина.

— А далеко еще до Курнатовки? — спросил я у кучера.

— А бог его знает,— отвечал он.— Если бы вырубить этот проклятый лес да поставить версты, то можно бы их сосчитать и тогда сказать. А так как его скажешь, недолго до греха, пожалуй и со-

врешь. А если не вырубить лес да поставить версты, так, я вам скажу, и версты ничего не помогут. Сказано — лес,— прибавил он, обращая ко мне лицо.— Пустыня непроходимая! Того и смотри, экипаж сломаешь, да и простоишь сутки, другие. Вот тебе и версты! Они только помеха в лесу, ничего больше.

— Какая же помеха? — спросил я его.

— А такая помеха. Заглядишься на его, ирода размалеванного, а пень или ухабина как тут. Будто сам сатана, не при нас будь сказано,— и он перекрестился,— подсунет под экипаж. Вот вам и версты. Вам - то, разумеется, ничего. Вы любуетесь ею сколько хотите, читаете себе цифру и ничего больше, а нашему брату так не под стать этим делом заниматься. Слава богу, что я неграмотный, а то бы часто доставалось мне за эти иродовы версты. И кто их повыдумывал? Верно, москали, чтобы в поход ходить было веселее. Больше некому выдумать такую штуку.

Проговоривши остроумное заключение, он достал из - за пазухи трубку, огниво и стал высекать огонь.

Густая, темная пустыня мало - помалу начинала редеть, проясняться и, наконец, совсем расступилась. Остались только черные великаны дубы по сторонам дороги, как заколдованные пастухи вокруг заколдованного черного стада.

Дорога была ровная, гладкая. Коляска, однако ж, двигалась так же медленно, как и в лесу. Осторожный философ кучер покуривал трубочку и не давал воли своему кнуту. А разумные кони и подавно не давали воли своим быстрым ногам. Мы двигались, что называется, ощупью. Через несколько минут лошади укоротили свой и без того короткий шаг. Я почувствовал, что мы спускаемся с горы.

— Не нужно ли затормозить? — спросил я у кучера.

— Не нужно. Гора не крутая и дорога хорошая,— отвечал он, не вынимая изо рта трубки. И мы продолжали спускаться потихоньку. Спустившись с горы, мы опять очутилися в лесу. Только тут дорога

уже была заметно шире и ровнее. Вправо показались конические черные верхушки тополей. Подъехав к тополям, кучер взял круто направо, и мы очутились в широкой тополевой аллее. На горизонтальной линии показались огоньки, не в равном один от другого расстоянии.

— Вот вам и Курнатовка,— проговорил кучер, попрежнему не вынимая трубки изо рта.

— А где это огни видно? Не на фабрике ли какой-нибудь? — спросил я его, глядя на равной величины светящиеся пятна.

— Какое на фабрике! Это в господском доме,— отвечал он насмешливо.— Там такие палаты, что вы только ахнете. У нашего пана кошары лучше будут,— прибавил он тем же тоном и медленно махнул кнутом.

Лошади фыркнули от этой нечаянности и пошли едва заметной рысцой. Из широкой тополевой аллеи мы въехали на широчайший двор, окруженный с трех сторон одноэтажным приземистым зданием. В углу налево, над растворенной небольшою дверью, горели два фонаря. Неужели это парадный подъезд? Не успел я задать себе этот вопрос, как коляска остановилась именно у этой двери, освещенной двумя фонарями.

II

Не без труда разбудил я своего любезного спутника, и мы выгрузились из экипажа. В дверях нас встретил колоссальный великолепный швейцар с булавою и чистейшим моим родным наречием спросил, как мы прикажем о себе доложить пáнови. Доложение оказалось лишним, потому что сам пан выбежал в коридор и принял нас в свои широкие объятия. После неоднократных лобызаний хозяин вывел нас из узенького коридора в большую, но низкую и грязную комнату, освещенную одной зеркальной солнцеобразной лампой. В комнате пахло подвалом. Мы отдали верхнее платье заспанному и тоже колос-

сальному лакею и последовали за хозяином. Вошли в длинную, узкую и тоже низкую, вроде коридора, комнату, обитую красными под штоф обоями, освещенную великолепной лампой с бумажным разноцветным колпаком. Кроме овального стола и красного длинного оттомана, мебели никакой не было в этой уродливой комнате. Из этой уродливой комнаты, и также вслед за хозяином, проникнули мы в потайную, иначе назвать нельзя, узенькую и низенькую дверь, покрытую такими же обоями, как и стены комнаты, в бесконечно длинный узкий коридор, освещенный двумя солнцеобразными лампами. Не пройдя и половины коридора, хозяин открыл такую же потайную дверцу и впустил нас в большую четырехугольную комнату, уставленную разноманерными, не домашней, а чуть ли не Гамбсовой работы кушетками и также освещенную столовой лампой с каким-то бородатым оруженосцем, поднявшим на копье разноцветный бумажный колпак.

— А что же ваша милейшая Агата к нам не пожаловала? — спросил хозяин у моего родича, пожимая ему руки.

— Она что-то не совсем здорова,— отвечал мой спутник запинаясь.

— Жаль, очень жаль! — проговорил хозяин трогательно и тоже запинаясь.— А мы бы составили преферансик. Жаль, очень жаль. Прошу садиться, господа! — прибавил он развязно, указывая на разноманерные кушетки, и, лукаво улыбаясь, прибавил: — на каком угодно инструменте.

Он хлопнул в ладоши, и на этот султанский зов явился мальчик в красной гусарской куртке.

— Чай и трубки! — сказал хозяин, и гусарик исчез.

Из той самой двери, в которой скрылся миниатюрный гусар, вылезла высокая, тощая, лысая, с огромными усами, довольно грязная фигура в военном сюртуке без эполет.

— Рекомендую,—сказал хозяин, указывая на представшую фигуру: — однополчанин, однокашник, Иван Иваныч поручик Бергоф.

Незнакомец молча поклонился и протянул нам свои длинные, костлявые руки. Мы ответили тем же, и тощая длинная фигура молча отошла в угол и расположилась на одном из инструментов. Тишина была нарушена миниатюрным гусариком, явившимся с бесконечными чубуками и бесконечным, как чубуки, лакеем, принесшим на огромном серебряном подносе чай в стаканах и ром в реповидном зеленом графине, неминиатюрного размера. Хозяин бесцеремонно долил ромом нарочито неполный стакан моего родича и передал графин мне.

— Гелена моя... — сказал хозяин и остановился.— Гелена моя,— продолжал он, усаживаясь на кушетку с ногами,— сегодня тоже не совсем здорова.

— Что с нею? — спросил я с участием.

— Так, ничего... Я на эти вещи совершенный философ: пускай их что хотят, то и говорят. Собаки полают да и перестанут.

Я совершенно ничего не понял из сказанного хозяином-философом. Родич мой значительно кивал головой и улыбался, из чего я заключил, что и он понял не больше моего.

После третьих стаканов чаю с прибавкою речь зашла о лошадях, о собаках и, наконец, о соседях и соседках. В числе последних несколько раз произносилась фамилия мадам Прехтель, и всякий раз с каким-нибудь додаточным, например, каракатица или кубическая.

Верно, эта мадам Прехтель порядочная женщина, а иначе они с уважением бы об ней говорили. Разговор становился оживленнее, бестолковее и грязнее и кончился тем, что хозяин велел подать стол, карты и просить панну Дороту. В одну минуту всё было исполнено, а в довершение всего явилась и панна Дорота. Она молча кокетливо присела и подошла к столу. Не без удивления узнал я в панне Дороте ту самую старую дуэнью, у которой я так нецеремонно отнял свой чай на почтовой станции. Игроки уселись по местам, и я остался не при чем.

В обществе картежников, занятых своей профес-

сией, самая жалкая и пошлая фигура — это зритель. А кузина моя, не тем будь помянута, не знает в своей жизни ничего трепетнее и сладостнее, как безмолвно созерцать чужие двойки и тройки. Это для нее выше всякой картинной галереи, все равно, что для Скотинина свинарник, если не сладостнее. Но, увы, она не предвидела блаженства, случайно выпавшего на мою долю, и сдуру повязала щеку и осталась дома. Простофиля! А я дурень неотесанный! Чтобы не играть роли автомата, любимой роли моей красавицы - кузины, я оставил равнодушно сонмище картежников и вышел из кабинета или гостиной,— чорт его знает, что оно такое,— в ту самую дверь, из которой выползла безмолвная панна Дорота. Пройдя узенький недлинный коридорчик, очутился я в большой круглой комнате, раскрашенной синими и красными полосами, на манер турецкой палатки. Круглый большой, посередине, стол и красный турецкий диван около стен составляли украшение и мебель комнаты, да еще о четырех рожках висячая лампа ярко освещала затейливую залу и длинновязого лакея, убиравшего со стола чайные аттрибуты. Простак, не видя меня, приложил горлышко зеленого репообразного графина к своим огромным губам, но, увы! вотще,— хозяин и гости ничего не оставили.

Из мнимой турецкой палатки было четыре выхода, и я выбрал противоположный тому, из которого я вошел в мнимую палатку. Новое, и совершенно новое явление! Длинная галерея, освещенная несколькими тоже солнцеобразными лампами, разделялась с одной стороны деревянными перегородками на небольшие чуланы, занумерованные римскими золотыми цифрами. Чуланов было десять, и каждый из них украшался горбатой кушеткой и топорной работы картиной отвратительного содержания. Это ничего больше, как домашний гарем господина Курнатовского, открытый и лампами освещенный вертеп разврата! Гнусно! отвратительно гнусно! Не это ли та самая всевозможная роскошь,

которою окружил он тепе́решнюю жену свою и о которой мне говорил мой простодушный родич? Еще гнуснее и отвратительнее! Посмотрим, что дальше откроется. Из возмутительной галереи вошел я в осьмиугольную большую комнату, размалеванную в китайском вкусе и освещенную китайскими фонарями. Комната имела тоже четыре выхода, украшенные надписями красными буквами. Над дверью, из которой я вышел, было написано: „Наслаждение“, над противоположной дверью — „Движение“, направо — „Отрада“, а налево — „Награда“. Со стороны „Отрады“ и „Награды“ несло конюшней и псарней, я выбрал фирму „Движение“ и очутился в темном ароматическом саду.

III

Не успел я сделать несколько шагов по узенькой дорожке, как услышал звуки шарманки, наигрывавшей какой-то вальс. Звуки неслися с левой стороны и казались недалеко от меня. Я сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Влево тянулась длинная и узкая тополевая аллея, а в конце ее светился красный фонарь. Я направился к красному фонарю. Пройдя аллею, я остановился в изумлении. Передо мной нарисовался ярко освещенный павильон или что-то вроде сарая, и в нем-то визжала неугомонная шарманка и двигались какие-то белые фигуры. Шарманка играла вальс, а фигуры не кружились, как бы этого следовало ожидать, а двигались взад и вперед, звучно притопывая ногами.— Странная дисгармония,— подумал я, подходя тихонько к павильону. Осторожно, как кошка, подкрался я к одному окну и увидел... Как бы вы думали, что я увидел? Толпу прехорошеньких деревенских девушек в белых свитках, преусердно танцующих м е т е л ы ц ю. А мой великодушный однорукий герой еще усерднее играет на шарманке вальс.

Из толпы прекрасных наивных танцовщиц бросилась в глаза одна, прекраснее и грациознее своих

подруг, с барвинковым венком на голове. Это была сестра моего героя, мадам Гелена Курнатовская. Я прильнул к окну так плотно, что чуть стекла не выдавил своим лысым портретом. Танцовщицы так искренно, чистосердечно делали свое дело, что я не опасался за свою нескромность. Они не только меня,— и пожару не заметили бы в эти блаженные минуты.

Это, впрочем, меня нисколько не извиняет. Я все-таки немного смахивал на волокиту Актеона. Недоставало только быстроглазой Дианы, чтобы увенчать меня венцом, недоверчивым мужьям приличным.

Вчера — пышная прекрасная невеста богатого пана, а сегодня — крестьянка, подруга своих бедных подруг. Сегодня она прекраснее и великолепнее вчерашней пышной невесты. И как она искренно обнимает и целует своих подруг... Я замирал от умиления, глядя на этот простор непорочного и высокоблагородного сердца.

Пан Курнатовский, значит, соврал. Его Геленочка здорова и совершенно счастлива. Она и не думала приглашать к себе своих высокомерных и пустых соседок. Она, как верная любящая подруга, пригласила своих таких же верных и любящих подруг и простосердечно-весело празднует с ними свое необыкновенное в е с и́ л л я (свадьбу).

Неутомимый виртуоз устал, наконец, вертеть шарманку, отнял свою единственную руку от блестящего завитка и медленно опустился на стул. Танец кончился. Первая из танцовщиц подошла к нему его сестра, поклонилась ему чуть не до земли, заплакала, зарыдала, судорожно обвила его широкие плечи своими белыми руками и прильнула к его суровому лицу своим нежным прекрасным лицом. Суровый оборонитель Севастополя не устоял. Как жемчуг светлый, заблестели крупные слезы на его смуглых щеках и покатилися на расплетенные черные косы счастливейшей сестры.

Если это не полное счастье, так полного счастья нет между людьми. Я прильнул еще плотнее к стек-

лу, а она, изменница, отскочила от своего всхлипывавшего брата и скрылася в толпе тоже всхлипывающих подруг. Подруги одна за другою чинно подходили к своему обязательному музыканту, кланялись в пояс и благодарили за труды. А между тем явилась и она, зардевшаяся, с огромным подносом в руках, заваленным разнородными сластями, и с припрашиванием потчевала своих воистину дорогих гостей.

Неутомимый виртуоз, принявши должную дань трудолюбию и искусству, спокойно встал со стула, пощупал шарманку с другой стороны и принялся вертеть. Шарманка вместо вальса запищала полонез Огинского, а танцорки, завернув торопливо в платочки неконченные лакомства, стали одна против другой в прежнем порядке и дружно приударили прежнюю метелыцю.

После продолжительного танца была отдана та же честь трудолюбивому музыканту и то же угощение неутомимым танцоркам. Окончив потчеванье, хозяйка поставила тяжелый поднос на шарманку, сказала что-то шопотом брату, а обратившись к подругам, проговорила вслух:

— Нумо, сестры, вечерять!

— Нумо,— отозвалися подруги в один голос.

Я рассудил за благо оставить свой обсервационный пост и убраться во-свояси с миром, дивяся бывшему. Да и что интересного в жующих людях, а тем более в девушках? Плотоядные, травоядные животные, и только. Даже в зоологическом отношении не интересно.

Как ловкий вор, невидимкою нырнул я в какой-то колючий кустарник, пробрался к красному фонарю и выполз на знакомую тополевую аллею.

Только что почувствовал я себя вне опасности быть открытым, как передо мной показались два мужика с большими корзинами на головах. Нечаянная встреча эта так меня ошеломила, что я совершенно растерялся, остановился среди аллеи и не знал, что с собою делать. Мужики проходили мимо меня,

и один из них, забыв о своей ноше, вздумал мне поклониться. Корзина потеряла равновесие, и звонкие тарелки с громом посыпались на землю и окончательно меня уничтожили. На этот предательский гром выбежала из павильона сама хозяйка и за нею несколько девушек, а я сделал три шага им навстречу,— глупее я ничего не мог сделать,— и остановился. А вежливый виновник всей этой суматохи на вопрос хозяйки — что сделалось? — подбирая битые тарелки и бережно их складывая в корзину, проговорил едва слышно: — Паныч! (так называли они Курнатовского).— Хозяйка взглянула вокруг и, увидя меня, бросилась ко мне, обхватила руками мою преступную голову и принялась целовать, восторженно приговаривая: — Серце мое! Дружино моя! — и я почувствовал ее теплую слезу у себя на лице.— Ты приходил посмотреть на мою свадьбу, на мою радость? — Тут я догадался, в чем дело: она приняла меня за своего мужа. С сожалением, правда, я отвел ее лицо от моего лица. Мы взглянули друг на друга.

— Боже мой, что я сделала! — вскрикнула она, закрыв лицо руками.

Через минуту она открыла лицо и, обращаясь ко мне, сказала:

— Простите мне, я приняла вас за своего мужа. Я думала, он пришел посмотреть мою деревенскую свадьбу.

— Вы меня простите ли за мою нескромность? — [сказал я] и тут же ей открыл все свое похождение.

— Так вы гость наших добрых соседей? — сказала она с расстановкой и, взяв меня за руки, прибавила: — Так будьте же и моим дорогим гостем. Зайдите хоть на минуточку, хоть только взгляните на мою свадьбу и на моего единого друга, на моего милого брата!

Едва она кончила фразу, как брат ее стоял уже перед нами и неловко кланялся. Как старому знакомцу, я протянул ему руку, хозяйка взяла меня за другую, и мы пошли к павильону. У самого входа

у меня родилась оригинальная мысль. Я остановился, просил сестру и брата оставить меня за дверью и выслать ко мне мужика — виновника суматохи. Мужик тотчас вышел. Я не без труда уговорил его надеть мой фрак, а сам нарядился в его праздничную белую свитку. Преобразившись таким образом и взявшись за руки, вошли мы в павильон. Брат и сестра после мгновенного недоумения с восторгом обняли меня и, взявши под руки меня и моего товарища, подвели к тесно скучившимся девушкам в другом конце залы. Девушки сначала молчали, но, взглянув на своего Герасима во фраке и в беспредельно широких шароварах, фыркнули и звонко захохотали во весь девичий молодой хохот.

— Майстер! Майстер! Гарасым майстер! — повторяли они сквозь хохот.

А Герасим, майстер тарелки бить, не в шутку рассердился и начал было снимать с себя смехотворный фрак, чего ему, однако ж, не позволили. А когда угомонились и меня осмотрели девушки, то в один голос назвали настоящим г р е ч к о с и е м, чем я был сердечно доволен. Простодушные, они не знали, что сказали мне любезнейший комплимент как актеру. После этого чистосердечного комплимента я так вошел в свою роль, что, не говоря о гостях, сама хозяйка и ее брат, оставив принужденное великороссийское наречие, заговорили со мной по-своему, т. е. по-малороссийски.

Сколько я был весел, развязен и счастлив, столько бедный Герасим-майстер угрюм, связан и несчастлив. Насмешницы не давали ему покоя и довели его, бедного, до того, что он снял с себя фрак, и если б хозяйка не удержала его мощные руки, то не рисоваться бы мне больше на свадьбах и крестинах в моем долговечном, неизносимом фраке. Он разорвал бы его и бросил, как тряпку, негодную даже на онучи, чем, между нами будь сказано, Трохим был бы очень доволен, а мне пришлось бы продолжать роль гречкосия до возвращения к родичам. Кончилось, однако ж, тем, что по настоянию

хозяйки майстер Герасим натянул на себя снова фрак. И до того повеселел и развернулся неуклюжий Герасим, что, когда после ужина вынесли стол из павильона и шарманка загудела снова какой-то вальс, майстер Герасим, взявшись в боки, так ударил казачка, что только окна зазвенели. Хозяйка, гостьи, я и даже молчаливый защитник Севастополя залились самым чистосердечным смехом.

И, правду сказать, было чему смеяться. Если бы мертвый встал из гроба да взглянул на земляка моего, одетого как Герасим теперь был одет, и [тот] плясал бы, вдобавок, казачка, то, уверяю вас, если бы он не захохотал, то по крайней мере улыбнулся бы. Такое смешное превращение и самому Овидию Назону в голову не приходило.

Хозяйка и гости уже устали хохотать и только усмехались, поглядывая друг на друга, а неутомимый майстер Герасим, казалося, только что начал входить в душу своих бесконечно выразительных па. Резвые насмешницы, наконец, и улыбаться перестали, и только некоторые из них от избытка удивления восклицали: — Оце то так! — Настоящий пан в кургузому жупани! — прибавляли другие. Но Герасим, ничего не видя и не слыша, продолжал с успехом начатое дело.

— Та цур тоби, Гарасыме! — сказали девушки в один голос.— Який ты там у чорта пан! Ты наш настоящий майстер Гарасым! — Танцор, услыхав, что с него снято позорное название пана, остановился, выдернул из-под рукава фрака широкий рукав своей белой рубахи, вытер им мокрое свое лицо и, начиная с хозяйки, перецеловал всех насмешниц, приговаривая: — От вам и пан! От вам и пан! — Потом снял с себя фрак и, подавая мне, поклонился и сказал:

— Спасыби за позычки!

— И вам спасыби, пане майстре Гарасыме! — сказал я, передавая ему свитку. Он надел свою свитку, поклонился хозяйке и вышел из павильона. Тогда я обратился к одной из девушек и спросил:

— Какой Герасим майстер?

— Всякий,— отвечала она:— що схоче, то те й зробыть.

Немного же узнал я о настоящей профессии Герасима.

Гостьи, почувствовав, что лучшего финала им не придумать, поблагодарили звонкими поцелуями свою счастливую подругу за угощение и вышли вслед за Герасимом.

Хозяйка велела другому мужику, товарищу Герасима, погасить огни и ложиться спать, где ему заблагорассудится; потом, взяв меня и брата за руки, вывела нас в сад. В саду сказала она брату:

— Иди ты, Осипе, приготовь квартиру нашему дорогому гостю в новом доме и приставь к ней старого Прохора для услуги. А вы, мой дорогой единый гость,— прибавила она, дружески пожимая мою руку,— проводите меня в покои.

Расставшись с моим героем, мы тихо молча пошли вдоль аллеи.

IV

Проходя молча знакомую тополевую аллею, мы несколько раз останавливались и слушали, как резвые подруги моей прекрасной грустной спутницы пели свадебные песни, удаляясь от павильона. В последний раз мы остановились у самой двери, ведущей в дом под фирмою „Движение“, и долго слушали исчезающие звуки веселой песни. Постепенно стихая, звуки, наконец, затихли, а спутница моя всё еще стояла молча, как бы прислушиваясь к родным сердцу милым звукам.

— По хатам разошлися мои подруги,— едва слышно она проговорила и, как ребенок, зарыдала.

Малейшим движением я не смел нарушить ее глубокого тихого стенания. Она искренно, чистосердечно прощалася со своими подругами, со своей бедной девичьей волею. Она теперь только сознавала свое тесное рабство. Теперь только она по-

чувствовала над собою волю немилого и чуждого ей человека во всех отношениях. Бедная, что ждет тебя впереди? Что встретишь ты на избранной тобой дороге?

— Не правда ли, я совершенно счастлива? — сказала она, утирая слезы и судорожно пожимая мне руку.

Я недоверчиво взглянул на нее, и она продолжала:

— Вы не верите? Скажите же, друже мой добрый, имела ли хоть одна на всем свете сестра такого брата, как я имею? И как я виновата перед ним! — прибавила она вполголоса.— Мне бы надо итти в черницы и молиться за него богу, а я что сделала?

И она снова заплакала.

„Минуты счастия минули, настали годы испытаний!“ — говорит какой-то поэт, а я, глядя на мою героиню, сказал: — Если останешься навсегда такою чистою и непорочною, как теперь, то минута твоей светлой радости продлится до гроба.— Она, как бы подслушала мою мысль, вдруг остановила слезы, перекрестилась, кротко взглянула на меня, улыбнулась, и мы молча вошли в китайскую комнату.

— Видите, какое у нас сегодня праздничное освещение в доме? — сказала она, снимая с головы своей барвинковый венок.— Он, муж мой, ждал к себе сегодня гостей, а гости, кроме вас, и не приехали. Значит, я наполовину угадала. Да и кто теперь поедет к нему? Никто кроме Прехтелей, а он сам их чуждается.

— Скажите мне, бога ради, что за люди эти Прехтели? — прервал я ее.

— Наши близкие соседи, добрые люди. Он искусный доктор, а она лучшая женщина во всем околотке.

Значит, я не ошибся, выводя заключение из слов моей милой кузины и ее благородного друга.

Молча и быстро прошли мы галерею о десяти незагадочных чуланах и очутились в круглой ком-

нате, раскрашенной под палатку, перед лицом самой панны Дороты.

Она стояла у круглого стола, покрытого белой чистой скатертью. Засучив рукава и повязав салфетку вместо фартука, она глубокомысленно приготовляла к ужину кресс-салат с душистым огуречником.

— Моя кохана панно Дорото,— сказала по-польски моя спутница,— витай моего дорогого гостя, пока я переоденуся.— И она мгновенно скрылася.

Панна Дорота медленно подняла голову, неопределенно взглянула на меня и едва заметно кивнула головой. Я сделал то же. Она прошептала: — Прошу садиться.— Я сел. Я чувствовал, что мое положение самое незавидное, если не самое глупое. В критических обстоятельствах, в таких, например, как теперь, я тупо ненаходчив, да и панна Дорота, кажется, не острее меня. Долго молча сидел я и смотрел на старую идиотку и, наконец, подумал:

— Так это твоя мать, наставница и гувернантка? Хороша, нечего сказать! От кого же ты, моя милая героиня, выучилась русскому и польскому языку? А главное, от кого ты приняла и так глубоко усвоила этот нежный такт и эти милые сердечные манеры? От бога! от природы! Так, но и помощь людская тут необходима.

Такие и подобные вопросы и задачи вертелись в голове моей до тех пор, пока тихо, как ласковая кошечка, вошла в комнату моя прекрасная спутница, одетая изящно и просто. Пока я удивлялся ее превращению, она, приложив пальчик к губам, на цыпочках зашла в тыл панне Дороте и быстро закрыла ее опущенные глаза своими детски маленькими ручками. Пока панна Дорота вытирала салфеткой свои мокрые руки, шалунья отняла свои руки и быстро, как кошечка же, отпрыгнула ко мне и, падая на диван, звонко засмеялась.

— Сваволишь, Гелено! — ворчала недовольная панна Дорота, поправляя свой измятый чепец.

— Не буду, не буду, моя добрая, моя любая ма-

мочко! — говорила Гелена и, подойдя к старой ворчунье, нежно поцеловала ее в лоб. Старуха улыбнулась и, возвратив шалунье поцелуй, спросила ее о чем-то шопотом. Та отвечала ей тем же тоном. Вероятно, речь шла обо мне. Пока всё это происходило, я продолжал удивляться превращению резвушки: ни тени бывшей крестьянки; от волоска до ноготка барышня, да еще и барышня какая! Самая элегантная. В какой школе, в каком институте она выучилась так к лицу, так изящно-просто одеваться? Удивительная вещь чувство изящного! На ней было темносерое шелковое платье с такими широкими прекрасными складками, какими щеголяют только одни Рафаэлевы музы. В темной роскошной косе с несколькими листочками зелени, как яхонт, блестел яркий синий барвинковый цветок. Узенький воротничок и такие же рукавчики довершали ее изящный наряд. Кому бы в голову пришло, глядя на эту четвертую грацию, спросить у нее, читает ли она русскую грамоту? Вот же мне пришел в голову такой, и скажу, основательный вопрос.

— О чем это вы так тяжко задумалися, мой драгоценный гость? — проговорила она, подходя ко мне.

— О том, о том, — говорил я, глядя в ее прекрасные умные глаза, и чуть-чуть не проговорился.

— О чем же, скажите? — спросила она вкрадчиво.

— Завтра скажу, а сегодня не могу. Или вот что, — прибавил я нерешительно, — наденьте опять барвинковый венок, тогда скажу.

— Скажете?

Не успел я произнести „да“, как она выпорхнула в галерею с отвратительными чуланами, и пока я поднимался с мягкого оттомана, как впорхнула она опять в круглую комнату с барвинковым венком на голове.

— Муза Терпсихора! — воскликнул я от изумления.

— Где музыка? — спросила она наивно.

— Вы муза гармонии! Вы самая вдохновенная, самая возвышенная музыка! — отвечал я восторженно.

Я восхищался ее замешательством, ее восхитительно живописной юной головкой в барвинковом венке с яркими синими цветами. Иной хват тут же бы упал на колени, как перед богиней, и в любви объяснился. Я сделал иначе. Налюбовавшись досыта моей музою, я усадил ее на оттомане и, полюбовавшись еще немножко, сказал:

— Вы прекрасно объясняетесь по-русски и по-польски; читаете ли вы хоть на одном каком языке?

— Читаю,— отвечала она без малейшего смущения,— и даже писать начинаю. По-польски меня учит панна Дорота, а по-русски старый Прохор, тот самый, что будет вам прислуживать.

— Простите же мне мой грубый, но дружеский вопрос, мадам Гелена,— прибавил я почтительно.

— Как хотите, так и называйте, только полюбите меня и моего единственного брата,— прибавила она, сквозь слезы улыбаясь.— А за вопрос ваш я вам сердечно благодарна. Вы мне желаете добра...

Она хотела еще что-то сказать, как вошел в комнату длинный лакей и, подойдя к безмолвной слушательнице нашего разговора, спросил:

— Не пора ли на стол накрывать?

Панна Дорота отвечала тихим наклонением головы и, обращаясь к нам, проговорила по-русски:

— Не угодно ли будет пожаловать в кабинет?

— Не угодно ли вам самим пожаловать в кабинет? Я буду за порядком смотреть. Я теперь хозяйка.

— И прекрасно,— сказал я дружески и последовал за непрекословною панною Доротою в кабинет.

Молча, как безобразные привидения, в облаках табачного дыма сидели приятели и резалися в штос или, как выражается мой немногоглаголивый родич, недоимку собирали.

Так как талия была в ходу,— она лилась из искусных костлявых рук Ивана Ивановича Бергофа,— то наше присутствие в кабинете и не было никем замечено. Пользуясь неизвестностью, я отошел в темный угол и кое-как уселся на горбатой кушетке.

Панна Дорота тоже воспользовалась неизвестностью и, поморщившись, отошла в сторону от немилосердно курящих рыцарей зеленого стола и тоже кое-как опустилась на горбатую кушетку и призадумалась. Полно, так ли? Она, кажется, просто бессмысленно смотрела на густой табачный дым и совершенно ничего не думала. Глядя на ее жалкую фигуру, я в первый раз спросил себя, кто она и что она у господина Курнатовского? Дальняя ли родственница-шляхтянка бесприютная? нянька ли его и тоже шляхтянка бесприютная? Может быть, и то и другое, кроме порядочной женщины. Порядочная женщина несовместна в доме у человека, даже ближайшего родственника, который заводит гарем из собственных крепостных крестьянок и, женившись на одной из одалисок своих, он и не думает сделаться ее другом, ее заступником. Он попрежнему ее владыка, он настоящий султан, гусар: на второй день после свадьбы понтирует себе молодецки и знать ничего не хочет. Он сделал свое дело, да и в сторону. А она, простодушная, с восторгом встречает его в саду, думает, что он, добрый, идет разделить с нею ее непорочную радость, хотя в окно взглянуть на ее счастье, на ее задушевный праздник! А он... животное! Самое отвратительное животное! А что же панна Дорота? Тоже грязное животное. Порядочная женщина скорее протянет руку во имя Христа за гнилым огрызком хлеба, чем станет приготовлять салат для роскошного стола сластолюбца и развратителя.

Не слишком ли я прогулялся насчет панны Дороты? Она, если не любит, по крайней мере, не презирает бывшей невольницы. А это много. Развращенная женщина этого не сделает. Кузина моя? Но это дело другого рода. Что же, наконец, такое эта безмолвная панна Дорота? Иероглиф пока, таинственный иероглиф, над которым сам Шампольон призадумался бы. Но время открывает истину. Время и прилежное исследование открывает возмутительные дела сильных мира сего, давно уже за-

бытых великодушным потомством. Время, надеюсь, и мне объяснит эту, пока загадочную, жалкую панну Дороту.

А пока не войдет лакей и не возвестит об уготованной трапезе, нарисую вам, благосклонные слушатели, картину самого здорового штоса, а в особенности штосмейстера, т. е. банкомета. Нет, не могу! Я не живописец пошлых, отвратительных сцен и бледных, деревянных физиономий. Да и что нового, оригинального в этой безнравственной, гнусной картине? Содержание ее одно и в Сан-Франциско, и в кабинете Курнатовского, и на любой ярманке. Декорация только не одна. В Сан-Франциско, например, там — содержатель игорного вертепа нанимает женщину, т. е. подобие женщины, чтобы она, как адская царица Прозерпина, на троне присутствовала при состязающихся шулерах.

Нет худа без добра. Хорошо, что моя милая кузина ничего не читает, — иначе она прочитала бы записки Ротчева о Калифорнии и заставила бы своего тетерю ограбить крестьян и ехать прямо в Сан-Франциско для того только, чтобы покрасоваться в интересной роли Прозерпины. Шепнуть ей разве когда-нибудь об этой назидательной роли? Да она меня расцелует за эту новость, забудет все нанесенные мною ей оскорбления, забудет даже, что я первый сообщил ей известие об уничтожении ее идола — эполет, забудет всё, но все-таки усомнится о таком неслыханном блаженстве на земле.

Но не о ней речь, — она нечаянно под перо подвернулась, а речь о том, где у нас в России та великая академия, которая образовывает таких бездушных автоматов, штос- и банкмейстеров, как, например, Иван Иванович Бергоф? Нигде больше, я думаю, как в кавалерии. Хотя и пехотинец иной при случае лицом в грязь не ударит, но все-таки далеко не то, что кавалерист. Далеко не то. Недаром моя милая кузина благоговеет перед кавалеристами, в особенности перед гусарами.

Наконец, длинный лакей явился и сиплым басом

возгласил об уготованной трапезе. Картежники не шевельнулись, они как будто ничего не слыхали, а мы с панной Доротой молча вышли в круглую залу, она же и столовая.

V

Посередине залы стоял круглый, великолепно сервированный стол, а посередине стола возвышалась поставленная в серебряную вазу античной формы сосновая ветка, увешанная конфетами, пучками колосьев овса и повитая гирляндой из барвинковых цветков. Это была не немецкая елка, а так называемое г и л ь ц е, непременное украшение свадебного стола у малороссиян.

Безмолвная панна Дорота взглянула на милую затею своей Гелены, улыбнулась и прошла к дивану. Я тоже, безмолвный, остановился перед наивным украшением, возведенным до изящества. Сам бог тебя умудряет, моя прекрасная Елена. Самой прекрасной Елены не было в зале, когда я так думал, любуясь ее милым произведением. И, чтобы хоть с кем-нибудь разделить свой тихий восторг, я обратился к безмолвно улыбающейся панне Дороте и сказал ей по-польски какой-то современный ее юности комплимент за воспитание ее милой Гелены. Она вместо улыбки сделала гримасу, и любезность ее тем кончилась.

Один за другим вошли в залу картежники и, ничего не замечая, молча, торопливо сели за стол, не рядом и не один против другого, а так, как попало.

— Подавай! — сказал хозяин длинному лакею. Лакей скрылся в одну дверь, а из другой двери тихо, плавно, как лучезарная Аврора, вышла хозяйка в белом шелковом платье такого же самого покроя, как и прежнее. Я замер от восторга и едва мог подняться с оттомана, чтобы благоговейно приветствовать восходящее светило. Картежники не заметили ее торжественного появления. Они мрачно погрузились в свои серебряные приборы. Она, как

испуганная белая голубка, на мгновение остановилась, робко взглянула на гостей, тихо, едва слышно подошла к мужу, поцеловала его в зардевшийся лоб и молча села возле него, давая мне знак, чтобы я садился рядом с нею. Я повиновался. Панна Дорота села с другой стороны около своего фаворита. Тишина царила в нашей разнообразной компании. Наконец, хозяин возмутил ее мрачное владычество, сказавши, обращаясь к жене:

— Я думал, ты сегодня не совсем здорова.

— Совершенно здорова,— сказала она, принужденно улыбаясь.— И совершенно счастлива,— прибавила она, глядя ему в очи.

— А я не совсем счастлив,— проворчал он.

— Что случилося?— спросила она быстро.

— Ничего, друг мой, продулся малую толику,— отвечал он принужденно.

Она не поняла в чем дело и, минуту помолчав, сказала:

— А у меня сегодня были гости, мои подруги. И как мы танцовали! Как было весело! Особенно, когда пришел к нам наш дорогой гость,— и, улыбаясь, она взглянула на меня.

— Кто же это такой наш дорогой гость?— спросил он ее, набивая свой широкий рот ароматическим патефуа.

— Мой сосед,— сказала она, показывая на меня.

— Я думаю, вам было очень приятно в таком милом обществе?— сказал хозяин иронически.

— Больше, нежели приятно, весело!— сказал я.

— Правда, вы художник, это в вашем вкусе,— проговорил он, гложа кость.

Я не нашел нужным подтверждать его справедливое замечание, и тишина снова воцарилась.

Прекрасная хозяйка растерялась и не находила слов для своих мрачных гостей. Как голодные собаки, они молча грызли кости и запивали каким-то вином. Гости торопились и давилися костями,— им было недосуг. Изумленная и оскорбленная хозяйка, как овечка кроткая, робко поглядывала на своих волков-

гостей и не знала, чему приписать эту мрачную торопливость. После жаркого картежники выпили по стакану шампанского, налили по другому, переглянулись меж собой, встали из-за стола, молча поклонились хозяйке и вышли в кабинет вместе с хозяином и со стаканами в руках.

— А пирожное! а яблоки! — сказала смущенная хозяйка.

— Пришли нам в кабинет, — говорил ротмистр, возвращаясь, и, оскаля свои белые большие зубы, прибавил, протягивая жене руку:

— Подай мне на счастье свою руку.

Она молча подала ему руку и вскрикнула от нелицемерного пожатия. А он, как ни в чем не бывало, повернулся и вышел из залы.

Как беломраморная надгробная статуя, опустила она свою прекрасную голову на высокую грудь и неподвижно, молча сидела оскорбленная, моя прекрасная Елена. Я смотрел на нее, прекрасную, поруганную, и с замиранием сердца чего-то ожидал. Она тяжело вздохнула, грустно улыбнулась, взглянула мне в глаза и едва слышно прошептала:

— Веси́лля! — и, как жемчуг, крупные блестящие слезы полилися из-под ее длинных опущенных ресниц.

Панна Дорота смотрела на нее и молчала. Я тоже не мог выговорить ни слова. А она плакала, тихо и горько плакала. Я дыханием не смел нарушить тишины. Тишины, во время которой на алтарь семейного счастья приносилась великая таинственная жертва. Она, простая, бедная крестьянка, она, пламенная, непорочная, любящая и так грубо оскорбленная, — она глубоко и в первый раз в жизни почувствовала эту ядовитую горечь оскорбления и заплакала, не как обыкновенная женщина, но как женщина возвышенная, глубоко сознающая собственное и вообще женское достоинство. Горе тебе, едва распустившаяся лилия Эдема! Тебя сорвала буря жизни и бросила под ноги человеку грубому, сластолюбцу холодному. Теперь только ты узнала настоящее горе и, как над

дорогим сердцу покойником, ты заплакала над своим умершим счастьем.

— От вам и весилля! — сказала она, улыбаясь и утирая слезы. — Я думала, что не буду сегодня плакать, да и заплакала... А вы, моя милая панна Дорота, — продолжала она дрожащим голосом, — что же вы не плачете? Вы моя мать, вы меня замуж снаряжаете. — И она снова зарыдала.

Панна Дорота посмотрела на нее пристально и принялася чистить яблоко. Я понимал настоящую причину ее слез и как мог растолковал ей, что значит картежник. Она поняла меня и непритворно успокоилась, а вскоре до того развеселилась, что налила себе, мне и панне Дороте в бокалы шампанского.

— За здоровье вашего брата! — сказал я, подымая бокал.

Она медленно, сердечно, нежно посмотрела мне в глаза, молча подала мне руку, мы чокнулись и дружно выпили вино.

— Гелено, сваволишь! — проворчала панна Дорота.
А Гелена вместо ответа вполголоса запела:

Упилася я,
Не за ваші я:
В мене курка неслася,
Я за яйця впилася..

И, кончивши куплет, наклонилась к своей старой ворчунье, крепко поцеловала ее в нахмуренный лоб.

— Сваволишь, Гелено! — повторила панна Дорота, и мы встали из-за стола.

— Что же нам теперь делать? — сказала хозяйка, опускаясь на оттоман.

— Спать, — сказал я добросовестно.

— Я спать не хочу. Я теперь бы танцовала, до самого утра танцовала бы, — говорила она, смеясь и лукаво поглядывая на панну Дороту.

— За чем же дело стало? — сказал я. — Пойдем опять в павильон, я буду вертеть шарманку, а вы танцуйте с панной Доротой.

— Нет, не так,— мы панну Дороту заставим играть, а с вами будем танцовать. Мамуню моя! — прибавила она, нежно целуя свою дуэнью.— Пойдем в павильон!

— Сваволишь, Гелено! — проворчала невозмутимая старуха и отрицательно кивнула головой.

— А я вам не буду читать „Остапа и Ульяну", когда вы ляжете спать. Я ей каждую ночь читаю,— продолжала она, обращаясь ко мне,— а она один час не хочет для меня повертеть шарманку. Ей-богу, читать не буду! А завтра и цветы не полью до восхода солнца. Пускай вянут! Вам же хуже будет: придется другие садить, а я и другие не полью. Пойдем же, моя мамусенько, хоть на один часочек! — и она нежно прижалась к панне Дороте.

— Сваволишь, Гелено! — проговорила та своим деревянным голосом. Гелена задумалась на минуту и потом сказала, обращаясь к своей дуэнье:

— Пойдем лучше спать. Я вас раздену, моя мамочко, накрою вас и буду вам читать, до самого утра буду вам читать.

— Желаю вам короткой ночи,— сказал я, кланяясь.

— Подождите, я вас проведу до швейцара, а то вы заблудитесь в нашем Вавилоне, и передам вас на руки старому Прохору,— говорила она, вставая и охорашиваясь.

Я не отнекивался от этой милой услуги и вслед за хозяйкой вышел в одну из четырех дверей. Пройдя узкий коридор и известную уже читателю красную комнату, мы вышли опять в коридор и очутились у выхода на двор. Она постучала в дверь, и вместо колоссального швейцара явился маленький жиденький старичок с фонарем в руке.

— От вам и Прохор,— сказала она мне и, обращаясь к старичку, продолжала: — А ты, Прохоре, будь ласкав, як очей своих стережи сёго пана.— Прощайте,— сказала она, подавая мне руку.

Едва успел я выговорить „прощайте!", как она уже исчезла в глубине коридора, и только шум шелкового платья долетал до меня.

Я стоял неподвижно и слушал этот гармонический

шум. Прохор, казалось, тоже был под влиянием этой безгласной гармонии. Так прошло несколько минут. Прохор первый очнулся и выпустил меня на двор.

Пройдя небольшое пространство за Прохором или, вернее, за фонарем, мы очутились на лестнице и, взойдя во второй этаж, вошли в чистую небольшую комнату, а потом в большую, освещенную восковой свечой. Я поблагодарил и отпустил Прохора, разделся, погасил свечу и утонул в чистой свежей постели.

VI

Против обыкновения я скоро заснул. Спал крепко, но не долго. Едва начал проникать слабый свет сквозь белые прозрачные сторы, как я проснулся. Отвернувшись к стене, попробовал было заснуть снова, но напрасно и пробовал. Происшествия минувшей ночи разом завертелись в моем воображении и не давали мне покоя. Не припомню, которой ногой я встал с постели и подошел к окну, чтобы взглянуть на фасад этого безобразного лабиринта, в котором я встретил такую прекрасную волшебницу.

Приподнял стору, и первое, что мне попалося на глаза, это старый Прохор. Он шел через двор с умывальной посудой в руках и с полотенцем через плечо. Ничего не могло быть для меня больше кстати. Стало быть, Прохор непромах в лакейской профессии, а с виду-то он не похож на члена этого многочисленного, праздного, растленного сословия. Он более смахивал на скотника, дворника или огородника, но никак не на лакея. И что ей вздумалось назначить мне такую нецеховую прислугу? Не сказал ли ей кто-нибудь, что я терпеть не могу цеховых мастеров лакейского дела? Сочувствие, ничего больше. А между тем в переднюю комнату тихо вошел мой личарда. Минуту спустя он едва слышно кашлянул и, отворив тихонько дверь, показал мне свою кроткую, тощую физиономию.

— Добрыдень вам! — сказал он хриплым дискан-

том.— Чом же вы не спыте? — прибавил он, растворяя дверь.

— Не спыться, Прохоре! — отвечал я ему его же наречием.

— Не спыться? — повторил он едва слышно.— Дыво, и в карты не граете, и не спыте. Так будем умыватысь, колы так,— говорил он, ставя умывальный прибор на стул.

— А разве паны всё еще играют в карты? — спросил я его.

— Грають,— отвечал он лаконически.

— Молодцы! — подумал я тоже лаконически и, любуясь кроткой, грустно улыбающейся миной Прохора, спросил его, не был ли он когда-нибудь садовником или пастухом чужого стада?

— И садовныком, и пастухом був,— отвечал он, глядя на меня пытливо.

— А еще чем был? — спросил я его.

— И паламарем, и бродягою, и кобзаря слипого водыв колысь, ще малым. От и в лакеях бог велив побувать.— Последние слова проговорил он едва слышно.

После омовения я наскоро, без помощи Прохора, оделся, взял шапку, палку и вышел в переднюю.

— Вы, мабуть, такий самый пан, як я ваш лакей,— сказал Прохор, оглядывая меня.— Я еще и сапоги не вычистил, а вы вже и одяглысь.

— Завтра вычистишь, Прохоре,— сказал я и вышел за двери.

— Не заблудить в наших вертепах,— сказал догадливый Прохор, притворяя дверь.

Вышел я на середину широкого, покрытого зеленой муравой двора и посмотрел вокруг себя. И во сне не видал я безобразно-оригинальнее здания, какое увидел теперь наяву. Ни тени стройности, ни малейшей симметрии! Двух окон во всем здании нет одной величины. Во всем здании какое то умышленное безобразное разнообразие. Окна, двери, крыши, трубы — всё ссорилось между собою, как пьяные бабы на базаре. Из-за какого-то сарая с круглым

окном и шестиугольной дверью выглядывали три старые вяза, точно три мужика подошли полюбоваться на свое пьяное неугомонное подружие. Всё, что я видел вокруг себя, было, действительно, похоже на базар в самом развале. С какой мыслью, с какой целью нагромождено это бестолковое безобразие?

Необходимо войти в ближайшие отношения с Прохором. Он должен знать хоть по преданию этого сумасшедшего строителя. Интересно узнать такого чудака. Мне кажется, тут есть что-то общее между панной Доротой и этим зданием. Да нет ли еще в народе легенды или песни про этот Вавилон? Ежели есть, то Прохор, верно, ее знает. Решено, во что бы то ни стало, а я добьюся толку в этом бестолковом деле.

А пока со двора вышел я на широкую тополевую аллею, по которой мы вчера въехали в этот лабиринт. Пройдя аллею, вышел я на пригорок. Посмотрел вокруг — лес непроходимый, из лесу кой-где рядами в разных направлениях торчали верхушки тополей и вился яркий голубой дымок по направлению к дому.— Не бывший ли это разбойничий притон?— спросил я сам себя и возвратился вспять, дивяся виденному.

Мне хотелося пробраться как-нибудь в сад. Но как? Этого я не знал и благоразумно предоставил это дело случаю. Случай не замедлил представиться. Из аллеи, по которой я выходил и теперь возвращался в дом, показалась мне в правой руке узенькая дорожка или, как говорят земляки мои, волчья с т е ж к а. Я воспользовался волчьей стезей и вошел в темный липовый лес. Пройдя шагов сотню, в лесу показался фруктовый сад без всякой ограды. Пройдя фруктовый сад, я, как околдованный богатырь, остановился перед тремя ветвями расходившейся дорожки. Подумал с минуту и выбрал крайнюю слева, ведущую, как мне казалось, к дому. Избранная мною дорожка вилась между старой л е щ и н о й (орешник), между которой торчали тоже старые,

толстые, развесистые липы и такие же суховерхие грабы и клены. Всё это было освещено теплым утренним солнцем и, как пишется, само просилося под кисть живописца. Но мне в это время было не до живописи, меня занимал вопрос, куда приведет меня волчья дорожка? А чтобы разрешить эту задачу, я удвоил шаги, и только что я удвоил шаги, как наткнулся на толстый белый корень, лежащий поперек дорожки. Я остановился, поднял голову. Смотрю — и вижу: старый, сухой огромный клен распустил свои обнаженные ветви, как патриарх седой воздел дряхлеющие руки над чадами чад своих, моля о благословении вездесущего.

Как ни был я занят результатом таинственной дорожки, но перед дряхлым праотцем орешника остановился и чуть-чуть было не снял шапку. Так иногда случается встретить на улице благообразного старца, и рука невольно подымается к шапке. Это прекрасное чувство, я думаю, врожденное уже в человеке, а не воспитанием усвоенное. Как бы там ни было, только я, как перед живым существом, с благоговением остановился перед усохшим величественным кленом. Солнечные лучи, проскользнувши сквозь густые ветви орешника, упали на его древние, обнаженные стопы, т. е. на корни, и так эффектно, так ярко прекрасно осветили их, что я сколько можно дальше отодвинулся назад, уселся в тени орешника и, как настоящий живописец, любовался светлым, прекрасным пятном на темном серо-зеленом фоне.

Как долго я наслаждался этой картиной, не помню. Помню только, как крупная капля росы с листьев орешника упала на лицо и разбудила меня.

Проснувшись, я рассудил, что тут мне делать нечего, потому что светлое пятно исчезло. Остался только сухой клен и его самые обыкновенные корни. Лениво приподнялся я, стряхнул с себя сухие листья и, как ни в чем не бывало, пустился дальше по волчьей дорожке. Дорожка привела меня к какому-то сараю без окон и дверей, примкнутому к главному

корпусу здания с разнокалиберными окнами. Сарай, вероятно, заключал в себе какую - нибудь фирму „Отраду“ или „Наслаждение“, т. е. конюшню или псарню. Дорожка, коснувшись помянутого сарая, повернула вправо. Я пошел далее. Кустарники орешника сменились кустарниками бузины, крыжовника и смородины. Значит, я добрался уже до настоящего господского сада. Ладно, думаю себе, и продолжаю свой загадочный путь. Вскоре вышел я в тополевую аллею. Смотрю, в конце аллеи белеет какое-то здание. Не вчерашний ли это павильон? Он же и есть. Я прибавил шагу и через минуту очутился у знакомого павильона. Двери были растворены, вхожу и вижу безмолвную панну Дороту, сидящую за круглым столом перед блестящим огромным серебряным кофейником.

— Доброго рана,— сказал я ей, кланяясь.

— Доброго полудня,— ответила она, кивнув головой, и почти улыбнулась.

Едва успел я нецеремонно сесть против панны Дороты, как вбежала или, лучше сказать, впорхнула в павильон ранней птичкой моя прекрасная Елена и повисла у меня на шее.

— Сваволишь, Гелено! — проворчала дуэнья и принялась разливать кофе.

— Где вы пропадали? — быстро спросила у меня резвушка Гелена и, не дав мне выговорить ответа, продолжала:

— А брат хотел уже ехать за вами в Будища. А бедный Прохор плачет от горя. Я тоже чуть - чуть не заплакала,— прибавила она, улыбаясь.

— Да! — сказала она, как бы вспоминая что - то.— Мне нужно вам приятную новость сказать по секрету.

И, наклонясь ко мне, прошептала:

— Вы понравились панне Дороте!

— Рад стараться,— сказал я смеясь, а про себя подумал: „убил бобра!“

— Не смейтеся, — сказала она серьезно: — это большая редкость. Ей даже брат мой не нравится. Я не знаю, чтобы ей кто нравился, кроме меня и

Прохора. А вы третий, вот что!—прибавила она, взглянув на безмолвную панну Дороту.

— А когда так,—сказал я шутя,—так нечего напрасно время тратить: честным пирком да и за свадебку.

— Она не пойдет замуж,—пресерьезно сказала прекрасная Елена.—Она давно уже черница, сестра-кармелитка, и для меня только остается здесь и не едет в свой кляштор.

— Гелено! кофе стынет!—сказала громко панна Дорота.

— Зараз, моя мамочко!—сказала нежно моя прекрасная собеседница и протянула руку к чашке.

После минутного молчания она снова обратилась ко мне и сказала:

— Я слышала, что вы умеете рисовать портреты. Нарисуйте мне мою мамочку, мою милую панну Дороту.

— Сваволишь, Гелено!—проворчала панна Дорота и едва заметно улыбнулась.

— Не сваволю, моя любая мамуню, не сваволю. Когда вы уедете в свой кляштор, я буду смотреть на портрет ваш и буду ему книгу читать, как вам теперь читаю. Нарисуете?—прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

Я дал слово исполнить ее желание.

— И брата нарисуете?—спросила она наивно.

— И вас, и брата, и всех нарисую.

— Как я рада! Как я рада!—сказала она, хлопая в ладоши.

— А есть ли у вас краски?—спросила она после минутного восторга.

— Есть в Будищах,—сказал я.

— Так это всё равно, что и здесь,—сказала она и выбежала из павильона.

Через полчаса она возвратилась назад и сказала:

— Брат сам едет в Будища и привезет вам всё, и даже вашего Трохима. Брат мой его очень любит, а я его еще и не видала,—прибавила она.—Должен быть хороший человек, когда брат полюбил.

— Родной внук вашему Прохору,— сказал я.

— Ну, так верно хороший. И грамотный?

— Грамотный,— отвечал я.

— Как бы я была рада и счастлива, если бы мой брат выучился грамоте,— сказала она как бы про себя и призадумалась, склонив свою прекрасную головку на плечо траурной, неподвижной панны Дороты.

— Я сама его выучу читать,— сказала она, как бы от сна пробуждаясь.— А кто же его писать выучит? Прохор тоже писать не умеет, он и читает только одну псалтырь. Посоветуйте, что мне делать? — прибавила она, обращаясь ко мне.

— Не только посоветую, даже помогу вам в этом добром деле,— сказал я и тут же предложил своего Трохима в наставники моему однорукому герою.

Теперь уже не по привычке и не напрасно проворчала панна Дорота: — Сваволишь, Гелено! — потому что ее шалунья Гелена не дослушала моего предложения, бросилась ко мне на шею и принялася целовать меня со всей нежностью пламенно любящей сестры.

— Чем же мы с братом заплатим вам за любовь вашу? — сказала она, успокоившись.

— Любовью,— отвечал я спокойно.— Выслушайте меня,— продолжал я.— Вот мой план. Я вам оставляю моего Трохима на весь год. А вы отпустите со мною своего Прохора в Киев, тоже на весь год.

Панна Дорота взглянула на меня и как бы испугалась.

— Если только Прохор согласится оставить вас.

Панна Дорота попрежнему опустила голову.

— О, наверно согласится. Я уговорю его.

Панна Дорота поморщилась и взглянула на свою Гелену, а та, поняв ее взгляд, со слезами на глазах бросилась перед нею на колени и, целуя ее руки, приговаривала:

— Мамуню моя! Серце мое! Я сама возьму заступ и буду копать твои гряды еще лучше Прохора. Только отпусти его, моя мамочко, мое серденько!

Панна Дорота, с минуту помолчав, наклонилась к ней, поцеловала ее в голову и едва слышно проговорила:

— Згода.

В это время робко вошел в павильон Прохор и, увидя меня, перекрестился и сказал:

— Слава тебе господи, царю небесный! Найшлыся таки! А я думав, що вы вже од нас на Басарабию помандрувалы,— прибавил он, улыбаясь и утирая пот с лица.

Подойдя к Прохору, я объяснил ему, в чем дело, не подозревая его несогласия. Но вышло иначе. Он выслушал меня внимательно, призадумался, а через несколько минут раздумья посмотрел на панну Дороту и лаконически сказал:

— Не поиду.

— Почему? — спросил я тоже лаконически.

— А на чии руки я их покину? — сказал он, указывая на панну Дороту.

— На их руки,— сказал я, указывая на хозяйку.

— Молодè! — сказал он и вышел из павильона.

Решительный отказ этого полуубитого бедняка мне чрезвычайно понравился. Это задело за живое мою хохлацкую натуру. Он человек, а не безответный раб, который умеет только сказать: как прикажете! Я тут же дал себе слово склонить его на свою сторону. С этим упрямым намерением я обратился к своим собеседницам, сказал им про отказ Прохора и просил их уговорить его ехать со мною в Киев, хоть бы для того только, чтобы поклониться печерским чудотворцам.

— От вас теперь зависит,— прибавил я,— привести мой проект в исполнение.

Панна Дорота обещала свое содействие, я поцеловал ее костлявую руку и предложил прекрасной Елене прогуляться со мной, но прекрасная Елена мне, своему Парису, отказала. Я раскланялся и вышел в сад.

VII

— А куды вас тепер бог понесе? — спросил меня стоявший за дверями Прохор.

— А куда глаза глядят, — отвечал я.

— Куда глаза глядят, — повторил он шопотом. — А де вас тоди шукать, як заблудыте в нашому Вавилони?

На разумный его вопрос я не знал, что сказать ему, а он, глядя на меня, улыбался, поворачивая в руках свою шапку-чабанку.

Я никогда не любил прогулки с кем бы то ни было, ни даже с прекрасной и не сентиментальной женщиной. Прогулка сам-на-сам имеет для меня какую-то особенную прелесть, и я был в душе доволен отказом даже прекрасной Гелены. Теперь же, сознавая истину слов предусмотрительного Прохора, я готов был просить его сопутствовать мне по загадочному лабиринту или, как он сказал, по Вавилону. И оно было бы весьма кстати: во время прогулки я мог бы завести речь о панне Дороте и узнать всю подноготную, а ее подноготная меня сильно интересует.

— Не пойдешь ли ты, Прохоре, со мною погулять по вашему Вавилону?

— Ходимо, — сказал он, улыбаясь и накрывая свою лысину чабанкой.

В это самое мгновение выглянула из дверей очаровательная Гелена и позвала Прохора к панне Дороте. Я понял причину этой внезапной аудиенции и, отложа розыск о панне Дороте до другого раза, пустился наудалую, куда глаза глядят.

Между заглохшими колючими кустарниками смородины и крыжовника выбрался я к жиденькому обветшалому мостику, перекинутому через буро-зеленую лужу без всякой надобности, потому что лужу скорее и безопаснее можно обойти. Я благоразумно обошел болото и по уступам между такими же колючими кустарниками поднялся на гору. На горе торчали в беспорядке старые, полуусохшие

тополи и одна широкая, развесистая липа, как добрая купчиха между тощими асессоршами. Я прилег отдохнуть на горе, разумеется, около купчихи. Передо мною открылась панорама, на удивление неживописная в этом живописном уголке моей прекрасной родины. Прямо перед глазами широкий сплошной черный лес, из которого торчали кое-где конические верхушки тополей и выглядывали широко и неправильно раскинутые черепичные крыши господского дома, уставленные безобразными трубами, из которых вился голубоватый дым. В правой стороне леса блестел широкий пруд. За прудом по косогору раскинулось серенькое село, а в центре села торчала тоже серенькая деревянная церковь, безыменной архитектуры. За селом, на отлогой возвышенности, махали крыльями, как будто жаркий спор вели между собою, две ветряные мельницы, а между ними по зеленому полю вилася темная дорожка и исчезала в узком однообразном горизонте, украшенном двумя небольшими могилами.

Неотдаленный горизонт для меня имеет, не скажу прелесть, но своего рода очарование. Меня всегда подмывает выйти на него и посмотреть, что за ним скрывается. Это неугомонное чувство мне еще в детстве покою не давало. Так, однажды, будучи лет шести или семи, смотрел я на подобный же горизонт, и мне воobразилося, что за ним небо склонилося к земле и непременно уперлось на железные столбы, а иначе как же бы оно держалось? Я не мог отказать себе в удовольствии взглянуть на эту интересную колоннаду. Пошел — и, к невыразимой досаде, увидел на медленно открывшемся таком же горизонте точно такое же село, как и наше. Так и теперь: лежу под липою, а самого так и подергивает посмотреть, что за картина откроется за этими неугомонными мельницами? Но философ Бэкон учит сначала удовлетворять необходимое, а потом уже и любопытное. И я последовал его мудрому совету, тем более, что желудок мой начинал уже хлопотать о необходимом.

Любопытное я отложил до другого раза и тем же

путем возвратился к павильону. Там уже никого не было. Не изменяя прежнего маршрута, я через час времени благополучно прибыл в штаб-квартиру. На дворе, как надо полагать, перед окнами кабинета стояла коляска моего родича, а через двор его же кучер вел лошадей к экипажу.

— Поедем домой? — спросил я кучера.

— Поидемо назад п'ятамы,— отвечал он с неудовольствием, закручивая поводья около дышла.

Что бы значил его замысловатый ответ? Неужели мой плоский бесстрастный родич — не совсем плоский и бескровный? Неужели он не устоял против искушения и храбро загнул угол на свою капитальную движимость? Но „прежде заключения необходимо убеждение",— учит не Бэкон, а какой-то другой философ-юрист.

Войдя в свою комнату, я полуразделся, привел свою особу в горизонтальное положение и задумался о виденном вчера и сегодня. Дума поселила во мне неприятное, оскорбляющее чувство. Одна она, моя прекрасная, непорочная Елена, она, как светлая звездочка, горит в этом густом, тлетворном мраке, и для контраста ей, точно Магелланово облако, эта темная, неразгаданная старая идиотка панна Дорота! Интересно бы узнать, на чем она покончила с Прохором: едет ли он со мной в Киев или поставил на своем? Эта ли мысль или что другое заставило меня встать и подойти к окну. Прохор медленно шел через двор к моей квартире, а кучер моего родича, тоже медленно, шел ему навстречу. Они встретились, взялись за шапки, на минуту остановились и разошлись.

— Что проиграл? — спросил я входящего Прохора.

— И кони, и коляску, и Корния. Нашому Ивану Ивановичу. А до вечера,— прибавил он,— може бог поможе, и себе програе. Наш Иван Иванович молодець!

— Да и родич мой, как видно, непромах,— подумал я и спросил Прохора, чем он кончил с панной Доротой.

— Повезу вас у Киев,— сказал он нехотя.

— И давно бы так,— сказал я, сердечно радуясь, что переупрямил старого хохла. Полюбовавшись его кроткой физиономией, я самодовольно возвратился в комнату с намерением привести свою особу в горизонтальное положение и достойно отпраздновать одержанную викторию. Вслед за мною вошел в комнату Прохор и своим присутствием разрушил мое гордое намерение. Он остановился у дверей и молчал, а я ходил по комнате и тоже молчал. Он, кажется, ждал, пока я заговорю, а я ждал, что он мне скажет. Наше немое тет-а-тет могло быть очень продолжительным,— это в хохлацкой натуре,— если бы не нарушил его стук колес, раздавшийся под окнами моей квартиры. Этот неожиданный стук заставил Прохора открыть уста с намерением произнести: „ах!“— но этот глубокомысленный проект ему не удался. Стук колес еще отдавался в ушах моих, как в комнату вошел однорукий герой мой и после приветствия отрапортовал мне, что приказания мои в точности исполнены.

— А где же Трохим?— спросил я моего героя, усердно пожимая ему руку.

— Они едут в карете,— отвечал он.

— Трохим? В карете?— восклицал я от удивления.— Расскажите мне ради бога, как это Трохим попал в карету?— спросил я улыбающегося моего героя.

— Весьма просто. Здешняя дорожная карета с поста еще оставалася в Будищах, а чтобы она там не гнила на дворе, я рассудил привезти ее в свое место.

— Прекрасно!— прервал я его.— Значит, вы лошадей взяли у моего родича?—Вопрос этот я сделал для того, чтобы лошадей сейчас же возвратить назад, а то как бы они не очутились на какой-нибудь шестерке или четверке.

— Зачем напрасно гонять кони?— отвечал он.— Я позычил две пары волов у отца Саввы, ее на волах и привезут сюда вместе с вашими вещами и с Трохимом Сидор...— Последнее слово почему-то он не договорил.

Я внутренно смеялся, воображая себе моего Трохима, величаво выглядывающего из великолепного дормеза, влекомого четырьмя волами. Я поблагодарил моего героя за хлопоты и думал уже итти навстречу Трохиму.

— Бог знает, кто о ком хлопочет,— сказал он кротко и выразительно, хватая меня за руку. Я отдернул свою руку, тогда он охватил мою шею своей единственной рукой, и карие глаза его сверкнули слезою. Он принялся целовать мою голову. Безмолвно-красноречивая эта сцена была прервана входом старого Прохора; он спрашивал меня, где я хочу обедать, с панами ли в кабинете или с панями в саду?

— Ни там, ни там,— сказал я,— а ты принеси нам сюда, мы будем обедать вместе с Осипом Федоровичем.

— И так добре!— сказал Прохор и скрылся за дверью.

Герой мой начал было отнекиваться от моей импровизированной вежливости, но я уверил его, что его компания интереснее для меня генеральской и даже адмиральской компании. Последнее выражение смутило простака, и он скрыл [смущение] в пестром бумажном носовом платке.

А Прохор-то, старый немощный Прохор!— словно казачок покоёвый, так и бегает взад и вперед. Не прошло и десяти минут, как уже всё было готово. Водка, закуска и серебряная ваза с супом дымилась на столе. А Прохор, как ни в чем не бывало, стоял себе у дверей с салфеткой в руке и только улыбался.

Едва успели мы сесть за стол, как дверь растворилась и впорхнула к нам легкокрылой бабочкой сама очаровательная хозяйка.

— И я с вами обедаю,— сказала она, садясь между мной и братом.— А панна Дорота,— продолжала она,— поцеремонилась, пускай одна обедает.

— Ей, я думаю, совершенно всё равно,— сказал я.

— О, нет! Панна Дорота любит веселую компанию.

Едва успела она проговорить последнее слово, как вошел длинный лакей с высокою серебряною вазою и с торчащей в ней бутылкой шампанского. Ставя на стол сию интересную посудину, лакей проговорил:

— Панна Дорота приказали.

— Поблагодари панну Дороту. А ты, Прохоре, принеси бокалы,— прибавила она.

В продолжение обеда Прохор работал быстрее и ловчее французской камеристки. Я восхищался моим будущим слугою. Но когда дело дошло до шампанской бутылки, тут не только Прохор и мой благородный герой, я сам призадумался. Таинства сего гусарского искусства для меня закрыты, но заменить меня было некем, и я принялся за дело. После долгих усилий пробка, наконец, вылетела и ударилась в потолок, а вино фонтаном брызнуло на стол. Я, однако ж, не растерялся, а как следует направил бешеную струю в законное русло. Хитрая моя операция привела старого Прохора в восторг. А чтобы продлить это наивное восхищение, я предложил ему выпить бокал „скаженои“ воды. Он решительно отказался. С помощью милой хозяйки, наконец, я его уверил, что не так чорт страшен, як ёго малюють. Против такого сильного аргумента сказать было нечего, и мы все четверо чокнулись и дружно выпили сердитое вино. Прохор легонько крякнул и едва слышно проговорил:

— Ничого сказать, смашна собака!

VIII

Очаровательная хозяйка после обеда сейчас же удалилась вместе с братом. За ними последовал и догадливый Прохор, а я, подумавши немного, сладко, мягко, бархатно-мягко сомкнул мои очарованные вежды, уложив свою особу на мягкой постели. Но увы! Не успел я переступить границу действительности, как до полуслуха моего коснулись какие-то странные неясные звуки, похожие на чтение псалтыря над

покойником. Вслушиваюсь, действительно, чтение, и чтение церковное. И голос как будто знакомый, но где этот знакомый голос, за стеной или под полом, не пойму. Я раскрыл глаза, но зрение слуху не помогло. Я встал, подошел тихонько к двери, растворил ее, смотрю,— в передней никого нет, а звуки сделались явственнее, и все-таки похожи на чтение псалтыря. Нет ли и в самом деле у меня соседа какого-нибудь преставльшегося? Отворяю другую дверь, выхожу на лестницу — и ларчик просто отворялся: псалмолюбивый сторож мой Прохор, чтобы не беспокоить меня своим псалмолюбием, расположился на самой последней ступеньке лестницы и по всем правилам дьячковской декламации борзо читает:— „Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим беззаконие“.— С удовольствием прослушал я псалом до конца и возвратился во-свояси, дивяся бывшему.

Благоговейное чтение Прохора теперь на меня действовало иначе. Через несколько минут неясные звуки совсем исчезли, и мне уже начало представляться какое-то очаровательное видение, вроде прекрасной Елены, как вдруг раздалось прозаическое громкое: — Цабе-цабе!.. соб! тпрру!— Не могу сказать, что именно, но мне представилось что-то страшное. Я вскочил, подбежал к окну,— и, о зрелище, достойное кисти Вувермана!— Великолепный дормез, запряженный четырьмя огромными серыми волами, остановился против моей квартиры. Прохор отворил дверцу и, как какого-нибудь кардинала, высаживал из дормеза моего непышного Трохима. Эта оригинальная сцена во мне уничтожила даже мысль не только о сне, но и о самом полежаньи.

Земляки мои, в том числе и я, самую серьезную материю не могут не проткать хоть слегка, хоть едва заметной шуточкой. Земляк мой (разумеется, невольно) в потрясающий финал „Гамлета“ всучит такое словцо, что сквозь слезы улыбнешься. В доказательство я приведу пример исторический.

Сообщники Искры и Кочубея, поп N. N. и писарь Подобайло, после доброй пытки кнутом лежали

окровавленные на полу под рогожею и рассуждали о том, что не мешало бы позычить у москаля кропила (кнута) для своих непослушных жен. Не правда ли, на своем месте шуточка?

Вот и я теперь готовлю своего Трохима в педагоги, к делу в высокой степени благородному и серьезному. Так бы и начать следовало это доброе дело. Нет, я вздумал его начать шуточкой, а от шуточки чуть было в прах не рассыпалось мое доброе и серьезное намерение.

Без малейшей причины пришла мне в голову нелепая фантазия притвориться сердитым на Трохима и посмотреть, что из этого выйдет. Когда он с помощию Прохора внес чемодан в комнату, я даже не взглянул на него, т. е. на Трохима. Он это заметил и взглянул на меня недоверчиво. Я продолжал свою роль. Не обращая внимания на сконфуженного Трохима, приказываю Прохору принять по счету белье, книги и прочие вещи, а сам наскоро одеваюсь и ухожу. Глупо, удивительно глупо! Но я, как школьник, был доволен этой импровизированной глупостью.

Известной уже читателю волчьей тропинкой прошел я мимо патриарха-клена в также известную аллею и потом в заветный павильон. Тут встретила меня с братом прекрасная Елена и панна Дорота с чашкой чаю в руке. После чаю и веселого живого разговора герой мой взялся за шарманку. Она завизжала какой-то вальс, а я с прекрасною Еленою, как неистовый немец, закружился под это визжанье. Панна Дорота выглядывала из-за самовара и заметно улыбалась. А между тем начало уже заметно темнеть в павильоне. Мы вышли в сад, и тут-то я вспомнил о Трохиме и сообщил о его прибытии моему герою. Герой мой, как умел, раскланялся и пошел приветствовать своего профессора и друга. Я предложил моим спутницам прогулку по волчьей тропинке, они охотно согласились, и мы без особенных приключений засветло еще добралися до большой тополевой аллеи, ведущей к дому. В аллее

встретился нам Иван Иваныч Бергоф, едущий четверней в коляске моего возлюбленного родича. Гордый успехом, Иван Иваныч показал вид, что нас не видит, а мы даже отвернулись, когда он проехал мимо нас. И поделом тебе, немецкий шулер!

При входе на широчайший двор нас встретил герой мой и с ужасом объявил нам, что Трохим пропал.

— Вот тебе и шуточка! — подумал я, раскланиваясь со своими спутницами, и побежал на квартиру.

— Где Трохим? — спросил я торопливо Прохора.

— А бог його святый знае, — ответил он равнодушно.

— Он тебе ничего не сказал, когда уходил? — спросил я нетерпеливо.

— Сказал... — и Прохор остановился.

— Что же он тебе сказал, говори скорее?

— Он сказал... та цур йому! он нехорошее слово сказал...

— Говори скорее, я всё хочу знать!

— Он сказал, что на вас не только добрый человек, сам чорт не угодит, и что когда он вам понадобится, так чтобы вы его в Киеве не шукалы.

— Попроси ко мне Осипа Федоровича, — сказал я Прохору.

Он поспешно скрылся, а через минуту явился ко мне опечаленный герой мой. Я объяснил ему, в чем дело, и попросил его не медля отправиться в погоню за Трохимом.

— Он, верно, теперь в Будищах, у отца Саввы, — прибавил я.

Герой мой вышел. Я остался и от нечего делать начал углубляться в смысл моей глупой шуточки.

Значит, я плохо знал моего Трохима, когда позволил себе подобную выходку. Глупо и еще раз глупо! И даже неоригинально глупо! Прохор первый думает теперь, что я тиран, что я бешеная собака, что со мною не только добрый человек, сам чорт не уживется. Еще раз глупо!

— Пожалуйте, вас просят в покои, — проговорил Прохор, отворяя дверь.

— А в покоях ничего не говорят о Трохиме? — спросил я его экспромтом.

— А бог их святый знае. Назар лакей говорит, что...

— Что Назар лакей говорит? — перебил я его.

— Что, говорит, Трохим от вас убежал.

— Врет он! Трохим забыл в Будищах очень нужную мне книгу и пошел за нею. Кто же виноват? Не забывай! — прибавил я экспромтом, весьма неудачно и даже непростительно глупо. Ну, к чему мне было врать перед Прохором? Чтобы утвердить его мнение, что я действительно бешеная собака, да еще и хитрая собака. Одна ошибка ведет за собою другую. Это в порядке вещей. Как бы, однако ж, вывернуться из этого глупого порядка вещей?

Прохор лукаво посмотрел на меня, а я, как будто ничего не замечая, беспечно просвистал качучу, взял шапку и вышел.

— Врет да еще и присвистывает, — наверное, так подумал Прохор. Скрепя сердце вошел я в известную круглую залу а-ля турецкая палатка. В зале никого не было, скрепя сердце расположился я на оттомане в ожидании кого-нибудь. Наскучив ожиданием, скрепя сердце вошел я в кабинет хозяина и наткнулся на происшествие такого свойства: хозяин и мой возлюбленный родич сидели молча за испачканным ломберным столом, вперив багровые глаза и такие же носы в стаканы с дымящимся пуншем. По временам произносилося слово: „моя“, и за словом передвигался целковый с одного конца стола на другой. Я долго не мог понять, что между ними происходит. Они играют, это верно, но в какую игру? Наконец, я догадался. Они забавляются в муху, т. е. в чей стакан прежде упадет муха, того и приз. — Хороши мальчики! — подумал я, глядя на приятелей, и, гнушаясь их отвратительной забавой, я вышел из кабинета, не замеченный ими.

Я оставил приятелей, ругающихся за сомнительное плиэ. В палатке-зале попрежнему никого не

было. Мимо десяти незагадочных чуланов прошел я в китайскую залу с загадочными фирмами. И там никого не было. Я вышел в сад — никого, в павильоне — тоже. Куда же скрылася моя прекрасная Елена со своею дуэньею? Задавши себе такой вопрос, я прежними переходами возвратился в свою квартиру, лег и занялся внимательным созерцанием потолка. В непродолжительном времени Прохор отворил дверь и сказал, что меня просят на вечерю. Я отказался от вечери и снова принялся за потолок. Не помню, на чем я остановился в своих тонких наблюдениях, помню только, что я проснулся, погасил свечу, поворотился к стене и опять заснул.

Проснулся я рано, и мне живо представился заманчивый горизонт с двумя ветряными мельницами. Сем-ка проведаю, что там делается за мельницами! Встал, надел шапку, взял палку и вышел.

Златовласая, румяноланитая Аврора уже умылася алмазною росою и радостно улыбалась сладко дремавшей земле. Вздохнув свежим влажным воздухом, вздрогнул легонько и, помолившись богу, направился к широкой тополевой аллее. Пройдя аллею, остановился я на распутьи двух дорог. Одна мне знакома, она ведет в село Будища, а другая бог знает куда приведет. Я выбрал ту, которая бог знает куда приведет. Иду. Направо лес, налево поле, а впереди сереет село, подернутое облаком прозрачного дыма. Вхожу в село. Извилистая улица спускается вниз и соединяется с греблей. Ниже гребли мельница и винокурня, а по другую сторону, почти в уровень с греблей, блестящий широкий пруд. За прудом такое же сероватое село и вьющаяся улица по красноватому пригорку. На пригорке шинок, за шинком царина, поле и две ветряные мельницы. Вас-то мне и нужно, голубушки!

— Добрыдень, батьку! — сказал я седобородому старику, прилаживавшему лубочные двери к своему куреню.— Нехай бог помагае! — прибавил я, приподымая шапку.

— Добрыдень, сыну! Нехай и вам бог помагае,—

проговорил он, снимая шапку.— А куда бог несе? — спросил он почтительно.

— Гуляю, батьку! — ответил я, проходя мимо него.

— Гуляй соби с богом, сыну! — проговорил он, надел шапку и снова принялся за лубковую дверь. А я вышел в поле и пошел себе шляхом - дорогою, насвистывая какую - то украинскую песню.

Прошел я мимо ветряных мельниц и шаг за шагом, незаметно поднялся на заманчивую возвышенность, и вдруг остановился. Передо мною открылася не оригинальная и не новая для меня, но очаровательная картина. Обрамленная темным лесом, широкая и бесконечно длинная поляна раскинулась на отлогой покатости, уставленная в беспорядке старыми суховерхими дубами. Налюбовавшись до отвалу, мне вдруг пришла охота пощупать ногами эту старую, неоригинальную картину. Крепко захотел — вполовину сделал. Проговоривши эту святую истину, пустился я ощупывать старую картину, и, переходя от дуба к дубу, нечаянно наткнулся на широкий и глубокий ров. Смотрю, за рвом на большом пространстве, приблизительно двух квадратных верст, зеленеет бархатная молодая пажить. А между этой тучной, роскошной зелени, как темные ленты, протянулись два обнижка (межа), и на одном из них гуляет высокий человек, весь в белом. Я далек от веры в заколдованные клады, которые счастливцам являются тоже в белом. Но тут чуть - чуть не приблизился я к этой нелепой вере. Хорошо, что этот мнимый клад, увидя меня, стал ко мне приближаться. Когда он подошел на несколько шагов ко рву, я приподнял шапку, пожелал ему доброго утра и спросил:

— Чья это такая прекрасная пшеница?

— Доктора Прехтеля, т. е. моя.— Он приподнял белую фуражку и прибавил: — Имею честь рекомендоваться.

Я посмотрел на него внимательнее. Это был белый, свежий, худощавый, высокого роста старик в кавалерийском белом кителе и в таких же ши-

роких шароварах. С минуту стояли мы молча друг против друга. Я уже намерен был сказать что-то, как он внезапно уничтожил мой проект вопросом:

— Вы не здешний и, вероятно, заблудились?

— Ваша правда, я не здешний. Я художник Дармограй,— отвечал я, как будто растерявшись, что со мною делается всегда при первой встрече.

— Вашу руку! Я люблю художников, истинных божиих детей,— проговорил он быстро и протянул мне руку. Я сделал то же и очутился в канаве. Он сделал мне сначала выговор за неосторожное движение, потом подал мне руку и вытащил, аки пророка Даниила из рва львиного,— немного выпачканного грязью.

— Теперь здравствуйте как следует! — сказал он, улыбаясь и пожимая мои руки.

— Ваше имя? — спросил я его.

— Степан Осипович Прехтель. А ваше? — прибавил он быстро.

Я сказал ему свое имя.

— Очень хорошо. Теперь пойдем к моей старухе. Она, как и я сам, тоже любит художников.— И, говоря это, он вывел меня на обнижок. Но как эта дорога оказалась тесною для двоих пешеходов, то он пустил меня вперед, а сам пошел за мною. Молча прошли мы зеленую ниву и вступили в молодую, аккуратно подчищенную дубовую рощу. Тут нас встретил красивый здоровый парень в белой чистой рубахе и таких же широких шароварах. Парень снял смушевую черную шапку и, кланяясь, проговорил:

— Добрыдень, дядюшка!

— Добрыдень, Сыдоре! — отвечал ему мой новый знакомый.— Что хорошее скажешь, Сыдоре? — спросил он его.

— Тетушка София Самойловна вас послали шукать,— отвечал парень, кланяясь.

— Добре, скажи — прийдемо! — сказал доктор Прехтель моим родным наречием, что меня немало удивило, приняв в соображение его ученую степень и немецкую фамилию.

Пройдя дубовую рощу, мы очутились перед белою большою хатою с ганком (крылечко) и четырьмя, одной величины, окнами. Из-за хаты выглядывали еще какие-то строения, но я не успел их рассмотреть, потому что в дверях показалась кубическая, свежая, живая старушка в ширококрылом белом чепце и в белейшей широкой блузе.

— Рекомендую вам мою Софью Самойловну,— сказал Прехтель, показывая на приближающуюся к нам старушку.

Я поклонился и проговорил свое имя и звание.

— Ах!— произнесла моя новая знакомка и, обратясь к мужу, спросила:

— Где это ты взял такого дорогого гостя?

— Бог нам послал, друг мой,— сказал он, нежно целуя свою Софью Самойловну.

— Я вам пришлю кофе сюда в рощу, в комнатах еще беспорядок,— сказала она скороговоркой и скрылася в хату.

— Филемон и Бавкида,— подумал я, возвращаясь с хозяином в рощу.

IX

— Теперь отдохнем,— сказал мой вожатый, садясь на дерновую полукруглую скамейку.

— Отдохнем,— повторил я, опускаясь на ту же скамейку.

Через минуту к нам подошла белолицая, свежая девушка в малороссийском костюме и, кланяясь, сказала едва слышно:

— Де, дядюшка, прикажете стол поставить?

— Хоть за воротами, мне совершенно все равно, давай нам только кофе,— сказал мой амфитрион, улыбаясь.

Девушка вспыхнула и закрыла лицо белым широким рукавом рубахи.

— Ты слова путного никогда не скажешь,— сказала тут же очутившаяся Софья Самойловна.— Принеси скорее, Параско, круглый столик,— прибавила

она, обращаясь к своей сконфуженной сотруднице. А старик взглянул на меня и лукаво мигнул глазом, как бы говоря: каков я!

В одну минуту белолицая Геба-Параска уготовала для нас пир с самомалейшими подробностями. На небольшом круглом столике она поместила всё: и кофейник, и кофейничек, и кипяченые сливки в миниатюрных горшочках, и булки, и булочки, и сухарики, и, наконец, две большие черные сигары и зажигательные спички. Недоставало одной Софьи Самойловны. Не замедлила и она явиться, но уже не в блузе, а в черном шелковом пальто и в щеголеватом свежем чепчике. Она присоединилась к нам, и после первой чашки кофе беседа завязалась. Я рассказал им подробно, кто я и что я. А они или, лучше сказать, она рассказала мне, не вдаваясь в мелочи, как это обыкновенно бывает у женщин ее лет, она рассказала мне всё про свое житье-бытье, не касаясь ни одним словом своих соседок. Большая редкость у женщин даже и не ее лет. В заключение она сказала мне, что у них есть дочь, красавица, в киевском институте, и что через месяц она оставит институт, и как она ее будет дома учить хозяйничать, и как замуж думает выдать. Тут только она вдалась в подробности, но матери это простительно.

Есть на свете такие счастливые люди, которым не нужна никакая рекомендация, с которыми не успеешь осмотреться хорошенько, как уже, сам того не замечая, делаешься своим, родным, без малейшего с твоей стороны усилия. А есть и такие несчастнейшие люди, с которыми и из семи печей хлеба поешь, а все-таки не узнаешь, что оно такое, человек или амфибия.

Не вставая с дерновой скамьи и до половины не докурив сигары, я узнал, что Степан Осипович Прехтель был когда-то штаб-лекарем в Курляндском драгунском, теперь уланском, полку, и что учился в Дорпате, и что Софья Самойловна — воспитанница графини Гудович, жены командира того самого Курляндского драгунского полка, в котором он слу-

жил когда-то медиком, и что в местечке Ольшане (Киевской губернии) они спознался с Софьей Самойловной, там же и побралыся, и что сначала было не без нужды, пока Степан Осипович не окрылился, т. е. пока не выслужил пенсион и не оставил службу. Потом купили себе этот хуторок, обзавелись хозяйством да и живут, как у бога за дверью.

В свою очередь и я разговорился и нарисовал им самыми радужными красками мою прекрасную Елену и ее благородного великодушного рыцаря-брата. Я так увлек стариков своим рисунком, что они со слезами на глазах стали меня просить познакомить их с братом и с сестрою, о которых они уже слышали, но еще не имели счастия видеть благородную чету. Я обещал. Я предвидел от этого знакомства много прекрасного и полезного для моей героини и еще более для образованной красавицы, дочери Софьи Самойловны. Они разделят свое нравственное добро как родные сестры, и обе будут богаты.

Старики предложили мне остаться у них обедать. Я не отказался, а в ожидании обеда Степан Осипович предложил мне прогуляться по его палестине. Я тоже не отказался, и мы пустились соглядать неширокое, но милое, чистое, аккуратное хозяйство медика-агронома.

О подробностях виденного мною я распространюсь в другом месте, а теперь и не место и не время, потому что Софья Самойловна послала уже своего Сидора-Меркурия просить нас к обеду. Я, однако ж, ошибся: Сидор, действительно, шел искать к обеду, только не нас, а карасей в пруду. И когда мы проходили греблю, то я увидел сквозь тростник, как он вытащил тяжелую вершу и из нее посыпалися в човен крупные золотистые караси. Я посмотрел и только облизался.— Каковы же эти приятели будут поджаренные со сметаной! — подумал я и еще раз облизался. Приятели оказалися, действительно, такими, как я думал. А вообще обед превзошел мое воображение своею простотою и чистотою до педантизма. После обеда Степан Осипович пригласил меня

в свою лабораторию-библиотеку прочитать, как он выразился, знаменитое творение осьмого и первого мудреца Морфея. Перейдя темные сени, вступили мы в половину Степана Осиповича. Это была большая комната с четырьмя небольшими окнами, украшенными разной величины бутылями с разноцветными жидкостями. В промежутках окон помещалися шкафы — одни с аптекарскими банками, а другие с книгами. На столах сушилися первовесенние ароматические травы, а венцом украшения комнаты были две койки с чистыми свежими постелями, на которые мы возлегли и заснули, да не как-нибудь по-воровски, а заснули по-хозяйски, т. е. до заката солнца.

Чтение знаменитого творения мудреца Морфея продлилось бы и долее, если бы не послышался из-за дверей знакомый звонкий голос Софьи Самойловны, спрашивавшей, не желаем ли мы чаю, на что Степан Осипович лаконически отвечал: — Желаем!

— А когда желаете, так выходите в сад, — сказала Софья Самойловна, стукнувши чем-то металлическим в дверь, вероятно, ключом.

Встряхнулись, умылись, оделись и, как ни в чем не бывало, вышли мы, уже не в дубовую рощу, а в настоящий фруктовый сад, расположенный по другую сторону хаты. Уселись мы на дерновой скамье под старою огромною липою, раскинувшейся посередине сада.

— А как бы нам кто-нибудь преподнес воды и сахару или варенья, — сказал Степан Осипович идущей к нам Софье Самойловне.

— Ты настоящий немец! — сказала она, улыбнувшись одним углом рта, что делало ее необыкновенно милою старушкою. — Все бы ему воду да сахар. А чай куда денешь? Настоящий немец! — повторила она.

— И не сидел около немца! — сказал без улыбки Степан Осипович, закуривая сигару.

Софья Самойловна возвратилась в хату. И в скором времени белолицая чернобровая Геба-Параска вынесла на подносе требуемый продукт, поставила на скамейку и проговорила краснея:

— Дяденька!.. Тетенька велели спросить у вас, не подать ли вам еще чего-нибудь.

— Перцу с луком и горчицы немного попроси у своей тетеньки, а потом уже чаю,— прибавил он не улыбаясь.

Как спелое яблоко зарделася белолицая Геба и, закрыв лицо рукавом, убежала в хату.

Зачайная речь вертелась сначала на шуточках Степана Осиповича, потом перешла на прекрасную сестру и великодушного брата и, наконец, на панну Дороту.

— Что за субъект эта безмолвная панна Дорота? — спросил я у Степана Осиповича.

— Мрачный психический феномен,—отвечал он.— Она идиотка вследствие обмана и оскорбления. Ее печальная история тесно и даже родственно связана с гнусной историей старого Курнатовского, отца теперешнего владельца. Я вам расскажу ее историю, мне она более, нежели кому другому, известна. И, по-моему, такие истории не только рассказывать — печатать следует. Эти растлители, беззаконники законом ограждены от кнута, то их следует и должно печатно казнить и позорить, как гнусное нравственное безобразие.

Только что Степан Осипович вошел в сущность речи, а я превратился в слух, как подошла ко мне белолицая Геба и, краснея, вполголоса сказала, что меня какой-то однорукий пан спрашивает. Я теперь только хватился, что я сделал непростительную глупость: ушел из дому, не сказав даже Прохору, куда я ушел. А впрочем, я и сам тогда не знал, куда я ушел.

— Что случилося? — спросили меня вдруг оба мои амфитрионы.

— Ничего особенного,— отвечал я смутившись.— Меня, как беглеца, разыскивают в околотке.

— Кто вас ищет?

— Человек, великодушием которого мы недавно восхищались.

— Неужели он сам? Где он?

— Отут стоить за хатою,— отвечала простодушная Геба.

— Что же ты остановилась? Проси их сюда к нам,— сказала Софья Самойловна, обращаясь к Гебе.

— Вы нам сегодня гору золота подарили,— говорил Степан Осипович, пожимая мне руку.

Белолицая Параска пошла просить гостя до компании, а мы все трое, вслед за Параскою, пошли триумфально встретить моего героя.

— Вы меня знаете, а я вас еще лучше знаю, и кончено,— так встретил Степан Осипович своего гостя и, пожимая ему руку, прибавил, показывая на Софью Самойловну: — А вот и моя старая немка. Прошу полюбить.

Софья Самойловна сделала книксен и благоговейно посмотрела на моего героя. А он, простодушный, покраснел, как девушка при встрече с незнакомым юношей, и, подойдя ко мне, шепнул на ухо:— За воротами Трохим вас дожидает.— Я исчез как кошка.

За воротами стояла бричка, а в бричке сидел, понуря голову, мой оскорбленный Трохим. Увидя меня, он отвернулся. Подходя к бричке, я слегка кашлянул. Он еще больше отвернулся. Я вижу, что дело плохо, зашел с другой стороны. Он отвернулся в противоположную сторону. Плохо, нужно переменить маневр.

— Здравствуйте, Трохим Сидорович!—сказал я, едва удерживаясь от смеха.

— Здравствуйте и вам! — сказал он и еще отвернулся от меня.

— Не хотите ли чего покушать?

— Не хо̀чу,— сказал он протяжно и оборотился ко мне спиною.

Не без труда умаслил я моего Трохима и ввел его в освещенный гинекей Софьи Самойловны. На дворе уже было темно. Я отрекомендовал его как моего верного слугу и сподвижника и как будущего учителя моего героя.

— Браво, молодой профессор! Будем учиться, и

всё пойдет хорошо,—проговорил Степан Осипович, пожимая ему руки.

Софья Самойловна приласкала его, как сына́, попотчевала ватрушкой и посадила около себя на диване. Трохим не без церемонии исполнил ее желание, сначала поцеловав ее руку, из чего я заметил, что он парень бывалый.

После весьма нелегкого ужина, к немалому изумлению Софьи Самойловны, мы собралися в путь. А она уже велела в клуне на соломе и постели нам приготовить. Услыхав о такой роскоши, я уже было и нюни распустил, но герой мой, как истинный спартанец, решительно отказался от этого невинного плотоугодия, и тем более, что панна Дорота вчера вечером крепко захворала и сестры некем переменить у ее постели.

— Так вот где причина вчерашнего безмолвия,— подумал я. И, пожелав хозяевам покойной ночи, мы вышли на двор, дав слово навещать их чаще и чаще.

— А все-таки лучше было б, если бы вы переночевали,— говорила ярко освещенная свечой Софья Самойловна.

Степан Осипович, проводив нас до ворот и прощаяся, просил учителя и ученика без церемонии обращаться к нему за учебными книгами и удостаивать его сведениями о ходе своих занятий по педагогической части. Я молча пожал ему руку, и мы расстались.

X

Западный небосклон еще рделся, как потухающее зарево отдаленного пожара. На мягком красноватом фоне рисовалась темная прозрачная дубовая роща. Из-за рощи фиолетовой игривой струйкою подымался вверх дым, вероятно, из кухни Софьи Самойловны. Глядя на этот невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою треволненную душу:

Не для волнений, не для битв —
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв.

Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу. При въезде в село вместо царинного д и д а нам отворил ворота Прохор, и вместо обыкновенного приветствия произнес он клятвенное обещание в том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хотя на две пяди. Возьму, говорит, на веревку, та й буду водыть, як того медведя, и что другой рады он не может дать с таким божевильным паном, как я. При этих словах Трохим посмотрел на меня значительно, как бы говоря: что, небось, неправда?

— Посунься к тому боку,— сказал Прохор Трохиму, влезая в бричку.— С самого ранку на ногах, як той хорт на ловли! Рушай! — сказал он кучеру, усаживаясь.

Мимо едва освещенного шинка спустилися мы тихо с пригорка и очутилися на гребле. На гладком зеркале пруда кое-где всплескивала рыбка и оставляла по себе тихо расширявшийся на воде круг. Проехав село и тополевую аллею, мы остановились на широком дворе. Из темного фона выдвигалась черная женская фигура. Я узнал в ней мою прекрасную Елену.

— Чи вси дома? — спросила она, встречая нас.

— Вси!— сказал я, выскакивая из брички.

— Где вы пропадали до сих пор?— спросила она, взяв меня за руку. Я сказал ей о моей находке.

— А что, разве я не говорила тебе, что они непременно там,— сказала она, обращаясь к брату.

— Да почему вы узнали, что я именно там?— спросил я ночную красавицу.

— Потому что вы рано поутру прошли за царину и не возвращались, а до хутора Прехтеля недалеко, я и догадалась.

— Умница,— подумал я и подал ей руку, и мы молча отошли от брички.

— Как здоровье вашей панны Дороты? — спросил я мою молчаливую спутницу.

— Очень нехорошо. Завтра необходимо попросить Степана Осиповича, и я не знаю, как это сделать. Муж уехал, а я...

— Куда ваш муж уехал? — прервал я ее, как будто меня тяготило его присутствие.

— Не знаю куда. Он уехал с вашим родичем, верно, в Будища,— отвечала она, не изменяя тона.

Разговор наш как-то не вязался. Она сегодня не была похожа на себя. Я ей это заметил, и она сказала, что ей сегодня скучно. Я нарисовал ей привлекательную Софью Самойловну и в заключение объявил ее искреннее желание познакомиться с нею. Она и эту любезность приняла заметно сухо, из чего я мог догадаться, что мне осталося пожелать ей приятных сновидений и ретироваться во-свояси, что я благоразумно и исполнил.

Что ее так сильно беспокоит? Неужели болезнь панны Дороты, этого живого автомата, или отсутствие беспутного мужа? Или и то и другое? И то и другое поодиночке дрянь, а вместе — безнравственная гадость. А она скучает без них. Странно!

Долго я еще шлялся в темноте по двору и повторял зады, пока, наконец, устал и пошел к себе на квартиру.

В ожидании меня Трохим читал вступительную лекцию своему ученику. Когда я входил в комнату, он заставлял его узнавать буквы на обертке „Морского Сборника“ и прехитро толковал ему, что означают две палочки с перекладиной наверху и что значат такие же две палочки с перекладиной посередине. Прохор же, не обращая ни малейшего внимания на любознательную молодежь, читал вслух псалмы Давидовы, осторожно переворачивая пожелтевшие листы псалтыря. Эта новая сцена освободила меня от томительного впечатления предшествова-

ших ощущений. Похвалив моего героя за понятливость и прилежание, Трохима за точное исполнение своей новой обязанности, а Прохора за борзое чтение „писания“, я хотел поклониться им и ложиться спать, как Прохор выступил вперед и взял смелость спросить у меня, что значит „Коль возлюбленна селения твоя, господи сил“. Я, признаюсь, был озадачен таким нечаянным вопросом, но, сейчас же оправившись, отвечал ему наудалую:

— „Селение возлюбленное господне“,— сказал я ему,— означает не что иное, как монастырь.

Прохор посмотрел на меня с благоговением, а на предстоящих с удивлением, и больше ничего.

— Я и сам так думал,— говорил Прохор, придя в себя.— А, может быть, и не так, думаю себе, а спросить не у кого. Панна Дорота — они хотя и читают книгу, так не по-нашему, а по-польски, так ее и спрашивать нечего. Слава богу, что вас господь послал к нам, а то бы я и до гробовой доски не выразумел сего святого слова. Чи вы вечерялы? — спросил он меня внезапно.

— Вечерял,— отвечал я.

— Кладитеся ж с богом та спить. Ходимо, хлопци! — прибавил он, обращаясь к своим собеседникам.

В продолжение речи Прохора я, как бы от нечего делать, перелистывал „Морской Сборник“ и, найдя то место, где было сказано о подвиге моего героя, заставил Трохима прочитать вслух. Героя моего этот напечатанный секрет на минуту озадачил, но он вскоре оправился и сказал:

— Да если бы не сам граф Виельгорский, царство ему небесное, нас тогда допрашивал, то я другому бы и слова не высказал.

— Мир праху твоему, достойный представитель человеколюбия! — почти вслух проговорил я и, пожелав покойной ночи честной компании, ушел в свою комнату.

Расставшись с моими protégé-друзьями, я нелицемерно принялся мерить вдоль и поперек свою комнату. Но как я тщательно ни работал над ее

измерением, а кончил тем, что, не узнавши точной величины, я потушил огонь и лег спать. Я рассчитывал на богатырский сон, а вышло совсем не так. Меня что-то беспокоило, а что именно меня беспокоило, этого я, как ни старался, определить не мог. В эти жестокие и бесконечно длинные минуты я немного смахивал на влюбленного, следовательно, и на помешаного. Но этого сходства быть не может, во-первых, потому, что я не прапорщик, а во-вторых, что я уже хотя и не в чинах, то по крайней мере в летах и, вдобавок, совершенно не эротической комплекции. А между тем, о чем бы я ни задумался — о старых красавцах дубах, о белом ли Прехтеле, о Софье ли Самойловне, о ее милой оригинальной улыбке,— везде и во всем проглядывает она, она, прекрасная и непорочная моя простушка героиня.— Боже мой! Боже мой! — восклицал я мысленно.— Сохранит ли она свежесть, эту девственную чистоту, как сохранила ее Софья Самойловна? Едва ли. Она полна самой нежной, самой возвышенной любви. Ей необходима по крайней мере привязанность, ей необходима опора, на которой бы она могла сосредоточиваться, ей необходим разумный, верный друг, а не пьяный сластолюбец ремонтер или жалкая идиотка панна Дорота, к которой она привязана из необходимости к кому-нибудь привязаться. А если эта жалкая руина совсем рушится, тогда что? Тогда... тогда всё может случиться. Хорошо еще, если она после томительной холодной пустоты сделается только похожею на мою бездушную кузину. А если, что также естественно, утратив святое женское достоинство, она прямо перейдет в подносчицы своего растлителя? И, наконец, истощив слабые остатки нравственной силы, она разом увидит всю отвратительную мерзость собственного унижения, тогда... тогда она — второй экземпляр жалкой юродивой панны Дороты! Как же отвести эту темную густую тучу от ее блистательно прекрасной головки? И я, как великий Франклин, задумался над этим нравственным отводом.

После долгих соображений я остановился на Софье Самойловне и ее институтке дочери. И, не откладывая в длинный ящик, решил завтра же познакомить между собой моих приятельниц. Эта неоригинальная мысль так мне понравилась, что я развил ее до самой дикой несбыточности и, убаюканный республиканцами, внучатами моей прекрасной Елены, и прочими тому подобными мечтами, заснул сном блаженного.

Проснулся я довольно поздно, и первое, что представилось моему уже бодрствующему воображению, это вчерашний проект с самомалейшими подробностями. Несмотря на то, что это было чадо моей собственной фантазии, я не узнал его. Оно было слишком вычурно. Я его уничтожил и на тех же данных принялся строить другое здание — солиднее, положительнее, приноравливая его более к климату и обычаям.

— А не пора ли вам вставать? — сказал Прохор, тихонько отворяя дверь.

— Не знаю, как ты думаешь? — спросил я его, вставая с постели.

— Я так думаю, что пора. Уже два раза вас приходили просить на чай туда, в сад, — говорил он, развертывая полотенце.

Через несколько минут я уже подходил к дверям заветного павильона, и как дверь была растворена, то я издали внутри его увидел белую блестящую голову Степана Осиповича.

— Какими судьбами вы здесь очутились? — сказал я, подходя к нему и кланяясь его собеседнице, прекрасной Елене.

— Очень просто: я — медик, — отвечал он, протягивая руку.

— А какова ваша больная? — спросил я его.

— Как вообще больные, — сказал он, улыбаясь.

Хозяйка ушла проведать свою больную, я принялся за чай, а Степан Осипович закурил сигару и принялся за панегирик моей прекрасной Елене. И только что дошел он до самого пафоса, как вошла

в павильон сама героиня и объявила своему новому поклоннику, что больная заснула.

— И слава богу,— сказал, улыбаясь, Степан Осипович и предложил прогулку сначала в саду, а потом к себе на хутор.— Сон в руку,— подумал я и, разумеется, охотно согласился на его милое предложение. Прекрасную Елену затрудняла больная, но Степан Осипович, как медик, уверил ее, что больная проспит до вечера и проснется здоровою. Она согласилась, приказала приготовить экипаж и догонять себя за цариною.

По дороге я забежал на квартиру, взял портфель, карандаш и палку и пустился по следам моих спутников. Едва успели мы выйти за село, как нагнала нас коляска и приняла в свои мягкие недра. Проезжая мимо одного старого дуба, я велел кучеру остановиться и, к изумлению моих спутников, вышел из коляски. На вопрос, что я намерен делать, я показал на дерево и сказал, что намерен нарисовать этого суховерхого патриарха. Степан Осипович молча махнул рукой и велел кучеру трогать, а я на некотором расстоянии обошел вокруг широко-ветвистого Мафусаила и, не найдя желаемого пункта по причине полдневного освещения, прилег в тени того же Мафусаила, полюбовался издали на его могучих сверстников да и задремал.

Когда проснулся я, то увидел, что лесная густая тень изменила мне: она отскочила от меня сажени на три. Хорошо еще, что я догадался лицо закрыть платком от мух, а иначе из меня сделался бы препорядочный англичанин. А где же мой портфель? Странническая дубина здесь, а портфеля нет. Обошел я несколько раз вокруг патриарха, заглянул в его широкое дупло,— нет моего портфеля. А освещение самое настоящее, и лысый Мафусаил как бы смеется надо мною, показывая свои соблазнительно-широко освещенные сучья и ветви. С досады я подошел к другому патриарху,— тот еще лучше, к третьему — еще лучше, а четвертый как будто бы убежал из портфеля Калама и опять

напрашивается под карандаш. Я чуть не плакал с досады.

Послав дюжину проклятий бессовестному вору, вышел я на дорогу и направил стопы своя к хутору Прехтеля. Кроме Софьи Самойловны и белолицой Параски, я на хуторе не нашел никого больше. На вопрос, обедал ли я, я отвечал отрицательно, и тотчас был введен на половину Софьи Самойловны и начинен всеми съедобными благодатями и между прочим узнал, что героиня моя просто очаровала Софью Самойловну и что она гостила недолго, потому что боялась за свою больную панну Дороту, и что Степан Осипович поехал вместе с нею, а что она, Софья Самойловна, едет к ней на вечерний чай и просит меня быть ее кавалером,— честь, от которой я не отказался,— и мы полчаса спустя отправились в дорогу.

XI

В тополевой аллее, против самой волчьей тропинки, я велел остановиться и просил свою спутницу выйти из брички, намереваясь провести ее этой волчьей дорогой прямо в павильон, где предполагал я найти хозяйку и ее седого гостя. Предположение мое не сбылось потому, что не успели мы ступить на тропинку, как в конце аллеи, к стороне дома, показалась сама хозяйка, сопровождаемая Степаном Осиповичем и своим благоверным ротмистром. Мы пошли им навстречу. С непритворной радостию обнялись и поцеловались новые знакомки, а сам хозяин с ловкостью истинного гусара отрекомендовался Софье Самойловне и просил ее жаловать в комнаты.

— Удался ли вам сегодня рисунок?—спросил меня лукаво Степан Осипович.

— Очень,—отвечал я, стараясь быть серьезным.

— Правду ли вы говорите?—спросил он, глядя на меня пристально.

— Правду,—отвечал я тем же тоном.

— Нельзя ли нам полюбоваться вашей работой? — сказала хозяйка, смеясь.

— И вы против меня, — сказал я ей, тоже смеясь.

Довольный Степан Осипович пожал ей дружески руку и тут же рассказал, как было дело: как я изменил их тройственному союзу во имя прекрасного искусства и как они на обратном пути заметили меня глубоко преданного этому божественному искусству. — До того глубоко, что он не заметил, как мы у него из рук портфель украли. — Так заключил свой рассказ Степан Осипович. Рассказ его возбудил всеобщий смех, в том числе и мой.

Мне необходимо было зайти на квартиру, и я ненадолго расстался с моими веселыми друзьями. Прохор встретил меня на лестнице покиванием главы, как бы говоря: горбатого могила исправит. Я показал вид, что не замечаю его тонкого и справедливого упрека. Тут же встретил меня герой мой с предложением [посмотреть], сколько им книг привез Степан Осипович. Комната, в которую он меня ввел, была его и Трохима квартира и класс. Корзина с книгами разной величины и формы стояла на полу, над нею, как хищный беркут, сидел Трохим, погрузившись в изображение исторических героев, в систематическом порядке выведенных на хитрую таблицу по методе Язвинского.

Я освидетельствовал дорогой подарок и сделал приличное случаю наставление моим приятелям, как они должны быть внимательны и благодарны Степану Осиповичу за этот истинно драгоценный подарок. Окончивши речь с достоинством оратора, я оставил моих приятелей думать о случившемся, а сам вышел на двор. На дворе уже никого не было. Я пошел в дом. Пройдя коридор и красную комнату-коридор, я вошел потом в другой коридор и потом в круглую залу-палатку; тут нашел нашу компанию за чайным столом, потешаемую любезным хозяином каким-то тривиально-гусарским анекдотом. Дверь, ведущая в коридор с недвусмысленными десятью чуланами, была заставлена столом,

украшенным разными сладостями и бутылкою какого-то вина. Кто это так мило догадался заслонить коридор беззакония? Во всяком случае не хозяин. Он в этой гнусной декорации не видит ничего предосудительного, иначе он бы ее давно уничтожил.

Между разного содержания небылицами хозяин рассказал одну былицу — о том, с каким триумфом был встречен мой проигравшийся родич своею неистовою половиной. И когда торжественные проклятия дошли до самого бешеного пичикато, внезапно явился в комнату Иван Иваныч Бергоф, точно с креста снятый, — истощенный, измятый, в каком-то лакейском чекмене, выпачканном грязью и кровью. — Он, изволите видѐть, — заключил хозяин поучительную былицу, — он затесался куда-то в доброе место, в Звенигородку, кажется, к уральским козачкам; те его, добра молодца, в один денек облупили как липочку, да, вдобавок, поколотили. И поделом! В чужой монастырь с своим уставом не суйся. — Трагический рассказ был ловко замкнут поговоркой. Чайное угощение сменилося конфетным, конфетное — ужином, за которым любезный хозяин чуть-чуть не по-гусарски нализался. Кончилось всё, однако ж, как следует, — расставаньем, поцелуями и приличным числом „до свидания!“

Проводив моих старых друзей до брички, пожелав им счастливой дороги и покойной ночи, посмотрел, как они утопают во тьме ночной, да и сам отправился на боковую.

Следующий и несколько последующих дней я, как порядочный артист, провел за работой. Результатом моего трудолюбия вышел акварельный рисунок, представляющий мою героиню в том виде, как я ее подсмотрел в павильоне, в кругу своих нелицемерных подруг. Рисунок вышел эффектный и в отношении сходства очень удачный. В особенности хорош вышел герой мой, невозмутимо вертящий шарманку. Когда я окончил и показал рисунок свой во всеузрение, то Курнатовский десять

раз сряду побожился, что он в жизнь свою не видел ничего прекраснее, художественнее, чему я совершенно верю, потому что он в жизнь свою ничего не видел, кроме бутылки и карт. Но чтобы довершить свое торжество, я прибавил и его портрет в полутоне. Прибавка эта произвела желаемое впечатление. Курнатовский пришел в неописанный восторг: называл меня и другом, и братом, товарищем по чувствам и в заключение предложил мне 1000 рублей, от которых я должен был отказаться, потому что я делал рисунок для жены его и без всякого возмездия. Мое бескорыстие его озадачило. Он посмотрел на меня не как на товарища по чувствам, а как на заморского зверя и, посоветовавшись со своим экономом, предложил мне бричку-нетычанку, пару добрых коней и кучера. От последнего я отказался, а прочее с благодарностью принял. У меня давно была мысль обзавестись этою в моем кочующем быту необходимой мебелью, но всё как-то не удавалось, а тут разом удалось, и удалось недорого. Прохору удивительно как понутру пришлось мое внезапное приобретение, из чего я заметил, что у него орган скотолюбия преимущественно развит.

— А не пора ли нам собираться в поход? — спросил я его, обревизовавши в десятый раз свое новое добро.

— Если вы в карты не играете, то не пора, а если играете, то пора,— сказал он, лукаво улыбнувшись.

Я похвалил его за остроумное слово, и мы решили завтра же отправиться во-свояси, о чем было объявлено и гостеприимной хозяйке, и хозяину. И так как это дело было к вечеру и погода благоприятствовала, то мы и решили сообща сделать визит Прехтелям, а завтра по пути и моим милым родичам. Я велел Прохору вооружить свою бричку и самому вооружиться. Вооружение быстро совершилось, и я поехал к Прехтелям в своей собственности.

Когда я объявил моим старым друзьям о моем

крепком намерении завтра оставить их, то они приняли это за шутку, и даже неуместную. Они пренаивно думали, что я непременно дождуся их милой Маши из института, нарисую ее портрет да тогда и поеду себе куда угодно. А если захочу, то и у них могу остаться хоть на всю жизнь.

— А какого бы я из вас сделал превосходного немца!— сказал Степан Осипович, пожимая мне руку.

— У тебя только немцы на уме,— прервала его Софья Самойловна.— Тут нужно говорить дело,— прибавила она и задумалась.

— О каком же это деле ты так глубоко призадумалась, моя старая немка?— спросил ее Степан Осипович ласково.

— А вот о каком,— отвечала она, улыбнувшись.— Теперь в исходе май, а в июне будет выпуск,—возьмите и меня с собою в Киев,— прибавила она, быстро обращаясь ко мне.

— С удовольствием,— сказал я, принимая ее слова в прямом смысле. А Степан Осипович перекрестил ее большим крестом, на что она улыбнулась и посоветовала ему самому перекреститься, что он и исполнил.

— А теперь что прикажете?— спросил он, вытягивая руки по швам.

— Теперь ничего, а завтра готовить бричку и кормить лошадей, а послезавтра я поеду в Киев. Вот вам и вся недолга,— прибавила она, прищелкнув пальцем.

Итак, по желанию Софьи Самойловны я решился отложить до послезавтра мою поездку, после чего Курнатовские и я пожелали старикам покойной ночи и поехали в дом свой.

Следующий день прошел в сборах и наставлениях Трохиму, как должно вести себя с чужими людьми. Вечером побывал я у моих старых друзей, узнал, что и как и когда именно мы пустимся в дорогу. Решено было выехать из дому рано, чтобы обедать в Богуславе и на ночь поспеть в Потоки. По-

решивши эту важную статью, я расстался со стариками.

За ужином у Курнатовских объявил я о нашем непреложном решении, причем героиня моя медленно, сердечно-мягко посмотрела на меня, а хозяин велел подать бутылку шампанского на прощанье.

Солнце еще покоилось за горизонтом, а мы уже были на ногах. Прохор возился около брички и лошадей, герой мой с Трохимом — около чемодана и корзины с пирожками и прочим добром, а я ничего не делал. Когда всё пришло к концу и Прохор торжественно воссел на козлах, тогда я вышел на двор, перекрестился, и процессия двинулась. За бричкою пошел Трохим с моею палкою и с портфелем в руках, за Трохимом последовали мы с моим героем, взявшись за руки. В таком порядке мы прошли двор и часть тополевой аллеи. Тут порядок шествия был нарушен внезапным появлением моей прекрасной Елены. Она, как лучезарная денница, явилася пред нами и осветила наше мрачное шествие. Но этот лучезарный свет исчез в одно мгновение: грустно опустя на грудь свою прекрасную головку, она молча пошла между мною и братом и, когда бричка выехала из аллеи, взяла круто вправо и скрылася за деревьями, тогда она остановилась и, быстро схватив мою руку, поднесла ее к своим губам. Не успел я ахнуть, как она уже легче газели неслася по аллее к дому. Я посмотрел на улыбающегося моего спутника и не знал, что сказать на это.

— Она приедет с вами проститься к Софье Самойловне,— проговорил он простодушно, и мы молча пошли за бричкой. За селом к нашей процессии присоединился с тощей собакою мой старый знакомый, царинный дид. А когда мы уселись в бричку, то Прохор, прощаясь со своим ровесником, сказал ему:

— Зробы ж!

— Добре! — отвечал тот, и наша бричка покати-

лась по дороге. Молчание царило над нами до самого хутора.

На хуторе Филемон и Бавкида хлопотали уже около своего ковчега, т. е. около дорожной брички или, правильнее, крытого фургона. Белолицая Параска выносила из хаты ворочки, узелки, корзинки, ящички и всё это передавала Степану Осиповичу, а он, тщательно осмотревши предлагаемую вещь, передавал ее бережно Софье Самойловне, а та, осмотревши вещь так же тщательно, укладывала ее на свое место.

— Бог помочь! — сказал я, подходя к бричке.

— Гут морген! — отвечал мне Степан Осипович, улыбаясь. В это время были вынесены подушки и огромная перина, а когда и это добро было всунуто в ковчег, Степан Осипович снял свою белую фуражку, перекрестился и сказал: — Слава тебе, господи!

— А ковер, душко, и забыли,— сказала Софья Самойловна, выглядывая из фургона. Вынесен был и ковер.

— Теперь всё, душко? — сказал Степан Осипович.

— Всё! — отвечала Софья Самойловна.

— Еще раз слава тебе, господи! И...— старик еще что-то хотел сказать, но не успел: в это время к нам подходили Курнатовские, оставив свой экипаж за воротами.

После взаимных приветствий и лобызаний был осмотрен всем комитетом ковчег. После удовлетворительного осмотра хозяйка предложила кофе и легонький фриштик, состоящий из жареной индейки, дюжины цыплят и тому подобной овощи. Во время завтрака Степан Осипович просил моего героя и его профессора быть его постоянными гостями до приезда молодой хозяйки. Тогда Софья Самойловна обратилася к ним с просьбою, чтобы поберегли ее старого немца, а белолицой Параске крепко-накрепко наказала, чтобы гости без нее не голодали. А иначе она обещалася привезти ей из Киева дулю, а не гостинец.

— Ты не знаешь, какой он у нас? — прибавила она, показывая на Степана Осиповича. — По нем, хоть волк траву ешь, ему все равно, ему был бы только флейш, а другие хоть с голоду умри, он и не подумает о других. Я уже его, — продолжала она, обращаясь к гостям, — немного приучила к рыбному, а прежде ни середы, ни пятницы не знал, настоящий тата... — да на этом „тата" и остановилась, ласково посмотрев на своего улыбающегося Филемона, как бы прося прощения за такое нехристианское сравнение.

После кофе и так называемого легкого завтрака мы помолились богу, на минутку присели по принятому обычаю и, помолясь еще раз, пошли по своим местам. Курнатовские вызвались нас провожать до Шендериевки, чему я был очень рад. Курнатовский, как истинный кавалерист, поехал верхом, а я занял его место в коляске возле моей прекрасной Елены.

До самого места расставания прекрасная Елена ничего не говорила. Я тоже молчал. Мы были очень похожи на жениха и невесту, едущих к венцу по воле родителей.

Сцена расставания, наконец, настала. Героиня моя молча пожала мне руку и едва внятно проговорила: — Благодарю вас за брата. — Ротмистр, не слезая с лошади, тоже пожал мне руку и благодарил за какое-то одолжение, а Степан Осипович, пожимая мне руку, просил поберечь его добрую старую немку. На том и расстались.

XII

Герой мой не так прост, как я себе воображал его. Он смекнул делом, что предполагаемый нами ночлег в Потоке состояться не может по причине так называемого легкого завтрака и вообще расставанья. Основываясь на этих данных, он незаметным образом обогнал нас и, не останавливаясь

в Шендериевке, пустился далее в Богуслав с мыслию, которая сделала бы честь любому леопарду,— с мыслию приготовить квартиру для Софьи Самойловны. Каков матрос! Солнце уже опускалося за горизонт, когда он с профессором своим встретил нас по сю сторону Роси и проводил на приготовленную квартиру. Софью Самойловну до слез тронула эта неожиданная любезность. Герой мой в глазах Софьи Самойловны всегда был необыкновенным человеком, а теперь сделался и человеком светским. В глазах женщины это венец всем добродетелям. Всё бы хорошо, только вот что случилось: едва успела Софья Самойловна показаться на улице перед своей квартирой, как ее окружила густая грязная толпа самых отчаянных факторов и почти на руках внесла ее в комнату. Бедная до того растерялась от этой новой нечаянности, что не могла выговорить слова и только отмахивалась носовым платком, как от мух, от услужливых факторов. Но эта кроткая мера ни к чему не повела — они и не думали отступать. Тогда она схватила в обе руки свой огромный ридикюль и начала прокладывать себе дорогу обратно к своему мирному ковчегу. Я вступил в дело и с помощию севастопольского защитника рассеял толпу израильтян и уговорил Софью Самойловну возвратиться в комнату, а на случай внезапного нападения поставил на часах у дверей неустрашимого Трохима.

На другой день рано поутру, напившись вместе чаю, я окончательно простился с моим доблестным героем и с моим бывшим сподвижником и верным слугою.

Из Богуслава через Росаву и Поток мы на другой день благополучно приехали в Триполье, а из Триполья, понад Днепром, дремучим бором, на другой день приехали мы в Киев, тоже благополучно. Можно было бы и в три дня совершить этот путь, но мы, как добрые хозяева, щадили скотину и, как люди неравнодушные к прелестям природы, останавливалися п о п а с а т ь у ручейка или над

широким плесом Днепра, нечаянно врезавшимся в дремучий лес. И пока Софья Самойловна с Прохором хлопотала около кофейника, я рисовал сосну или березу, а лошади задумчиво траву щипали да хвостами помахивали. Словом, мы путешествовали, как следует путешествовать и всем порядочным людям. На последнем попасе, или привале, я рисовал группу сосен и, для масштаба, пасущуюся лошадь. Софья Самойловна варила кофе и как-то нечаянно заговорила с Прохором о панне Дороте и о старом Курнатовском. Я приготовил уши, а карандаш только так, для блезиру, держал в руке, и в продолжение получаса узнал всю отвратительную подноготную седого сластолюбца и трогательно жалкую историю бедной панны Дороты, историю, к несчастью, обыкновенную даже в наше время.

В своем месте я сообщу моим терпеливым читателям эту глубоко грустную и поучительную историю и, если умудрюсь, словами самого Прохора, а теперь поведу речь о пребывании Софьи Самойловны в Киеве.

Квартира у меня была в Киеве как раз против института, не на Крещатике, а на горе. Я предложил ее Софье Самойловне, а сам поселился на время в трактире, не на водах, а на Крещатике, в доме архитектора Беретти. В тот же день с помощию добрых людей представил я моей спутнице опрятную, скромную и расторопную хохлачку Марину, которая вполне ей заменила белолицую Параску. Устроивши всё как следует, мы держали совет, посещать ли Машу в институте или переждать экзамены и явиться прямо на акт. Как благоразумная и нежная мать, она отказала себе в радости поцеловать единое дитя свое прежде экзамена, чтобы не развлечь и не повредить ему в день испытания. В ожидании этого блаженного дня я развлекал мою гостью, как мог и как умел: потчевал ее прогулками по церквам и монастырям, возил раза два в „Кинь-грусть“, уже было начал посвящать ее в таинства киевских древностей, как слух пронесся о выпускном акте

и бале в институте, на котором покажут себя публично будущие пантеры и львицы.

Не помню почему, я не мог сопровождать мою гостью на это высокое торжество и видеть ее красавицу Машу в критические минуты испытания. На другой день уже увидел я ее в объятиях счастливой рыдающей матери. Это была юная, стройная, как леторосль тополи, гибкая прекрасная брюнетка, с бледным матовым лицом и с большими умными черными глазами. Через полчаса мы были уже свои люди и к неописанному восторгу матери пели в два голоса малороссийскую песню:

Зійшла зоря із вечора,
не назорілася,
Прийшов милий із походу,
я не надивилася.

Она превосходно владела своим баритоном, который сначала показался мне грубым для ее возраста. Я тут же окрестил ее знаменитым именем Альбони. Прошло еще полчаса, и мы уже друг друга обожали. Она мне, как обожаемому и обожателю, рассказала, разумеется, по секрету, кого из учителей все девицы обожали, а кого только некоторые, и которого как они называли; минеролога Ф., например, они называли купчиком за то, что он на лекцию приходил всегда с ящичком, а инспектора П.,— так заключила она свою детскую исповедь,— ни одна девица не обожала, потому что у него глаза кошачьи.

Наговорившись по секрету о предметах первой важности, я рассказал ей, тоже по секрету, историю про моего героя и про его очаровательную сестру. Внимательно выслушала она мою повесть и, чего я не чаял от ее возраста, глубоко задумалась. Я тоже призадумался и, глядя на нее, сам себя спрашивал, не сочиняет ли и она теперь поэму на эту возвышенную тему, как я сочинял? А почему же и не так? Ее непорочной душе это доступнее, нежели записному поэту.

— Какой прекрасный, какой благородный брат! — проговорила она, едва удерживая слезы.— Мамо! — сказала она, обращаясь к матери,— а когда мы домой поедем?

— А как отговеемся, мое сердце, так тогда и поедем,— отвечала Софья Самойловна, целуя свое задумчивое дитя.— Что ты такая невеселая, пташечко моя, рыбко моя краснoперая? За папою скучаешь? Не скучай, мое серденько, скоро, скоро увидишь.— На ласки матери она задумчиво вздохнула.

— Что вы с нею сделали? — спросила меня Софья Самойловна.

— Они рассказали мне историю про матроса.

— Про нашего соседа? Про Осипа Федоровича?— прервала ее догадливая Софья Самойловна и, вдохновленная свыше, она повторила мой рассказ с таким задушевным красноречием, что я слушал ее, как бы никогда не знал о случившемся происшествии. Она открыла в моем герое такие романические прелести, каких я и не подозревал. Например, мне и в голову не приходило, что мой герой владеет даром слова, а по словам Софьи Самойловны он настоящий златоуст.

Рассказ про обожаемого матроса и его прекрасную сестру повторялся каждый день с новыми вариациями. Я начал бояться, чтобы герой мой от частых повторений не опошлел в воображении его пламенной обожательницы. Опасения мои были напрасны. В последнюю ночь перед выездом из Киева она его уже видела во сне, прекрасным, очаровательным.

Благочестивые мои приятельницы отслужили молебен Варваре великомученице и в одно прекрасное утро закупорилися в свой ковчег и пустилися во-свояси. Я проводил их до самого того места, где я рисовал группу старых сосен и слушал трогательный рассказ Прохора про панну Дороту и про старого грешника Курнатовского. На прощанье просила меня Софья Самойловна приискать для Машеньки фортепиано и до зимы прислать им

на хутор, что я не замедлил исполнить как нельзя удачнее.

В Киеве мне не сиделось, и я, посоветовавшись с Прохором, в одно прекрасное утро оставил его вместе с Прохором.

Завидное, очаровательное положение в свете человека ни от кого независимого. Едешь себе куда вздумается, в собственной бричке и на собственных лошадях, остановишься где захочется, нарисуешь что тебе понравится и едешь далее. Волшебное состояние! И сколько есть этих независимых счастливцев в свете, которые и не подозревают своей независимости. Бедные, жалкие рабы ничтожно узеньких страстишек и тонко обдуманных необходимостей!

Измеривши вдоль и поперек Волынь и Подолию и дождавшись в Житомире осенней грязи, мы возвратилися благополучно в Киев.

Из Житомира послал я пачку огородных и садовых семян Степану Осиповичу, собранных мною у волынских и подольских агрономов, а юным прекрасным друзьям моим тетрадку малороссийских песен, записанных мною от подолян и волынян. И по возвращении в Киев, недели две спустя, я получил от Степана Осиповича письмо такого содержания:

„Любезный и незабвенный земляче!

С самого начала не удивляйтесь, что я вас называю земляком своим. Я сам до сих пор был уверен, что я настоящий дейч, а вышло, что я такой же немец, как и вы, т. е. настоящий хохол. И знаете, кому я обязан этим открытием? С самого начала вам, т. е. вашему фортепиано и тетрадке хохлацких песен; потом моей Маше и вашей приятельнице Курнатовской; да и старуха моя туда же. Но минуту терпения, я вам расскажу всё по порядку. С первого свидания Маша моя влюбилась в вашу приятельницу до обожания, как она сама выразилась. Мы с Сонечкой чрезвычайно обрадовались их сближению. Проходит неделя, другая, новые друзья неразлучны, как Кастор и Поллукс. Только замечает сначала Сонечка,

а потом и я, что неразлучные друзья украдкою от нас какую-то книгу читают. Нам это не понравилось, и я стал внимательнее следить за поведением неразлучных друзей, да в одно прекрасное утро и накрыл приятелей под липою в саду.— Какую это ты книгу в карман спрятала?— спрашиваю я свою.— Не покажу,— говорит она. Настоящая хохлачка! А приятельница ваша так и вспыхнула. Я сделал около своей искусный вольт да и выхватил из кармана книгу. Вообразите же себе мое изумление: вместо пошлого романа у меня в руках была немецкая грамматика.— Дурочки! — говорю я им,—зачем же вы прячетесь с этим добром? — Гелена, — говорит моя хохлачка,— хотела вам сюрприз сделать, нечаянно заговорив с вами по-немецки.— Каковы проказницы! Потом моя повисла мне на шею да и просит, чтобы я учил ее Гелену по-немецки, а она будет учить ее по-французски. Я, разумеется, охотно взялся за это святое дело, и тем более охотно, что я, старый дурак, вообразил себя окруженного немками с Шиллером в руках. А какие удивительные способности у вашей приятельницы! Фортепиано всё дело испортило, т. е. не всё,— немецкий и французский язык идет своим порядком, да я-то сильно одурачен. Вместо чтения Шиллера и Гете, пою под фортепиано хохлацкие песни да еще и ногою притопываю. Вот что сделали из меня ваши хохлачки! Я попробовал ключ прятать от инструмента и задать большие уроки — ничего не помогло. Через полчаса урок готов, и по уговору инструмент должен быть открыт. Так вот какого рода обстоятельства. А ротмистра Курнатовского вы теперь не узнаете. Настоящий барашек. Выписывает из Петербурга рояль для своей обожаемой Гелены. А вы пришлите для меня еще тетрадку хохлацких песен да, если можно, и с нотами. На праздники приедут к нам погостить герой ваш и его ученый профессор. Приезжайте-ка и вы с Прохором, а пока целуют вас ваши хохлачки, а мои будущие немки, и я. Прощайте! Благодарю вас за житомирскую присылку.

P. S. Панна Дорота, увы! — не выдержала она, бедная, окончательно помешалась. И, боже, какая она жалкая! Я в жизнь мою не видал такого жалкого субъекта. Помешательство ее тихое, спокойное и тем грустнее и безнадежнее. Яд этот медленно, с самой ранней юности, вливался в ее нежную организацию,— что я говорю — в ее кроткую непорочную душу. И богу известно, когда кончится это горькое существование. Она может прожить еще несколько лет, в истории душевных болезней эти примеры не редки. Каков должен быть человек, решившийся очумить душу в то самое время, когда она только что начала сознавать прелесть и очарование жизни. Ужасное и безнаказанное преступление!

Но я заболтался с вами. Дети кончили уроки и требуют ключ от инструмента, — пойду. Не забывайте вашего старого земляка и моих будущих немок. Еще раз прощайте! И так далее...“

Я имею благородную привычку отвечать сейчас же на полученное письмо. Под влиянием прочитанных известий, какие бы они ни были, как-то легче пишется: не чувствуешь работы, не замечаешь того томительного труда, который сопряжен с ответом запоздалым, где необходимо извиняться, а нередко и врать, а это мне пуще ножа острого. Самая невинная ложь в моих глазах — уголовное преступление. Я начал письмо мое так:

„Многоуважаемый мой друже и новый мой земляче!“

Не успел я поставить знак восклицания, как вошел в комнату Прохор и сказал, что сегодня погода такая прекрасная, что грешно было бы сидеть дома и смотреть в окно на улицу, и тем более, что у нас, слава богу, всё есть свое для езды.

— Ты дело говоришь, Прохоре, — сказал я ему и начал придумывать, куда бы этак махнуть подальше. А в ожидании доброй мысли я прочитал ему письмо Степана Осиповича, на что он весьма основа-

тельно заметил, что всё хорошо написано, а одного так и совсем не написано.

— А чего же, по-твоему, тут недостает? — спросил я его.

— А, по-моему, недостает тут Осипа Федоровича да Трохима Сидоровича.

— Правда твоя, я напишу ему об этом, а пока иди да приготовляйся в дорогу.

Прохор вышел, а я занялся вопросом, почему мне старый немец ничего не пишет о моем герое и его учителе. Сказал только, что они приедут к ним на праздники в гости, а откуда они приедут, ничего неизвестно. Странно! Предположениям моим и конца бы не было, если бы Прохор не постучал в окно и не сказал, что он готов хоть на край света.

XIII

Я по природе моей принадлежу к категории людей рассеянных и отчасти нерешительных. Эти, можно сказать, невинные недостатки нередко ставили меня в смешное, а иногда и в неприятное положение. Теперь, например, совершенно невинно я постриг себя в такие дурни, что хоть на выставку, так впору. Поехали мы с Прохором в Бровари, ну, и довольно, — воротиться бы назад, написать письмо Прехтелю, и дело в шляпе. Нет, нужно было проехать в Оглав да завернуть в Барышевку навестить старого прокурора бориспольца. Очень нужно! А между тем прошел месяц, а письмо не написано. Хорошо еще, что я догадался послать ноты, книги и еще тетрадку малороссийских песен. А то бы мои добрые хуторяне могли подумать, что я уже на лоне Авраамле. Мало того, что нехорошо, — бессовестно. Прекрасная мысль! и как раз пришлась по моей комплекции: не писать до весны, а весной вдруг как с облаков свалиться. А каков будет эффект! А после эффекта все-таки придется извиняться, врать и краснеть. Лучше теперь же напишу, пускай

что хотят думают, а я, по крайней мере, очищу совесть, нужно только написать так, чтобы видна была правда, но правда опоэтизированная. Для этого я начал письмо следующим эпиграфом:

Как в наши лучшие года,
Мы пролетаем без участья
Помимо истинного счастья,
Мы молоды, душа горда;
Как в нас заносчивости много!
Пред нами светлая дорога,
Проходят лучшие года.

Да вместо одного куплета выписал всё стихотворение, да в этом же тоне и письмо нахватал. Эффект был необыкновенный. Под стихами забыл я написать: В. Курочкин, и приятельницы мои не задумались влепить меня в пантеон мировых поэтов. Вот какие могут быть последствия так называемой невинной рассеянности! Без всякого намерения можно попасть в самозванцы, и я отделался только тем, что послал моим хуторянам декабрьскую книжку „Библиотеки для чтения" за 1856 год, и после такого аргумента они разочаровались во мне только вполовину. В их понятиях я все-таки остался великим поэтом за то только, что я им сообщил это гениальное стихотворение.

Зима с контрактами и прочими радостями невидимо мелькнула предо мною. Перед лицом мартовского солнца сконфузился и почернел белый снег. Ручьи весело зашевелились в горах и побежали к своему Днепру-Белогруду сказать о приближении праздника богини Яры. С любовию принял лепечущих крошек старый Белогруд и распахнул свою синеполую ризу чуть-чуть не по самые Бровари. Рязанова трактир, как голова утопленника, показывается из воды, а гигант-мост, как морское чудовище, растянулся поперек Днепра и показывает изумленному человеку свой темный хребет из блестящей пучины. Прекрасная, величественная картина!

Не говорю, весна,— один запах весны меня способен вывести в поле не только из Киева,— из самого Парижа, что я и доказал в прошлом году моей черепашьей прогулкой по неисходимой грязи. Но я годом постарел и сделался хладнокровнее к внешним впечатлениям. А все-таки трудно было мне выговорить роковое слово: — Не поеду! — т. е. пока грязь не угомонится. Я, однако ж, сказал это роковое слово, а уж если я что однажды сказал, так это все равно, что напечатал: никакая земная сила не заставит меня переменить однажды принятого намерения. Этим я без хвастовства могу похвалиться.

Сижу я скрепя сердце в Киеве, а седьмое апреля (день пасхи), так сказать, на носу висит. А грязь, как нарочно, жиже и жиже растворяется. Дождь за дождем так и льется. Всё против меня — и небо и земля. Посмотрим, кто кого пересилит! И я, наверное, переупрямил бы и небо и землю, да случилось вот что. В самое лазарево воскресенье получаю я письмо от нового земляка моего Прехтеля. Письмо самого курьезного содержания. Оно-то и поколебало мою энергическую или, лучше сказать, хохлацкую натуру. А чтобы недоверчивые читатели не сказали, что я хвостом верчу, то, как доказательство моей непорочности, прилагаю при сем письмо многоуважаемого мною Степана Осиповича Прехтеля, чтобы они сами могли рассудить, основательно ли я поступил в этом необыкновенном случае.

„Вселюбезнейший земляче!

Начать с того, что вы эгоист, и самый закоренелый, холодный эгоист. Хотя простодушные немки мои и уверяют меня, что вы только лентяй и, следовательно, один из величайших поэтов-художников (не правда ли, наивное понятие?), но меня, старого воробья, на мякине не проведешь. Видал я вашу братью, великих чудотворцев. Но дело не в том, а вот в чем дело. Все мы, начиная с вашей приятельницы Гелены, глаза проглядели, дожидаючи вас к себе на праздниках, а вы?.. Ну, не эгоист ли вы

после всего этого? А как у нас было весело — чудо! Героя вашего и его достойного профессора вы бы не узнали: элеганты, первого сорта элеганты! Маша моя... ну, да бог с нею. Мне нужен человек, а не мишурная тряпка. А герой ваш... но об этом после. Жаль, что вы не приехали. Вас только и недоставало для полной хохлацкой ассамблеи. Приезжайте же к пасхе, непременно приезжайте! Вы у нас увидите большие перемены. Сонечка моя помолодела и похорошела, я тоже. Маша и ее друг Гелена сделались настоящими немками, и я думаю к приезду вашему открыть немецкие литературные вечера, если только вы не привезете новых хохлацких песен. Ротмистра Курнатовского вы совсем не узнаете,— прелесть мужик! Кузину вашу называет бездушной куклой, а ее благоверного сожителя — ослом в гусарском вицмундире. Панну Дороту вы совсем не увидите, и скажите слава богу: она недавно умерла. Приезжайте, я вам сообщу интересные данные для ее печально-поучительной биографии. А теперь, чтобы более заинтересовать вас, скажу, что она была родною матерью ротмистра Курнатовского. Прощайте! Целуют вас мои немки и я.

P. S. Болтал, болтал, а главного не сказал,— что Курнатовский из гусара делается человеком. Вот вам доказательство: он ломает отцовское гнездилище и строит новое, человеческое, жилище. Не играет в карты, не пьет и вашего бывшего слугу Трохима воспитывает на свой счет в белоцерковской гимназии. Как обстановка изменяет человека! С прошлой осени герой ваш и его гимназист-профессор живут в Белой Церкви и учатся. Статью эту, правду сказать, я обделал с помощию вашей прекрасной Елены. Да это все равно, кто бы ни сделал, только бы сделал хорошо. И вам будет большой грех, если вы не приедете к нам на праздниках, хотя бы для того только, чтобы взглянуть на своего Трохима-гимназиста и на храброго защитника Севастополя, на моего будущего... да что тут за секреты, на моего будущего зятя“.

— Прохоре! Прохоре! — закричал я, выбегая в переднюю. С псалтырью в руках явился Прохор.

— Едем, собирайся! Сегодня едем! — сказал я ему скороговоркой, на что он равнодушно произнес: — Добре! — и пошел собираться в дорогу.

1858.
Февраля 16.

К. Дармограй.



ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ

ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Виключний інтерес до театру і великий потяг до драматургічної діяльності Тарас Григорович Шевченко почував з перших же років своєї літературної праці.

Ще в 1841 році він пише російською мовою п'єси „Никита Гайдай", „Невеста", „Слепая красавица".

„Це, бачте, пісня з моєї драми, „Невеста", що я писав до вас, трагедія „Никита Гайдай". Я перемайстрував її в драму. Я ще одну драму майструю — назоветься „Слепая красавица",— писав Шевченко Квітці-Основ'яненку в 1841 році, посилаючи йому для друку названу пісню*.

Слідом за цими п'єсами Тарас Григорович створює драму під назвою „Данило Рева". „Скомпонував я ще драму, чи трагедію в трьох актах, зоветься „Данило Рева",— писав він в 1842 році Кухаренкові. А з листа Тараса Григоровича (лютий 1843 року), адресованого тому ж Кухаренкові, ми дізнаємося, що на цей час ним була написана російською мовою ще одна драма —„Назар Стодоля".

„Скомпонував ще я маленьку поему „Гамалія"... і „Назара Стодолю"— драма в трьох актах. По-московському. Буде на театрі після великодня".

Таким чином, на початку 40-х років Шевченко пише цілий ряд драматичних творів. Але, на жаль, більшість із них до нас не дійшла, і, як видно, вони вже загинули. Зберігся лише український текст „Назара Стодолі".

* Пісня ця недавно знайдена; оригінал її зберігається в бібліотеці ім. Леніна у Москві.

На українську мову „Назар Стодоля“, як видно, був перекладений автором в 1844 році для аматорського гуртка при Медицинській академії в Петербурзі. Про це можна зробити висновок з листа Шевченка до Кухаренка, писаного в 1844 році:

> „На різдвяних святках наші земляки,— писав Шевченко,— отут компонують театр у Медицинській академії. Так я думав, щоб ушкварить твій „Чорноморський побит“. Але тепер уже пізно, а якби ти його звелів переписать гарненько та прислав к великодню, то б це так. А тепер вони вже розучують „Москаля - чарівника“, „Шельменка“, „Сватання на Гончарівці“ і мого „Назара Стодолю“.

Зазначимо мимохідь, що ні російського, ні українського автографа п'єси „Назар Стодоля“ не збереглось, і ми маємо лише український текст, надрукований П. Кулішем в журналі „Основа“ (1862 р., кн. 9, С.- Петербург), де авторські ремарки подані російською мовою і лише частина їх — в кінці п'єси — по - українськи.

В своїх коментарях до публікації цієї п'єси П. Куліш зазначає, що „Назар Стодоля“ був спочатку написаний по-українськи, але, оскільки він же вказує, що на публікованому рукопису була дата „18 XI/9 44“, то з наведеного вище листа Шевченка до Кухаренка видно, що п'єса була написана в 1843 році російською мовою.

Крім „Назара Стодолі“ до нас дійшов опублікований в журналі „Маяк“ за 1842 рік уривок з трагедії „Никита Гайдай“ і, крім того, пісня з драми „Невеста“. Про інші ж твори ми маємо лише окремі згадки в листуванні поета та деякі відомості у спогадах його друзів. Відомості ці загалом дуже скупі і недостатні. Проте і по них можна до певної міри уявити собі, яку історико - літературну і художню цінність мали ці твори геніального поета. От, наприклад, що розповідає Козачковський у своїх спогадах про втрачену драму „Невеста“:

„Из написанных им (Шевченком.— *А. Б.*) в то время (1841 — 42 роки.— *А. Б.*) произведений на русском языке я помню прекрасную повесть в стихах „Слепая“, написанную кипучим вдохновенным стихом, и мелодраму в прозе „Невеста“, содержание которой отнесено к периоду гетманства Виговского,— образец неподражаемого, неудавшегося Основьяненку искусства передавать местным русским языком быт Украины (розрядка наша.— *А. Б.*) с полнейшим соблюдением оборотов родной речи и народного характера действующих лиц. Оба эти произведения, как кажется, потеряны. На мой вопрос в 1845 году о „Слепой“ Шевченко сказал, что, помнится, он отдал ее Щепкину, и советовал мне написать О. М. Бодянскому, чтобы он спросил ее у Щепкина и выслал мне; но у Щепкина ее не оказалось. О мелодраме „Невеста“ автор говорил мне в Петербурге, что он представлял ее в дирекцию императорского театра и что ее соглашались поставить; но, по всей вероятности, она не дождалась от автора окончательной отделки и в 1845 году у него ее уже не было“ *.

Цей відгук Козачковського про п'єсу „Невеста“, що її якості, за його словами, полягали в додержанні народного колориту і народного характеру дійових осіб, підтверджується і уривком з трагедії „Никита Гайдай“, що, як видно з листа Шевченка до Квітки від 8 грудня 1841 року, тісно зв'язана з драмою „Невеста“. Саме цими якостями — народністю, палкою любов'ю до батьківщини — і відзначається даний уривок. Його зміст підпорядкований почуттю благородного, шанобливого ставлення до вітчизни. Уривок являє лише третю дію трагедії, де змальовано зустріч головного героя — Микити Гайдая з його нареченою Мар'яною перед від'їздом Микити у Вар-

* Газета „Киевский Телеграф“ за 26 лютого 1857 року.

шаву до польського короля з важливим листом, у якому польських панів попереджається, що коли вони не припинять своїх грабіжницьких зазіхань на Україну, то будуть нещадно покарані українським народом. І тоді

Поймут надменные магнаты,
Что их огромные палаты
Травою дикой порастут...

Микита Гайдай відданий своїй батьківщині, турбується про її долю, любить її, і цю любов, як громадянський обов'язок, ставить вище за все. „В ком нет любви к стране родной,— каже Гайдай,— те сердцем нищие калеки".

Цей мотив любові до батьківщини, очевидно, був основним як у трагедії „Никита Гайдай", так і в близькій до неї драмі „Невеста". Але, повторюємо, на жаль, повного тексту цих творів не залишилось.

Своєю тематикою „Никита Гайдай" перекликається з поемами „Тарасова ніч" і „Гайдамаки", в яких так яскраво показано боротьбу українського народу з польською шляхтою.

Такі ж значні, напевне, були й інші дві п'єси Шевченка — „Спящая красавица" і „Данило Рева", що загинули в наслідок важких життєвих умов поета, безконечних утисків і переслідувань його з боку царських сатрапів.

Про ці драми майже ніяких документів нема. Однак, про їх загальний характер і про не абиякий талант Шевченка як драматурга ми все ж можемо судити по п'єсі „Назар Стодоля", п'єсі дуже своєрідній, яка зайняла своїми сценічними якостями, своїм змістом, яскравістю змалювання побуту України одно з перших місць в ряду кращих творів української драматургії.

Після „Наталки-Полтавки" Котляревського, „Сватання на Гончарівці" Квітки-Основ'яненка, „Чорноморського побиту" Я. Кухаренка — „Назар Стодоля" є дальшим етапом в розвитку українського театру.

Продовжуючи кращі традиції української побутової драми 30-х років, зокрема йдучи за „Наталкою-Полтавкою“ Котляревського, в якій так помітно виявився вплив народної поетичної традиції, успадкувавши все це,— Шевченко в той же час „Назаром Стодолею“ робить крок вперед в розвитку українського театру. Побутовий конфлікт в цій п'єсі переплітається з соціальними мотивами, в чому і полягає її особливе значення в розвитку української драматургії.

В п'єсі яскраво подані картини з народного побуту України — весільні обряди і звичаї. Широко представлена в ній усна народна творчість — пісні, колядки і особливо приказки і прислів'я.

„Назар Стодоля“, уривок з драми „Никита Гайдай“, нарешті, оцінка Козачковським драми „Невеста“ свідчать про те, що Шевченко був не абияким знавцем сценічного мистецтва, і нам доводиться тільки жаліти, що не збереглася вся його драматургічна спадщина. Але й ті драматичні твори, що дійшли до нас, безперечно посідають одне з перших місць в українській драматургії.

Андрій Бронський.



НАЗАР СТОДОЛЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Хома Кичатый, сотник
Галя, дочь его
Стеха, молодая ключница у Кичатого
Назар Стодоля, друг его
Гнат Карый, друг его
Хозяйка на вечерныцях

Слепой кобзарь, евреи - музыканты, молодые козаки и девушки и сваты от чигиринского полковника.

Действие происходит в XVI столетии, близ Чигирина, в козацкой слободе, в ночь на рождество христово.

АКТ ПЕРВЫЙ

Вечер. Внутренность светлицы, богато убранной коврами и бархатом. В стороне стол, покрытый дорогим ковром; кругом скамьи под бархатом, окаймленные золотом. На столе стоят фляги, кубки и разные кушанья, горят восковые свечи. Стеха убирает стол.

Стеха

(отходит от стола).

Усе! здається, що все. Стривай лишень, чи не забула чого. Риба, м'ясо, баранина, свинина, ковбаса, вишнівка, слив'янка, мед, венгерське — усе, усе. Тут і їстівне і випити. Коли б лишень гості. Та що вони так довго баряться? І надоумило ж сідоусого у таке свято, коли добрі люди тільки колядують, сподіваться гостей, та й ще яких гостей! старостів од такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, що то з того буде. Негріте залізо не зогнеш. А якби не крився та пораявся б зо мною отак тижнів за два до свят, то певна уже була б річ; а то схаменувся на самісінький свят-вечір та й ластиться: „і сяка й така, і добра, і розумна ти, Стехо: поможи! Я вже тобі і се і те, і третє й десяте“. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. *(Помолчав.)* Не сказавши ні слова дочці, за кого і як хоче віддати, думає, що наша сестра — коза: поженеш, куди схочеш. Е, ні! стривай лишень, голубчику. „Ублагай її“, каже. Та й що таки той поганий хорунжий? А полковник хоч старий — нехай йому добре сниться — так же пан!.. Оце б то вона й стямилася! Іншому дзусь, а я — так візьмусь. Дівці дівку недовго збить з пантелику, а ще таку, як моя панночка — і-і! Та вже ж, як кажуть, піймав не піймав, а погнаться можна. Тоді, як теє-то, вже ж і погуляю!.. А вона поплаче, посумує, а далі й нічогісінько. Та й Назар таки не раз спасибі скаже.

(Из боковых дверей выходит Галя.)

Стеха.

А що? як прибрано?.. Тим бо й ба!

Галя.

Що це ти, Стехо, робиш? Хіба у нас сьогодні гості, чи що?

Стеха.

Та ще й які гості, якби ви знали!

Галя.

Які ж там гості і відкіля?

Стеха.

Угадайте.

Галя.

Чи не з Чигирина?.. Так?

Стеха.

Із Чигирина, та хто такий?

Галя.

Якінебудь старшини?

Стеха.

То то бо й є, що не старшини, і...

Галя.

Та хто ж такий? Може... та ні! сьогодні не такий день. А мені батюшка учора і говорив щось таке.

Стеха.

Говорив, та не договорив. А я знаю, — тільки не скажу.

Галя

(обнимая Стеху).

Стехо, голубочко, ластівко моя! скажи, не муч мене.

Стеха.

А що дасте? скажу...

Галя.

Ще сережки, або перстень, або що хочеш подарую, тільки скажи.

Стеха.

Нічого не треба; дайте тільки свій байбарак надіти сьогодні на вечерниці.

Галя.

Добре, надівай, та так, щоб батюшка часом не побачив.

Стеха.

Оце ще! хіба ж я справді дурна? Слухайте ж. *(Вполголоса.)* Сьогодні прийдуть старости.

Галя

(в восторге).

Від Назара! від Назара!

Стеха.

Та там вже побачите, від кого.

Галя.

Хіба ж не від Назара, Стехо? Що ж оце мене і справді лякаєш?

Стеха.

Я вас не лякаю, я тільки так кажу.

Галя.

Ні, ти щось знаєш, та не хочеш сказати.

Стеха

(лукаво).

Я нічого не знаю. Де мені, клюшниці, відати про панські діла?

Галя.

Ти смієшся з мене! Я заплáчу, їй-богу, заплáчу, і батюшці скажу.

Стеха.

Що ж ви скажете?

Галя.

Що ти мене перелякала... Теперечки не дам байбарака. А що, поживилась?

Стеха.

Оце, які бо ви боязкі, вже й повірили!

Галя.

Ну, що ж? від Назара?

Стеха.

Та від кого ж більш? вже пак не від старого Молочая, нашого полковника.

Галя.

Цур йому, який нехороший! Як приїде до нас, то я зараз із хати втікаю. Мені навдивовижу, як ще його козаки слухають. Тільки у його, паскудного, і мови, що про наливку та про вареники.

Стеха.

А хіба ж се й не добре?

Галя.

Звісно! козаку, та ще й полковнику! Ось мій Назар, мій чорнобривий, усе про війну та про походи, про Наливайка, Остряницю, та про синє море, про татар, та про турецьку землю. Страшно, страшно, а хороше, так що слухала б не наслухалась його, та все дивилась би в його карі очі. Мало дня, мало ночі.

Стеха.

Наслухаєтесь, ще й налюбуєтесь. Опісля, може, і обридне.

Галя.

О, крий боже! До самої смерті, поки вмру, все дивилась би та слухала його. Скажи мені, Стехо,

чи ти любила коли, чи обнімала коли козацький стан високий, що... дрижать руки, мліє серце? А коли цілуєш... що тоді? Як се, мабуть, любо! як се весело!

(В восторге поет и пляшет.)

Гой, гоя, гоя!
Що зо мною, що я?
Полюбила козака —
Не маю покоя.

Я його боялась...
Що ж опісля сталось?
На вулиці пострічалась
Та й поцілувалась.

А мати уздріла...
Яке тобі діло!
Віддавайте заміж,
Коли надоїла!

Стеха.

Гарно, гарно! А од кого це вивчились?

Галя.

Та од тебе ж. Хіба ти забула, як на вулиці, на тій неділі, танцювала? Тоді ще батюшки не було дома... згадала?

Стеха.

Коли се? Оце ще видумали!

(Стучатся в дверь.)

Галя

(тороплиео).

Ох, лишечко! хтось іде!

(Убегает.)

Стеха.

Хто там?

Хома

(за дверью).

Я, я! відчиняй мерщій.

(Стеха отворяет дверь. Входит Хома, отряхиваясь.)

Хома.

Що? не було? Оце ж яка хуртовина!

Стеха.

Кого не було?

Хома.

Кого? гостей!

Стеха.

Яких гостей? од пол...

Хома.

Цс!.. еге ж.

Стеха.

Ні, не було.

Хома.

Гляди ж, анітелень!.. Отець Данило, спасибі, розрішив. Не забудь тільки завтра вранці послать йому вишнівки. Знаєш? тієї, що недавно доливали. Нехай собі п'є на здоров'я. Та що се їх нема так довго? Чи не злякались, бува, завірюхи? А вітер неначе стиха.

Стеха.

Злякаються вони! де ж пак! І в горобину ніч приїдуть для такої панночки, як наша.

Хома.

Звичайно, звичайно.

Стеха.

Іще пак такий старий... а панночка...

Хома.

Сама ты стара, сороко безхвоста!

Стеха.

Дивись! зараз і розсердились. Хіба я на вас?

Хома.

Так що ж, що не на мене? так на мого... ну... полковника.

Стеха.

Е, бач що! А панночка? чи ви ж з нею говорили? що вона?

Хома.

А що вона? її діло таке: що звелять, те й роби. Воно ще молоде, дурне; а твоє діло навчить її, врозумить, що любов і все таке прочеє... дурниця, нікчемне. Ти вже, думаю, розумієш?

Стеха.

Та се розумію, та з якого кінця почати, не знаю. Вона, бачите, полюбила Назара так, що й сказать не можна. Ось і сьогодні мені говорила. Моли, каже, Стехо, бога, щоб швидше я вийшла заміж за Назара,— половину добра свого віддам!

Хома.

А ти й повірила!

Стеха.

А чому ж і ні? вона така добренька.

Хома.

Дурна ти, дурна! А як же я сам тобі все добро віддам, тоді що буде? га? Що ти думаєш? *(Ласкает ее.)* То то бо і є, дурочка ти безсережна!

Стеха.

Що мені робить, коли я дурочка?

Хома.

А то, що велять. Чуєш? усе, що в мене є, твоє.

Стеха.

Не треба мені вашого добра; я і без нього була б щаслива, якби ви не забули бідної Стехи і тоді,

коли зробитесь великим паном. Я вас так вірно люблю, так вбиваюсь за вами, а ви...

(Притворно грустит.)

Хома.

От же і нагадали козі смерть! Знов своє. Сказав, так і зроблю.

Стеха.

Чи мало що люди обіщають, коли їм припаде нужда?

Хома.

Годі не знать що базікать. Піди лишень до Галі та поговори з нею хорошенько по-своєму, і коли теє... то завтра і між нами онеє.

Стеха.

Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле. І я тільки гріх на душу візьму.

Хома.

Який тут гріх? Дурниця все те!

Стеха.

Забожіться, що женитесь, тоді, їй-богу, все зроблю! А без мене, кажу вам, нічого не буде, їй-богу!

Хома.

От же їй-богу, далебі!

Стеха.

Женитесь?

Хома.

Еге!

Стеха.

На мені?

Хома.

Як коржа, так коржа! Як спечемо, так і дамо. Уже ти мені в печінках сидиш з своїми витребеньками.

Стеха.

Які тут витребеньки?

Хома.

Ну, добре, добре! тільки слухай. Треба діло сконпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости; а то — чого доброго — усе піде шкереберть.

Стеха.

Та вже мені не вчитися, як ділом повернуть. Наговорю такого дива моїй панночці — що твій кобзар. Старий, скажу, чоловік, як подумаєш, усім, усім лучче від молодого. Молодий... та що й казать? нікуди не годиться, а до того ще докучливий та ревнивий, а старий — тихий-тихий і покірний.

Хома.

Так, так! О, ти дівка розумна! Іди ж до Галі, та гляди — гарненько побалакай з нею.

Стеха.

А потім, чи можна мені буде піти на вечерниці? Я вже зовсім упоралась. Пустіть, будьте ласкаві, хоч в послідній разочок.

Хома.

У тебе тільки й на думці, що вечерниці. О, вже мені та Мотовилиха!

Стеха.

Мотовилиха? Чи не казала вам вона, стара паплюга, чого? Що ж, що я з козаками танцюю? А як ви жартуєте з молодицями, так я й нічого!

Хома.

Іди ж, іди, та поклич мені Галю, а затим сама полагодь рушники.

Стеха.

Та вже усе напоготові.

(Уходит.)

Хома.

Злигався я з дияволом... *(Оглядывается.)* Що ж? не можна без цього. У такому ділі як ні верти, треба або чорта, або жінки. *(Немного помолчав.)* Чого доброго! Ще, може, й мене обдурить, тоді і остався на віки вічні в дурнях. Та ні, лиха матері! Аби б тільки ти мені своїми хитрощами помогла породниться з полковником, а там уже що буде — побачимо. Іш ти, мужичка! куди кирпу гне! Стривай! *(Продолжительное молчание.)* Думай собі, голубко, та гадай, що... а воно зовсім не так буде. Закинь тільки удочку, сама рибка піде. Шутки — тесть полковника!.. А що далі — се наше діло. Аби б через поріг, то ми й за поріг глянем. У якихнебудь Черкасах, а може, у самому Чигирині гуляй собі з полковничою булавою! І слава, і почот, і червінці до себе гарбай: все твоє. А пуще всього червінці. Їх люди по духу чують: хоч не показуй, все кланятимуться... Ха-ха-ха! от тобі й сотник! Ще в Братськім серце моє чуло, що з мене буде великий пан. Було, говорю одно, а роблю друге; за се називали мене двуличним. Дурні, дурні! Хіба ж як говорим про огонь, так і лізти в огонь? або як про чорнобриву сироту, так і жениться на їй? Брехня! від огня подальш. Женись не на чорних бровах, не на карих очах, а на хуторах і млинах, так і будеш чоловіком, а не дурнем.

(Входит Галя.)

Галя

(весело).

Добривечір, батюшка! Де це ви так довго барились? Ви мене кликали, чи що?

Хома.

Та кликав, кликав. *(Осматривает ее.)* Що ти не всі стрічки почіпляла? Та нехай! поки буде і сих. Послухай. Мені треба поговорити з тобою об важнім ділі. Ти знаєш, ми сьогодні старостів сподіваємось?

Галя.

Сьогодні! на первий день празника,— на самісіньке різдво?

Хома.

Так що ж? Отець Данило, спасибі, розрішив. Гляди ж, не піднеси гарбуза.

Галя.

Як се можна! Хіба він дуже старий, чи що? Ось послухайте, якої нісенітниці наговорила мені Стеха. Сміх та й годі!

Хома.

А що тобі вона наговорила?

Галя.

Каже, буцім то старі... та ні, не скажу, далебі не скажу, бо казна-що! Вона й сама не знає, що говорить.

Хома.

Хіба ж не правда? Старий чоловік краще молодого.

Галя.

Та й вона те ж казала.

Хома.

А тобі як здається?

Галя.

Як таки можна? то старий, а то молодий.

Хома.

Так, по-твоєму, молодий — краще?

Галя.

Ото ж пак!

Хома.

Поміркуй лишень гарненько, так і побачиш, що батькова правда, а не твоя. Ну, що молодий? Хіба те, що чорні уси? та й тільки ж. Не вік тобі ним

любуваться: прийде пора — треба подумати об чім і другім. Може, коли захочеться почоту, поваження, поклонів. Кому ж се звичайніше? полковниці... се я так приміром говорю... а не якійнебудь жінці хорунжого; бо у його тільки й худоби, тільки й добра, що чорний ус. Повір мені, дочко, на тебе ніхто і дивиться не захоче.

Галя.

Та я й не хочу, щоб на мене другі дивились.

Хома.

Не знать що верзеш ти! Хіба ти думаєш, що не обридне цілісінький вік дивиться на тебе одну? Хіба ти одна на божім світі? Є й кращі тебе. Того і гляди, що розлюбить.

Галя.

Назар? мене? О, ні! ні, ніколи на світі!

Хома.

Я й не кажу, що воно справді так буде, а так, наприклад — щоб ти тямила, що ми всі на один шталт шиті.

Галя.

О, ні! не всі! він не такий, він не розлюбить.

Хома.

А що ж? хіба він тобі побожився?

Галя.

Атож!

Хома.

А ти й повірила!

Галя.

Я і без божби повірила б.

Хома.

Дурне ти, дурне! Чи знаєш же ти, що хто багацько обіцяє, той нічого не дає? Ой, схаменись

та послухай батьківського совіту. Добре, що я вже такий — що обіщав, те й зроблю. Ну, не дай я тобі приданого,— що тоді, га? Пожалуй, він і так тебе візьме: мало яких дурнів нема на світі! та що ж в тім? Подумай, що тоді ти робитимеш?

Галя.

Те, що і всі роблять — заробляла б.

Хома.

А що лучче: чи самій робити, чи дивитися, як другі на тебе роблять?

Галя.

Як кому.

Хома.

То-то й горе, що ти ще дурне. Я тобі б і багацько дечого сказав, та ніколи: того і гляди, що старости на поріг. А чи єсть у тебе рушники?

Галя

(весело).

Є, є! Як я рада! в мене серце не на місці! Чи й вам так весело?

Хома.

Весело, дуже весело. Іди ж та не забудь сказати, що коли прийдуть колядувати, так щоб гнали їх у потилицю.

Галя.

За що ж? Се ж діло законне! та воно ж і раз тільки в году!

Хома.

А старости раз на віку.

Галя.

Справді, щоб не помішали... Ще й законної речі не дадуть сповнить. Так побіжу ж я і скажу, щоб заперли ворота і хвіртку.

(Уходит.)

Хома

(ходит задумавшись).

Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що Назар свата, здуру і согласиться; старости не промовляться; весілля можна одкинути аж геть до того тижня; а через таку годину і нашого брата, мужика, угомониш, щоб не брикався, не то що дівку. Коли б тільки який гаспид не приніс того горобця безперого! тоді пиши пропало. Наробить бешкету! *(С важностию.)* А подумаєш і те: яке йому діло до Галі? Се ж моя дитина, моє добро, слідова́тельно моя власть, моя і сила над нею. Я отець, я цар її. Та цур йому, пек! Се діло ще не таке, щоб об йому довго думати. Не дуже треба плошати, бо береженого бог береже, або — як там ще кажуть — рівніш згладиш, тісніш ляжеш.

Галя

(вбегает в восторге).

Приїхали, приїхали!

Хома

(вздрогнув).

Оце ж як ти мене злякала! Піди у свою кімнату та прийдеш, як кликну.

Галя.

Чого у кімнату? Я тут зостанусь, ніхто не побачить.

Хома.

Незвичайно: закон не велить.

Галя.

Ну, так я піду.

(Уходит.)

(Хома с важностию садится за стол. За дверью стучат три раза. Входят два свата с хлебом и, низко кланяясь хозяину, кладут хлеб на стол.)

Свати.

Дай боже вечір добрий, вельможний пане!

Хома.

Добривечір і вам. *(Дает знак свату. Тот кланяется. Хома шепчет ему на ухо и потом продолжает.)* Добривечір, люди добрі! Просимо сідати; будьте гостями. А відкіля се вас бог несе? чи здалека, чи зблизька? Може, ви охотники які? може, рибалки або, може, вольнії козаки?

Сват

(тихо покашливает).

І рибалки і вольнії козаки. Ми люди німецькії, ідемо з землі турецької. Раз дома у нашій землі випала пороша. Я й кажу товаришу: „Що нам дивиться на погоду? ходім лишень шукати звіриного сліду". От і пішли. Ходили - ходили, нічого не знайшли. Аж гульк — назустріч нам іде князь, підніма угору плечі і говорить нам такії речі: „Ей ви, охотники, ловці-молодці! будьте ласкаві, покажіте дружбу. Трапилась мені куниця — красна дівиця; не їм, не п'ю і не сплю від того часу, а все думаю, як би її достати. Поможіть мені її піймати; тоді чого душа ваша забажа, усе просіте, усе дам: хоч десять городів, або тридев'ять кладів, або чого хочете". Ну, нам того й треба. Пішли ми по слідам по всім городам, по усіх усюдах, і у Німещину, і у Турещину; всі царства й государства пройшли, а все куниці не знайшли. От ми і кажемо князю: „Що за диво та звірюка? хіба де кращої нема? Ходім другої шукати". Так де тобі! наш князь і слухати не хоче. „Де вже, каже, я не з'їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, а такої куниці, сиріч красної дівиці, не видав". Пішли ми впять по сліду і якраз у се село зайшли; як його дражнють, не знаємо. Тут впять випала пороша. Ми, ловці-молодці, ну слідить, ну ходить; сьогодні вранці встали і таки на слід напали. Певно, що звір наш пішов

у двір ваш, а з двору в хату та й сів у кімнату; тут і мусимо піймати; тут застряла наша куниця, в вашій хаті красная дівиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте ділу вінець. Пробі, оддайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть же ділом, чи оддасте, чи нехай ще підросте?

Хома

(притворно с сердцем).

Що за напасть така! Відкіля се ви біду таку накликаєте! Галю! чи чуєш? Галю! порай же, будь ласкава, що мені робити з оцими ловцями-молодцями.

(Галя выходит на средину светлицы, останавливается и, стыдливо потупив глаза, перебирает пальцами передник.)

Хома.

Бачите ви, ловці-молодці, чого ви натворили? Мене старого з дочкою пристидили!.. Гай-гай! так ось же що ми зробимо: хліб святий приймаємо, доброго слова не цураємся, а за те, щоб ви нас не лякали, буцім ми передержуємо куницю, або красну дівицю, вас пов'яжемо. Прийшов і наш черед доладу слово прикладать. Ну, годі ж тобі, дочко, посупившись стояти; чи нема в тебе чим сих ловців-молодців пов'язати? чуєш бо, Галю? А може, рушників нема? може, нічого не придбала? Не вміла прясти, не вміла шити — в'яжи ж чим знаєш, — хоч мотузком, коли ще й він є.

(Галя уходит в свою светлицу и немедленно возвращается, неся на серебряном блюде два вышитые полотенца, и кладет на хлеб, принесенный сватами; потом подходит к отцу и низко кланяется и целует руку; потом берет блюдо с полотенцами и подносит сватам — сперва одному, потом другому. Сваты, взявши полотенца, кланяются Хоме.)

Сват.

Спасибі ж батькові, що свою дитину рано будив і усякому добру учив. Спасибі й тобі, дівко, що рано вставала, тонку пряжу пряла, придане придбала.

(Галя берет полотенца и перевязывает через плечо одному и другому, потом отходит и робко поглядывает на двери.)

Хома

(к Гале).

Догадався, догадався! Ти хочеш і князя зв'язати. Нехай завтра обоє його зв'яжемо. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Стривай, попадешся, не втечеш!

Сват.

Він і сам прилетить, як зачує, що так похваляєтесь.

Хома.

Ну, поки вже долетить, нам нічого ждати. Просимо сідати. Що там є, поїмо; що дадуть, поп'ємо та побалакаєм дещо. А тим часом ти, Галю, не гуляй, в корці меду наливай та гостям піднеси хліба-солі, проси з привітом і з ласкою.

(Сваты чинно садятся за стол. Галя принимает от отца чару и флягу и подносит старшему свату. Сват не принимает.)

Сват.

Ми вам такої халепи натворили, що боїмося, щоб ви нас не потруїли... Призволяйтесь самі.

(Кланяется.)

(Галя, посматривая на отца робко и стыдливо, подносит к губам и подает свату.)

Сват

(подняв чару).

Тепера так! Пошли ж, боже, нашим молодим щастя і багатства і доброго здоров'я, щоб і внуків женити і правнуків дождати...

(Свата прерывает хор колядников под окнами. Все слушают со вниманием. Хома с досадою покручивает усы; Галя весело посматривает на окно. Сват в продолжение колядки повторяет.)

Гарно колядують наші козаки!

КОЛЯДКА

Бачить же бог, бачить творець,
Що мир погибає,
Архангола Гавриїла
В Назарет посилає.
Благовістив вНазареті —
Стала слава у вертепі.
О, прекрасний Вихлієме!
Отверзи врата Едема.

Хома

(к Гале, с сердцем).

Я ж тобі наказував, щоб нікого не пускали! Задумалась, забула!

(Входит Назар с молодыми козаками.)

Назар.

Дай, боже, вечір добрий! помагай-бі вам на все добре!

(Все козаки повторяют то же. Назар, не снимая шапки, в ужасе останавливается; посматривает то на гостей, то на Галю. Все молчат.)

Хома

(смешавшись).

Спасибі, спасибі... Милості просимо. Просимо сідати.

(Молчание продолжается. Галя, улыбаясь, украдкой поглядывает на Назара.)

Назар.

Сядемо, сядемо, аби було де: ми гості непрохані. Може, помішали; дак ми і підемо, відкіля прийшли. *(Смотрит на сватов.)* Так бач, через що полковник послав мене з грамотами в Гуляй-Поле! *(Глядя на Галю.)* Весело, весело! наливай швидше горілки, і я вип'ю за твоє здоров'я. Не лякайся, не лякайся, наливай.

(Галя в ужасе роняет поднос и флягу.)

Хома

(в бешенстве).

Хто сміє знущаться над моєю дочкою!

Назар.

Я! Хіба не бачиш? я, Назар Стодоля! той самий, за кого ти вчора обіщав видать дочку свою, той самий, якого ти знав ще з тієї пори, як він тебе вирвав іспід ножа гайдамаки! Згадай іще, що я той самий, хто й самому гетьману не дасть себе на посміх! Пізнав?

Хома.

Пізнав. *(Равнодушно.)* Що дальш?

Галя.

Хіба ж не ти прислав?

Хома.

Мовчи! геть собі!

Назар

(останавливает Галю).

Стривай, стій тут! І тебе обманюють?

Хома.

Не обманюю, а так як батько велю. Вона просватана за чигиринського полковника.

Назар

(с презрением).

Полковника! Учора була моя, сьогодні полковникова, а завтра чия буде? Чуєш, Галю?

Галя

(падая на руки Назара).

Чую! О, чом мені не позакладало!

Сват.

Осмілююсь доложить...

Назар.

Мовчи, поганець, шипотиннику!

Хома.

Віддай мені дочку мою.

(Робко подходит к Назару.)

Назар.

Геть, Юда!

Хома

(в ужасе).

Прохор, Максим, Іван, Стехо! Гей, хто там є? Возьміть його харцизяку — він уб'є мене!

Назар.

Нехай бог тебе поб'є, дітопродавець! *(К Гале.)* Галю! серце моє! промов мені хоть одне слово: ти не знала — за кого? скажи: не знала?

Галя

(приходит в себя).

Не знала, їй-богу, не знала!

Назар

(к Хоме).

Чи чуєш ти?

Хома.

Не чую; я оглух!

Назар

(к гостям).

Люди добрі, коли ви не оглухли, так послухайте. Він мене називав своїм сином, а я його своїм бать-

ком, і він се чув тоді, а сьогодні оглух. Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? правдивий, га?

(Гости молчат.)

Гнат

(подходит к Назару).

Він не чоловік. Кинь його: таке ледащо не стоїть путнього слова!

(Берет его за руку.)

Назар.

Стривай! ні, він чоловік, він називав мене сином. *(К Хоме.)* Правда?

Хома.

Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій: так у моїй волі оддать її за кого схочу.

Назар.

А як же вона не захоче, тоді що?

Хома.

Я заставлю.

Назар.

Чи можна ж кого заставить утопиться або повіситься? Хіба ти бог, що маєш силу чудеса творить? Хіба ти диявол, коли ти не маєш жалю до рідної своєї дитини? Ти бачиш, у неї є серце, і ти замість його кладеш каменюку. Слухай: і ти ж колись був молодим, і ти ж мав колинебудь радість і горе. Скажи, що чуло, що казало твоє серце, коли тобою кепкували?

Хома.

Го-во-ри!..

Назар

(в исступлении).

Так ти глузуєш надо мною! Хіба я не стопчу тебе як жабу? Брехун!

(Быстро подходит к нему и хватает его за горло.)

Галя

(схватив руку Назара).

Що ти робиш? Убий мене, на, ріж.

(Назар молча опускает руки.)

Хома

(подбегает к сватам).

Ви бачили? хотів мене задушити!

(Сваты молчат.)

Гнат

(к Назару).

Ми не так розплатимося іншим часом. Ходім з сього базару.

Назар.

Не піду. Мене відсіль ноги не винесуть.

Гнат.

Ну, так торгуйсь. Може, дешевше уступлять.

Галя.

Боже мій, боже мій! вони знущаються надо мною!

Хома.

Не знущаються, а торгуються.

Гнат.

Годі, брате; ходім: ми опізнились.

Назар.

Стривай, не опізнились. *(Подходит к Хоме.)* Прости мене, я згарячу забувся. Ти добрий чоловік. Прости або заріж мене, тільки не кажи, що вона не моя, не кажи! Дивись: я гетьману ніколи не кланявсь. *(Падает на колени.)* Для спасенія своєї душі, коли у тебе у серці є бог, для угоди всіх святих, коли ти

віруєш у кого, для спасенія твоєї дитини, коли вона тобі мила, зглянься на мене! Нехай старости з своїм хлібом йдуть додому. Христом - богом молю, не занапасти її, бідної! Кращої її нема; за що ти хочеш її убити? Нá голову мою! возьми її, розбий обухом,— не треба мені її: тільки дай дочці своїй ще пожити на світі, не заїдай її віку, вона не винувата!

(Хома дрожа посматривает на гостей.)

Гнат

(быстро подбегает к Назару).

Кого ти просиш? кому кланяєшся? перед ким падаєш? Я на тебе після сього й дивиться не хочу: прощай!.. Кланяється дияволу! Він тебе кип'ячою смолою напоїть!

(Хочет итти.)

Назар

(удерживает его).

Постій, дай ще слово скажу.

Галя

(обнимая ноги отца).

Ви покійній матері, як вона умирала, біля домовини обіщали мене видать за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? за що мене хочете убить? Хіба ж я не дочка ваша!

(Заливается слезами.)

Назар.

Камінь! залізо! ти огню хочеш! Буде огонь, буде! для тебе все пекло визову... ти жди мене. *(Гале.)* Бідна, бідна! в тебе нема батька, в тебе кат єсть, а не батько! Бідненька, серденько моє, пташечко моя безприютна! *(Целует ее.)* А я ще бідніший тебе: у мене й ката нема, нікому і зарізати! Прощай, моє серце, прощай! не забаримось побачиться.

(Галя безмолвная падает на руки Назара. Он целует. Хома силится вырвать ее. Назар отталкивает его и снова целует Галю.)

Назар

(к сватам).

Розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть, що його молода при ваших очах цілувалась зо мною. *(Галя обнимает его и целует.)* Бачите, бачите! Прощай же, моє серце, моя голубочко! *(Целует ее.)* Я знаю, що мені робить. Я знайду правду. Прощай! вернусь, сподівайся.

(Галя падает без чувств. Назар, закрыв лицо руками, удаляется. Гнат и козаки за ним. Хома и сваты подбегают к Гале.)

АКТ ВТОРОЙ

Внутренность простой хаты, опрятно убранной. На столе горят свечи. Хозяйка прибирает около печки.

Хозяйка.

Господи, господи! як подумаєш, коли ще ми дівували, зачуєш денебудь вечерниці, так аж тини тріщать; а тепер... от скоро і треті півні заспівають, а вечерниці ще й не зачинались. Нехай воно хоч і свято, звісно — колядують, а все таки час би. Ні, що не кажи, а світ перемінився. Хоть би і запорожці... ну, які вони запорожці? Тьфу на їх хисть, та й годі! Чи такі були попереду? Як налетять було з своєї Січі, так що твої орли-соколи! Було як схопить тебе котрий, так до землі не допустить, так і носить... Ой-ой-ой! куди то все дівалось?..

(Покачавши грустно головой, поет.)

Зоря з місяцем над долиною
Пострічалася;
Дожидалася до білої зорі,
Не діждалася;
Я додому прийшла, гірко плакала,
Не молилася,—
Нерозумная, неутішная,
Положилася.
Ой не спала ж я, все верзлась мені
Нічка темная,
І вишневий сад, очі карії,
Брови чорнії.
На зорі-зорі я прочнулася
І сказала так:
За Дунай-ріку чорнобривий твій

На гнідім коні
Полетів орлом!.. Я все плакала,
Все сміялася.
І додому козаки, зза Дунай - ріки,
Заверталися.
Не вернувся мій ... молоді літа
За що трачу я?
Зоря з місяцем пострічалася —
І заплачу я.

Точнісінько моя доля! неначе сю пісню про мене зложили. Де мої молоді літа? І сліду нема, мов поверх води поплили. *(Помолчав.)* Що ж се справді ніхто не йде? А вже мені ся навіжена Стеха! пішла за дівками та десь і застряла з козаками. І звела ж їх нечиста мати докупи! Нехай би сей Кичатий був парубок, а то ж уже старий чоловік ... Не взяв би він собі в клюшниці не молоду, а розумну, вірну, дотепну до всякого діла та стареньку! а то... як та дзига, так і снує. Як то він дочку свою ще пристроїть? Бач, у полковниці лізе! Чи довго ж то вона буде любуватися його лисиною замість ясного місяця? Ох, ох! старі, старі, сидіть би вам тільки на печі та жувать калачі, так ні, давай їм жінку, та ще молоду. Як же пак, чи не так!.. От Стодоля молодець! я його знаю, він протопче стежку через полковничий садок. Та й дурний би був, коли б не протоптав. Про себе скажу, що... теє... хтось іде!.. Зараз, зараз! Насилу!

(Отворяет дверь.)

(Входят Назар и Игнат.)

Хозяйка.

Свят, свят, свят! Відкіля се, якою дороґою, яким вітром, яким шляхом занесло вас у мою хату?

Гнат.

Не питайся, голубко, стара будеш, хоч се, признаться, і не пристало твоїй пиці. Чого ж ти так насупилась?

Хозяйка.

Сідайте, будьте ласкаві, сідайте!

Гнат.

Ну, годі ж, не сердься. Мало чого з язика не спливе! Невже треба переймать, що поверх води пливе? У тебе сьогодні вечерниці?

Хозяйка.

Хіба ж наші вечерниці для вас? Ви так тільки прийшли — посміяться.

Гнат.

Так таки й посміємося, коли буде весело.

Хозяйка

(глядя на Назара).

Буде весело, та не всім.

Гнат.

Ну, се вже опісля побачимо. А коли — ке нам чогонебудь такого, для чого чарки роблять, та й зубам пошукай роботи. Проклятий скряга і повечеряти не дав. Ну, чого ж ти рот роззявила? мерщій!

Хозяйка.

Зараз. *(Отходя.)* Бідненький Назар!

(Достает с полки флягу с вином и закуску и ставит на стол.)
(Назар печально смотрит на Игната.)

Гнат

(к хозяйке).

Тепер же знаєш що? Візьми мітлу та мети, виясни хорошенько місяць: бач, як насупило! А ми тим часом побалакаєм, що треба.

Хозяйка.

Що се, бог з вами! Хіба я відьма?

Гнат.

Я так, навмання сказав. Заткни пальці в уха. Чи второпала?

Хозяйка.

А!.. ви хочете нишком побалакати. Добре, я піду по Стеху.

(Надевает свиту и уходит.)

Гнат

(посмотрев ей вслед).

Пішла. Ну, що ж дивишся на мене, мов не пізнаєш?

Назар.

Тепер би й рідного батька не пізнав.

Гнат.

Розумні люди усе так роблять: і в хоромах, як у хаті мужик. *(Наливает рюмку и подносит.)* Не хочеш? як хочеш! а я совітував би чарочку-другу Адамових слізок, як казав було отець економ. Не забув Братський монастир?

Назар.

Ні, скажи лучче, нащо ти мене повів сюди?

Гнат.

На те, щоб побалакати з тобою, як з козаком, а не з бабою. За козацьку волю і розум!

(Выпивает.)

Назар.

Щасливий ти чоловік!

Гнат.

Ти щасливіший мене.

Назар.

О, якби ти посидів у моїй шкурі! Ходім, Гнате, мені тут душно.

Гнат.

Стривай, ще рано. Подивимся, як люди добрі веселяться, та посовітуємся, куди йти.

Назар.

Мені одно, куди ні поведеш.

Гнат.

Ти впять баба. Чи пристали ж козаку такі речі?

Назар.

Гірко мені, Гнате! ти смієшся, а в мене печінки верне. Хіба ж моє горе смішить тебе?

Гнат.

Смішить.

Назар.

А я думав — ти добрий чоловік.

Гнат.

А я думав — ти козак, а ти, бачу, баба. Ну, скажи мені, чого ти дурієш? Де твій розум? Чи стоїть же жінка, хоч би вона була дочка німецького цезаря, чи стоїть вона такого дорогого добра, як чоловічий розум?

Назар.

Стоїть.

Гнат.

Брехня! Ти знаєш, в яку ціну поставив цар Соломон золотий плуг. Він каже, що при нужді шматок хліба дорожче золота. А я скажу: чарка горілки козаку миліша усіх жінок на світі.

Назар.

Ти мене, Гнате, морочиш, а мені тепер треба щирого друга.

Гнат.

Добре. Я він і єсть, бо кажу правду. А коли хочеш, то й брехать почну для тебе. Все, що хочеш.

Назар.

Не смійся, а ділом кажи, що робить мені. Тобі можна і говорить і думать.

Гнат.

Ось що. Перш усього, випий горілки. Вона і без мене наведе тебе на розум. *(Наливает рюмку.)* Чи не забув ще ти, як розумно розсужда латинський віршник... як пак його... ну той, за якого мене в Братстві випарили різками, як отець ректор піймав у мене за халявою його мудрі вірші. Він каже: „Дурниця все, опріч горілки, а іноді і жінка під руку“. Оце так! *(Выпивает.)*

Назар

(презрительно).

Бідний ти сердешний чоловік! Я думав, що в тебе хоч крихта є добра, а в тебе нема й того, що має й скотина. О, якби ти зміг заглянуть сюди *(указывает на сердце),* куди сам бог не загляда! Та ні! може, ти тільки морочиш мене; може, ти тільки так кажеш. Друг ти мій добрий, вірний мій, ти ж таки плакав колинебудь: плач зо мною тепер; хоч прикинься та плач. Не муч мене, в мене від горя серце рветься! Нехай вже ті сміються, що живуть у пеклі: їм любо; а ти ж таки чоловік.

(С участием смотрит на него.)

Гнат.

Так, я чоловік; а ти й справді баба, ще раз тобі скажу: казна за чим вбиваєшся.

Назар.

Нема у тебе серця, камінь ти!

Гнат.

Як хочеш, так і думай, а я нещасніший од тебе, нещасніший од твоєї собаки: вона лащиться до тебе,

а ти її кохаєш; а я?.. І я, дурний, колись любив і к гадинам жінкам ласкався, ридав гарячими слізами, рад був і жизнь оддать за них ... і що із того? чи хочеш знати?

Назар.

Не треба, не хочу, не говори! у тебе нема бога в серці.

Гнат.

А був колись, та мохом серце обросло, як той гнилий нікчемний пень дубовий. Прийде і твоя пора, все згадаєш. *(Ласково.)* Годі ж тобі, годі! не дивись так хмарно: далебі не полегша. Дурниця все: і товариство, і любов,— цур їм! нема їх на світі. Одні дурні і діти вірять латинським віршам. А лучче поговорим о долі, а тим часом налетять сороки чорноброві, вип'єм, пожартуєм, і вір мені — вся дур із голови вилетить. Я се знаю: мене лихо навчило.

Назар

(вставая из-за стола).

Та і я ізвідав горе, та нічому не навчився; тебе ж не хочу слухать: ти зліший диявола.

(Хочет итти.)

Гнат.

Куди ж ти?

Назар.

З тобою холодно, піду у пекло погріться.

Гнат.

Стривай, ти сам не знайдеш. Я шлях тобі покажу.

Назар.

Найду й сам.

Гнат

(удерживает его).

Ти і справді хочеш іти? Скажений, ти з глузду з'їхав!

Назар.

Я нікому не дам себе в обіду, і дурного совіту не послухаю. Пусти мене.

Гнат.

Насилу прочунявся. Та куди ж ти, навіжений?

Назар

(вспыльчиво).

Мовчи, а то тут тобі й амінь.

Гнат

(не выпуская руки Назара).

Так і я зумію, та що потім? З холодним мертвецем у домовину?

Назар.

Хоть до чорта у пекло! Пусти мене, я піду у Чигирин до полковника.

Гнат.

Чого?

Назар.

Уб'ю його!

Гнат.

А як не вб'єш, тоді що? чи не мусиш ублагать його відкинуться від Галі? га?

Назар.

Так чи не так, а я піду.

Гнат.

До диявола в гості! Чи не лучче ж, замість пузатого полковника, обняти тонкий та гнучкий стан Галі? Не хмурся та послухай, та роби так, як я тобі скажу, бо ти сьогодні нічого путнього не видумаєш.

Назар.

Що дальше?

Гнат

(всматриваясь).

Чи глухі тут стіни? *(Вполголоса.)* Украдьмо Галю, от і все. Чи добре?

Назар

(немного помолчав, жмет руку Гната).

Прости мене...

Гнат.

Ну, що ще?

Назар.

Ти певний друг!

Гнат.

Ну, об сьому послі. Кажи, так чи не так?

Назар.

Так! Я весь твій: говори, приказуй.

Гнат.

Слухай же. Вона, звісно, виходила до тебе коли-небудь пізно вечором у садок, хоть, може, й не одна?

Назар.

З клюшницею.

Гнат.

Суща коханка! Чи не завалявсь у тебе в кишені який червінець?

Назар.

Два.

Гнат.

Ще лучче. Се ж буде клюшниці на сережки, а плахту на словах обіщай. Тільки домовся з нею так, щоб вона про мене не знала, бо жінки наголо

всі цокотухи: не для їх вигадано слово „мовчати“; до того ще й дорожче запросить.

Назар.

Нічого не пожалую, усе віддам, що в мене є. Де тільки клюшницю побачу?

Гнат.

Вона буде тут. Адже ти чув, як ласка хазяйка Стеху за те, що довго бариться? Гляди ж, зробиш тут усе як треба, а я дожидатиму вас край старої корчми з тройкою добрих вороних. Знаєш, за садком, на старій дорозі?

Назар.

Знаю.

Гнат.

Сю корчму і днем люди хрестячись обходять, а вночі ніхто не посміє; так кращого місця нічого й шукати; тільки порайтесь моторніш.

Назар.

А як вона не захоче,— що тоді?

Гнат.

Хто? клюшниця чи...

Назар.

Та й та, й друга.

Гнат.

Захочуть обидві, тільки ти зумій согласити. Клюшниця за червінця піде колядовать хоть до самого сатани; а Галя в одній сорочці піде за тобою на край світу; а як се дуже далеко, так ти спровадь її на Запоріжжя, а там і сам гетьман не більший од чабана. Адже ти не виписувавсь із запорожців?

Назар.

Ні.

Гнат.

Так якого ж злидня ще хотіть? А хто пак у тебе курінним отаманом?

Назар.

Сокорина.

Гнат.

Знаю! о, голінний, завзятий чоловік! в кірці води диявола утопить, не то що в Дніпрі. А! здається, хтось іде.

Назар.

О, якби твоє, брате, слово та богу в уха!

Гнат.

Нема нічого на світі легше: тільки повеселій, будь козаком. Мовчи. *(Громко.)* Ну, вип'ємо ж чарочку за шинкарочку.

(Пьют.)

Хозяйка.

Як же я утомилась! насилу найшла її, прокляту Стеху!

Гнат.

А що, змахнула пил з місяця?

Хозяйка.

Смійтесь, а воно й справді погода утихомирилась.

Гнат.

Оце ж тобі за труди.

(Подает чарку.)

Хозяйка.

Цур йому, як я втомилась!.. Ні, спасибі, не під силу... Хіба вже для вас. *(Пробует понемножку. Гнат знаками просит. Она, в притворстве усилий и кривляний, выпи-*

вает, а остальные капли хлещет в потолок.) Щоб вороги мовчали й сусіди не знали!

(Отдает чарку.)

Гнат

(подносит Назару; тот отказывается знаком).

Не хочеш — як хочеш. А мені здається, що і на світі нема такого горя, якого б не можна було утопити в чарці горілки. Чарка, друга і — чорта у воду. Так, Катерино?

Хозяйка.

Як кому іншому, то й кварта не поможе.

Гнат

(Назару).

А ти справді не будеш пить?

Назар.

Не буду.

Гнат.

Вольному воля, а спасеному рай. За твоє ж здоров'я! *(Выпивает.)* Праведно співається в тій пісні, що каже, коли б мужику не жінка, не знав би він скуки, коли б не горілка, де дівать би муки? Так у горілку її, прокляту, у горілку! Розумний чоловік тебе видумав, так! *(К Назару.)* Та на тебе бридко й дивиться. Ну, ще ж одну та й годі вже. *(Наливает.)* Чи втямки тобі, як ми втікали з Братського на Запоріжжя та на дорозі зустріли одну чорнобривеньку, і ти чуть-чуть був не проміняв запорізької волі на її чорні брови? Бач? ти забув; а я так все запрошедше знаю, та й що буде, одгадаю.

Стеха

(вбегает второпях).

Ох, моя матінко, як утомилась! Шуточки? оббігала усі усюди! *(Осматриваясь.)* Ах, боже мій, я і не бачу. Добривечір вам! От, вже й не думала, й не

гадала! Спасибі, спасибі! не погнушались наших слобідських вечерниць. Так уже й не здивуйте: у нас усе абияк: не те, що у вас у Чигирині.

Гнат.

Та у вас ще краще.

Стеха.

Годі бо вам сміяться.

Хозяйка.

Чи прийде ж хто?

Стеха.

Як же? усі прийдуть.

(Гнат берет за руку хозяйку и отводит в сторону. Назар встает из-за стола и подходит к Стехе.)

Гнат

(к хозяйке).

У мене щось голова розболілась; піду подивлюсь, який місяць. Чуєш? а про кобзаря, мабуть, і забули. Збігай лишень. Без його й гульня не гульня.

Хозяйка.

Стехо! ти звала Кирика?

Стеха.

Моя матіночко! і забула. Я зараз збігаю.

Гнат.

Впять денебудь застрянеш... Збігай лучче сама.

Хозяйка.

Добре.

(Хозяйка и Гнат уходят.)

Назар

(берет за руку Стеху).

У мене є просьба до тебе, Стехо.

Стеха.

Знаю, знаю, яка просьба — сказать панночці, щоб вийшла до вас, як пан засне; та тепер тільки не те вже, що перше було. Адже ви самі знаєте, що незабаром зробилось.

Назар.

Се не помішає; мені тільки одно словечко сказати. *(Дает ей червонец.)* На тобі; ще й плахта буде, коли услужиш.

Стеха

(принимает червонец).

Не придумаю, як би се зробити. Лиха година те, що старий цілісіньку ніч очей не заплющить. Сердешна панночка! а як я плакала, як просила! ні, таки на своєму поставив старий сатана.

Назар.

Так ти зробиш? дожидати?

Стеха.

Зроблю, зроблю, тільки...

Назар.

Не бійсь! більш копи лиха не буде. А коли хочеш, так і ти з нами. Ну лишень, чкурнем.

Стеха.

Куди з вами?

Назар.

Туди, де лучче жити, де будеш ти панією, а не клюшницею: чи второпала?

Стеха.

Глядіть, чи не дурите ви мене? Ісправді думають, що як вони багаті, так усе і їх.

Гнат

(за сценой).

Катре, Катре! а погляди, що се на місяці?

Голос хозяйки.

Хіба не знаєте? брат брата на вила підняв.

Гнат.

Як же се? Далебі, я не чув.

Хозяйка.

Нехай у хаті розкажу, я змерзла.

(В продолжение этого разговора Назар объясняется со Стехой знаками и шопотом. Стеха делает утвердительный знак и отходит. Входят Гнат и хозяйка.)

Стеха.

А хіба ж ви сього не знаєте?

Гнат.

Або забув, або і зовсім не знав; не згадаю.

Стеха.

Так ось бачите, як воно. Як Христа дочитались, старший брат на великдень, коли ще добрі люди на утрені стояли, пішов підкинуть волам сіна, та замість сіна проткнув вилами свого меншого брата: так їх бог так і поставив укупці на місяці, на вид усьому хрещеному миру, щоб бачили, що і скотині гріх їсти у такий великий празник, поки пасок не посвятять, а не то що людям.

Хозяйка.

(насмешливо).

Ач як мудро прочитала!

Гнат.

Чудо не дівка! розумна і красива.

(Обнимает Стеху.)

Стеха

(притворно).

Що се, які справді безстидні оці городські козаки! усе б їм знущаться над нами та й тільки. *(Гнат целует ее.)* Ну! от іще видумали що! неначе се звичайно! Пустіть, далебі закричу.

(С шумом входят козаки и девушки.)

В толпе.

Ай да Стеха! От моторна, і тут успіла. А старий Кичатий!..

Стеха

(вырываясь).

Ну, що? поживились? Небійсь, таки не довелось поцілувати. Хто там горло дере, що успіла? Вони тільки так, нічого не зробили.

Гнат

(к козакам).

Ну, хто у вас отаман? Чи єсть музики?

Голоса.

І кобзар і музики.

Гнат.

А останнє: випить і закусити?

Голоса.

Як без сього? Усе є.

Гнат.

А, та й бравії ж молодці! що твої чигиринці. *(К девушкам.)* Котора ж із вас піде зо мною танцювати?

Голоса.

Пропустіть, пропустіть — музики йдуть.

(Входят музыканты - евреи. Впереди слепой старик с кобзою. Девушки и козаки в беспорядке расступаются. В продолжение суматохи Назар разговаривает с Гнатом.)

Гнат.

Будь бо веселіщий, не показуй виду. Стеха зуміє одкараскаться од них, тільки нам з тобою треба попереду утікати. Я, пожалуй, хоч і зараз піду, а ти зостанься тут поки — так, для виду. Та чуєш: не дуже довго женихайся, а мерщій в корчму: я там буду.

Назар.

Добре, тільки і ти проворніше.

Гнат.

За мене не бійсь. Дивись, старії знакомії! Кузьма, яким се побитом тут опинились?

Один из козаков.

З хуторів до церкви, а вечерниці по духу чуємо.

Гнат.

Молодці! А ви як сюди зайшли?

Єврей.

А так, шляхом. У Чигирині нема заробітку, а ми прочули, що у пана Кичатого весілля буде, так і прийшли сюди.

Гнат.

А нуте ж! учистьте запорозького козачка. *(К козакам.)* А з вас хто бойчіший? удар, я подивлюсь, чи так, як у нас бувало на Запоріжжі. *(Тихо Назару.)* Годі, не дурій. Я ж кажу, усе буде добре.

Назар.

Чи буде, чи ні, тільки зділай милость, не бався тут, іди швидше.

Гнат.

Поспіємо ще з козами на торг. Не показуйся, будь ласкав, таким сумним: все зіпсуєш. Подивимся козачка та й годі.

(Удаляются в глубину и разговаривают между собою. Музыканты заиграли. Один козак выскакивает из толпы и пляшет козачок. Гнат и Назар любуются.)

Гнат.

Ай да молодець! от жвавий! що твій запорожець! *(Танец кончается.)* Ну, веселітеся ж, люди добрі, гуляйте, хлопці, а нам уже годі, пора їхать: до Чигирина не близько, а до світу треба буть там. Прощайте, козаки! прощайте, дівчата! прощай, хазяйко! А де ж та... Кичатого? *(Стеха прячется между козаками. Гнат, поймав ее, целует.)* Прощай, сердечко моє, моя розумниця, моя красавиця! прощай!

Стеха

(вырываясь).

Ай-ай-ай! закричу, їй же то богу, закричу.

(Назар и Гнат уходят. Хозяйка провожает их.)

Стеха

(охорашиваясь).

Що за народ такий сі козаки! усе б їм цілуваться. Неначе й помоглось. *(К хозяйке.)* Тітко, тітко! а нумо ми з тобою.

(Пляшет и поет.)

Через гору піду,
Скриюсь за горою...
На біду,
Де піду,
Козаки за мною.

Той почне говорить,
Той сережки сулить,
Кого знаю,
Привітаю,
Хто сережки дарить.

Ах, сережки мої,
Мої золотії!
Сердітеся,
Дивітеся,
Вороги лихії!

Хозяйка

(вырываясь).

Ох, мої зозуленьки! По старості літ мені б і не подобало.

(Стеха между тем шалит с козаками, хватая за руку молодого козака и вертясь приплясывает.)

Хозяйка.

Оце, яка жартовлива! Та перестанеш ти чи ні?

Стеха

(пляшет и поет).

Тра-ла-ла, тра-ла-ла,
На базарі була,
Черевички купила,
Три червінці дала,
А четвертий пропила
І музику наняла.

Що ж ви, родимець би вас вбив! тільки дурно гроші берете? Кусок би вам сала, а не грошей. *(В толпе хохот.)* А де ж наш Кирик? сюди його! він один лучче усіх цих голодранців. *(Выходит кобзарь.)* Ось він, мій голубчик. Ну лишень, якунебудь пісеньку з приговорками або казочку страховиночку, щоб цілу ніч не заснулось.

Кобзарь.

Добре, добре. Хочеш казочку, хочеш пісеньку, що любиш.

Голоса.

Казку! Казку!

Другие.

Ні, пісню, та таку, щоб жижки затрусились. Ми ще не танцювали.

Первые голоса

(и с ними Стеха паче всех).

Натанцюєтесь іще, поки до третіх.

Стеха.

До півнів ще не трохи. Казку! *(К хозяйке.)* Казку, тітко?

Хозяйка.

Звісно, казку, поки ще не так пізно; а опісля й слухать страшно буде.

Кобзарь.

Коли казку, так казку: мені все одно.

В толпе.

Перещебетала таки цокотуха.

Другой голос.

Ач яка!

Стеха.

А що, га? таки перещебетала!

(Кобзарь садится на скамейку. Кругом него с шумом и хохотом толпятся в беспорядке козаки и девушки.)

Стеха

(подносит кобзарю рюмку вина).

Випий, дідусю, для смілості.

Кобзарь

(выпивши).

Спасибі тобі, дівко! *(Прокашлявшись.)* Слухать — що їсти, в горшку не бовтати, усів не марати, слов не пропускать, другім не мішать.

(Общий легкий шопот и смех.)

Стеха.

Послухаю, послухаю, чи єсть же така страховина, щоб я злякалась.

Голос.

Чуєш ти? коли не будеш мовчать, так геть собі.

Другой.

А то виженем.

Стеха.

А хто б посмів! Сотник вас усіх перевішає.

Голос.

Дзусь йому мурому! Гляди, щоб на одній осичині не повісили тебе з сотником.

Хозяйка.

Та замовчіть же, бога ради! *(К кобзарю.)* Кажи, дідусю, кажи; їх не переслухаєш.

Кобзарь

(прокашлявшись).

У венгерській стороні, у Цесарців, за Шляхетською землею, стоїть гора висока; а в тій горі нора глибока; в норі сидить не звір, не птиця — турецька цариця. Сидить вона сто тисяч літ, не молодіє, не старіє, а тільки дедалі зліє; їсть вона од схід до захід сонця — не хліб печений, не курей і не якунебудь людську страву, а трощить маленьких дітей за те, що коли ще вона була у Турещині важкою, так їй сказав арменський знахар, що вона родить дочку і дочка та буде, як підросте, в тисячу раз краще її. От вона, справді, як родила дочку, так зараз і з'їла її, та з того часу сидить у норі і не вгаваючи усе їсть дітей, не розбира, хоть хрещені вони, а хоть нехрещені, їсть усіх, їсть тобі всіх та й годі,— і дівчаток, і хлопчиків...

Стеха

(быстро).

І хлопчиків! ах, вона триклята баба! Щастя її, що я не знаю тієї гори.

Голос.

А що б ти зробила?

Стеха.

Що? задушила б.

Голос.

Куди тобі, погане!

Другой.

Ти й за двері сама боїшся вийти.

Стеха.

Хто, я?

В толпе.

Та не мішай же слухать! Не хто ж більш, ти!

Стеха.

Я боюсь? Хочеш, зараз піду на гробовище? а коли хочете, так у стару корчму, що на старому шляху.

В толпе.

Прудка дуже! за поріг не вийдеш, умреш.

Стеха.

Я вмру! що ставиш?

В толпе.

Мої музиканти на всю; а ти?

Стеха.

Піввідра слив'янки, три куски сала і паляниця.

В толпе.

Добре! тільки щоб, знаєш, слив'янка була з панського льоху.

Стеха.

Та вже де не візьму, до сього вам діла нема, а поставлю. Де мій байбарак? *(Надевает верхнее платье.)* Гляди ж, не цурайся слова. *(Кобзарю.)* Як я вернусь, так тоді докажеш, дідусю: а то я і не хочу.

(Уходит.)

Кобзарь.

Добре.

В толпе.

А щоб повірили, так принеси цеглинку або кахлю з груби, або що хочеш, тільки з корчми.

Стеха

(за сценою).

Добре, добре.

Голоса.

От дівка голінна, так так!

Другой.

Чуприну їй та уси, тоді хоч у пекло...

Третій.

Так подумають, що козак.

Хозяйка.

Вже козир-дівка, не вам рівня. Отже й піде; тоді плати.

Голос.

Або слив'янку пий, а салом і паляницею закусюй.

Хозяйка.

Побачим, побачим, чия візьме. Чого сидіти? щоб не даром музикам платить, ну лиш потанцюєм лучче. Ану, вдарте, та по-нашому.

(Толпа в беспорядке расступается. Козак с девушкою выходит танцовать. Музыканты заиграли, и пляска началась. Занавес тихо опускается.)

АКТ ТРЕТИЙ

Внутренность развалин корчмы. Стены без потолка и несколько уцелевших стропил. Все занесено снегом и освещено луною. Несколько минут молчания. Вдали слышна песня, потом ближе, ближе, и является Стеха, робко припевая: „Ах сережки!..“ Она останавливается у развалившейся печи и с робостию осматривается кругом.

Стеха.

Як страшно! Де ж вони? І коней теж не видно. Чи не махнули вони собі? То-то буде добре! За два червінці продать своє щастя... *(Осматривает следы.)* Ні, опріч моїх нічиїх не видко слідів... Що, як вони обманили та другим шляхом? от тобі й сотничка! Побіжу мерщій додому, чи не поділялось чого там. Розкажуть, що я помогла,— тоді усе пропало.

(Поспешно возвращается.)

(Навстречу ей Назар несет на руках Галю.)

Стеха.

Се ви? А тут так страшно... Чи не случилось чого?

Назар

(опустив Галю).

Нічого не бійсь. А коні тут?

Стеха.

Ні, я не бачила.

Назар.

Збігай подивись, і як нема, то біжи мерщій у слободу, чи не зустрінеш на дорозі.

Галя.

Стехо! чому ж ти не йдеш? Біжи ж скоріш; батюшка прокинеться! Біжи бо!

Стеха.

Зараз, моя панночко; для вас на край світу полечу.

(Поспешно выламывает из печи изразец.)

Галя.

Що ти робиш?

Стеха.

Зараз. Се од вовків.

(Быстро удаляется.)

Галя.

Ходім на дорогу: мені тут страшно.

Назар.

Не можна, моє серденько: там побачать, а сюди ніхто не ввійде.

Галя

(грустно).

Ну, роби як знаєш, а я... я все зробила... Боже! на зорі прокинеться батюшка... Ох, Назаре, Назаре! що я наробила!

Назар.

Лучче нічого не можна було зробить.

Галя.

Батюшка мене проклене.

Назар.

Себе нехай проклинає... Ти змерзла, моя кришечко? Візьми мою кирею. *(Снимает плащ и расстилает по снегу.)* Спочинь, моє серденько; поклади свої ніженьки у мою шапку. *(Галя садится на плащ. Назар вкладывает ее ноги в свою шапку.)* Оттак тепліш *(целует ее)*, тепліш, моє серденятко.

Галя.

О, мій голубчику, мій сокіл ясний! як мені тепло, як мені весело!.. Тільки я боюсь: батюшка мій такий сердитий.

Назар.

Не бійсь, моя пташечко, нічого, поки я з тобою. Не бійсь, тільки люби мене. Я подумав тоді... коли...

Галя.

Коли? Що подумав? може, недобре?

Назар.

Не то, що недобре, та не тепер згадувать об чім-небудь недобрім, коли на серці така радість. А завтра... що завтра зо мною буде? Я вмру, мене задушить моє щастя, моя доля. *(Кладет ей на колени свою голову. Галя перебирает его волосы. Назар, подняв голову, с нежностию смотрит ей в очи.)* О мої очі, мої карі! погляддіть на мене, мої зорі ясні! *(Немного помолчав.)* Серце моє, ти не казала батюшці, що підеш заміж за полковника? не казала?

Галя.

Опять! Який же ти справді!.. Я заплачу. Аджеж він нічого мені не говорив о полковникові, так як же б я йому сказала?

Назар.

Бідненька! він продавав тебе, а ти нічого й не знала. Прости його. Нехай бог милосердий на тім світі за се його осудить і покарає.

Галя.

Я молитимусь за його гріхи. Може, бог йому простить.

Назар.

Молись за кого хочеш, тільки не розлюби мене, моя галочко... Я вмру тоді.

Галя.

Який ти чудний! ти думаєш, що я тільки так тебе люблю. Ні, Назаре, я не люблю, я й сама не знаю, що роблю... Як би тобі разказать? Аж страш-

но! Знаєш що? коли я дивлюсь на тебе, так мені здається, що ти — так се я, а що я — так се ти. Так чудно; не знаю, од чого воно се так. Коли зостанусь одна на самоті, то все про тебе думаю, думаю, і мені приставиться, що ти в Чигирині перед гетьманськими хоромами на вороному коні гарцюєш, а усі гетьманші, полковниці ні на кого більш і не дивляться, опріч на тебе... У мене в очах так і потемніє... Я заплачу, заплачу, так важко на серці стане. Од чого воно так, Назаре? ти не знаєш?

Назар.

Знаю, моє серденько, знаю! Як любо, як мені ти говориш! Промов ще раз, обійми мене. *(Обнимаются, целуются.)* Ще, ще один останній раз.

(В изнеможении кладет ей голову на колени.)

Галя.

Як мені весело з тобою! Чи воно усе так буде весело? скажи мені, Назаре.

Назар

(не поднимая головы).

Увесь вік!

Галя.

Куди ж ми поїдемо?

Назар.

У рай.

Галя.

Я се знаю; та де ж він?

Назар

(подняв голову).

Не питай мене тепер; я нічого не знаю. Ми поїдемо туди, де нема і не буде ні полковника, ні батька твого, де тільки одна воля, одна воля та щастя. О, як ми будемо гарно жити! Збудую тобі хату, світлу та високу, розмалюю її усякими красками —

і чорними, і блакитними, і зеленими, усякими, усякими, наряжу тебе у шовк та в золото, посажу тебе на золотім кріслі, мов кралю, і довго, довго, поки вмру, все любуватимусь тобою. Та чи вмру ж я колинебудь? Ні, я ніколи не вмру! Коли ти будеш зо мною, то смерть не посміє і в хату нашу заглянуть.

Галя

(грустно).

Ох, ні, Назаре, не кажи так! Мені страшно стало, і серце так защеміло, так заболіло, неначе чує недобру годину або яке горе.

Назар.

Яке горе? де воно? Для нас нема його на цілім світі.

Галя.

Не знаю, Назаре, тільки мені щось на серці так важко, так гірко... Я все думала про батюшку.

Назар.

Нащо ж ти об нім думаєш? Не думай, і весело буде. Знаєш, як приїдемо ми у Кодак... Се запорозький город... От як приїдемо, мерщій у церкву, повінчаємось: тоді і сам гетьман нас не розлучить, і будемо довго, довго там весело жити. Ти будеш пісні співати і танцювать, а я буду грать на бандурі і розказувать тобі про славні діла козацькі, про Саву Чалого, про Свірговського, про всіх, про всіх жвавих козаків наших. Далі, мені вигодуєш сина молодця чорнобривого, пошлемо його в Січ; там поставлю його перед козацькою громадою і скажу: „Любуйтеся, дивітеся: се мій син. Мені його вигодувала, викохала моя Галя, такого молодця!“ Що, весело?

Галя.

Весело, мій Назаре, мій миленький, а серце все таки болить. Мені здається, що батюшка вже прокинувсь і мене шукає.

Назар.

Бог зна об чім думаеш ти! Ось зараз будуть коні, і вони нас не найдуть, хоть нехай усю землю перевернуть. Не журись же, моя ластівко!

Галя.

Знаєш що? ходім додому, розбудим його, станем перед їм на коліна... він нас простить; він мене любить.

Назар.

Хіба я його не просив, хіба ж не ставав перед ним на коліна! Адже ти бачила?

Галя.

Бачила, ти просив... Назаре, він мій батько.

Назар.

Лучче б не знать такого батька.

Галя.

Ти сердишся, Назаре! Не сердься, мій милий, мій чорнобривий. Подивись, я весела, я не жалкую, що покинула... Поцілуй же мене, мій соколе ясний, орле мій сизокрилий.

(Обнимаются и целуются.)

Назар.

О, моя радість, мій сон чарівний! Не журись, серденько. Скоро ми полетимо так, що не дожене нас і вітер. А ніч то, ніч! неначе празникує наше щастя. Тиха, світла, як твої ясні очі. Ти не боїшся? Побудь тут одна. Я піду подивлюсь на дорогу.

Галя.

Ні, не боюсь.

Назар.

Чого ж ти знов зажурилась?

Галя.

Так, нічого. Я згадала покійницю няньку. Вона мені розказувала, що в сій корчмі давно якийто запорозький старшина ночував, а на другий день найшли його в Тясмині; і що тут Богдан зустрічав сина свого Тимофія, як козаки везли його з Молдавії, покритого червоною китайкою, і що тут запорожці вирізали євреїв. З тієї години ніхто в їй не жив: усе ніччю ходять мертві євреї... Ух, як страшно тут!

Назар.

Тобі твоя нянька бог зна чого наговорила.

Галя.

Вона божилась, що правда. Не ходи, лучче зостанься зо мною, або ходім обоє. Мені важко і на миниуточку розрізнитися з тобою.

Назар.

Я не піду... Ти не змерзла?

Галя.

Ні, твоя шапка така тепла. *(Снимает шапку с ног и целует.)* О, моя мила шапка! Надінь її, і ти замерз.

Назар.

Надінь ти. Я подивлюсь на тебе, яка ти в козацькій шапці. *(Она надевает шапку. Назар любуется.)* Чудо!.. Чорні уси, шаблю дамаську, пістоль за пояс — і козак хоч куди. *(Целует ее.)* Козаче мій чорнобривий!

Галя

(надевает ему шапку).

Оттак краще! Постій, я пришпилю стьожку. Знаєш, як на весіллі бува у молодого?

Назар.

Се ти ще й завтра зробиш...

Галя.

Ох, тривай! я й забула. Адже я таки взяла з собою і хустку, що для тебе вишивала. *(Вынимает из-за пазухи белый, шитый красным шелком платок и подает Назару.)* Що, хороший? Я сама вишивала і гроші на шовк сама заробляла.

Назар.

Спасибі, серце моє.

Галя.

Чи не заспівать оце пісню про хусточку, що я в Чигрині у дядини чула?

Назар.

Коли весела, заспівай.

Галя.

Ні, не весела, та мені сидіть уже остигло. Слухай же.

(Выходит на край сцены.)

. . . .

(Назар стоит задумавшись).

Галя.

Чого ж ти зажурився? То не треба було б і співать.

Назар.

Нічого, серце моє. Возьми свою хустку. *(Подає їй хустку.)* Завтра знову подаруєш.

Галя.

Нащо вона мені? Розірви, коли вона тобі нелюба; я другу вишию. *(Печально.)* Тільки не знаю, коли.

(Плаче, помовчавши.)

Назар.

Не плач, моє серце. Дивись, я не журюся.

Галя.

Не журишся? А чого ж ти плакав? Ти щось знаєш, та не хочеш сказать. Скажи ж, мій голубе, мій орле сизокрилий, скажи, моє серце!

Назар.

Знаю, знаю, моя голубко, що я найщасливіший на світі.

Галя.

Ба я щасливіша за тебе. Ніколи ж не буду співать про хустку; цур її!

Назар.

Я тебе вивчу другу, веселу-веселу та хорошу.

(Дивляться одно на другого й цілуються. Хома і Стеха крадуться ізза шкапи.)

Хома.

Сюди! ось де вони! сюди!

Галя.

Батько!.. Пропала я!

Стеха

(пробігає коло їх).

Полковниця! полковниця!

(Назар мовчки бере лівою рукою Галю, а правою виймає шаблю. Хома торопко веде на його челядь. Стеха ховається).

Хома

(скаженіє).

Цілуйтеся, цілуйтеся, голуб'ята! *(До челяді.)* Киями його, собаку! Чого ж стали? Беріть, рвіть його!

(Челядь торопіє.)

Назар.

Хто хоче в домовину, виступай на мене. *(До Хоми.)* Ти чого хочеш?

Хома.

Смерті твоєї, злодію!

Назар.

Нащо ж ти собаками цькуєш? возьми сам, коли хочеш.

Хома.

Я рук паскудить не хочу. Беріть його! О, пес поганий! я розірву тебе!

(Б'ються на шаблях.)

Галя

(пада між ними на коліна).

Тату, тату! убий, убий мене! винна я; я прогнівила тебе... Убий же мене, таточку, та не бери з собою!

Хома.

Цить, кошеня крадене!

Назар

(Хомі).

Цить, сатано люта!

Хома.

Дочку оддай!

Галя.

Не оддавай, не оддавай! я утоплюся!

Хома.

Топись, гадино, поки не розтоптав я тебе!

Галя.

Топчи, души мене: я твоя дитина!

Хома

(до челяді).

Беріть його! Я вас перевішаю! я вас золотом окую!

(Челядь поривається на Назара.)

Галя.

Одурить! одурить!

Хома.

Не одурю! Не скавучи, зінське щеня!

(Напада на Галю. Назар заступа її. Челядь напада на Назара ззаду і крутить йому руки).

Хома.

Ха-ха-ха! вовче, вовче! чому ж ти не рвеш нас?

Назар.

Цить, жабо погана!

Галя

(перед Хомою на колінах).

Тату, тату, кате мій! я розірву тебе,—я день і ніч плакатимусь на тебе! Танцювать, плакать буду! Чого забажаєте, все робитиму — не вбивай його. Я за полковника піду...

Назар.

Галю!

Галя.

Ні, ні...

(Зомліла, падає.)

Хома

(до челяді).

Чого ж ви дивитесь? Нехай здиха собака, а ви тим часом шкуру зніміть.

(Челядинець замахнувсь києм на Назара.)

Хома.

Стривай! ми не татари. За що його убивать? Чи єсть у кого вірьовки, пояс або налигач,— щонебудь, скрутить йому руки й ноги?

(Челядь крутить поясами Назара.)

Стеха

(падає коло Галі зомлілої).

Ох, моя пташечко, моя лебідочко! чи я ж знала, що так станеться? Прокинься, моя зозулечко, моя ластівочко!

Хома.

Отак добре! Тепер зав'яжіть йому рот. От, доладу; у його, здається, що й хустка у руці. Чи не весільна? Добре, здалась таки на щонебудь.

(Зав'язують хусткою рота).

Хома.

Не туго, щоб стогнав. Мороз хоть і лютий, та, може, видержить. А вже як вовча тічка нападе... а вовки здалека поживу чують... от буде снідання, начисто гетьманське! Тепер положіть його на білу перину — нехай проспиться та подума, з ким жартує.

(Челядь кладе Назара на сніг).

Хома

(на Галю).

А ця учаділа... Возьміть її додому... прочумається.

(Челядь бере на руки Галю і несе з собою.)

Стеха

(бере Хому за руку і веде його за Галею).

А що? скажеш, що не люблю тебе?

Хома.

Спасибі, спасибі. *(До Назара.)* Оставайсь здоров, приятелю! не згадуй лихом. Нехай тобі присняться рушники.

(Хома з Стехою шепчуться і пропадають. Назар тихо стогне. Незабаром чути за сценою гомін.)

Голос Хоми здалека.

Киньте її! в'яжіть його!

Гнат

(за сценою).

Я тебе зв'яжу, недовірку проклятий!

(Незабаром вибігає Галя і кидається на Назара).

Галя.

Орле мій, серце моє!

(Розв'язує хустку.)

Назар.

Душно мені, душно!

Гнат

(веде за груди Хому).

Останній раз говорю: оддаси Галю за Назара чи ні?

Хома.

Ні!

Гнат.

Здихай же, собако скажена!

(Замірившись шаблею.)

Хома.

Стривай. Ти знаєш наш закон козацький, то...

Гнат.

Що мене живого поховають з твоїм падлом? Знаю. *(До челяді.)* Копайте яму.

(Цілить пістолем.)

Хома.

В'яжіть його!

(Тим часом Галя розв'язує руки у Назара.)

Назар.

О, доле моя! серце моє!

Гнат.

Копайте яму! *(До Хоми, прицілившись.)* Лукавий чоловіче, за що без сповіді ти себе губиш і мене з собою? Прощайсь з білим світом, молись богу. *(До Назара.)* Назаре, брате мій, друже мій! поховай мене. Прощай! а ми...

Назар.

Стривай!

Галя

(до Гната).

Стривай!

Назар.

Пусти його, не варт він того. Не напасти душі своєї. *(До Хоми.)* Іди, лукавий чоловіче, іди, куди знаєш. Не поміг тобі бог занапастить мене; а я чужої крові не бажаю. Іди собі!

Хома

(пада перед Назаром).

Назаре! сину! батьку рідний! заріж мене, замуч мене, на конях розірви, та не прощай! *(Падає до ніг і плаче.)* О, я лукавий, лукавий! о, я грішний, проклятий!.. Дочко, доле моя! серце моє! проси його, нехай уб'є, нехай я світу не паскужу! *(Знову плаче.)* Боже мій, боже мій!

Н а з а р

(підводить його).

Устань, молися богу, грішний. Коли прощають люди, то бог милостивіший за нас.

Х о м а

(вставши, утирає сльози).

О сльози, сльози! чом ви перше не лилися? Назаре, я чернець... спокутую в рясі мої беззаконія! Бери моє добро, бери мою Галю, бери все моє! Галю! Назаре! обніміться, поцілуйтеся, діточки мої. Я хоч і грішний, а все таки батько. *(Назар і Галя обнімаються.)* Боже вас благослови!



ОТРЫВОК ИЗ ДРАМЫ „НИКИТА ГАЙДАЙ“

ДЕЙСТВИЕ III

Вечер. Внутренность хаты мрачно освещена нагоревшею свечкой, на столе стоящею.

Марьяна одна. Смотрит пристально в окно.

Марьяна.

Правду матушка говорила, что козаки все такие недобрые: им все равно, смеемся ли мы или плачем. Уехал, ему и горя мало, а еще жених! что же будет после?.. Целый день что он там делает? Несносный этот гетман, он, верно, его угощает за то, что он его оборонил от смерти. Очень нужно угощать: так богу было угодно. *(Прислушивается.)* Чу! Кажется, едет. *(Помолчав.)* Нет, не едет. Хоть бы дорогу было видно, всё бы легче. Должно быть будет дождь. Ни одной звездочки на небе. Что это мне гетман не идет из головы? Какой он нехороший, должно быть, он злой: он так на меня смотрел сердито. Что это? *(Прислушивается.)* Он! Он! Приехал! Разговаривает с Дорошем... Матушка! Матушка! Никита приехал!

(Никита входит мрачный, навстречу ему бежит Марьяна. Катерина выходит из боковых дверей.)

Марьяна.

Что ты там так долго делал?

Катерина.

Слава богу! Я думала, что ты опять на Запорожье уехал.

Никита.

Оно бы лучше было.

Марьяна.

Что с тобой? Ты такой сердитый, невеселый.

Никита.

Так, ничего,— мало спал.

Катерина.

Так и есть; я говорила: еще рано, успеешь наговориться с своим гетманом.

Никита

(подавая Катерине шапку и грамоты).

Зашейте в шапку эти грамоты поскорее и покрепче.

Катерина

(принимая грамоты и шапку).

Какие это грамоты? Зачем?..

Никита.

После расскажу, зашейте поскорее.

Катерина.

Не посланец ли ты гетманский? а?

Никита.

После узнаете.

Катерина.

Что это? Слова нельзя добиться.

(Уходит.)

Марьяна.

Какие это грамоты, Никито? Зачем ты их в шапку велел зашить?

Никита.

Чтобы не растерялись в дороге.

Марьяна.

Разве ты куда едешь?

Никита.

Еду, и далеко.

Марьяна.

Какой ты, право,— всё бы ему шутить.

Никита.

Я не шучу.

Марьяна.

Нет, я не верю, шутишь, шутишь. Ну, развеселись же. Какой ты сердитый! На кого ты рассердился? Или ты нездоров? Скажи мне: я всё, всё знать хочу.

Хочу тебя развеселять,
Хочу узнать твои желанья,
Твои сердечные страданья
Хочу с тобою разделять;
Скажи же мне.

Никита.

Тебе сказать!
К чему тебе мои страданья,
Моя сердечная тоска?

Марьяна.

Чтоб разделить ее, как с другом,
Как с братом милым и отцом;
Предупреждать твои желанья,
Прекрасный взгляд твой понимать,
И петь с тобою, и рыдать,
И лаской девичьей моею
Твои недуги врачевать;
Чтобы любить тебя!..

Никита.

Любить!
Как много, много ты сказала!
Любить!.. любить!.. прекрасный звук.
Прекрасно тайное значенье
Простого слова. Но, дитя!
Ты поняла ль душой невинной,
Что ты сказала мне?

Марьяна.

Кто? Я?
Ах, я любить, любить умею,
Да не умею рассказать,
Как я люблю тебя. С тобою
Я всё готова разделять;
Ты для меня отец и брат;
Ты для меня всё, всё на свете!
И даже матушку любить
Я не могу, как я любила,
Когда не видела тебя.

Никита.

Ты добрый ангел-утешитель.
Как мне отрадно понимать
Невинные, простые речи!
Любить одно! не разделять
Любовь прекрасную на двое —
Это по-моему. И тот,
Кто говорит, что всё он любит,
Холодный камень он: он лжет,
Он ничего тогда не любит,
Он богохульствует. Любовь
Как солнце ясное высоко
Одно на небе голубом.
Одна любовь . . . . . .
Затаена в душе глубоко,
В душе прекрасной, как твоя.
Меня ты любишь, знаю я,
Но ты соперницу имеешь;
Как ты, прекрасную.

Марьяна.

Кто? Я?
Где же она и кто такая?

Никита.

Украйна милая моя!
Моя Украина родная!
Ее широкие поля!
Ее высокие курганы!
Святая прадедов земля!
Люблю тебя, моя Украйна:
Твои зеленые дубровы,
Твои шелковые луга,
Днепра крутые берега,
Люблю я вас любовью новой,
Любовью крепкою. И ты,
Украйны образ несравненный,
Люблю тебя, в тебе одной
Я всю Украйну обожаю.

Марьяна.

И я люблю ее, как ты;
Я песни родины певала,
И я всегда воображала
Прекрасно-гордые черты
И брови черные и стан,
Как у тебя, живой, высокий;
И я в тебе, мой карокий,
Славу родины люблю;
Вождей бессмертных обожаю,
Что в песнях кобзари поют.

Никита.

Как ты прекрасна! ты козачка,
И я люблю тебя. Люблю,
Как мою родину святую...

Как счастлив я! Люби меня,
Воображай во мне героя
Минувших дней,— только люби!..

Марьяна.

Ты мой навеки, ты мой милый,
Я неразлучная твоя:
И на край света, и в могилу
С тобою я, с тобою я!..
С тобой повсюду, и как любо
Нам будет горе горевать
И пир веселый пировать!
Я боевые песни буду
Петь для тебя; пойду плясать;
Ты мне расскажешь про походы:
Как вы ходили воевать
Татар, турецкого султана,
Как Сагайдачный с козаками
Москву и Польшу воевал,
Как Наливайко собирал
Перед родными бунчуками
Народ козацкий защищать
Святую церковь. Всё, как было,
Будешь рассказывать, а я...
Ивана сына пеленаю
И, пеленая, припеваю:
„Вырастай козакам на славу,
Врагам на расправу!..“
И вырастет сын Иван,
Запорожский атаман,
Как ты, смелый, карокий,
Как ты, стройный и высокий,
Как мне весело, как любо,
Как я рада, рада буду...

(Поет и пляшет.)

С золотыми подковами
    Башмаки, башмаки!
Не смейтеся на улице,
    Козаки, козаки.

Я золото не молотом
Накую, накую,
Вдоль улицы протанцую,
Пропою, пропою.

Что, хорошо?

Никита.

Настоящий ребенок! Теперь ты пляшешь и через минуту готова плакать.

Марьяна.

А ты настоящий дед старый, никогда не пляшешь. И, кажется, не плачешь, а вечно хмуришься, как будто сердит на меня за то, что я тебя люблю; или ты болен? Скажи, что у тебя болит?

Никита

(показывая на сердце).

Вот что!

Марьяна.

Что же мне делать? Я не знаю,
Чем пособить тебе могу...

Никита.

Молися богу.

Марьяна.

Я молюся,
А ты попрежнему грустишь.

Никита.

Утешься, скоро перестану;
Заплачу радостно, как ты,
С тобою вместе протанцую.

Марьяна.

Когда же, скоро ли?

Никита.

Очень скоро; только возвращусь из Варшавы и — пир горой.

Марьяна.

Разве ты в Варшаву едешь? Зачем?

Никита.

Да, еду. А ты, смотри, всё к свадьбе приготовь.

Марьяна.

Всё приготовлю. Зачем едешь?

Никита.

Я гетманский посланник, еду с грамотами к королю и сейму.

Марьяна.

Что же в этих грамотах написано? Ты читал?

Никита.

Нет, не читал, да и зачем мне знать пустое маранье придворных хитростей! Они не искренни со мною, хитрят, секретничают, но правды им не перехитрить: она возьмет свое. Я полагаю, они трактуют о вольностях козацких, чтоб отстранить Хмельницкого. Немного поздно спохватились, но, может быть, еще успеют без крови дело погасить. Дай-то, господи! пора им опомниться; но зачем они секретничают со мною? Будто я не знаю дел Хмельницкого и сейма? Да мне все равно: пускай они пишут, что хотят, а я скажу, что чувствую и знаю. Владислав добрый король. Друг, друг благородного Хмельницкого; он меня выслушает.

Я смело стану перед троном,
Как добрый сын родных полей:
И право нашего закона
Магнатам, правдою моей,
Я докажу. Они поймут,

Поймут, надменные магнаты,
Что их огромные палаты
Травою дикой порастут
За поругание закона,
Что наша правда, наши стоны
На них суд божий призовут.
Что Наливайка дух великий
Воскреснет снова средь мечей,
И тьмы страдальческих теней
Наши неистовые клики
В степях разбудят. Божий суд
Страдальцы грозно принесут
На те широкие базары,
Где Остраницы кровь текла,
Где вы разыгрывали кары,
Где реву медного вола
В восторге злом рукоплескали;
Где вы младенцев распинали
В глазах отцов и матерей,
На те базары тьмы теней,
В молчаньи грозном, как страдали,
Расправу злую принесут
И вашей кровию польют
Ваши широкие базары.

(Со вздохом.)

О боже сильный! Боже славы!
Пошли мне мудрость отвратить
Эту кровавую расправу,
Пошли мне мудрость вразумить
Алчных грабителей лукавых,
Что братья мы, что не любовью,
Раздором грешная земля
Утучнена, родною кровью!

(Помолчав.)

Я знаю сердце короля:
Он добр, сговорчив, но магнаты...
Несчастной черни палачи!..
Они коварны: их словам
Не должно верить простодушно...

Они думают передать страшную расправу сынам и внукам. Нет! Теперь должно кончить, и кончить навсегда. Мы знаем вас, вероломные! Мученическая смерть Богуна, Остраницы и Наливайка нам показала, как исполняете вы клятвы. Столетняя война — и между кем? Между родными братьями. Страшно! *(Немного помолчав.)* Что, ежели определено судьбою мне, простому человеку, окончить то словами, чего миллионы не могли кончить саблями?..

С какою радостью сердечной
Я возвращуся в Чигирин!
С каким торжественным восторгом
Взгляну на славные поля,
Где кровь козацкая текла,
Где улеглися миллионы
Несчастных жертв. Всему конец!
Всему кровавому конец!
Сынам и внукам мир и слава!
О днях минувших, днях кровавых
Кобзарь им песню пропоет,
В конце той песни знаменитой
Он имя сотника Никиты
С благоговеньем помянет.

(В восторге.)

Какая радость, боже мой!
Я славу словом завоюю
И славный подвиг торжествую
С тобой одной! В тебе одной
Я всю Украйну поцелую.

(В восторге целует Марьяну.)

Как это весело!

Никита.

Как мне весело, когда б ты знала! Ты, как дитя неразумное, веселишься и плачешь, а я?.. Но после о радостях поговорим. Иди к матушке и поторопи ее с шапкой.

Марьяна.

Да зачем тебе так скоро шапка нужна?

Никита.

После скажу, иди скорее. Невеста еще только, а уже и не слушается.

Марьяна

(усмехаясь).

Иду, иду.

(Уходит.)

(Никита ходит задумавшись по комнате. Немного погодя, остановясь, говорит, как бы с самим собою, сначала тихо, потом громче и останавливается на авансцене.)

Никита.

Святая родина! святая!
Иначе как ее назвать?
Ту землю милую, родную,
Где мы родилися, росли
И в колыбели полюбили
Родные песни старины.

(Громче.)

То песни славы! звуки рая!
Сынам на диво, на любовь
Сложили их, не умудряя,
Дела великие отцов,
И эти звуки, эти горы,
Эти широкие поля,
Немолчный говор синя моря,
Небо высокое, земля,
С ее богатством, нищетою,
Всё это наше, нам родное,
Родные дети мы всему,
Мы часть ее, земли той милой,
Где наши деды родились,
Где их высокие могилы
В степях так гордо поднялись,

И наши очи приковали
Своею мрачною красой,
И без речей нам рассказали
Судьбу Украины родной.

(Немного помолчав.)

В ком нет любви к стране родной,
Те сердцем нищие калеки,
Ничтожные в своих делах
И суетны в ничтожной славе.

(Немного помолчав.)

И чем несчастней, тем милей
Всегда нам родина бывает,
Тем краше вид ее полей...

(Со вздохом.)

А наша родина страдает,

(печально)

А прежде счастлива была.
Тогда враги ее боялись,
Тогда сыны ее мужали
И славные отцов дела
Своею славой обновляли,
И всё минуло! всё прошло!
Козак в неволе изнывает,
И поле славы поросло
Травой негодной... умирает
И звук и память о былом!

(Торжественно.)

Нет, запоем мы песню славы
На пепелище роковом!
Огонь и кровь мы на расправу
В жилища вражьи принесем!
И наши вопли, наши стоны
С их алчной яростью умрут.

(Взволнованный долго ходит молча по хате, останавливается и говорит как бы сам с собою.)

Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей крови междоусобными ножами. Ужели вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников? Настанет ли час искупления? Придет ли мудрый вождь из среды вашей погасить пламенник раздора и слить воедино любовию и братством могущественное племя?

(Задумывается. Входят Катерина с шапкой и Марьяна.)

Катерина.

Слава богу, насилу-то угромоздила их: такие большие!

Никита

(очнувшись).

Что вы так долго с ними делали?



ПРИМІТКИ

Примітки склали наукові співробітники Інституту української літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР: Бронський, А., Пивоваров, М., Журавська, І.

БЛИЗНЕЦЫ

1. *Усатое сословие* (стор. 3) — військові. Цивільним чиновникам за Миколи I носити вуса було заборонено.

2. *„Письмовник" знаменитого Курганова* (стор. 3) — популярний у XVIII столітті збірник правил усної і письмової мови, анекдотів, оповідань і т. п., складений Миколою Гавриловичем Кургановим (1726 — 1795).

3. *Учения Зороастрова* (стор. 3) — Зороастр (Заратустра) — міфічний пророк, реформатор релігії стародавніх персів.

4. *„Ключ к таинствам природы" Эккартсгаузена* (стор. 4) — містичний твір німецького автора Карла Еккартсгаузена (1757 — 1803).

5. *Егоров, Алексей Георгиевич* (1776 — 1851) (стор. 4) — художник - академік, відомий картинами на релігійні теми.

6. *Гребенка* (стор. 4) — Гребінка, Євген Павлович (1812 — 1848) — український поет, що багато писав і російською мовою, близький знайомий Шевченка.

7. *В сказке о Еруслане Лазаревиче* (стор. 6) — популярна в народі лубочна казка.

8. *В Дорпате* (стор. 7) — у місті Дерпті (в теперішній Естонії).

9. *Из Митавы* (стор. 8) — з міста Мітави, в теперішній Латвії.

10. *Клечальная суббота* (стор. 8) — клечальна субота, перед зеленою неділею.

11. *Зеленое воскресенье* (стор. 8) — церковне свято (так звана „тройця") влітку.

12. *„Канонник"* (стор. 8) — церковна книга.

13. *Дюма* (стор. 10) — Дюма Олександр (1803 — 1870), французький письменник, що вславився мистецтвом цікавого оповідання (романи: „Три мушкетери“, „Граф Монте-Крісто“ і багато інших).

14. *Тарасова ночь* (стор. 10) — повстання проти польської шляхти, що вибухло 1630 року на Україні. На чолі повстання став Тарас Федорович (за „Историей Русов“, яку приписували Кониському,— Тарас Трясило). Однією з найбільших поразок, якої зазнало польське військо під час цього повстання, був розгром військом Тараса Федоровича польського війська 22-го травня (ст. ст.) під Переяславом. В „Истории Русов“ ця перемога зветься „Тарасова ніч“.

15. *Анафемой Иваном Мазепою* (стор. 11) — Иван Мазепа був гетьманом в рр. 1687 — 1708 і в 1708 році зрадив Україну й Росію, перейшовши під час Північної війни на бік шведського короля Карла XII. Анафема — проклятий.

16. *Геральдический дуб* (стор. 11) — т. зв. „родословне дерево“, родовід.

17. *Император Петр III* (стор. 11) — царював в Росії в рр. 1761 — 1762; походженням був німець з Голштінії.

18. *Иван Леванда* (стор. 12) — відомий церковний оратор (1736 — 1814).

19. *Григорий Сковорода* (стор. 12) — відомий український письменник і філософ (1722 — 1794).

20. *Великий Запорожский Луг* (стор. 13) — низина з лівого боку Дніпра, нижче порогів, вкрита озерами та чагарниками; тут запорожці рибалили й полювали.

21. *Генерал Текелий* (стор. 13) — генерал, під керуванням якого російське військо захопило Запорізьку Січ в 1775 р.

22. *Читал Давида, Гомера и Горация* (стор. 14) — тобто знав мови давньоєврейську, класичну грецьку і латинську. Давидові приписувалося складання так званого „Псалтиря“; Гомерові — епічні поеми „Іліада“ і „Одісея“; Горацій (65 — 86 рр. н. е.) — римський поет.

23. *Бортнянский, Димитрий Степанович* (1751 — 1825) (стор. 16) — відомий російський композитор. З 1779 року був

„директором вокальної музики і управителем придворної царської капели“. Автор багатьох церковних музичних творів і деяких світських опер („Алкід“, „Сокіл“ та ін.).

24. *Охочекомонное и охочепешее ополчение* (стор. 16) — ополчення, що складалося з добровільців — кавалеристів і піхотинців.

25. *На супротивного галла* (стор. 16) — проти французів і інших народностей, мобілізованих Наполеоном для походу на Росію.

26. *Зубастого французского зверя*... (стор. 17) — мова йде про Наполеона I, що був засланий на острів св. Єлени.

27. *А песен-то, песен каких восхитительных* (стор. 18).— Далі перераховуються сентиментальні пісні, що були в моді на початку XIX століття: „Стонет сизый голубочек“ (слова І. Дмітрієва), „Среди долины ровныя“ (слова Мерзлякова) і ін.

28. *Виргилиевы „Георгики“* (стор. 21) — поема про сільське господарство відомого римського поета Віргілія (70 — 19 рр. до н. е.), автора „Енеіди“.

29. *Биронов брат* (стор. 21) — брат временщика, за царювання Анни Іоанновни (1730 — 1740), німця Бірона — генерал російської армії Карл Бірон, про жорстокість і пиху якого під час квартирування його в Стародубі багато розповідає „История Русов“.

30. *„Украинский вестник“* (стор. 21) — журнал, що видавався з 1816 по 1819 р. у Харкові.

31. *Гулак-Артемовский, Петр Петрович* (1790 — 1865) (стор. 21) — український поет, відомий, між іншим, травестійними перекладами з римського поета Горація.

32. *Эллиниста и гебраиста* (стор. 22) — знавця мов грецької та давньоєврейської.

33. *Диоген наших дней* (стор. 23).— Діоген — давньогрецький філософ із школи кініків, що нехтували всякими вигодами і умовностями суспільного життя.

34. *Винегретных песен* (стор. 23) — мова віршів Сковороди становить суміш слов'янських, російських та українських елементів.

35. *Князь Шаховской А. А.* (стор. 23) — російський письменник початку XIX віку, автор п'єси „Казак - стихотворец" (1817), в якій дійові особи говорять ламаною українською мовою.

36. *В знамение взятия Азова* (стор. 23) — 1696 року російське військо, до складу якого входили і українські частини, здобуло у турків Азов.

37. *Матвеев* (стор. 24) — Матвеєв, Андрій Мойсейович (1701 — 1739) — російський художник - портретист.

38. *Ктитор храма* (стор. 24) — церковний староста.

39. *Про Даниловича* (стор. 24) — Олександра Даниловича Меншикова (1672 — 1729), сподвижника Петра І.

40. *Разрушенный Батурин* (стор. 24) — 1708 року російське військо під керівництвом Меншикова здобуло і зруйнувало столицю Мазепи Батурин.

41. „O mein lieber Augustin" (стор. 24) — „О мій любий Августін", німецька пісенька.

42. Gute Nacht (нім.) (стор. 25) — на добраніч.

43. *Кой - что из Шиллера* (стор. 26) — Шіллер, Фрідріх (1769— 1805) — славетний німецький поет.

44. *Коцебу, Август* (1761 — 1819) (стор. 26) — другорядний німецький письменник - драматург.

45. *После покровы* (стор. 26) — після 1 жовтня ст. ст.

46. *„Жизнь коротка, а наука вечна"* (стор. 26) — дещо змінені слова Мефістофеля з російського перекладу трагедії „Фауст" Гете (1749 — 1832), зробленого Е. Губером.

47. *Protégé* (фр.) (стор. 30) — той, кому покровительствують.

48. *На рамена* (слов.) (стор. 33) — на плечі.

49. *Тита Ливия* (стор. 35) — відомого давньоримського історика (59 р. до н. е.— 17 р. н. е.), автора великої праці про історію Рима. З неї збереглося 35 книг (частин).

50. *Феодальный дукат* (стор. 38) — герцог або інша „знатна" особа рицарського стану.

51. *Иеремия Вишневецкий-Корибут* (1612 — 1651) (стор. 39) — один з найбільших польських магнатів, власник майже всієї Полтавщини, відомий як особливо лютий ворог українського народу.

52. *Три шага* (стор. 39).— Шаг — дрібна грошова одиниця.

53. *Контракты* (стор. 39) — великий щорічний ярмарок.

54. *Знаменитый пьяница Радзивилл* (стор. 40) — Шевченко має на увазі князя Карла Станіслава Радзівілла (1734 — 1790), на прізвисько „пане коханку", який був одним з найбагатших литовсько-польських магнатів і вів розкішне і розпутне життя. Під час Барської конфедерації приєднався до неї, потім емігрував за кордон і, нарешті, з дозволу Катерини II повернувся до Росії.

55. *Козак-вельможа Трощинский, Дм. Прокоп.* (1754 — 1829) (стор. 40) — сенатор, міністр юстиції.

56. *„Казак-стихотворец"* (стор. 60) — водевіль князя Шаховского, А. А. (1777 — 1846), російського драматурга.

57. *„Малороссийская Сафо"* (стор. 60) — оповідання кн. Шаховского, головною дійовою особою якого є легендарна складальниця пісень Маруся Шурай.

58. *Бестолковые произведения Сковороды...* (стор. 60) — різкість відзиву Шевченка про Сковороду з'ясовується, по-перше, негативним ставленням Шевченка до плутаної, ідеалістично зафарбленої філософії Сковороди і, по-друге, боротьбою Шевченка за зближення української літературної мови з живою народною мовою, чому якраз на перешкоді стояли численні слов'янізми Сковороди (див. прим. 34).

59. *Великий грамматик наш Н. И. Греч* (1787—1867) (стор. 61) — журналіст і словесник, соратник відомого реакціонера Ф. Булгаріна. „Великим" Шевченко називає Греча іронічно.

60. *Козак Климовский* (стор. 61) — легендарний складач пісень у XVIII віці (йому приписується пісня „Їхав козак за Дунай"). Час його життя точно невідомий, так само, як і не доведена реальність його існування; його саме і виводить Шаховской в „Казаке-стихотворце".

61. *Ecce homo* (латин.) (стор. 63) — Ось людина!

62. *Вертоград* (слов.) (стор. 65) — сад.

63. *Эскулап* (стор. 67) — напівжартівливе прізвисько лікарів.

64. *Шулявщина* (стор. 69) — Шулявка, околиця Києва.

65. *Мажанди* (стор. 69) — Франсуа Мажанді (1783 — 1855), французький учений, фізіолог.

66. *Эстамп* (стор. 69) — тут репродукція.

67. *„Последний день Помпеи“* (стор. 69)—картина знаменитого російського художника К. П. Брюллова (тепер в Ленінградському Російському музеї), яка змальовує загибель міста Помпеї (біля Неаполя) під час вибуху вулкана Везувія у І ст. н. е. (в 79 р.).

68. *„Тень Наполеона на острове св. Елены“* (стор. 70) — лубочна картина.

69. *„Библиотека для чтения“* (стор. 70) — журнал, що видавався з 1838 по 1865 р. Редактором і головним критиком в ньому був О. І. Сенковський, який на догоду панівному класові називав М. В. Гоголя „брудним“ письменником.

70. *„Никлас — Медвежья Лапа“* (стор. 71) — роман другорядного письменника Р. М. Зотова „Никлас — Медвежья Лапа, атаман контрабандистов, или некоторые черты из жизни Фридриха II“.

71. *„Повесть о капитане Копейкине“* (стор. 72) — вставне оповідання в кінці першої частини „Мертвых душ“.

72. *Экзерцис - гауз* (стор. 73) — приміщення, де відбувалось навчання солдатів.

73. *„Сен - Жорж“* (стор. 74) — назва ресторану за ім'ям власника француза.

74. *Тальони, Мария* (1804 — 1884) (стор. 74) — італійська балетна артистка, що наприкінці 30 - х років з великим успіхом гастролювала в Петербурзі (про це докладніш див. у повісті „Художник“).

75. *Марцинкевич* (стор. 74) — хазяїн „увеселительного заведения“ — „Штучних мінеральних вод“ в Петербурзі з залою для танців.

76. *„Эда“ Баратынского* (стор. 75) — поема відомого російського поета Баратинського (1800 — 1844), подібно до „Кате-

рини“, поеми Шевченка, і „Сердешної Оксани“, повісті Квітки-Основ'яненка, малює сумну долю дівчини, спокушеної, а потім покинутої гусаром.

77. *Эллин* (стор. 75) — грек.

78. *Университет св. Владимира* (стор. 76) — так називався до Жовтневої революції київський університет.

79. *Щекавица* (стор. 79) — гора біля Києва і кладовище на цій горі.

80. *Оссиан* (стор. 80) — легендарний кельтський бард (співець), під ім'ям якого були видані в Англії в кінці XVIII століття Джемсом Макферсоном переробки зібраних ним народних пісень („Поеми Оссіана“), що мали великий успіх в Європі і в Росії.

81. *Мартын Пушкарь* (стор. 81) — полковник полтавський, один із помічників Богдана Хмельницького. В 1657 — 1658 рр. був одним з керівників боротьби українського народу проти гетьмана Виговського і вищої козацької старшини, що хотіли підкорити Україну шляхетській Польщі. Загинув у бою з військом Виговського в 1658 році під Полтавою.

82. *После бесчисленных якшиолов* (стор. 85) — якші-ол (киргиз.) — вигук на бенкеті, що означає — „хай живе“.

83. *У Ефрема Сирина или же у Иустина Философа* (стор. 89) — церковні письменники, перший — четвертого, другий — другого віку н. е.

84. *Татищева крепость* (стор. 93) — кріпость, під якою зазнало поразки військо Пугачова в 1774 році.

85. *„Капитанская дочка“* (стор. 93) — повість О. С. Пушкіна.

86. *Грозный Пугач* (стор. 93) — Пугачов, Ємельян, керівник повстання селян, козаків і народів Поволжя і Приуралля проти царизму в 1773 — 1775 рр.; страчений царським урядом в Москві 1775 року.

87. *Доннер-веттер* (нім.) (стор. 96) — чорт візьми.

88. *„Полтавская Муха“* (стор. 98) — очевидно, назва рукописного сатиричного журнала І. П. Котляревського, який до нас не дійшов.

89. *У „П. И. Выжигина“* (стор. 101) — „Петр Иванович Выжигин“ — роман Ф. Булгаріна, виданий в 1831 році.

90. *До „Четырех стран света“* (стор. 101) — так помилково називає Шевченко роман М. Некрасова і Станицького (Панаєвої) „Три страны света“ (1849).

91. *Подвысь!* (стор. 101) — підійми шлагбаум.

92. *Форштадт* (стор. 102) — передмістя.

93. *Конфирмация* (стор. 105) — затверджений судовий вирок.

94. *Титан Флаксмана* (стор. 106) — Джон Флаксман (1755 — 1826), англійський художник, що, між іншим, ілюстрував поеми „Іліаду“ і „Одіссею“ Гомера.

95. *„Содом и Гоморра“ Мартена* (стор. 110) — Джон Мартен (1789 — 1854), англійський художник, що любив у своїх картинах театральні ефекти. Содом і Гоморра — за біблійним переказом, міста, за гріхи їхніх жителів спалені небесним огнем.

96. *Кантонист* (стор. 117) — сини солдатів, які з дня народження прикріплялися до військового відомства і яких готували до військової служби в спеціальних нижчих військових школах, так званих школах кантоністів.

97. *Мурчисон* (стор. 117) — англійський геолог Родерік Мурчісон (1792 — 1871), автор роботи по геології Росії.

98. *„Письма из-за границы“ законодателя русского слова* (стор. 119) — „Письма русского путешественника“ Миколи Михайловича Карамзіна (1765 — 1826).

99. *„Письма из Финляндии“* (стор. 119) — твір російського поета Костянтина Миколайовича Батюшкова (1785 — 1855).

100. *Геродот* (стор. 121) — грецький історик V віку до н. е.

101. *Вандалы* (стор. 121) — варвари, руїнники.

102. *Вития* (стор. 122) — оратор, промовець.

103. *Киевский Патерик* (стор. 125) — збірка легенд про київських „святих“, так званий „Києво-печерський Патерик“, складений ще в XIII столітті, багато разів перероблений і доповнений пізніш. „Юный отрок князя Бориса“, очевидно, Моїсей Угрин, про непохитну цнотливість якого розповідає легенда „Патерика“.

104. *Óдин* (стор. 130) — скандінавське божество, бог війни.

105. *Аккорды Гайдна* (стор. 130) — Йосиф Гайдн (1732 — 1809) — відомий німецький композитор.

106. *„Отечественные Записки“* (стор. 137) — літературний журнал, що виходив з 1820 по 1884 рік.

107. *„Давид Копперфильд“* (стор. 137) — відомий роман англійського письменника Чарльза Діккенса (1812 — 1870).

108. *„Современник“* (стор. 138) — літературний журнал, що був заснований в 1836 році О. С. Пушкіним. Перейшов у 1847 році до Некрасова і Панаєва, а з 1856 року редагувався і М. Г. Чернишевським за найближчою участю М. Добролюбова.

ХУДОЖНИК

109. *Торвальдсен, Бертель* (1770 — 1844) (стор. 147) — відомий данський скульптор.

110. *Тритоны* (стор. 147) — казкові морські істоти з тулубом людини і риб'ячим хвостом.

111. *Остаде, Адриан, ван* (1610 — 1685) (стор. 147) — голландський художник - реаліст.

112. *Бергем* (1620 — 1683) (стор. 147) — голландський художник.

113. *Теньер, Давид* (1582 — 1649) (стор. 147) — якого називали „старшим“ на відміну від „Теньера молодшого“, сина (1610 — 1694) — фламандські художники, відомі реалістичними картинами з народного побуту.

114. *Рубенс, Петер Пауль* (1577 — 1640) (стор. 147) — знаменитий фламандський художник, автор портретів, картин на міфологічні та релігійні теми, відомих силою свого реалізму.

115. *Ван - Дейк, Антон* (1599 — 1641) (стор. 147) — після Рубенса найвидатніший художник (портретист) фламандської школи.

116. *Вазари, Джорджо* (1512 — 1574) (стор. 147) — італійський художник і учений, автор книги „Життєписи знаменитих художників, скульпторів та архітекторів“.

117. *Наместников св. Петра* (стор. 147) — римських пап.

118. *Еретическая наука Виклефа и Гуса* (стор. 147).— Джон Віклеф, англієць (XIV ст.) и Іван Гус, чех (XIV — XV ст.) — церковні реформатори, противники католицької церкви. І. Гуса (спаленого в 1415 р. католиками на вогнищі) Шевченко зробив героєм поеми „Єретик“ („Іван Гус“), змалювавши Гуса як борця за національну незалежність Чехії від німців і за свободу думки.

119. *Лютер* (1483 — 1546) (стор. 147) — німецький церковний реформатор, до свого розриву з католицькою церквою був чернецем (католицької чернецької організації домініканців).

120. *Лев X и Юлий II* (стор. 147) (у Шевченка помилково Леон II) — римські папи, які витрачали свої величезні прибутки на будівлі і картини відомих художників XVI ст.

121. *Корреджио, Антонио Аллегри* (1494 — 1534) (стор. 147) — італійський художник.

122. *Доменико Цампиери* (1581 — 1641) (стор. 147), також Доменикино — часто згадуваний у Шевченка італійський художник. Його картину „Євангеліст Іоанн“ скопіював учитель Шевченка К. П. Брюллов; гравюру з цієї картини виконав гравер Міллер.

123. *Щедрин, Сильвестр* (стор. 148) — російський художник XIX ст., відомий, між іншим, пейзажними краєвидами різних місць Італії (Портічі — місто в Італії, поблизу Неаполя і Везувія).

124. *Сатурн* (стор. 149) — в римській міфології один з найстарших богів; боячись замаху на свою владу з боку власних дітей, він поглинав їх живими.

125. *Михайловский замок* (стор. 149) — один з петербурзьких палаців, де жив і був задушений змовниками в 1801 році імператор Павло I.

126. *Комнатный живописец Ширяев* (стор. 149) — хазяїн артілі живописців - альфрейщиків, в якій працював і сам Шевченко.

127. *Аполлон Бельведерский* (стор. 150) — антична статуя бога Аполлона, яка вважалась найдосконалішим зразком чоловічої краси.

128. *Трактирный гарсон* (стор. 151) — офіціант.

129. *Веласкес, Диего* (1599 — 1660) (стор. 152) — знаменитий іспанський художник. Його картина „Старик“ знаходилась в 30-х роках в галереї картин, що належала графу Строганову.

130. *Фраклит и Гераклит* (стор. 152) — статуї, назви яких Шевченко приводить по пам'яті. Друга, можливо, зображала грецького філософа Геракліта; кого саме зображала перша — невідомо, тому що грецького імени Фракліт нема. Можна гадати, що перший — Демокріт, філософ, якого часто протиставляють Гераклітові: Демокріт, за традицією, „сміється“, Геракліт — „сумує“.

131. *„Никлас Никльби“* (стор. 153) — роман англійського письменника Чарльза Діккенса (1812 — 1870), що показує англійську школу 30-х років XIX ст. та її бездушних педагогів.

132. *Пименов, Николай Степанович* (1812 — 1864) (стор. 153) — вихованець Академії мистецтв, скульптор.

133. *Венецианов, Алексей Гаврилович* (1780—1847) (стор. 154) — художник; один з перших давав в своїх картинах сцени з життя російського селянства.

134. *Слюджинский, Франциск* (стор. 154) — гравер. Завьялов, Федор Семенович (1810 — 1856) — художник, вихованець Академії мистецтв; згадувана його робота — малюнок статуї давньогрецького казкового героя Геркулеса (тип атлета). Статуя ця знаходиться у Фарнезькому палаці в Римі (звідси — Фарнезький).

135. *Лосенко, Антон Павлович* (1737 — 1773) (стор. 154) — художник (українець з походження), один з перших вихованців Академії мистецтв.

136. *Кавос* (стор. 155) — архітектор, будівник імператорських театрів.

137. *Одран* (стор. 154) — прізвище декількох французьких граверів по міді (з XVI по XVIII ст.).

138. *Вольпато, Джованни* (стор. 154) — італійський гравер XVIII ст.

139. *„Путешествие Анахарсиса Младшего“* (стор. 154) — твір французького археолога Бартелемі (видано 1788 р. і потім перекладено на російську мову), в якому в белетристичній формі

дано опис старогрецького життя і культури V ст. до нової ери разом з відомостями про мистецтво цієї епохи.

140. *Карл Великий* (стор. 156) — згадуваний уже вище Карл Павлович Брюллов (1792 — 1852), близький знайомий і друг відомого поета Василя Андрійовича Жуковського (1783 — 1852); обидва брали найближчу участь у викупі Шевченка з кріпацької неволі. Жуковському на спомин цього („На спомин 22 квітня 1838 року“) присвячена поема „Катерина“.

141. *Качуча* (стор. 157) — іспанський народний танець.

142. *„Хитана“* (стор. 157) — „Циганка“, назва балету.

143. *Пальмира* (стор. 157) — столиця одного стародавнього царства в Сірії. В 20 — 30-х роках XIX ст. і поети і прозаїки нерідко називали російську столицю Петербург „Північною Пальмірою“.

144. *Коломенский чиновник* (стор. 157) — з Коломни, однієї з околиць Петербурга (пор. у Пушкіна про дрібного чиновника Євгенія — „живет в Коломне, где-то служит“ ...).

145. *Болезнь св. Витта* (стор. 157) — нервове посмикування тіла.

146. *Амфитрион* (стор. 157) — особа з давньогрецької міфології; тут вжито в розумінні — „гостинний хазяїн“.

147. *Губер, Эдуард Карлович* (1814 — 1847) (стор. 157) — поет, перший перекладач трагедії великого німецького поета Гете — „Фауст“ на російську мову. Служив військовим інженером шляхів сполучення.

148. *Меркурий* (стор. 158) — в давньоримській міфології бог, який провіщає волю верховного бога Юпітера іншим богам і героям; тут, в переносному розумінні, посланець, вісник.

149. *Барбаризм* (стор. 158) — варварство.

150. *Маска Лаокоона* (стор. 158) — малюнок голови Лаокоона, з відомої античної статуї, яка зображає жерця Лаокоона і двох його синів, яких удушують змії.

151. *Слепок Микель-Анджело* (стор. 158) — гіпсовий зліпок якоїнебудь скульптури великого італійського художника епохи Відродження — Мікель-Анджело Буонаротті.

152. *Виельгорский, Михаил Юрьевич, граф* (1787—1856) (стор. 159) — відомий в той час в Петербурзі аматор мистецтва, який і сам займався музикою.

153. *Терпсихора* (стор. 160) — в античній міфології муза, покровительниця мистецтва танців. Очевидно, Шевченко мав на увазі „Циганку" Губера, який змальовував Тальйоні в балеті „Хітана".

154. *Кукольник, Нестор Васильевич* (1809—1868) (стор. 160) — недовговічна знаменитість російської літератури 30-х років, драматург і белетрист, що писав також статті про художників.

155. *Стофатто* (стор. 161) — м'ясне блюдо (штуфат).

156. *Лакрима-кристи* (стор. 161) — італійське червоне вино.

157. *Плафон* (стор. 161) — розписана стеля.

158. *Увертюра* (стор. 161) — музичний вступ до опери або до балету.

159. *Da capo* (стор. 161) — по-італійськи „давай спочатку"; те ж саме, що і „bis".

160. *Антиной* (стор. 162) — вродливий юнак, якого не раз зображали античні скульптори II ст.

161. *Люций Вер* (стор. 162) — соправитель римського імператора Марка Авреліл (II ст.).

162. *Канова, Антонио* (1752—1822) (стор. 162) — італійський скульптор.

163. *„Страшный суд"* (стор. 163) — велика фреска (стінна картина) Мікель-Анджело в одній з церков Рима.

164. *Рафаэль Санцио* (1483—1520) (стор. 163) — знаменитий італійський художник епохи Відродження, який, крім картин на полотні, створив ще ряд стінних картин (фресок) в Ватікані, палаці римських пап.

165. *Бельведерский торс* (стор. 163) — частина статуї, яка зображає Геркулеса, що відпочиває.

166. *Рисунок Германика и отдыхающего фавна* (стор. 163) — рисунок з гіпсових копій античних статуй, які зображають римського полководця Германіка (I ст.) і фавна (лісовика і польовика).

167. *Свинья в торжковских туфлях* (стор. 164) — зроблених в місті Торжку, колишньої Тверської губернії, який славився сап'яновими та оксамитовими виробами. „Свинья“ — поміщик Шевченка — Павло Васильович Енгельгардт.

168. *Владиславлев, И. В.* (стор. 164) — видавець альманахів (збірників прози та віршів) „Утренняя Зоря“, прикрашених гравюрами на сталі з картин та рисунків відомих художників.

169. *Озеров, Владислав Александрович* (1769–1816) (стор. 166)— драматург, автор декількох трагедій; одна з них — на античну тему — „Едіп в Афінах“. В числі її дійових осіб — нещасний старик, вигнанець Едіп, його дочка Антігона і син Полінік.

170. *Вольпато, Пуссен, Одран* (стор. 166).— Пуссен — французький живописець XVIII ст. Вольпато і Одран–див. прим. 137 і 138.

171. *„История древней Греции“ Гилиса* (стор. 166) — твір Джона Джільса, що вийшов французькою мовою у п'яти томах в 1786 році.

172. *Опять обращуся к Аглицкому клубу* (стор. 168).— Англійський клуб — назва ресторану, при якому були зали для гри в карти.

173. *Мокрицкий, Аполлон Николаевич* (1811—1871) (стор. 168)— художник, учень Брюллова, товариш Шевченка; залишив цінні для біографії Шевченка спогади. Прізвисько Бельведерський, очевидно, дано йому жартома через ім'я Аполлон.

174. *Шиллер, Фридрих* (1759 — 1805) (стор. 168) — знаменитий німецький поет, автор драми „Розбійники“ і ряду інших драм та трагедій.

175. *Клодт, Петр Карлович, барон* (1805 — 1867) (стор. 168) — скульптор, професор Академії мистецтв.

176. *Заурвейд, Александр Иванович* (1782 — 1844) (стор. 168) — професор Академії мистецтв, автор картин на воєнні теми (т. зв. баталіст).

177. *Басин, Петр Васильевич* (1793 — 1877) (стор. 168) — художник, професор Академії мистецтв.

178. *Григорович, Василий Иванович* (1786 — 1865) (стор. 169) — конференц - секретар Академії мистецтв і Товариства заохочення художників; брав близьку участь у викупі Шевченка з неволі. Шевченко присвятив йому свою поему „Гайдамаки“.

179. *Повешенного Аполлоном Мидаса* (стор. 170) — Мідаса замість Марсія, з яким Аполлон за давньогрецьким міфом вступив в музичне змагання і, перемігши його, скарав за те, що Марсій насмілився змагатися з ним, богом музики.

180. *Петровский, Петр Степанович* (1814 — 1842) (стор. 172) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка по Академії мистецтв.

181. *Ни у Дюме, ни у Сен-Жоржа* (стор. 173) — імена відомих в Петербурзі 30-х років ресторaторів.

182. *Фокс* (стор. 173) — виноторговець.

183. *Бутылка Медока* (стор. 173) — французького вина.

184. *Корнелиус, Петер* (1787 — 1867) (стор. 176) — німецький художник т. зв. „назарейської школи", автор картин і малюнків релігійного змісту, зроблених в сухому ідеалістичному стилі. В щоденнику (запис 10/VII 1857 р.) Шевченко розповідає, як йому та його товаришам не подобались малюнки Корнеліуса і інших німецьких художників, привезені Жуковським зза кордону.

185. *Гессе, Петер* (1792 — 1871) (стор. 176) — німецький художник ідеологічного напрямку, один з представників т. зв. „мюнхенської школи".

186. *Кленц, Валгалла, Пинакотека* (стор. 176). — Мова йде про т. зв. „мюнхенську школу" німецького мистецтва XIX ст. *Кленце, Лео* (1784 — 1864), архітектор, на замовлення баварського короля Людвіга I спорудив на березі Дуная, поблизу Регенсбурга, Валгаллу — круглий будинок з мрамора, названий так по спогадам про старонімецьку міфологію (Валгаллою називається місце, де після смерті нібито живуть душі витязів, що загинули з славою в бою). Пінакотека — картинна галерея в Мюнхені.

187. *„Перспектива" Дюрера* (стор. 177) — Дюрер Альбрехт (1471 — 1528) — славетний німецький художник, живописець, гравер, був також автором теоретичних праць, з яких найбільш відомі „Чотири книги про людські пропорції" (1528) і „Підручник до вимірювання" (або „Перспектива", про яку і згадує Шевченко).

188. *Сфинксы* (стор. 180) — на набережній Неви біля Академії мистецтв поставлені були в 1834 році два кам'яні сфінкси, привезені з Єгіпта.

189. *„Дети, овсяный кисель на столе"* (стор. 181)— початок перекладеного Жуковським з німецького поета Гебеля вірша „Вівсяний кисіль".

190. *Всемирная столица, увенчанная куполом Буонаротти* (стор. 184) — Рим, куди в той час командирували для удосконалення кращих вихованців Академії мистецтв після закінчення ними курсу. Купол Буонароттi — купол собора Петра в Римі, побудований за проектом Мікель - Анджело Буонароттi.

191. *Штернберг, Василий Иванович* (1818 — 1845) (стор. 184) — художник, один з найближчих товаришів Шевченка.

192. *Михайлов, Григорий Карпович* (1814 — 1867) (стор. 185) — художник, учень Брюллова, товариш Шевченка.

193. *Пуссен, Николай* (1593 — 1665) (стор. 186) — французький художник.

194. *Просто суздальщина* (стор. 186) — в розумінні: грубий ремісницький виріб; в м. Суздалі, кол. Володимирської губернії, працювали іконописці - ремісники.

195. *Дациаро* (стор. 186) — магазин художніх виробів на Невському в Петербурзі.

196. *Приторные красавицы Греведона* (стор. 186) — Греведон, П'єр (1776 — 1860) — французький художник і літограф.

197. *Смирдин, Александр Филиппович* (1795—1857) (стор. 187)— книгопродавець і видавець; видавав ілюстрований збірник „Сто русских литераторов", який перервався на третьому томі.

198. *Вальтер Скотт* (1771 — 1832) (стор. 187) — англійський письменник, автор історичних романів, один з улюблених письменників Шевченка.

199. *Мишо, Жозеф Франсуа* (1767 — 1839) (стор. 187) — французький історик.

200. *Петр Пустынник* (стор. 187) — чернець, якому приписують керівну участь в організації першого „Хрестового походу" (походу європейських феодалів на Схід для завоювання в арабів Палестіни).

201. *Брянский, Яков Григорьевич* (1795 — 1853) (стор. 188) — драматичний артист.

202. *Каратыгин, Василий Андреевич* (1802 — 1853) (стор. 188) — славнозвісний артист - трагік.

203. *„Тридцать лет, или жизнь игрока“* (стор. 188) — п'єса французьких письменників Дюканжа і Деннері.

204. *Элькан, Александр Львович* (1819 — 1869) (стор. 189) — театральний критик і фейлетоніст 30 — 60 рр., широко відома у Петербурзі тих часів особа, яку порівнювали з Загорецьким („Горе от ума“ Грібоєдова) і Хлестаковим Гоголя. „Вездесущего“ і „всеведущего“ Елькана Шевченко не раз згадує і в щоденнику і в листах до знайомих і друзів, ставлячись до нього іронічно.

205. *„Заколдованный дом“* (стор. 191) — п'єса німецького драматурга Ауфенберга, перекладена П. Ободовським. Роль короля Людовіка XI в ній грав трагік Каратигін.

206. *Чернецовы*, братья — Григорий (1801 — 1865) и Никанор (1804 — 1879) Григорьевичи (стор. 192) — художники - пейзажисти і побутовики. Брюллов, як видно з повісті, ставився до них негативно.

207. *„Роберт“, „Фенелла“* (стор. 192) — опера „Роберт - Диявол“ Мейєрбера і „Фенелла“ — Обера (французьких композиторів). Обидві були новинками в 30 - х роках.

208. *„Вудсток“* (стор. 193) — роман Вальтера Скотта (див. прим. 198) з історії англійської буржуазної революції XVIII ст.

209. *Поль Деларош* (1797 — 1856) (стор. 193) — французький художник.

210. *Тарновские* (стор. 194) — сім'я українських поміщиків.

211. *Квинтет Бетховена, соната Моцарта* (стор. 194) — квінтет і соната — форми музичних творів; Бетховен (1770 — 1827) і Моцарт (1759 — 1791) — великі німецькі композитори.

212. *Бем, Иосиф* (1785 — 1876) (стор. 194) — відомий в той час скрипач.

213. *Кастор и Поллукс* (стор. 195) — в античній міфології брати - близнюки; імена, що стали назовними для визначення вірної дружби.

214. *Соколов, Петр Федорович* (1791 — 1847) (стор. 195) — художник, відомий своїми портретами, зробленими акварелллю.

215. *Гау, Владимир Иванович* (1816 — 1895) (стор. 195) — портретист - аквареліст.

216. *Гиббон, Эдуард* (1737 — 1794) (стор. 196) — англійський історик, один з „просвітителів“ XVIII ст., автор великої праці „Історія занепаду і руйнації Римської імперії“ (в 1824 р. вийшло скорочене видання в перекладі на російську мову).

217. *Бутылка Клико* (стор. 197) — французьке шампанське, назване так за ім'ям власниці винних складів.

218. „*Квентин Дорвард*“ (стор. 197) — роман Вальтера Скотта (див. прим. 198) з французької історії XIV ст.

219. *Каватина из „Нормы*“ (стор. 198) — арія з опери „Норма“ італійського композитора Белліні.

220. *Кипренский, Орест Адамович* (1783 — 1836) (стор. 198) — відомий художник - портретист, автор часто репродуковуваного портрета Пушкіна з схрещеними на грудях руками і статуеткою музи на фоні.

221. *Денди* (англ.) (стор. 198) —світська людина, витончений чепурун.

222. *Даль, Владимир Иванович* (1801 — 1872) (стор. 199) — белетрист, згодом упорядчик відомого „Толкового словаря живого великорусского языка“.

223. *Мартен, Джон* (1789 — 1854) (стор. 200) — англійський живописець і гравер.

224. *Голицын, Александр Николаевич* (стор. 205) — князь, державний діяч — міністр епохи Олександра I і Миколи I.

225. *Прянишников, Федор Иванович* (стор. 205) — художник.

226. *Рамазанов, Николай Александрович* (1815 — 1867) і *Ставассер, Петр Андреевич* (1816 — 1850) (стор. 206) — художники - скульптори.

227. *Поль де Кок* (1794 — 1871) (стор. 210) — французький романіст, твори якого, що змальовували з комічними відтінками середню та дрібну французьку буржуазію першої половини XIX ст., були дуже популярні в Росії.

228. *„Векфильдский священник“* (стор. 212) — сентиментально-моралістичний, але жваво написаний, з гумором, роман англійського письменника Гольдсміта (1728 — 1774).

229. *Пинетти* (стор. 215) — фокусник-трансформатор.

230. *Андромаха над телом Патрокла* (стор. 216)— Андромаха в давньогрецькій поемі „Іліада“— дружина троянського царевича Гектора, забитого Ахіллесом, одним з вождів грецького війська, що облягло Трою. Шевченко помилково замість імени Гектора поставив ім'я Патрокла.

231. *Овидиево превращение* (стор. 217) — жартівливий натяк на поему римського поета Овідія Назона (помер в І ст.)— „Метаморфози“, де розповідаються міфи про чудесне перетворення людей.

232. *Айвазовский, Иван Константинович* (1817 — 1900) (стор. 219) — відомий художник, який уславив себе морськими пейзажами.

233. *Кольман, Карл Иванович* (1786—1847) (стор. 220) — живописець-аквареліст, що змальовував міські вуличні сцени і селянський побут.

234. *Как тени у Харонова перевоза* (стор. 222) — Харон в античній міфології—перевізник тіней померлих через підземну річку Ахеронт в загробне царство.

235. *Своего идола Лелевеля* (стор. 223)—Лелевель Іоахім (1785—1861), польський історик, активний учасник польського повстання 1830 року.

236. *Вашингтон, Ирвинг* (1783 — 1859) (стор. 224) — американський письменник; серед інших книжок відомий „Життям Христофора Колумба“ (відомого мореплавця, що відкрив Америку в 1492 році).

237. *„Афинский вечер“* (стор. 224) — малюнок Брюллова, змальовує Елладу (стародавню Грецію) V ст. до н. е. та її культурний центр Афіни. Парфенон — храм богині Афіни-Паллади в Афінській фортеці; Фідій — славнозвісний скульптор, який робив статуї з золота і срібла; Перікл — державний діяч, Аспазія — його подруга, відома своїм розумом і красою; Ксантіппа — сварлива дружина філософа Сократа. З цим малюнком Шевченко зіставляє „Афінську школу“— фреску (стінну картину) Рафаеля у Ватікані.

238. *Хор ноблей из „Гугенотов“* (стор. 226) — опери Мейербера (1791 — 1864) — улюбленої опери Шевченка.

239. *„Осада Пскова“* (стор. 226) — незакінчена картина Брюллова на історичну тему — облога міста Пскова польсько - литовськими військами Стефана Баторія в 1581 — 1582 рр.

240. *„Кларисса“* (стор. 227) — роман в листах англійського письменника XVIII ст. Самуеля Річардсона, представника сентиментального реалізму, скорочено перекладений французькою мовою в XIX ст. Жюлем Жаненом.

241. *Грез, Жан Батист* (1726 — 1805) (стор. 228)—французький художник.

242. *Настоящая Геба* (стор. 228) — в античній міфології Геба — богиня молодості і краси, прислужниця богів.

243. *На Тучегонителя* (стор. 228) — античного бога „батька богів та людей“ - Юпітера Зевса, владаря грому й блискавки.

244. *Весталка* (стор. 231) — жриця римської богині Вести.

245. *„Робинзон Крузо“* (стор. 232) — відомий роман англійського письменника Даніеля Дефо (1661 — 1731).

246. *Араго* (1790 — 1855) і *Дюмон - Дюрвиль* (1790 — 1842) (стор. 232) — французькі кругосвітні мандрівники, що залишили описи своїх подорожей.

247. *Плутарх* (стор. 232) — грецький письменник I ст., особливо відомий складеними ним паралельними біографіями грецьких та римських славетних діячів; в перекладах на нові мови ці біографії дістали широку славу в Європі.

248. *Веселый бог Бахус* (стор. 234) — в античній міфології бог вина і виноробства.

249. *Факелом Гименея* (стор. 235) — шлюбом. Гіменей — античний бог шлюбу.

250. *Верне, Гюден, Штейбен* (стор. 237) — художники; Орас Верне (1789 — 1863) — автор картин на воєнні теми; Теодор Гюден (1802 — 1880) — автор морських пейзажів. Карл Штейбен (1788 — 1856) — живописець на історичні теми.

251. *Аполлон и девять его сестер* (стор. 237) — Аполлон — античний бог сонця, покровитель поетів і взагалі діячів мистецтва. Сестрами його Шевченко називає муз, яких стародавні люди вважали покровителями окремих мистецтв — поезії, танцю, трагедії, комедії і т. д.

252. *Вечный город* (стор. 239) — Рим.

253. *Дюпати* (1746 — 1788) (стор. 239) — французький письменник, автор „Листів про Італію 1785 р.“.

254. *Пиранези, Джованни Батиста* (1720 — 1778) (стор. 239) — італійський архітектор, автор гравюр, де зображуються стародавні пам'ятники Рима.

255. *Иванов, Александр Андреевич* (1806 — 1858) (стор. 239) — відомий художник, що багато років працював в Італії над картиною „Явление Христа народу“.

256. *Понтийские болота* (стор. 239) — в Італії, в околицях Рима.

257. *Великан Колизей* (стор. 239) — величезний цирк стародавнього Рима (на 80 тис. глядачів).

258. *Эскулап* (стор. 239) — напівжартівливе прізвисько лікарів.

259. *Иосиф толкует сны* (стор. 242) — картина, очевидно, змальовувала б легендарного біблійного героя Іосифа в темниці, який вдало поясняє сни двох ув'язнених разом з ним царедворців єгіпетського фараона (царя) — придворного виночерпія і придворного хлібодара.

260. *„Метафизик“* (стор. 242) — байка Івана Івановича Хемніцера (1745 — 1784), яка висміювала любителів пофілософствувати з усякого приводу і навіть тоді, коли потрібно не розмірковувати, а діяти.

261. *Мицкевич, Адам* (1798 — 1855) (стор. 246) — знаменитий польський поет.

262. *Mort anno 18...* (лат.) (стор. 247) — помер в році 18...

263. *Либельт, Кароль* (1807 — 1875) (стор. 248) — польський філософ і теоретик мистецтва. Його „Эстетику“ Шевченко читав в останній рік заслання (див. „Щоденник“).

264. *Эльдорадо* (стор. 253) — казкова країна золота в іспанських легендах і казках; в переносному значенні — земний рай.

265. *Читаю в „Пчеле“* (стор. 255) — в „Северной Пчеле“, щоденній петербурзькій газеті, редактором якої був реакційний журналіст і письменник Фаддей Булгарін.

266. *Тыранов, Алексей Васильевич* (1801 — 1859) (стор. 256) — художник, учень Брюллова, згодом від невдалої любові покінчив життя самогубством.

267. *Старый Сатурн* (стор. 258) — час (образ з античної міфології).

268. *На остров Мадеру* (стор. 260) — острів в групі Канарських островів в Атлантичному океані, кліматична станція для хворих на легені і серце.

269. *Квартира на седьмой версте* (стор. 260) — лікарня для душевнохворих, на сьомій версті від Петербурга.

270. *Римлянин с рисунка Пинелли* (стор. 261) — може бути, Пінеллі Доменіка, італійського художника (1460 — 1530).

271. *Незабвенный Карл Великий уже умирал в Риме* (стор. 262) — з острова Мадери, відчувши себе краще, Брюллов переїхав в Рим, але тут стан його серця різко погіршав, і 12 листопада 1852 року він помер.

ПРОГУЛКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ И НЕ БЕЗ МОРАЛИ

272. *Аксаков, Сергей Тимофеевич* (1791 — 1859) (стор. 265) — відомий російський письменник, автор „Семейной хроники“, „Детских лет Багрова-внука“, сучасник Шевченка; він дуже тепло ставився до поета.

273. *Штафирка* (стор. 267) — презирлива назва, яку військові давали цивільним людям.

274. *Фламандская живопись* (стор. 267) — мистецтво, однією з рис якого було те, що воно змальовувало подробиці побуту.

275. *Падура, Тимко* (1801 — 1871) (стор. 268) — польський поет, представник українофільської течії в польській літературі першої половини XIX століття; писав вірші українською мовою.

276. *Знаменитый лорд Байрон* (стор. 269) — англійський поет, що наприкінці життя брав участь у війні греків з турками за національне визволення. Як розповідають біографи, Байрон написав своє прізвище на стіні Шильйонського замку в Швейцарії.

277. *Скальковский врет...* (стор. 269) — Скальковський, А. С. (1808 — 1894) — історик, автор „Истории нового коша“, точніше — „Истории Новой Сечи и последнего коша Запорожского“ (Одеса, 1846). Проти реакційних поглядів Скальковського на гайдамацький рух Шевченко виступав у поезії „Холодний Яр“.

278. *Пан Твардовский* (стор. 270) — герой польських народних казок, що продав душу чортові, а потім давав йому різні доручення, які важко було виконати.

279. *„Морской Сборник“* (стор. 272) — офіціальне видання морського міністерства, що виходило в Петербурзі з 1848 року.

280. *Морфей* (стор. 275) — бог сну в античній міфології.

281. *Берлин, или дормез* (стор. 277) — велика закрита карета, в якій могло вміститися ціле сімейство.

282. *Пышной Растреллиевской или Тоновской византийской архитектуры...* (стор. 282) — Растреллі, Варфоломей (1700 — 1777) — архітектор - італієць, що збудував багато чудових будинків у Петербурзі і Москві у XVIII столітті. Тон, Константин Андрійович (1794 — 1881) — архітектор, професор Академії мистецтв, який збудував ряд церков та палаців у стилі, що невдало був підроблений під стародавнє російське зодчество.

283. *„Опытная хозяйка“* (стор. 284) — посібник для домашніх господарок.

284. *Кернер, Карл Теодор* (1791 — 1813) (стор. 285) — німецький поет, автор перекладеної російською мовою в 30 - х роках героїчної трагедії „Ціріні“, учасник війни за звільнення Німеччини від французів у 1813 р.

285. *Маркграфиня* (стор. 285) — велика землевласниця - аристократка.

286. *Времена Гутенберга* (стор. 285) — часи винахідника друкування книг Йоганна Гутенберга (1397 — 1468).

287. *Ремонтер* (стор. 286) — офіцер в царській армії; уповноважений закуповувати коней для кавалерії.

288. *Лафатер, Иоганн* (1741 — 1801) (стор. 286) — німецький письменник, представник „френології" (черепознавства) — псевдонауки, що намагалась визначати характер і нахили людини по будові її черепа.

289. *Илья Муромец* (стор. 286) — за билинним оповіданням богатир Ілля Муромець, перше ніж піти на подвиги, сидів сиднем тридцять і три роки.

290. *Калам, А.* (1810 — 1864) (стор. 290) — швейцарський художник - пейзажист.

291. *Михайло Хмиль* (стор. 292) — батько Богдана Хмельницького, загинув у бою з турецько - татарським військом у 1620 році.

292. *Сицилийская вечерня* (стор. 292) — повстання проти французів - окупантів Сіцілії в 1282 р.

293. *Максим Железняк в 1768 году* (стор. 292) — Максим Залізняк, керівник повстання українського народу проти польських панів в 1768 р., відомого під назвою коліївщини. Військо Максима Залізняка згодом з'єдналося з загонами іншого керівника повстання — М. Гонти. З допомогою царського війська польська шляхта придушила повстання і жорстоко розправилась з його учасниками. Залізняк після екзекуції був висланий у Сибір. Шевченко відобразив коліївщину у своїй поемі „Гайдамаки".

294. *Варфоломеевская ночь* (стор. 292) — різня протестантів - гугенотів, прихильників реформації у Франції, влаштована католиками у Парижі в ніч проти 23 — 24 серпня 1572 р.

295. *Медичи, Екатерина* (1519—1589) (стор. 292)—французька королева - католичка, мати короля Карла IX, натхненниця Варфоломіївської ночі.

296. *Чацкий* (стор. 293) — головний герой п'єси Грібоєдова „Горе от ума".

297. *Силистрия* (стор. 296) — місто на Дунаї в Болгарії.

298. *Вольтер (Франсуа Аруэ)* (1699 — 1778) (стор. 296) — славетний французький письменник, філософ та історик.

299. *Лукулл, Луций Лициний* (115 — 57 до н. е.) (стор. 298) — римлянин, що вів розкішне життя і відзначався надзвичайною ненажерливістю.

300. *Джон - Буль* (стор. 300) — жартівливе прізвисько типового англійця.

301. *Гомерический обед* (стор. 300) — в розумінні розкішний, колосальний.

302. *Дон - Жуан* (стор. 300) — тип чоловіка, основний зміст життя якого — кохання до жінок. Образ Дон - Жуана дуже поширений в світовій літературі (твори Мольєра, Пушкіна, Байрона, Лесі Українки та ін.).

303. *Рембрандтова картина* (стор. 305) — подібна до картини Рембрандта (1600 — 1669) — славетного голландського живописця, майстра світлотіні.

304. *Рапсодии Хиосского слепца* (стор. 310)—пісні Гомерових поем.

305. *Гнедич, Николай Иванович* (1784 — 1833) (стор. 311) — російський поет, перекладач „Іліади“ Гомера.

306. *Гомер* (стор. 311) — гаданий автор стародавніх грецьких епопей „Іліада“ і „Одіссея“.

307. *Содом и гомор* (стор. 313) — Содом и Гоморра, за переказами, стародавні міста в Палестині, нібито знищені небесним огнем за розпусту. На місці знищених міст утворилось Мертве море. Тут в розумінні метушня.

308. *Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал* (стор. 315) — із „Євгенія Онєгіна“ О. С. Пушкіна, гл. VIII, розділ LI.

309. *Чичероне* (стор. 317) — провідник.

310. *Кипсек* (стор. 317) — розкішне видання, прикрашене багатьма гарними малюнками, або видання, що складається з самих гравюр.

311. *Мужичков под пресс кладет вместе с свекловицей* (стор. 318) — з поезії „Современная песня“ поета Дениса Давидова (1784 — 1839), старшого сучасника Пушкіна.

312. *Гвидо Рени* (1475 — 1642) (стор. 322) — славетний італійський художник.

313. *Фея* (стор. 322) — в народних оповіданнях Західної Європи фантастична істота — жінка, що має чарівну силу.

314. *Нимфы* (стор. 322) — в грецькій міфології жіночі божества, в яких уособлювано сили природи.

315. *Рюисдаль, Яков* (1628 — 1682) (стор. 324) — голландський художник і гравер, славетний пейзажист.

316. *Жерар Доу* (1613 — 1675) (стор. 327) — голландський художник.

317. *Каналетти* (*Беллотто*) *Бернардо* (1720—1780) (стор. 331)— італійський художник, відомий своїми краєвидами Венеції.

318. *Орион* (стор. 332) — міфічний грецький мисливець, його ім'ям названо сузір'я.

319. *„Москаль - чаривнык“* (стор. 332) — п'єса українського письменника І. П. Котляревського.

320. *Отелло* (стор. 333) — головний герой з п'єси під такою ж назвою великого англійського драматурга Шекспіра.

321. *Шварц, Бертольд* (стор. 334) — католицький монах, який, за переказами, близько 1320 року винайшов порох.

322. *Сатир* (стор. 334) — в грецькій міфології лісове божество з цапиними рогами та ногами.

323. *Мстислав Удалой* (помер в 1036 р.) (стор. 342) — Мстіслав Володимирович, тьмутараканський князь. В 1024 році боровся з своїм братом Ярославом Володимировичем Мудрим (1019 — 1054) — князем київським; після битви під Лиственом брати помирилися і поділили державу, розмежувавши свої володіння Дніпром. Ярослав одержав західну, Мстислав — східну частину.

324. *Веста* (стор. 343) — римська богиня жертовного вогню і домашнього вогнища.

325. *А - ля ротонда Тиволи* (стор. 343)—Тіволі — місто в Італії поблизу Рима. Ротонда — будова круглої форми з куполом, улюблена форма римської і візантійської архітектури.

326. *Гаркуша* (стор. 344) — український народний герой Семен Гаркуша, відомий селянський вождь, який наприкінці XVIII століття з своїм загоном нападав на поміщицькі садиби.

327. *Дуэнья* (стор. 349) — в старій Іспанії домашня наглядачка за моральністю дівчини або дружини ревнивого чоловіка в дворянських сім'ях.

328. *Актеон* (стор. 352) — за античною міфологією молодий мисливець, який побачив цнотливу богиню Діану, коли вона купалася. Розгнівана богиня перетворила його на оленя, після чого він був розтерзаний своїми собаками.

329. *Овидий Назон* (43 рік до н. е.— 17 рік н. е.) (стор. 356) — славетний римський поет. Автор „Метаморфоз“ („Перетворень“).

330. *Муза Терпсихора* (стор. 360) — муза танців і хорового співу.

331. *Иероглифы* (стор. 362) — стародавні єгіпетські письмена.

332. *Шампольон, Жан Франсуа* (1790 — 1832) (стор. 362) — славетний французький учений єгіптолог, що перший винайшов спосіб читати ієрогліфи.

333. *Прозерпина* (стор. 363) — в античній міфології дружина Плутона, царя підземного царства, країни мертвих.

334. *Лучезарная Аврора* (стор. 364) — у римській міфології богиня ранкової зорі.

335. *Фаворит* (стор. 365) — улюбленець.

336. *Эдем* (стор. 366) — за уявленням стародавніх євреїв, земний рай, легендарне місце перебування перших людей — Адама і Єви.

337. *Кляштор* (польськ.) (стор. 374) — монастир.

338. *Бекон, Френсис* (1561 — 1626) (стор. 378) — англійський філософ і державний діяч.

339. *Магелланово облако* (стор. 379) — так названо на честь славетного португальського мореплавця Магеллана дві великих туманних плями на небі в напрямку до Південного полюса.

340. *Виктория* (лат.) (стор. 380) — перемога.

341. *Немое тет-а-тет* (стор. 380) — франц. tête à tête: віч-на-віч.

342. *Камеристка* (стор. 382) — старша покоївка.

343. *Кардинал* (стор. 383) — вищий духовний сан у католицькій церкві.

344. *Финал „Гамлета“* (стор. 383) — закінчення трагедії „Гамлет“ Шекспіра.

345. *Вуверман, Филипп* (1619 — 1668) (стор. 383)—голландський художник, пейзажист.

346. *Плиэ* (стор. 386) — термін карточної гри.

347. *К. Дармограй* (стор. 389) — псевдонім Т. Г. Шевченка.

348. *Филемон и Бавкида* (стор. 390) — у грецькій міфології зразкове подружжя.

349. *Феномен* (стор. 394) — тут в розумінні незвичайне явище.

350. *Книксен* (стор. 395) — реверанс, поклін.

351. *Гинекей* (стор. 395) — жіноча половина (в стародавніх грецьких домах).

352. *Не для волнений, не для битв —*
Мы рождены для вдохновений,
Для звуков сладких и молитв (стор. 397) — із поезії О. С. Пушкіна „Чернь“.

353. *Франклин, Вениамин* (1706 — 1790) (стор. 400) — американський учений і державний діяч, славетний дослідник в галузі електрики, винахідник громовідводу.

354. *Панегирик* (стор. 401) — вихвалювання.

355. *Мафусаил* (стор. 402) — за біблійною легендою, людина, яка дуже довго жила. Тут — дуб, якому вже кілька сот років.

356. *Калам, А.* (1814 — 1867) (стор. 402) — швейцарський художник, пейзажист і гравер.

357. *Гут морген* (нім.) (стор. 409) — доброго ранку.

358. *Флейш* (нім.) (стор. 410) — м'ясо.

359. *Альбоні* (стор. 413) — славетна італійська співачка (1826 — 1894).

360. *На лоне Авраамле* (стор. 418) — тобто „на тому світі“, померлий.

361. *Курочкин, Василий Степанович* (1881 — 1875) (стор. 419)— відомий російський поет із рядів революційної демократії, перекладач Беранже. Його брат, Микола Степанович (1830 — 1884), також поет, був приятелем Шевченка і перекладав його поезії.

362. *Элеганты* (франц.) (стор. 421) — елегантні, витончені люди.

НАЗАР СТОДОЛЯ

363. *Хорунжий* (стор. 433) — військовий чин в козацькому війську.

364. *Савва Чалый* (стор. 484) — один з гайдамацьких ватажків в 1730 рр.; потім перейшов на службу до польських панів, боровся з гайдамаччиною, робив напади на запорізькі землі. В 1741 р. був забитий, як зрадник гайдамацьким ватажком Гнатом Голим.

365. *Свирговский* (стор. 484) — Іван Свірговський, подільський шляхтич, що стояв на чолі козацького загону, найнятого на службу на початку 70 рр. XVI ст. одним з претендентів на молдавський престол Івонею. Під час походу в Молдавію попав у полон до турків і там загинув. Легенда занесла його до списка козацьких гетьманів.

366. *Тимофей* (стор. 486) — Тиміш Хмельницький — син Богдана Хмельницького, помер 1653 року в Молдавії, в фортеці Сочаві, від рани, одержаної під час облоги цієї фортеці польсько-молдаво-валашсько-семигородською армією.

НИКИТА ГАЙДАЙ

367. *Сагайдачний* (стор. 502) — гетьман реєстрових козаків (пом. 1622 р.).

368. *Наливайко* (стор. 502) — Северин Наливайко, видатний ватажок нереєстрового козацтва і селянства під час повстання в 1590 рр. Був страчений польським урядом у Варшаві в 1597 р. (обезглавлений, а потім четвертований, тобто розрубаний на частини). Про його смерть склалось багато легенд, говорили, що його нібито спалили в мідному бикові.

369. *Король Владислав* (стор. 504) — Владіслав IV, король польський, був королем в роках 1632 — 1648.

370. *Остряниця, Яцко* (стор. 505) — Яків Острянин, один з проводирів повстання українського народу проти гніту шляхетської Польщі в роках 1637 — 1638. В 1638 р. Острянин був гетьманом. Після поразки переселився на Слобідську Україну, яка тоді входила до складу Росії. Там Острянин 1641 року й скінчив життя.

371. *Богун, Иван* (стор. 506) — Іван Богун, один з найвидатніших козацьких полковників, помічників Богдана Хмельницького у визвольній війні українського народу проти гніту польської шляхти в 1648 — 1654 рр. Богун страчений польською шляхтою в 1664 році. Богун уславився як знаменитий полководець, зокрема як майстер партизанської війни. Іменем Богуна в часи громадянської війни названо один з полків дивізії М. Щорса — Богунський полк.

372. *Богдан Хмельницкий* (стор. 504) — Богдан Михайлович Хмельницький (народився біля 1595 р. — помер 1657 р.) гетьманом України був в роках 1648 — 1657. Талановитий полководець, дипломат, організатор і адміністратор. Хмельницький очолив український народ в часи визвольної війни проти гніту польської шляхти в 1648 — 1654 рр., як і в приєднанні до братнього російського народу в 1654 році.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРИМІТОК *

* Цифри означають номери приміток.

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

ЗМІСТ

На початку тому подано автопортрет Т. Г. Шевченка 1847 р. (олівець).

Відповідальний редактор
проф. О. І. Білецький

*

Відповідальний за випуск
літредактор
В. Татарінов

*

Оправа за ескізом
художника
М. Караванського

*

Технічний керівник
Я. І. Бронштейн

*

Коректор
В. М. Вороніна

Книжкова ф-ка ДВРШ ім. Г. І. Петровського. Харків, вул. К. Маркса, 1. Уповноважений Головліту 316. Замов. 2976. Тираж 20.000. 35 друк. арк.

Видання 900. Пап. ф. 82×110—53,5 кг. 17½ пап. арк. В 1 пап. арк. 130.560 літ. Здано в роботу 25/I-39 р. Підписано до друку 26/II-39 р.